

НЕВА



10 • 2019





СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр ГАБРИЭЛЬ

Стихи • 3

Александр ЛАСКИН

Белые вороны, черные овцы. *Повесть-воспоминание* • 7

Юлия КИМ

Камни, бездушные. *Рассказ* • 71

Олег ВАЩАЕВ

Стихи • 83

Дмитрий ИСАКЖАНОВ

Орехи. Тайное кино. Доказательство существования.
Та сторона. Дни творения. Семена. Тонкие материи.

Маска. Рассказы • 86

Алексей ЧЕСТНЕЙШИН

О друге. В пустоте. *Рассказы* • 110

Ирина ИСТОМИНА

Стихи • 123

Александр ЖДАНОВ

Всадник, имеющий меру. *Повесть* • 126

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Галина БАТЮК

Планида. Про ерунду. Михайловский замок.

Окраины. Рассказы • 148

ПУБЛИЦИСТИКА

Владислав БАЧИНИН

Анти-Ницше: идея «смерти» Бога как продукт
троллинг-стратегии. *Статья четвертая.*

Катастрофическое существование

в условиях «смерти» Бога • 163

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Сергей КИБАЛЬНИК

Анти-Невровов. *О том, как Н. Н. Страхов оклеветал
Ф. М. Достоевского и почему эта клевета
будет жить вечно* • 176

Вера КАЛМЫКОВА

«СДРКРЧ», или Еще раз об эллинистической
природе русского языка • 198

ТЕАТРОТЕКА

Ольга МАЛЫШКИНА

Рука Всевышнего в судьбе Нестора Кукольника • 208

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. *Олег Алифанов.* Торжество него-
дяев в романе «Анна Каренина». **Территория па-**
мяти. *Дмитрий Колисниченко.* Повесть «Собачье
сердце»: карикатура на интеллигенцию. **Книжный**
остров. *Публикация Елены Зиновьевой* • 219

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Обители Афона. *Часть 3* • 240

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).*

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-ре-
дактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор мо-
лодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья**
Ламонт (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Александр ГАБРИЭЛЬ

ДАЛЬНЯЯ СТАНЦИЯ

Спокойно, парень. Выдох: «Омम्म» — полезен загнанным нейронам.
Вагончик тронулся (умом). По сути, заодно с перроном.
Делю с попутчиком еду: два помидора, хлеб и сало.
На дальней станции сойду, где ни названья, ни вокзала.

Умчится прочь локомотив. А я останусь в брызгах света,
с советской песней совместив хайнлайновские двери в лето;
найду ответ у сонных трав, о чем мне карма умолчала,
себе с три короба наврав, что можно жизнь начать сначала.

Такой покой, такой уют воспел бы Пушкин и Овидий.
Здесь птицы песенки поют, каких никто не евривидел,
здесь я однажды все пойму под ветерка неспешный шорох,
здесь я не должен никому и сам не числюсь в кредиторгах.

Какое счастье, господа, — брести от дактиля до ямба
и не совать свой нос туда, где вновь коррида да карамба,
где давит ночь тугим плечом, где каждый встречный смотрит косо
и где дамокловым мечом висит над жизнью знак вопроса!

Увы, пора открыть глаза. Мечтанья свойственны Сизифам.
Нет в рукаве моем туза. Покуда миф остался мифом.
Но все ж в неведомом году я, опыт накопив бесценный,
на дальней станции сойду. Достоинно. Как артист со сцены.

ПАРАДИЗО

Над прошлым — бурный рост бурьяна;
и да, прекрасная маркиза,
все хорошо. Зубовный скрежет —
союзник горя от ума.
Но еженощно, постоянно
в кинотеатре «Парадизо»
зачем-то кто-то ленту режет
с моим житейским синема.

Александр Михайлович Габриэль — трижды лауреат конкурсов им. Николая Гумилева (2007, 2009, 2018), обладатель премии «Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других странах. Автор пяти книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).

Бандиты, демоны, проныры —
ночная гнусная продленка...
На кой им эти киноленты?
Кто заплатил им медный грош?!
Но остаются дыры, дыры,
и грязь, и порванная пленка,
разъединенные фрагменты...
Причин и следствий — не сведешь.

Несутся по однополойке
вспоминания-салазки.
Смешались радости и горе
в бессмысленную кутерьму...
И я, кряхтя, берусь за склейки;
дымясь, придумываю связки.
Кино, хоть я не Торнаторе,
я допишу и досниму.

На факты наползают числа
и с разумом играют в прятки.
И я блуждаю, словно странник,
в туманной горечи стиха,
ища тропинки слов и смыслов
среди их трагической нехватки:
давай, давай, киномеханик,
раздуй, раздуй киномеха.

ПОЭТО-ПЕЙЗАЖ

Замер сказочный лес, прореженный опушками,
над которыми лунная светит медаль.
Спит земля до утра — не разбудишь из пушкина,
и молчит до утра заболоцкая даль.
Ночь на день обменять — не проси, не проси меня,
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи...
Спит легучий жуковский на ветви осинової,
двух крыловых на спинке устало сложив.
Теплый воздух дрожит предрассветною моросью,
серой змейкой застыл обезлюдевший шлях...
Что-то шепчут во сне пастернаковы поросли,
сонмы диких цветаевых дремлют в полях.
Проползает река вдоль пейзажа неброского
и играет огнями — живыми, как речь.
И ее пересечь невозможно без бродского,
всем не знающим бродского — не пересечь.
Все, что мы не допели, чего не догрестили,
тает в сонном, задумчивом беге планет...

Жизнь пройдет и останется фактом поэзии.
Смерти, стало быть, нет.
И беспамятства нет.

ГОРБ

Зимой (хоть это не для всех, а лишь для мыслящих инако)
встает во всей своей красе горб вопросительного знака,
и тень, отброшенная им на замерзающие лужи,
одним велит напиться в дым, другим чего-нибудь похуже.

Мы были зряшно рождены; в подборе целей — оплошали.
А в небе бледный шмат луны — как сыр, обгрызенный мышами.
Банальности взрезают тишь расстрельной россыпью курсива.
«Красиво жить не запретишь». «Быть знаменитым некрасиво».

И хоть ругайся напоказ бессильно и пустоголово
на ускользнувшую от нас мерцающую сущность слова,
мы замерли, как корабли в литографическом овале:
одни лишь гении — смогли, а остальные — спасовали.

И не для нас хмельная высь, где реют божества в хламадах.
Ведь можно проще, согласись: ненужный вдох, никчемный выдох.
Тирадой пьяного жлоба, лишенной смысловой нагрузки,
нас ждет стандартная судьба миллионов пишущих по-русски.

Не избежать тоски и драм. Надежда, словно шарик, сдулась.
Вопроса знак являет нам интеллигентскую сутулость.
И, как всегда, декабрь — большой любитель жертвоприношений.
А мы, уставшие душой, легко сгодимся на мишени.

ПОТОМ

Детство. Драка орков у подъезда.
На душе — запутанно и скверно.
Дома — пухлый томик Жюль Верна
и вопросов давящая бездна.
Завуч — в жалком синем дерматине.
Школьный воздух сперт и вечно громок...
Парты — в перочинной паутине
нецензурных злых татуировок.

Юность. Не упомяну, польза, вред ли
в ней — простой, как будни жилконторы...
Словно проскочивший поезд скорый
только на минутку бег замедлил.

Я смотрелся в небо голубое,
видел в нем жар-птиц и алконостов,
но сомнений блеклые обои
клеил на мировоззренья остов.

Молодость. То мели, то протоки;
день — триумф, другой же — на смех курам...
Несся пульс стремительным аллюром
под медоточивый «Modern Talking».
И втекало солнце жаром лета
в сердце, где томительно и странно
проживала дама полусвета,
полуалла или полуанна.

Жил себе и жил, надежды ради,
а в итоге взял себе да вызрел.
Слово «зрелость» — краткое, как выстрел
лопнувших прохладных виноградин.
Слово «зрелость» — гулкое, как осень,
как ее ознобный первый ветер...
А потом... Пускай не будет вовсе
грустного «потом» на белом свете.

ПОБЕДА ГУМАНИЗМА

Свое недокричав и недоколобродив,
в азарте не успев нажать на тормоза,
нестройная толпа голосовавших «против»
разгромлена толпой голосовавших «за».
Победен прессы тон. Гудят ватсаппы, скайпы,
а Ното, как всегда, к собратьям *lupus est*.
Вот доброволец. Он снимает с трупов скальпы
и надевает их на свой тотемный шест.
И наконец покой приходит долгой драме,
достойный золотой рифмованной строки...
Усталое Добро (как надо, с кулаками)
пытается отмыть от крови кулаки.
Вот славный журналист — задорная харизма,
знакомый по ти-ви чарующий оскал...
О, как ты хороша, победа гуманизма
над теми, кто его иначе понимал!
Пойдет отсчет с нуля великим этим годом,
начнется с точки А прекрасный светлый путь...
Как воздух нынче свеж! Он полон кислородом,
поскольку меньше тех, кто б мог его вдохнуть.

Александр ЛАСКИН

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ, ЧЕРНЫЕ ОВЦЫ

Повесть-воспоминание
в пяти странах, одном театре,
а также шести отступлениях
и трех интермедиях

ОТСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Место действия

Сперва поищем сравнение. Должно быть что-что, что вместит страну целиком? Может, это любимая шотландцами клетчатая ткань? Та самая, из которой шьют мужские юбки-килты.

Приглядитесь к этим квадратам, и вы почувствуете ритм. Этот ритм есть и в здешних пейзажах. В перепадах от лесов к холмам и от холмов к полям.

Есть страны, которые, кажется, создавались разными мастерами. Один придумал поля, другой трудился над лесами... В Шотландии чувствуется одна рука. На какие бы расстояния ты ни удалялся, повсюду узнаешь его работу.

Он, творец этих мест, создатель взлетов вверх и опусканий в низины, презирал бытовую логику. Никакой прагматики нет в том, что столько пространства отдано холмам и небу. Иначе говоря, красоте.

Шотландию населяют пять миллионов человек, а это почти столько же, сколько живет в Петербурге. Зато простора тут несравнимо больше. Сразу представляешь прогулки верхом со стоянками на полянах. Или пещеры, где можно спрятаться, чтобы внезапно ошарашить противника.

Александр Семенович Ласкин родился в 1955 году. Историк, прозаик, доктор культурологии, профессор Санкт-Петербургского института культуры. Автор 16 книг (вместе с переизданиями), в том числе: «Ангел, летящий на велосипеде» (СПб., 2002), «Долгое путешествие с Дягилевыми» (Екатеринбург, 2003), «Гоголь-моголь» (М., 2006), «Время, назад!» (М., 2008), «Дом горит, часы идут» (СПб., 2012; 2-е изд: Житомир, 2012), «Дягилев и...» (М., 2013), «Петербургские тени» (СПб., 2017), «Мой друг Трумпельдор» (М., 2017). Составитель, автор пояснительного текста книги «С. Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 гг.» (М., 2019). Печатается в журналах «Нева», «Звезда», «Знамя», «Крещатик», «Ballet Review», «22», «Иерусалимский журнал» и др. Автор сценария документального фильма «Новый год в конце века» («Ленфильм», 2000). Лауреат Царскосельской премии (1993), премий журналов «Звезда» (2001), «Нева» (2017) и др. Финалист премии «Северная Пальмира» (2001) и премии Шолом-Алейхема (Украина) (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

Вряд ли здешний автор создаст что-то в духе Достоевского. Ну, там — небольшие клетушки, огромные долги, воспаленные глаза... А вот исторические романы (в каждом — по несколько королей и немерено мяса на вертеле) тут пишутся легко.

Как получилось, что люди заселили города, но не претендовали на большее? Столько места отдали чистому лицемерию. В 1935 году это положение закрепили в так называемых «Принципах Унна»: известный альпинист Перси Унн купил земли для Национального фонда при условии сохранения их первозданного облика.

Вот чем защищены эти места. Они пребывают вроде как в вечности — сейчас холмы вижу я, но на них же смотрел Вальтер Скотт.

Есть еще одно. Шотландцы наделяют природу едва ли не человеческими качествами. Например, у других народов лес стоит, а у них идет. Так, Бирнамский лес, подстрекаемый ведьмами, двинулся на Макбета.

Почему же памятники стоят на месте?

Странно, что деревья могут идти, а скульптуры нет. Как было бы хорошо, если бы Вальтер Скотт в Эдинбурге вставал во весь рост, а собака у его ног приветствовала прохожих лаем и поднятыми ушами.

Кстати, и в Питере размышляли об этом. На улице Правды скульптор Дмитрий Каминкер поставил на колеса своего Глашатая. Вот бы он покричал в рупор и переправился в другое место! Так, глядишь, за пару лет переагитировал весь район.

Видно, у тех, от кого это зависит, не хватило энергии, и скульптура стоит, как стояла. Впрочем, в любой момент это может произойти. Надо только взяться за ручку, приделанную к платформе, и отправиться в путь.

Прибавим, что в Пушкине во время карнавала приодели Ленина на Соборной площади. Сколько лет он стоял в своем железном костюме, как вдруг предстал в развевающемся плаще. Рука вытянута вперед, словно он говорит: переоденьтесь, товарищи! смените скучную одежду на красивую и яркую!

Вряд ли до Глазго дошли вести об этих метаморфозах, но тут тоже поспорили с данностью. Для примера выбрали конный памятник Веллингтону перед Музеем современного искусства. К победителю Наполеона у шотландцев давно есть вопросы: почему — ирландец? Ну а если ирландец, то зачем его чествовать далеко от родины?

В наше время эти разговоры воплотились в акцию. Молодые недоброжелатели Веллингтона надели на него дурацкий колпак — вернее, полицейский конус. Такие конусы выставляют тогда, когда ограничивают движение по улице. Сейчас это тоже выглядело как предупреждение: осторожно, маршал! Замедлите шаг и удивитесь!

Оказалось, эта акция навсегда. Так и стоит Веллингтон в полосатом конусе (хорошо, не в полосатой рубашке!) и развлекает туристов. Ну а местные уже не помнят его другим. Даже на открытках он при всем параде — колпак сползает набок, и это придает ему еще больше лихости.

Конечно, и от Веллингтона хочется чего-то особенного. Вот бы он сам надевал колпак! Это выглядело бы самокритично. К тому же этим жестом он соединял бы разные времена.

К сожалению, герцог стоит как вкопанный. Да и другие монументы не продвинулись. Лишь в начале девяностых что-то стало меняться после того, как в Шотландию приехал скульптор Эдуард Берсудский.

Дело в том, что у Берсудского не просто скульптуры, а скульптуры кинетические. Он не только создает образ, но рассказывает истории. Загорается свет, силой невидимого мотора начинается движение... Так в булгаковской «волшебной камере» фигурки оживают для представления и игры.

Вот хотя бы его Шарманщик. Все как полагается: сапог отбивает ритм, звучит песня о разлуке, рядом вертится обезьянка. Правда, сам шарманщик какой-то не такой. Весь в щетине, да еще с рогами, как фавн.

Шарманщик не только извлекает мелодию, но запускает ту самую «вертушку роковых событий», о которой сказано в стихах Арсения Тарковского. Иначе почему он похож на лешего? Ясно, что это почти лесное существо обладает не только человеческими возможностями.

Называется работа «Автопортрет». Значит, Берсудский добровольно причислил себя к племени полулюдей-получертей. Наверное, художника не бывает без чего-то эдакого. Ведь он имеет дело не только с реальностью, но и с тем, что находится вне ее.

Опять, автор, спешешь? Ты ведь не упомянул, что понятие «кинетическая скульптура» Берсудский и его жена Татьяна Жаковская сократили до «кинематов». Это вроде как домашнее имя его произведений. Все равно что «Александр» — и «Саша».

Что сказать прежде всего? Кинематы не ограничиваются чем-то одним. Ни позой, ни жестом, ни материалом. Обычно скульптуры создают из металла или дерева, а Берсудский творит из всего. В ход идут старая швейная машинка и патефон... Плюс еще сто предметов, которые давно не используются, но тут оказались незаменимы.

Кстати, в начале девяностых, когда «шарманщики» решили уехать, за столом у моей приятельницы шел такой разговор:

— Что Берсудскому делать без старых патефонов, утюгов и вообще всего, что можно найти на наших помойках!

Помните стихи Ахматовой, в которых она спрашивает: «Когда б вы знали, из какого сора...», а дальше перечисляет: «желтый одуванчик у забора», «лопухи и лебеда» — и по этим приметам сразу узнается Карельский перешеек? Так вот на пластинке Анна Андреевна читает их не иронически, а торжественно. Словно речь о чем-то столь же значимом, как скипетр и держава.

Это я к тому, что, говоря об утюгах и прочем хламе, никто не ухмыльнулся. Все понимали важность и незаменимость этого строительного материала.

Собрание кинематов получило название театра «Шарманка». О том, что происходит на его спектаклях, мы еще будем говорить, а пока поспорим с тем, что это «театр». Правда, и выставкой детище Берсудского и Жаковской может считаться с натяжкой.

Все-таки спектакля не бывает без драматургии. Если что и связывает кинематы, то принадлежность к одному художественному миру. Назвать же это выставкой мешает то, что экспонаты существуют не только тогда, когда на них смотрят. Здесь же все начинается с того, что вы пришли. Тут фигурки выходят из тени и вступают в игру.

Конечно, не Берсудский придумал «кинетическое искусство». Он только присоединился. Правда, прежде это была вотчина абстракционистов. Что-то колыхалось, крутилось, расцветивалось, но историй никто не рассказывал.

Может, дело в его российском происхождении? Наверное, потому у нас редки абстракционисты, что мы не любим говорить в общем. Только с подробностями. Ведь жизнь состоит из стольких мотивировок! Если что-то пропустишь, то картина предстанет смазанной.

Кстати, почему «Шарманка»? Возможно, шарманка — самый философский из музыкальных инструментов. Ее мелодии говорят о том, что все повторяется. Что так будет не сто, не двести раз, а всегда.

С помощью шарманки можно уйти вперед, но и вернуться назад. Сейчас мы это продемонстрируем. Повернем ручку и окажемся даже не в начале нашего повествования, а в начале жизни Берсудского, в Ленинграде шестидесятых — семидесятых.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. В ЛЕНИНГРАДЕ

Начало и утопия

Если кинетическую скульптуру именуют кинематами, то Берсудского и Жаковскую мы будем называть Эдом и Таней. Читатели с ними уже познакомились, а когда я впервые пересекся с Таней, уже и не вспомнить. Подробности теряются во тьме времен.

Любой период биографии Берсудского тянет на повесть. По крайней мере, вкратце его точно не рассказать. Сразу потянется ниточка, а еще не одна.

Начнем с того, что операторами котельной кто только не работал, а шкипером был только Эд. Можно назвать еще пять его профессий. На одном месте он не засиживался. Попробует что-то и приступает опять. Вроде как тот ребенок, который утоляет голод, отщипнув от всего, что стоит на столе.

Поначалу он не думал о кинематике. Скульптуры резал, но лишь в свободное время. Ну а сколько такого времени у того же шкипера или водителя самосвала? Большую часть дня отдаешь службе, а вечерами творишь.

Вот уж чего я не мог представить, что в шотландском доме моих друзей сохранилось что-то от тех лет. Больно давно это было. Да и ощущение своей биографии у Эда тогда не проснулось. Жизнь просто текла, не очерчивая вех и не образуя этапов.

Тем удивительней, что нашелся ватманский лист, на котором корявыми буквами написано: «Молния! Комитет ВЛКСМ объединения постановил: комсомольцев Поверинова В. и Берсудского Э. из членов ВЛКСМ исключить!»

Именно так — с восклицательным знаком. Словно не сдерживая радости от предвкушения расправы.

Вот что пригодится для музея. Пока не для музея Берсудского, а для музея, посвященного жизни в семидесятые годы. Так и вижу это объявление в рамочке на стене. Экскурсовод тычет указкой и говорит, что двое этих рабочих были частью системы, а вдруг их оттуда выбросили.

Эд уже не помнит почему. Возможно, он не платил членские взносы и так ослаблял комсомольскую организацию. Не исключено, что дело проще. Они просто подумали: «Зачем нам такой?» — и, надо сказать, не ошиблись.

Вряд ли он сильно переживал. Если для кого-то исключение — катастрофа (интересно, как сложилась судьба В. Поверинова?), то к его всегдашнему чувству изгойства это ничего не добавляло. К тому же он ни на что не претендовал. Моряком или слесарем возьмут и без билета. Хватит того, что у него золотые руки.

Что касается искусства, то тут все было сложно. По правилам того времени художником не рождаются, а становятся. Хочешь рисовать и лепить — получи диплом. Кстати, Эд не то чтобы не хотел учиться. Просто он все делал, как чувствовал, а преподавателям требовалось, как полагается. Вот его и притормаживали. Уж очень он самостоятелен и не похож на ученика.

Единственное образование, которым вскоре он обзавелся, это Энергетический техникум. Вот так бывает: идешь туда — не знаешь куда, а именно это оказывается самым важным. Что бы он делал, если бы не знал основ механики? Как бы он заставил лошадь вращать хвостом, а шарманщика крутить ручку?

Все это еще впереди. Пока главное событие — приглашение в садово-парковое хозяйство. Причем на каких условиях! Тут ему предлагали не шоферить, а резать скульптуры.

За то, что занимаешься любимым делом, не получают деньги — ведь не платят же нам за прогулки по лесу. Его новая работа не только предполагала зарплату, но га-

рантировала известность. Пусть и без упоминания имени, но в каких местах! Только представьте: в Русском музее выставлен Коненков, а в прилегающем к нему парке стоят работы Эда.

Словом, в парковом хозяйстве подули новые ветра. Девушек с веслом решили заменить кем-то более близким обитателям детских площадок. Так здесь появились его клоуны и медведи.

Хорошо скульптурам в парке. Возможно, даже лучше, чем в экспозиции. Ведь тут они существуют не сами по себе, а вместе с окружающим пространством.

Выиграли не только его работы, но он сам. Все же одно дело творить вечерами, а другое — когда захочется. Если замысел не созрел, просто ходишь по городу. Ждешь, когда из твоих мыслей что-то произрастет.

Пока скульптуры у него выходили традиционные. Они не могли сорваться с места или переменить позу. Впрочем, сейчас он переживает о том, не придется ли ему опять весь день вкалывать, а художником становиться ближе к ночи?

Такие мысли посещают и других скульпторов садово-паркового хозяйства. Среди них был и Виктор Цой. К его сомнениям относительно будущего прибавлялся вопрос о том, что правильнее — резать по дереву или петь? Выступать анонимно или от своего лица?

Первая и вторая удачи

Что если рядом с почти идолами Берсудского появится конкретный Ильич или обобщенный Строитель коммунизма? Это хотя бы потому невозможно, что Эд работал для детских площадок. У взрослых были свои герои, а у него свои.

Так — вместе с любителями песочниц и горок — он очерчивал свою территорию. Имел право сказать авторам советских памятников: посмотрим, переживут ли ваши вожди моих клоунов и лицедеев?

Как выяснилось, существует нечто пострашнее идеологии. Судьбу парковых работ решили снег и дождь. Столько лет под открытым небом им оказались не под силу.

Кое-что сохранилось на фотографиях. Есть впечатления очевидцев. Среди тех, кому нравились эти работы, были не только дети, но и взрослые. В результате в одном серьезном издании об Эде вышла статья.

Вот так так. Режешь что-то для себя, не помышляешь о внимании критиков, как вдруг оказывается, что, «однажды войдя в мир, созданный Эдуардом Берсудским, уже невозможно безучастно следить за дорогой, по которой он идет, и трудно удержаться от соблазна следовать за ним».

Фраза тоже петляет. Сперва прямо, потом немного в сторону, затем поворот еще раз.

С тех пор Берсудский слышал много комплиментов, но это было впервые. Читаешь и думаешь: неужто это обо мне?

Вообще в это время Эду везло. Бывает, долго никаких событий, а тут сразу много. Причем все позитивные.

В семидесятом году он женился на студентке графического факультета института Герцена Алевтине Вороновой. Конечно, для художника важна масть. Супруга была ярко-рыжая. К тому же в ее фамилии пряталась его любимая птица.

Правда, с той хромоногой вороной, что жила у него в комнате, у Алевтины отношения не сложились. Может, она считала, что хватит ворон? Поэтому одна осталась в фамилии, а другую из дома прогнали.

Ну и в завершении всего у него появился Учитель. Именно так, с большой буквы. Впрочем, и Художник в этом случае надо писать так.

Звали Учителя и Художника Борисом Яковлевичем Воробьевым. Это он изваял практически всех животных, вышедших из стен Ломоносовского фарфорового завода.

Трудно оставаться певцом чистой пластики и работать на заказ. Воробьеву помогли его персонажи — прекрасные в каждом повороте головы и движении лап. Так что природа была за него, а он с радостью за ней следовал.

Воробьев посмотрел работы Эда и сразу что-то почувствовал. Ну а после того, как увидел первые кинематы, совсем посерьезнел.

Это не отменяло требовательности. Чем убедительней сделанное воспитанником, тем больше с него спрашиваешь.

Вообще детей и учеников Борис Яковлевич держал в строгости. Хвалил дозированно. Буквально по одному одобряющему словечку в несколько лет. Случалось, не только повысит голос, но и выгонит. Делал он так потому, что уж очень ему не хотелось показывать своей доброты.

Комплиментов Эд от него слышал столько же, сколько все. Зато с сыном Мишей Борис Яковлевич разоткровенничался. Сказал, что «этого парня когда-нибудь узнает весь мир».

Эд до сих пор не верит, что это правда. Больно не соотносятся эти слова с тогдашней реальностью. Какая может быть мировая слава, если почти никто не выставляется за границей? Ну а человек, не обремененный образованием, об этом даже не мечтает.

Нет, утверждает Миша, он запомнил точно. Все было так — и неожиданное «парень», сказанное о сорокалетнем мужчине, и обещание невиданных перспектив. Кажется, в эту минуту его отец все увидел. Сперва мир включит в себя пространство по ту сторону «железного занавеса», а остальное случится само собой.

Конец утопии и после

Пока же Эд доволен положением в садово-парковом хозяйстве. А что еще надо? От него ждут не присутствия, а вдохновения. Он много работает и при этом не сдает ключ на вахту.

Обычно утопия длится недолго. Дали возможность увидеть, как это бывает, и хватит. А то выходит нехорошо. Руководство честно протирает штаны, а подчиненные свободны как птицы.

Скульпторам установили режим не для того, чтобы больше трудились, а чтобы были скромнее. Помнили, что начальство — не Аполлон. Тот «требует... к священной жертве», когда заблагорассудится, а оно с девяти до шести. Бывает, сразу не определится, и вы ждете. Смотрите в окно или играете в «морской бой».

Это все равно что дышать только в определенное время! Что ж, люди у нас нетребовательные. Если сказано, что так правильней, то они не станут возражать. Еще поблагодарят за то, что прежде чем захлопнуть форточку, дали немного порезвиться.

Кажется, только Берсудский не выдержал. Раз он ощутил себя свободным художником, то решил и дальше так продолжать.

Почему Эд пошел в котельную? Потому что места тут не меньше, чем в начальственных кабинетах. К тому же сухо, тепло. Хочешь — режешь скульптуры, а нет — болтаешь с друзьями.

О том, что из кинематов получится театр, он пока не думал. Правда, его котельная находилась напротив Дома актера, и это можно понимать как указание. Мол, один Дом существует ради актера, его настоящих и мнимых достоинств, а второй предлагает альтернативу.

В самом деле, почему театр — и непременно актер? Ах, если бы исполнитель только лицедействовал, но он еще капризничает и скандалит. Чаще всего его роль в жизни заметна, а на сцене незначительна.

Что касается деревянных фигурок, то они существуют только ради искусства. Не изменят своему предназначению, чтобы посидеть в ресторане или уйти в депрессию. Кстати, и Эд живет так. Немного спит или выполняет обязанности по котельной, а остальное время отдает кинематам.

Татьяна Жаковская

Весной восемьдесят седьмого Таню Жаковскую привели к Эду в подвал. Этому поистине историческому событию много чего предшествовало — не так давно она оставила завлитскую службу в театре Ленсовета, а сейчас была режиссером самодеятельного театра «Четыре окошка».

Как говорил Бродский, «главное — это величие замысла». Вот с чем тут все было в порядке. Она не только написала кучу статей, поставила «Гамлета» и «Дракона», но одна воспитывала троих детей.

Если Эд создавал «движущиеся скульптуры», то он тоже догадывался о «величии замысла». Это были не только воплощения, но и притязания. Попытка сделать что-то такое, чего до него не существовало.

С Алевтиной Вороновой он развелся. Правда, разъехаться не удалось. В его комнате ей принадлежала четырехметровая ниша, а он спал на раскладушке среди кинематов.

Что Эда и Таню не очень интересовало, так это быт. Зато их сближало нечто глобальное. Если он был недоволен скульптурой, буквально скованной по рукам и ногам, то она к этому времени разочаровалась в театре. Конечно, порой сердца актеров и зрителей бились в унисон, но куда чаще ее посещали сомнения.

Сколько раз Таня убеждалась, что если, к примеру, актер с утра ссорился с женой, то он и на сцене продолжит выяснять отношения. Пусть роль совсем о другом, а он думает: «Да как это можно терпеть!» Или вдруг понадобился ввод, а исполнитель не справился. Так плохо произнес: «Кушать подано», что зрители будут смотреть только на него.

Эта проблема давно волнует людей театра. Гордон Крэг и Морис Метерлинк предлагали заменить актера марионеткой. Видно, их тоже не устраивало, что он постоянно ускользает. Все ему объяснишь, а на другой день опять начинаешь сначала.

На этот счет у Тани имелись более близкие примеры — к примеру, тот же театр Ленсовета. Тут непостоянство было свойственно всем — не только исполнителям, но и главному режиссеру.

Отступление о театре имени Ленсовета

Я тоже работал в этом театре, так что могу кое-что дополнить. Неизвестно как бы все повернулось, если бы Игорь Петрович Владимиров не был человеком веселым. Сколько раз казалось, что все летит к черту, но стоило ему пошутить, и равновесие восстанавливалось.

Однажды Владимиров вернулся из очередной отлучки и взялся за «Вишневый сад». Очевидно, это был не давний замысел, а импровизация. Для того чтобы успокоить труппу, нужны большие задачи. Когда репетируешь Чехова, думаешь не о своих проблемах, а о том, что он написал.

Автора Владимиров выбрал верно, но пьесу помнил нетвердо. Актеры это быстро раскусили. Особенно волновалась исполнительница Раневской Алиса Фрейндлих. «А как же Чехов, Игорь Петрович?» — спрашивала она и едва не взмахивала руками.

На репетициях Алиса Бруновна называла мужа по имени-отчеству. Все же это работа, и тут важна иерархия. Если кто-то захочет выделиться, то это будет не на пользу спектаклю.

На вопросы жены Игорь Петрович отвечал: «Ничего, Чехов со своим текстом пробьется». Так он был уверен в себе. Это продолжалось до тех пор, пока он не сказал, что Гаев хочет продать вишневый сад.

Выходило, что персонажи, как партизаны на допросе, говорили одно, а думали иначе. Конечно, слова у Чехова часто не открывают, а скрывают, но все же не до такой степени.

Никто из актеров не возразил. Фрейдлих могла себе это позволить, но оставила до объяснения дома. Игорь Петрович все понял сам. Он не отшутился, как обычно, а вроде как признал вину. По крайней мере, так было воспринято объявление перерыва.

Не обошлось без широкого жеста. Все же Владимиров — потомственный дворянин. Чтобы актеры не скучали, он оплатил всем двойной кофе в буфете. Сам же почти на час удалился в кабинет.

Кстати, Игорь Петрович еще и сыграл в спектакле Гаева, а актер, репетировавший сначала, был отправлен во «второй состав». Дело в том, что конкурировать с Владимировым в этой роли бессмысленно. Только он имел право говорить от имени «разбитого вдребезги».

У Гаева тоже был широкий жест — правда, не метафорический, а буквальный. Когда этот герой попадал впросак, то по-хозяйски уверенно разводил руками. Примерно так Игорь Петрович вел себя на упомянутой репетиции — хоть он и срезался у всех на глазах, но пытался сохранить лицо.

Кстати, собранностью Владимиров не отличался и в других ситуациях. Вообразите огромного человека («сто двадцать килограмм продуманного обаяния», — как сказал его друг Вадим Коростылев), который постоянно теряет очки. Всякий раз его спасала секретарша Мила. Он мог позвонить ей поздно вечером и узнать, что они лежат у него в кармане.

При всей похожести Гаева на исполнителя тут существовало нечто другое. Чего не было в Игоре Петровиче, так это прекраснодушия. Гаев же счастливо витал в облаках. Он и рассеян был потому, что слишком хорошо себя чувствовал для того, чтобы думать о мелочах.

Словом, герой творился из сходства и отличия. Причем сходство имело расширительный смысл. Становилось понятней, почему предки Игоря Петровича так легко отдали империю. Наверное, тоже сперва растерялись, а потом уже было поздно.

Как уже ясно, в семидесятые—восьмидесятые годы театр Ленсовета слишком зависел от руководителя. Ах, если бы больше стабильности! Впрочем, непьющий Владимиров был хуже пьющего. Он ходил мрачный, на вопросы отвечал односложно. Так что выход оставался один. Стоило ему расслабиться, и он вновь был талантлив и остроумен.

Итоги и после

Выходило, что все уже произошло. Если бы Крэг с Метерлинком были бы живы, они должны были бы возопить: наконец марионетки стали актерами!

В живописи или скульптуре материал — краски или дерево, а в театре — кровь и пот. Помните термин Станиславского «эмоциональная память»? Он означает, что, изображая другого, актер остается собой. Хорошо, когда он говорит о своей рассеянности, как Владимиров-Гаев, а если демонстрирует что-то не столь безобидное?

После Ленсовета я работал в Молодежном театре. Три года мы его создавали, выпускали спектакли, обретали своего зрителя. Тут восстали некоторые актеры — было бы еще понятно, если бы это был открытый бой, но они вида не подавали. Ждали, когда на их обращения откликнутся соответствующие инстанции.

Конечно, наш режиссер Владимир Мальщицкий действовал необдуманно. У многих нашлись подаренные им перепечатки разных статей. По большей части это были тексты о Высоцком. В подписях на подарках он просил не отступаться, идти до конца. Всякий раз думать, что бы в твоей ситуации сделал поэт и бард.

Этими материалами заинтересовались особенно — мало того, что самиздат, но к тому же с призывами. Уж не подрыв ли это основ? Ведь только государство может публиковать, а тем более советовать.

Как тут не насторожиться? Известно, что революции начинаются с того, что сперва берут почту и телеграф. В данном случае режиссер покушался на право печатать и распространять. Еще более вызывающе выглядело то, что он предъявлял права на собственное телевидение. Эта попытка была осуществлена на сцене, но выглядела на удивление достоверно.

В романе Айтматова «И дольше века длится день» — и в лучшем спектакле Мальщицкого — есть фантастическая линия. Космический корабль, планета с парфюмерным названием «Лесная грудь»... Наверное, можно было поиронизировать, но режиссер не увидел тут ничего смешного.

Восемь телевизоров над сценой прерывали основное действие срочными сообщениями. Узнаваемые дикторы узнаваемыми голосами рассказывали о том, как проходит полет.

Все то, что автор перенес в будущее, тут происходило в настоящем. Даже не просто в настоящем, а в тот день и час, когда зрители смотрят спектакль.

Что может быть более документальным, чем последние известия? Чем строгие костюмы и прически, ровные и чуть торжественные интонации людей на экране?

В дополнение ко всему в кадре несколько раз появлялись космонавты. Подобно большим рыбам они проплывали в безвоздушном пространстве.

Телевизорам и дикторам в этой постановке противостоял мир обычных людей. Впрочем, не такие уж они обычные. Многие моменты их жизни носили черты древнего ритуала. Здесь были ритуал-рождение, ритуал-смерть и даже ритуал-арест.

Тут постарался балетмейстер Леонид Лебедев. Из рифмующихся движений возник узор. Простое и короткое становилось долгим и многосоставным, понятное и узнаваемое вроде как увиденным со стороны.

Казалось, в координаты времени входит глубина — отсчет начинался с будущего (оно почти не отличалось от сиюминутности), затем следовали события тридцатых годов, а в основе всего было прошлое легендарное. Эти пласты существовали вместе и образовывали гремучую смесь.

Спектакль с участием телевизоров видели немногие — после одного из первых прогонов наш куратор из Смольного высказался неодобрительно. «Ну а если мы откажемся от телевизоров?» — сказал директор в спину уходящему чиновнику. Тот повернулся и процедил: «Играйте».

Судьбоносное решение было принято на ходу, по дороге к выходу из театра. Ни тебе грома и молний, ни явления дьявола. Изуродовали спектакль — и отправились по своим делам: чиновник — домой, а директор — к себе в кабинет.

Мальщицкого сняли примерно через год. После этого во мне поселилась неприязнь. Не к Управлению культуры или обкому партии, а к сцене как таковой. Я просто не мог ходить на спектакли — казалось, тут совершается что-то очень неправильное.

Я стал преподавателем института, и это примирило меня с театром. Таня же успокоилась тогда, когда увидела работы Берсудского.

У Эда было все: талант, оригинальность, смелые идеи, — но его почти никто не знал. Даже обидно: у театра Ленсовета (за углом от его котельной) каждый ве-

чер спрашивают лишний билет, а к нему, как на конспиративную квартиру, попадают по одному.

В это время Таня рассказала о Берсудском Алексею Петренко. Он мрачно ответил: «Ну что, обошлись без актеров?» — и смотреть не пошел. Видно, расстроился за свой цех. Что ни говорите, а есть в этом что-то странное: исполнители лезут из кожи, буквально — тратят себя, а выходит, без них было бы лучше.

Кстати, если бы публика изменила любимому театру и рванула к Берсудскому, то выдержали бы не все. Сложнее всего было бы людям нервным. Носившиеся по подвалу крысы вели себя так уверенно, словно это они руководят котлами.

Вскоре крысы станут героями кинематов. Будут звонить в колокола, печатать на пишущей машинке, крутить педали. Как их прототипы из котельной, они почувствуют себя главными и будут диктовать ритм.

Перестройка и мы

Помните, начало «Зеркала» Тарковского? Юноша на приеме у логопеда. Докторица внушает, что это ему под силу, и он отваживается. Почти без запинки произносит: «Я могу говорить».

Этот юноша — лирический герой не только Тарковского. Когда наступила перестройка, все ощущали себя заиками. Не случайно один из главных спектаклей тех лет назывался «Говори». Каждый понимал, насколько это трудно, а иногда невозможно.

Итак, продуктов не хватает, а искусства сколько угодно. Открываются двери и форточки. Прежде театры рождались раз в тридцать лет, а сейчас один за другим. В Питере в девяносто — девяносто первом их было двести. Среди них и «Шарманка» на Московском проспекте, 151-а.

Поначалу Таня и Эд решили, что кинематов для спектакля мало, и присоединили трех клоунов. Актеры создавали что-то вроде поля игры. Как они ни старались перетянуть внимание, деревянные фигурки были интересней.

Если театр может обойтись без актеров, то без публики ему трудно существовать. Поначалу зрители не спешили в «Шарманку». Видно, большая их часть стояла в очередях за мясом, а меньшая предпочитала другие спектакли.

Жить стало веселее после того, как в «Шарманку» пошли иностранцы. Что-то тут совпало с их представлениями о новой России. По крайней мере, в отличие от давно знакомого Эрмитажа или Мариинки это было нечто прежде не виданное.

Сколько раз Эду и Тане казалось, что жизнь налаживается, а тут выяснялось, что продолжения не будет. В апреле девяносто третьего года их известили, что за помещение придется платить. Новость поражала количеством нулей. Таких средств у театра быть не могло. Если бы даже иностранцы оставляли в коробке в фойе не один, а два доллара, то это бы их не спасло.

Вряд ли Берсудский и Жаковская удивились. Новые явления так же легко возникали, как и исчезали. Сперва открывались под разговоры о счастливых возможностях, а затем вам сообщали: платите денежки. То, что ваши усилия оплачены потом и кровью, в эту сумму не входит.

Об этом был разговор в отделе культуры райисполкома. Вернее, встреч было две — сперва в полный голос, а затем полупотом. Все же заведение казенное, а совет неформальный: не хотите ли перебраться туда, откуда приезжают ваши главные зрители?

Кстати, в это время о «Шарманке» много пишут. Причем не только объясняют, что это за явление, но делятся сомнениями. «Спешите познакомиться с этим театром, —

писала „Ленинградская правда“, — пока он не отправился в долгое путешествие туда, где его ждут». А вот статья в «Смене», подписанная хорошо знакомым мне Максимом Максимовым: «Пока „Шарманка“ ждет следующих гастролей — в Англию или в Штаты, в Финляндию или Швецию, время покажет, — одно можно сказать: театр неживых кинематов сегодня живее иных драматических театров. В этом пока еще можно убедиться».

Авторы не сговаривались, но в обоих текстах звучит: «пока». Это тревожное словечко призывает быть настороже: неизвестно, что эти «шарманщики» задумают завтра!

Раз мы назвали Максима Максимова, следует кое-что объяснить. Это имя не меньше говорит о девяностых, чем те обстоятельства, о которых тут вспоминалось.

Максим заведовал отделом культуры в «Смене», но на ботаника-искусствоведа не был похож. Кажется, он носил очки, но больше помнятся крупные руки и широкие плечи. Не вызывало сомнений, что он разбирается не только в театре.

В какой-то момент ему надоело писать о «красивом», и потянуло к настоящей опасности. Он занялся криминальными расследованиями. Наверное, поначалу это походило на игру «в капитана Мегрэ», но все закончилось по-настоящему. В июне 2004 года его убили.

Максиму обещали передать какие-то документы. Известно, что это была сауна, что тело вывозили в мешке, но исполнители до сих пор не найдены. Так что не следует расслабляться. Возможно, мы сидим в кафе или театре, а его убийцы находятся рядом.

А вот еще один штрих к тогдашним обстоятельствам. У театра был покровитель — глава администрации Московского района. Так вот в начале девяностых даже он растерялся. Однажды нервы сдали настолько, что утром он отправился не на службу, а в «Шарманку».

Гость вошел, сел в пустом зале и долго смотрел на кинематы. Когда Таня включила один, он спросил: «Это про что?», а она ответила: «Про нашу жизнь».

Думаю, человек, вскоре перескочивший через пару ступенек иерархической лестницы и умерший подозрительно рано, сам знал про что. Да и о фигурках, которые то ли управляют механизмами, то ли к ним привязаны и потому двигаются в унисон, он тоже все понимал.

Словом, время было разнообразное. Возможности не только открывались, но и пресекались. Иногда, как в случае с «Шарманкой», открывались и пресекались теми же людьми.

Это не отменяет того, что эпоха была важная и значительная. Едва ли не так же как Серебряный век или первые послереволюционные годы. Конечно, проблем хватало, но все же поле еще не расчистили — постоянно то здесь, то там возникали новые ростки.

Историю русской свободы Берсудский рассказал в трех кинематах. В первых двух свободу уничтожают, а в третьем, посвященном девяностым, она становится главной новостью дня.

Впервые эти кинематы были показаны 19 августа 1991 года. По телевизору шло «Лебединое озеро» вперемежку с пресс-конференцией путчистов. Казалось, уж какое тут искусство, но у искусства своя логика. Оно само знает, когда правильной появиться, а когда лучше переждать.

На вопрос зрителей: «Состоится ли спектакль?» — Таня отвечала: «Когда же его показывать, если не сегодня?»

Эти три кинемата заслуживают отдельного разговора. Правда, мы уж очень далеко удалились, но это поправимо — поворачиваем ручку шарманки и возвращаемся назад.

Отступление о Берсудском и Тэнгли

Краткая история невестри

В Глазго я три раза смотрел спектакль «Шарманки». Всякий раз интересовался, как реагирует публика. Сами посудите: ну что здешним зрителям Карл Маркс? Хоть он и жил в Лондоне, но его дела и мысли им не так понятны, как дела и поступки любого шотландского короля.

Ну а наша перестройка — это вообще что-то туманное. Казалось бы, тут не обойтись без хорошего лектора. Пусть сперва расскажет о хитросплетениях истории КПСС, а уже тогда можно переходить к кинематам.

Лектора нет и не предвидится, но всякий раз люди в зале чувствовали одинаково. Я улыбаюсь, а рядом тоже улыбки. Становлюсь серьезен и вижу вокруг напряженные лица.

Три кинемата называются длинно: «Пролетарский привет достопочтимуому мэтру Жану Тэнгли от мастера Эдуарда Берсудского из колыбели трех революций». Во как закрутил! Почему «пролетарский привет»? Отчего «из колыбели»? Да и с «мастером» и «мэтром» надо бы разобраться.

Яснее всего с «колыбелью» и «революциями». Это не только место тогдашней прописки Эда, но важная для него тема. Что касается швейцарца Жана Тэнгли, то для Берсудского это главный авторитет. Правда, о его работах он узнал тогда, когда сам создал много чего. Много лет они двигались в одну сторону, и наконец пришло время им пересечься.

В феврале 1990 года в Москве открылась выставка Тэнгли. Как и Берсудский, скульптор творил из дерева и металла, но прежде всего из движения. Правда, у Эда не было ничего тяжелее печного горшка, а тут по воздуху летали тонны железа.

Эд и Таня побывали на выставке дважды. Хотели увидеть самого Тэнгли, но он в Москву не приехал. Договорились, что когда он будет монтировать выставку в Финляндии, то завернет в Ленинград. Вот к этой встрече делались новые кинематы.

Через пару месяцев в «Шарманку» заглянули туристы из Швейцарии и рассказали, что Тэнгли скончался. Так что обращенный к нему «привет» вроде как повис в воздухе. Впрочем, кто знает? Если прежде дело было в «воздушных путях», то почему бы этому не случиться еще раз?

Страна в трех кинематах

Берсудскому хотелось рассказать «достопочтимуому мэтру» о своей стране. Раз тот решил наведаться в Россию, то пусть знает, что все непросто. Конечно, были Пушкин и Достоевский, но это еще не весь ответ.

Начал Эд с Маркса. Хотя философ — чужестранец, но его идеи у нас нашли почву. Помните слова о том, что «мысль материальна»? На сей раз мысль приобрела вид странной машины. Несколько поворотов ручки, и она запущена. Еще поворот, и маховик над головой основоположника летает быстрее. Сперва далеко, а потом так близко, что тот пригибается.

Вот уже Маркс не крутит ручку, а на нее опирается. Ну а маховик существует сам по себе: страшный, беспощадный, угрожающий всему вокруг.

Следующая работа — «Кремлевский мечтатель». Пожалуй, это самый мрачный его кинемат. Тот, кто мечтает, представляет грудку железа и сидит в инвалидном кресле. Чтобы мы не сомневались, что это мертвый лев, вместо головы у него череп льва.

Казалось бы, что такой может — то ли уже опочивший, то ли умирающий? Тем более что помещен он в тесную клетку. Вместе с ним, символом новой власти, здесь томятся знаки сверженного режима — скипетр и орел с герба.

Лев умер, да здравствует лев! Зажигается звезда наподобие кремлевской, фигура начинает шевелиться. Затем оживают железная палка и что-то вроде ножа для разделки туши. Одна поднимается, другой опускается. Ясно, что запертое со всех сторон тело еще долго будет напоминать о себе.

История движется как назад, так и вперед. Морок то сгущается, то рассеивается. Такой была первая оттепель, которую Эд пропускает, так случилось и в эпоху второй.

В кинемате «Осенняя прогулка в перестройку» показан момент отдохновения. Прежде шага без разрешения нельзя было сделать («шаг в сторону — расстрел»), а тут — пожалуйста. Вправо, влево, куда угодно.

Тон при этом легкомысленный. Вращается земной шар, он же — глобус. Крутятся зонтик, пластинка на патефоне, стрелки на часах. Поворачивается вокруг оси голова приятеля Эда художника Ватенина. Несется вскачь деревянная лошадка. Наконец усталые члены раздуваются так, что своей грозностью напоминают жерло «Авроры».

На венском стуле, словно на острове, стоят ботинки, и отлично себя чувствуют. Что с того, что они никому не принадлежат? Зонтик тоже неизвестно кто крутит. По сути, мы видим «восстание вещей». Если перестройка — это бунт людей, то и все, им принадлежащее, не должно оставаться в стороне.

«Аврора» стреляет несколько раз, и это ускоряет общее движение. Хотя ботинки существуют отдельно, но они со своего «острова» тоже участвуют. Постукивают подошвами в такт веселому свисту.

Эта картина удивляет дискретностью. Никак не связаны друг с другом ботинки, патефон, голова художника. Еще поразительней, что в этом нет драмы. Кажется, если мы бодро шагаем, то только этим одолеваем абсурд.

Ах, если бы дело было только в настроении! Улыбнулись, повеселели — и вроде как нет проблем. На самом деле все сложнее. Особенно смущала «смесь» из отживших и новых правил. В сравнении с этой неразберихой союз зонтика и патефона мог показаться гармонией.

Как уже говорилось, «Шарманка» не выдержала аренды. Что ж, вернуть все хозяйство к Эду в комнату — и изредка показывать гостям? После того как они создали театр, это было уже невозможно.

К тому же нынешняя ситуация отличалась от той, что отразили первые два кинемата. Тогда вариант оставался один — «молчи, скрывайся и таи». Теперь Эд и Таня научились самостоятельности.

Кстати, дискретность можно понимать и в этом смысле. Существовать по отдельности — значит жить не чужим, а своим умом.

Раз так, то после невезения непременно будет удача. Они прикидывали, что делать дальше, как вдруг получили подсказку. Театр пригласили на гастроли в Лейпциг. Пришло время «шарманщикам», как их историческим предкам, становиться бродячими артистами.

Помните, что писала «Ленинградская правда»? «Спешите познакомиться с этим театром, пока он не отправился в долгое путешествие туда, где его ждут». Сегодня это читается как предсказание гадалки. Ведь «путешествие туда, где его ждут», все равно что «казенный дом» и «дальняя дорога». Заглядывая вперед, можно сказать, что так и вышло. И поездили немало, и квартиры поначалу были съемные (тут это называется «социальное жилье для малоимущих»), а не свои.

Пока же «шарманщики» грузили свой скарб в фургоны и покидали Петербург. Тем, кто полюбил их спектакли, оставалось жалеть о потерянном, а тем, кто не видел, считать, что театра не может быть без актеров.

Отступление о заикании

Один, второй поворот ручки, и мы в Ленинграде тридцать девятого года. Ну и в последующих годах. Эд родился и рос аутсайдером: мало того, что долго не разговаривал, но лет с двенадцати заикался.

Как могло быть иначе? Обстоятельства не способствовали плавности речи. Начать хотя бы с упомянутого года рождения. Около двух лет перед войной, четыре — на войне. Пусть не на фронте, но жизнь в тылу мирной точно не назовешь.

Вместе с родителями и братом они занимали комнату в коммуналке. Ее перегородивали занавеска и буфет. По одну сторону — ели, по другую — спали. В квартире было еще пять комнат, и в них проживали семь семей.

Я сам жил в такой коммуналке. Наш коридор был широким, как улица. По нему ездили дети на трехколесных велосипедах. Кто-то постарше сбивал бы головами висящие по стенам тазы, но мы до них не доставали и чувствовали себя уверенно.

Впрочем, я сейчас об Эде. За два года до войны его отца послали служить в присоединенной Эстонии. Вдруг — радостная весть! — он возвращается. Жена с сыновьями отправляются встречать на Балтийский вокзал.

Словно по этому случаю был прекрасный день. По крайней мере, в первой своей половине. Домой решили не ехать, а погулять по городу. Все же лето, солнце, да и компания больно хороша.

Вернулись усталые. Соседка говорит, что сейчас будет выступать Молотов. Отец сел рядом с радиоприемником. Выслушал речь до конца и, даже не перекусив, отправился в военкомат.

Через два месяца он погиб во время Таллинского морского перехода. Промелькнул, порадовал жену и детей и пропал в пучине волн. Его близким оставалось жить дальше. Местом их эвакуации назначили Муром — рядом с Владимиром.

Эту часть жизни Эд почти не помнит. Если что и возвращается, то такая картинка: мать с братом впрягаются в телегу и везут с поля картошку.

После блокады вернулись в Ленинград, в почти пустую комнату. Все, что можно, из нее вынесла дальняя родственница. В который раз им предстояло заново обустроить быт.

Все же не странно, что его детский сад располагался в бывшей квартире Достоевского. Где еще ему находиться, как не там, где более всего уместны слова о «слезинке ребенка»?

Так что было от чего заикаться. Да и после хватало поводов. Случалось, Эд начнет фразу и не может ее одолеть. В армии однополчане прямо-таки ждали построения. Бывало, все уже заканчивается, а тут Эд произносит: «Я».

После демобилизации Берсудский решил покончить с недугом. Услышал, что в Харькове некто Дубровский лечит гипнозом. Нашел денег, приехал, отправился на прием. Логопед долго колдовал, но помочь не смог. Так что в Питер он вернулся ни с чем.

Ничего не оставалось, как уйти в тень, чтобы не мозолить глаза. Когда тебя не замечают, можно позволить себе многое. В одиночку даже плакать не стыдно.

С ранних лет Берсудский делает скульптуры. В детском саду Эд лепил из хлебного мякиша и был наказан за неуважение к хлебу. Слава богу, ему не отбили охоты — в двадцать с небольшим он записался в студию при ДК Кирова. Правда, долго не задержался — больно настаивали здесь на правдоподобию, а ему хотелось чего-то другого.

Потом было несколько курсов лепки и рисования, а также Эрмитаж, библиотеки, поездки в Таллин, Ростов, Юрьев-Польский. Мир — в том числе и мир искусства — становился больше. Что сделать для того, чтобы с полным правом сказать: «Я — художник»? Даже эту короткую фразу заика произнесет неуверенно.

Прежде чем завершить рассказ об этом этапе, вспомним один кинемат. Редко Эд так автобиографичен, как сейчас. Даже время указано: «1946». Много случилось в этот год, но почему-то запомнился безногий на тележке — он ехал за трамваем, уцепившись за него крючком.

Было в этом что-то печальное, но и победительное. Инвалид демонстрировал свою лихость городу и миру. Вроде как говорил: хотя я лишился ног, но бесстрашия не потерял!

Через пятьдесят лет после того, как на углу Марата и Невского Эд замер в изумлении, он вырезал эту фигуру. Несчастный лихо крутит ручку, а тележка устремляется вперед. Впечатляют большие шурупы, соединившие локтевые суставы. Да и весь он сделан грубовато. Так на то он не маршал, а солдат.

Позади тележки обезьянка держит в лапах вентилятор. Впереди — сама смерть. Туда и сюда раскачивается череп козы, позванивают колокольчики. У инвалида красным горят глаза, а сам он освещен нереальным зеленым светом.

Так они и пребывают вместе — инвалид, обезьянка, смерть... Ну и 1946 год, которого не существует отдельно, а только в этой компании¹.

После того как мы сказали о том, что осложняло жизнь Эда, перескочим через ряд лет. Порадуемся, насколько там все иначе.

Как говорилось, в девяносто первом году кинематы начали гастролировать. Зрителей было столько, сколько у Эда и Тани не было никогда. Причем всем хотелось выразить свои чувства. Кто-то поднимал большой палец, другие подходили с разговорами.

Одна зрительница поинтересовалась происхождением автора кинематов. Больно не похоже то, что он делает, на так называемое современное искусство. «В каком веке родился Мастер?» — спросила она у Тани, а та ответила: «Не знаю когда, но он жив до сих пор».

Действительно, есть в Эде сходство со старинными мастерами. Теми, что создали часы собора в Праге или химеры Нотр-Дам. Да и сам он напоминает мастерового: говорит мало, работает много. Слишком болтливым собеседникам предпочитает тишайшие железки и деревяшки.

Когда Берсудского донимают поклонники, он обычно опускает голову и молчит. Говорите: «Beautiful»? Пусть будет «Beautiful». Вряд ли это слово что-то добавит к его работам.

Это сейчас он привык, а тогда такое говорили впервые. Поэтому он слушал с интересом. Однажды даже решил что-то сказать алаверды.

Таня переводит, но про себя чувствует — случилось что-то очень важное. Пока не знает, что именно, но вскоре понимает, что он больше не заикается.

Может, потому его речь и текла свободно, что благодарность подействовала целительно?

В детстве Эд побаивался воспитательницы, в юности — своей тени, а сейчас он ничего не страшился. К его голосе появилась твердость. В нем слышалось то самое, уже упомянутое: «Я могу говорить».

Ночью в «Шарманке»

Теперь отправимся в «Шарманку» сегодняшнюю. Благо, мы уже знаем, что надо сделать для того, чтобы перенестись вперед или назад. Несколько поворотов ручки, и мы опять в Глазго.

¹ Этот кинемат можно увидеть в Петербургском музее неофициального искусства. Он сделан к юбилею сквота на Пушкинской, 10. Эд привез его в двух чемоданах из Шотландии, собрал из деталей и установил. На сегодня это единственная его большая работа, которая находится в России.

Вот уже много лет «Шарманка» — местная достопримечательность. Во всех путеводителях города так и говорится: сперва вы идете в кафедральный собор, а затем смотрите кинематы.

Это, так сказать, парадная сторона, но существует и закулисье. В театре есть все для того, чтобы отсюда не выходить месяцами: кухня, душ, мастерская, полки с книгами. Так и жили Эд и Таня в первые годы после переезда в Шотландию. Совсем не было времени добраться до квартиры.

Несколько раз я ночевал в «Шарманке», так что могу оценить эти ощущения. Мне досталось место не в мастерской и даже не на кухне, а прямо на сцене. Вернее, собственно сцены тут нет, так как зрительный зал представляет большую комнату.

Лежишь на скамье работы Тима Стэда (этого мастера мы еще не раз вспомним), а кинематы окружают тебя со всех сторон. Просыпаясь, я видел деревянные рожи, перемигивался с ними и опять погружался в сон.

Так «Шарманка» открывалась мне не только как зрителю. Да еще в такой час, когда, отработав, творения Эда остаются наедине с собой и даже не подозревают, что за ними кто-то подсматривает.

Конечно, полноценная жизнь театра начинается с утра и в час спектакля достигает пика. В это время фигурки выходят из тени и показывают все, на что способны.

Те же и бегемот

Когда мне было три-четыре года, мама или папа отводили меня в детский сад. Наш путь лежал мимо цирка. Чаще всего по дороге не происходило ничего, но однажды мы видели, как дрессировщик Дуров прогуливает бегемота. Представьте, идет дрессировщик, а впереди этакая темная куча. Все это на фоне чугунных оград и прекрасных зданий.

Словом, бегемот практически «в Летний сад гулять ходил». Может, до сада он не добирался, но направлялся в эту сторону. Как видно, Дуров чувствовал важность момента. Поэтому для всего бытового у него был ассистент. Когда большая куча производила кучу поменьше, он поворачивался и говорил:

— Золотарев!

Потом я понял, что Золотарев — это не фамилия, а род занятий. В девятнадцатом веке производное от бегемота именовали бы «ночным золотом», а того, кто следит за чистотой, «золотарем».

Помнится, от этих чудес я потерял сон. Ну, а когда засыпал, то опять видел Дурова и бегемота. Вновь все повторялось: впереди, гордые и величественные, эти двое, а за ними — человек с ведром и совком.

Почему я это вспомнил? Потому что в детстве Эда тоже хватало событий. Вот хотя бы следующий за трамваем инвалид. Были и художественные впечатления. Сколько раз он смотрел «Золотой ключик»! Видно, догадывался, что вскоре сам станет папой Карло. Будет извлекать из дерева то, что больше не видит никто.

Словом, вкус к превращениям проявился очень давно, а потом питал его творчество. Кажется, тут цепная реакция. Сперва сам испытываешь это чувство, а потом им заражаешь других людей.

Когда в последний раз его зрителей посещало что-то такое? Когда увидели бегемота в районе Фонтанки? Или когда играли в солдатики? Радовались тому, что войска только идут на штурм, а ты уже знаешь, кто победит.

Ребенку неважно, кто прав. Его интересует процесс. Ощущение себя первым лицом. Может, даже богом, творящим новую реальность.

Кстати, я в детстве предпочитал игрушкам кастрюли. Они гремели, и это обозначало все — от победы до поражения, от жизни до смерти. Вернее, грохот сопровождал любое событие, а остальное было делом воображения.

Вот и в «Шарманке» вроде как играешь. Скидываешь с себя тридцать, сорок, пятьдесят лет. Хоть не гремишь посудой и не командуешь пластмассовыми войсками, но удивляешься и соперживаешь.

Спектакль

Начнем «от печки». Или в данном случае со входа. «Шарманка» располагается не отдельно, а вместе с десятком других культурных заведений. Чтобы попасть сюда, надо подняться на второй этаж и миновать десяток дверей.

Итак, вы вошли. Теперь подождите, пока свет коснется первого кинемата, и он поведаст свою историю. Затем заговорят второй и третий... Когда выскажется последний, это будет финал спектакля.

Кстати, внутри большого пространства огорожено маленькое, примерно по размеру комнаты Берсудского в Ленинграде. Конечно, шотландские зрители ничего этого не могут знать. Лишь питерские знакомые помнят, что кинематы стояли так тесно, что оставалось место только для раскладушки.

Угадываете мысль? Кинематы сменили место жительства, но вроде как не сдвинулись с места. Возможно, и сейчас им кажется, что за окнами Ленинград. Словом, тут тоже, как в шарманке, движение по кругу. Вперед, а на самом деле назад.

Казалось бы, судьба Эда и Тани свидетельствует о пользе перемен, но общая интонация театра скептическая. Если деревянной фигурке мерещится выбор, то это иллюзия. Пусть даже она натягивает нити или заводит механизм, но ситуацией управляет другой.

Вот кинемат «Время крыс». Казалось бы, тут всем заправляют хвостатые. Прежде всего та, что в цилиндре. Уж очень уверенно она крутит ручку. Несколько поворотов, и одна ее соплеменница звонит в колокола, а другая печатает на пишущей машинке.

Нет, все же не так. Конечно, прав у нее больше, чем у машинистки и звонаря. Что касается главного, то вот же он — крысы со всех сторон облепили слепого крота. Он забавно шевелит усами, добродушно позволяет эту вакханалию.

Итак, крыса в цилиндре возомнила себя единственной, но мы-то понимаем, кто чего стоит. Правда, похоже на то, как это бывает с людьми? Чем больше они надувают щеки, тем быстрее сдуваются.

Эд говорит об этом безо всякой ажиотации. Вот так же всегда спокоен Даниил Хармс. Когда мы читаем: «Из окна вывалилась третья старуха», то думаем не о «скорой помощи» и переломанных конечностях, а о тщете всего земного.

Отступление о предшественнике Берсудского — Хармсе

Опять поиграем в игру «Шарманка». Сперва повернем в сторону, а затем вернемся назад. Поговорим о том, как возникает вторая реальность. Как художник использует разные материалы или не использует ничего. Творит из самого себя.

Странно назвать Хармса и ничего не объяснить. Да и вспомнить было бы правильно. Лет тридцать назад я разговаривал с вдовой Бенедикта Лифшица Екатериной Константиновной. Тогда я впервые понял, что такое обэриутство.

Жила Екатерина Константиновна в небольшой питерской квартирке. По стенам висели акварели ее приятельницы Ольги Гильдебрандт. Казалось бы, в тридцатые годы

актуальны барышни в красных косынках, но тут изображались дамы в кринолинах. В реальности их уже не существовало, но зато они являлись во сне.

Словом, в этом доме ценилось все сочиненное. Поэтому Хармс был здесь любимый гость. Ведь он только и делал, что выдумывал. Для этого годилась не только бумага, но улица и потолок.

Сейчас бы все это записали по разряду «перформансов». Прежде всего это был Хармс. В том, что Даниил Иванович делал, он непременно отражался.

Казалось бы, что можно извлечь из прогулки? А конкретно из того, что всякий раз путь лежит мимо аптеки? Большинство тут ничего не увидит, а он превратил в игру.

Одно время Хармс приходил каждый день — и они шли погулять. Когда доходили до аптеки, Даниил Иванович говорил: «Извините, мне тут надо полежать» — и укладывался на асфальт.

Это испытание Лифшицы прошли с честью. Не спрашивали, что это значит, а тихо стояли, будто ожидая завершения ритуала. Затем он поднимался, и они двигались дальше.

Конечно, не все настолько мудры. Бывало, звали милиционера. Когда тот появлялся, все трое бодро шагали по улице.

А вот еще одна история. Однажды Хармс создал нечто вроде кинемата. Его творение не двигалось, но, так же как настоящие кинематы, представляло сумму. Сочетание того, что вроде как не должно соединяться.

В куче принесенного с помойки хлама особенно выделялись спинка кровати и велосипедное колесо. Все это Даниил Иванович присоединил к люстре. Из источника света она превратилась в источник угрозы, чуть ли не в дьявольскую машину.

По отдельности эти вещи ни на что не претендовали, но совсем другое, когда они вместе. То, что было выброшено за ненадобностью, вдруг стало незаменимым. Если угодно, «лучшими словами в лучшем порядке».

Удивляет сходство не просто с поэзией, а именно с текстами Хармса. Ясно, что его произведения не мягкие и теплые, а железные и деревянные. Он сам об этом сказал так: «Кажется, эти стихи, ставшие вещью, можно снять с бумаги и бросить в окно, и окно разобьется».

Не значит ли это, что начальство сразу должно реагировать? Так принял меры домоуправ. Не прошло и получаса, а он интересовался: «Не настоящая ли это бомба?» — и карабкался по приставной лестнице.

Домоуправ убеждался, что это только спинка кровати и только колесо. Правда, ослабиться ему не давала такая мысль. Конечно, это лучше взрывного устройства, но тоже ничего хорошего! Сколько раз Хармсу говорилось, что лучше не выделяться, а он не угомонится.

Шарманка, возвращай нас назад. Кстати, мы не так далеко ушли от творца кинематов. Эд не признает ограничений, а как раз об этом уличная акция. И уж точно он согласится с тем, что все нужное для творчества можно найти на помойке.

Какова мораль? Что ж, пожалуйста. Для того чтобы открылись поэтические возможности, надо преодолеть прагматику. Тогда у спинки кровати и велосипедного колеса начнется новая жизнь. В хозяйстве они уже не пригодятся, но зато смогут воспарить.

Продолжение спектакля

Продолжим путь по «Шарманке». Следующий кинемат — «1937, или Замок». Речь не только об этом годе, но отчего бы болезнь не назвать так? Пусть даже она проявилась раньше и еще долго не оставляла потом.

Вот башня, похожая на кремлевскую. На всех этажах вершится неправый суд. Режут, рубят, бьют. Опускается и поднимается что-то железное. Маятник, похожий на меч, ходит туда и сюда.

Казнь совершилась, четыре головы надеты на колья. Да это же Мандельштам, Бабель, Цветаева, Михоэлс! Конечно, в реальности были самоубийство, смерть от голода, выстрел в затылок и автокатастрофа, да и случилось это в тридцать восьмом, сороковом, сорок первом, сорок восьмом. Так что «1937» — это название нарицательное. Оно вместило в себя многое, вплоть до средневековых казней.

Неужели тот, кто попал в эти жернова, отсюда не выберется? Оказывается, свет есть. Едва он коснулся голов казненных, и ангел совершил круг вокруг башни. Значит, Бог не оставил этот дом бедствий — и направил своего представителя.

Смерть для Эда — важный персонаж. Речь не только о черепах и скелетах, которых немало в его работах, но в теме прощания. Сильнее всего она звучит в кинемате «Титаник», посвященном памяти Риты Климовой.

Про «Титаник» ничего объяснять не надо, а Климову мало кто помнит. Тем важнее сказать о ней несколько благодарных слов. Мало кто, как она, любил литературу. Не делила на разрешенную и запрещенную, а лишь на хорошую и плохую.

Почему-то выходило, что хорошая литература чаще всего запрещена. Чтобы познакомиться с ней больше людей, надлежало сделать закладку. Отправить в мир еще четыре копии.

Вот настолько мы были литературоцентричны! Хорошо еще, изобрели пишущие машинки. А так бы книги, как в Древней Руси, распространялись путем переписывания.

Риту сослали на три года в Читинскую область — подальше от хороших книг и средств распространения. Ровно столько оставалось до перестройки. Так что выпустили ее прямо к празднику гласности. Казалось бы, ей следует быть в первых рядах, но вышло иначе.

Советскую власть Климова — и такие, как она, — победила, но с болезнью не справилась. Она начала лечиться в России, а в апреле девяносто четвертого по приглашению Эда и Тани отправилась в Шотландию.

В первое время действительно появилась надежда. Домой Рита возвращалась с чемоданом лекарств для химиотерапии.

Врачи предполагают, а Бог располагает. Рите обещали пять лет жизни, но умерла она через три месяца.

Вот о чем кинемат «Титаник». При этом тут нет ни фигурки женщины с книгой, ни решеток тюрьмы. Вообще это не только о ней, но о том, что такое смерть и утрата.

Звучит музыка, вращаются колеса и какой-то непонятный бочонок, мерно колыхаются крылья... На одном месте крутится человек с подозрительной трубой, которая почему-то обращена не вдаль, а на центральную ось.

Может, этот, с трубой, капитан «Титаника»? Неважно, куда смотрит труба, ведь корабль идет ко дну. Да и одежда уже не обязательна. Поэтому все герои голые, как и должно быть перед Страшным судом.

Капитан тоже голый, но на нем фрак и цилиндр. Это уже не имеющие смысла знаки власти. Все равно что фуражка и китель.

Если «Титаник» опускается под воду, то пассажиры вскоре попадут на небо. Поэтому корабль оснащен большими крыльями, а капитан — маленькими. Он ритмично скидывает руки, словно пытаясь взлететь. Ну а как иначе? В таких ситуациях ему надо быть впереди всех.

Не забудем про колокол с надписью «Титаник». Он звонит по тебе — вернее, по всем нам. Так вышло, что название корабля стало именем трагедии. Только его произносишь, и уже ничего объяснять не надо.

Откуда же ощущение гармонии? Может, дело в дистанции? Минувшее видится словно со стороны. Смотришь на эти кружения — и настраиваешься на философский лад. Думаешь, что каким бы ни был финал — таким, как у «Титаника» или как у бедной Риты, — все случится в положенный час.

Не знаю, видел ли Эд два резервуара рядом с нью-йоркским музеем памяти 11 сентября. По стенам струйками стекает вода, достигает следующего предела — и в нем исчезает. Так показаны падение и гибель. Оба эти состояния бесконечно длятся, напоминая о том, что навсегда останется с нами.

Американскую трагедию Берсудский пережил в посвященном ей кинемате.

Человеческий скелет вращает колесо. Повернул раз, и спускающиеся веревки стали подрагивать. Подрагивают и прикрепленные к веревкам фото. Вот они, будущие жертвы теракта. Одни серьезные, другие улыбаются. Не догадываются, что их жизни висят на ниточках и скоро оборвутся.

Благодаря вертикалям — веревкам и фото — возникает образ небоскребов. Или щеки, по которой стекает слеза. Или небоскребов — и слезы. А подрагивание веревок имеет сходство с человеческим трепетом. Веревок тут столько, что кажется, трепетом охвачено все.

В работах Берсудского много печали. Тем неожиданней его трактовка старинной истории. В кинемате «Виктория» нет смерти и воскресения, но есть преодоление. Попытка превратить хаос — в космос.

Тот, кто вскоре станет Богом — маленький, хрупкий, в прямом смысле — дробящийся, — подвешен среди нитей и железных колес. Двигутся не только руки и ноги, но плечи и локти. Он то ли извивается в смертной муке, то ли танцует.

На голове у него кипа. Перед нами не только создатель религии, но наследник более древней веры — так же как его сородичи соединяют молитву и танец, так он движением преодолевает боль.

Преодоление — это и тема «Вавилона». Действия его персонажей не логичны, но они полностью ими поглощены: король крутит колесо, лошадь кланяется, Сталин поднимает и опускает топор... Почему картина коллективного безумия выглядит празднично? Может, дело в том, как герои выглядят? Кажется, одежду, корону и топор они позаимствовали в реквизиторской.

Видно, тут спасаются яркими красками, так же как в кинемате о перестройке спасались хорошим настроением. Ну а ангел над кремлевской башней, несущий надежду? Вроде ему неоткуда появиться, но он свободно парит.

Еще вспомним того, кто в кипе, — ритмически двигаясь, он обретает ту цельность, без которой нет ни человека, ни Бога. Да и кинемат памяти Риты Климовой утешает. Он говорит о том, что есть смерть, но существует и память, а значит, никакая ситуация не окончательна.

Как видите, здравый смысл всегда проигрывает. Только мы в чем-то утвердимся, а тут неожиданный поворот. Этот вывод подтверждает и судьба Эда и Тани. Сколько у них случалось безвыходных ситуаций, но выход находился всегда.

Часы «Миллениум». Введение

У нас дома на холодильнике есть магнитка с кинематом «Миллениум», созданном Эдом для шотландского Национального музея в Эдинбурге. Когда она попадается мне на глаза, я думаю: надо же! Только ему такое могло прийти в голову!

Магнитка напоминает о том, как двадцатый век менялся на двадцать первый. В честь такого события следовало если не построить собор, то сделать что-то, что будет подобно собору.

От настоящих соборов «Миллениум» отличает то, что он в то же время является часами. А еще рассказом в картинках. За считанные минуты перед нами проходят мгновения ушедших веков.

Не случайно возник этот замысел. Многие работы Эда представляют нечто, устремленное вверх и поделенное на этажи. То есть практически собор.

Еще кинематы имеют сходство с вертепом, и «Миллениум» не исключение. Существовал когда-то такой кукольный театр, в котором деревянные фигурки рассказывали о «божественном». Тут сходны не только конструкции, но и масштаб. Всякий раз Эд хочет «закрыть тему».

Чтобы построить средневековый собор (так же как и вертеп), нужна работа артели. Чтобы каждый отвечал за что-то свое, а все вместе работали на общий замысел. Вот и «Миллениум» создавала такая артель. Деревянные конструкции делал Тим Стэд, вставки из цветного стекла — Аника Сандстром, общая концепция принадлежала Тане и жене Тима Мегги.

Эд заселил это пространство фигурками. Он был тот, кто сказал: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их.

И стало так.

События башни

«Миллениум» разделен не только этажами, но и цветом. Внизу дерево кажется обгоревшим, а сверху едва не сверкает от свежести. Кажется, одно вырастает из другого. Умирает и — воскресает опять.

Как всегда у Эда, есть тут главный персонаж. На сей раз эта роль отдана не крысе, а обезьяне. От обитательницы джунглей она отличается тем, что у нее женские груди и бусы на шее... Когда это полуживотное (получеловек?) поворачивает ручку, башня приходит в движение.

Следующий этаж принадлежал бы большим и малым колесам, если бы не фигурки Чаплина и Эйнштейна. Один взмахивает тросточкой, другой играет на скрипке. Их присутствие успокаивает. Появляется уверенность, что как бы ни были грозны железные механизмы, эти двое окажутся сильнее.

Да, есть еще маятник, состоящий из железного стержня и круглого выпуклого зеркала, в котором постоянно кто-то отражается. Так что только скрипка и тросточка верны себе. Одна всегда будет играть, а другая взлетать вверх.

Убедившись в преходящести всего на свете (прежде всего нас, зрителей кинемата), поднимемся чуть выше. Тут находится пространство геополитики. Хвостатые Гитлер и Сталин расположились по обе стороны двуручной пилы. Они так поглощены этим занятием, что ничего не замечают. Только мы видим все — на этом этаже распиливают, а на другом мучаются и страдают.

Вот двенадцать фигурок — жертв минувшего тысячелетия — на вращающемся круге. С каждым поворотом какая-то из них приближается. Один привязан к колоколу, другой прикован к кресту. У третьего нет атрибута веры. На нем интеллигентские очки, и, возможно, потому он посажен на кол.

В фильме BBC «Миллениум» сравнивают с памятником Третьему интернационалу. Что ж, мысль верная. И не только потому, что одно творение начинается двадцатый век, а другое завершает.

Возьмем татлинский неосуществленный проект. Это тоже своего рода кинемат, то есть нечто такое, что раскрывается в движении. Железные конструкции, подобно рулону, то ли сворачиваются, то ли разворачиваются, а затем останавливаются. Зато

вращаются постройки внутри «рулона» — первое со скоростью одного оборота в год, второе — в месяц, третье — в день.

Обычно памятники посвящены прошлому, а этот настоящему и будущему. Предполагается, что в этих зданиях будут располагаться органы управления. А так же то, что делает их властью, — можно ли без телефона и телеграфа руководить огромной страной?

Почему ничего не вышло? Уж больно много противоречий с новой реальностью. Представьте, башню построили, а тут настали тридцатые годы! Как бы она вписалась в новые времена? Может, только вращающиеся здания были бы актуальны. Тем, кто понимает, они бы говорили о том, что «мы живем, под собою не чуя страны».

Если Татлин прозревает что-то впереди, то Эд знает, что там нет ничего хорошего. Только люди придут в себя, и вновь начинается что-то неприятное... И так — десятилетиями. Все было бы совсем грустно, если бы не усилия отдельных людей.

О Чаплине и Эйнштейне уже было сказано. А это Пьета, вариант Берсудского. Обычно ее изображают с телом сына на коленях, но та, что стоит на вершине «Миллениума», держит его на вытянутых руках.

Это единственное, что она может для него сделать. Он опять для нее маленький, неспособный обойтись без ее участия. Не зря пеленание младенца похоже на обращение в плащаницу.

Трудно? Да практически невозможно. Мало того, что ноша непосильна, но она стоит на небольшом шаре и каждую секунду может соскользнуть.

Если отойти подальше от кинемата, то видишь вертикаль и горизонталь. История воскресшего накладывается на судьбу его матери и образует крест.

Сколько раз армии проигрывали, но кто-то один побеждал. Порой хватало единственного жеста — например, такого, как у героини «Миллениума».

Может, так начинается то, что Пастернак назвал «усилием воскресения»? Ведь это так естественно: сперва этого захотела она, и тогда у него получилось?

Такую башню создал Берсудский со своими соавторами. Незадолго до окончания работы за его стремления пришел счет. У Эда случился микроинсульт. Что он сделал, выйдя из больницы? Вырезал еще четыре фигурки, и композиция была завершена.

Платил и основной соратник Эда Тим Стэд. Ему никак не удавалось справиться с болезнью. Так что на свете его держал только «Миллениум». Он так и планировал — сперва закончить, а потом — будь что будет.

О мастере Тиме Стэде, созданных им стульях и стихах, речь впереди, а пока два выпускника питерского Театрального института едут из Гервана в Глазго. В окне — ровно подстриженные поля другой страны, а их мысли обращены к Ленинграду семидесятих.

ИНТЕРМЕДИЯ ПЕРВАЯ. РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЕРВАНА В ГЛАЗГО

Наш препод — Барбарис

Если отступление предполагает другой поворот темы, то что говорить об интермедии? Она может завести совсем далеко. Впрочем, не спешите. Бывало, отойдешь в сторону, и открывается новый вид. Не то чтобы ты об этом не догадывался, но теперь окончательно утвердился.

Это сочинение не ограничено одним временем и пространством. Вы уже заметили, что мы постоянно в движении. То чуть вперед, то сильно назад. Вот и сейчас свернем с магистрали. При этом не уйдем от основной темы.

В разговорах мы с Таней не раз припоминали шарманку. Не только потому, что в честь нее назван театр, но из-за того, что это слово скрывает. Жизнь действительно любит потоптаться на месте. Что-то сдвигается, а потом возвращается на круги своя.

Вот об этом мы говорили: помнишь нашего преподавателя зарубежной литературы? Это о том же. Правда, не о том, что шарманка талдычит один мотив, а про сбой. Казалось, Барбарис должен оказаться в лагере, но ему повезло.

Барбарис — сокращение от «Борис Александрович» и в то же время напоминание, что он любил сладкое. Его фигура свидетельствовала, что он в этом себе не отказывает. К тому же это читалось на его лице. Если книга вызывает такое выражение, словно у него за щекой леденец, то что говорить о конфетах?

Итак, мы переглядывались с овцами (отчего бы им не видеть людей в поезде?), но наши мысли были далеко. Как бы удивился наш преподаватель, если бы узнал, где мы его обсуждаем! Кстати, он сам попал за границу только в старости. Правда, за жизнь так подготовился, что мог водить экскурсии по европейским столицам.

Пожалуй, я не назову фамилию. Хотя бы потому, что это избавит меня от рекламаций. Всегда найдется какая-нибудь ученица, которая скажет:

— Нет, это не он.

Есть, конечно, сколько-то человек, которым достаточно имени-отчества. С каждым годом этих людей все меньше. Одни сменили профессию, а другие просто умерли. Не посмотрели на то, что им, казалось бы, не скоро.

Барбариса мы ценили едва ли не больше других педагогов. Хотя он нас не очень-то замечал. Даже на лекциях обращался не к нам, а к кому-то за нашими спинами. Его жест словно призывал невидимого слушателя: эй там, далеко! Не видите, что я к вам обращаюсь?

Почему мы не стремились на его занятия? Не из-за того, что он был к нам не внимателен. Это можно было перенести, если бы он не был жаворонком. Лекции назначались на то время, когда многие из нас не протерли глаза.

Как бы он прореагировал, если бы мы попытались договориться? Наверное, тоже взмахнул рукой, словно вызывая издали своего постоянного собеседника, и переключился на разговор с ним.

Мы решили не нарушать дистанцию, а к ней приспособиться. Пропускали занятия вроде как в шахматном порядке. Перед каждой лекцией договаривались о том, кто на нее пойдет.

Как-то эта участь выпала мне и еще одной студентке. Я пришел, а моя однокурсница проспала. Так что в аудитории нас было двое. Вот, думаю, сейчас будет шуметь! Он посмотрел сквозь меня — так он прежде смотрел на всех нас — и приступил к лекции.

Что я при этом чувствовал? Примерно то же, что Всеволод Иванов, которому читает лекцию Блок. Или я тогда об этом не знал? Как бы то ни было, меня охватывало смущение пополам с призванностью. Краснел я не только оттого, что тут находился, но и потому, что мог здесь не оказаться.

Предполагаю, что если бы не пришел никто, лекция бы все равно состоялась. Так и вижу, как кто-то заглядывает в аудиторию, а Барбарис один. Голос гремит, рука летит... Дверь тихо закрывается, а он, ничего не заметив, продолжает вещать.

Кто только над ним не подтрунивал! Однажды он стал героем капустника. В нем изображалось, как в аудиторию входит лев. Исполнитель этой роли не только правдоподобно рычал, но набросился вполне натурально, чуть ли не взгромоздившись на свою жертву.

Что нашему преподавателю лев или даже танк, если даже комиссии, пришедшей с проверкой, он не смутился?

Как-то заходят в аудиторию несколько человек. Тихонько так постучали, жестами попросили не вставать. Мол, мы как вы. Сядем на задней парте, откроем тетрадки и будем ловить мысли вашего педагога.

Борис Александрович сразу все понял. Сколько таких — тихих и предупредительных — было в его жизни! Поэтому в секунду он совершил кульбит: до появления комиссии он рассуждал о Кафке, а после об Анне Зегерс.

Следует напомнить, что в то время Кафка считался писателем подозрительным, а Зегерс была чуть ли не главным романистом Германской Демократической Республики.

Переход совершился чуть ли не посередине фразы. Несколько минут мы хлопали глазами, но когда прозвенел звонок, смотрели с восхищением. Теперь мы знали, что оборону держат по-разному. Иногда достаточно переключить внимание на другой объект.

Таких примеров сколько угодно. Все они сводятся к тому, что он никогда не забывал об осторожности. Не только вспомнит кого надо, но еще уравновесит размышления словами о «голом чистогане» и «производственных отношениях».

Что ж, понять его можно. В семидесятые мы только начинали, а ему уже ничего не надо было объяснять. Люди его поколения с ранних лет усвоили правило, которое сформулировал один старшина: «Если моча ударила тебе в голову, — утверждал он, — лучше проглоти язык».

Так он жил. Как-то у него выходило быть человеком своей эпохи и в то же время единственным. Если тогда он выделялся, то сейчас таких просто нет.

Его предмет начинался с истоков, а заканчивался через несколько тысяч лет. При этом никаких шпаргалок, все на чистом сливочном масле. Назовет год и число, а потом уточнит, какая в тот день стояла погода. При этом тон у него был заговорщицкий, словно он это не вычитал, а чуть ли не вспоминает.

«Ну как же, как же! — слышалось, к примеру, тогда, когда Барбарис называл 8 сентября 1474 года. — Можно ли это забыть! В городе Ферраре в семье Ариосто появился первенец».

Считать ли его артистом? Кое-какие жесты об этом свидетельствовали. Правда, артист не должен парить над публикой, а он, как уже сказано, был сам по себе.

Вот о чем мы беседуем, когда собираемся своим кругом. Выпьем по рюмочке, подцепим вилкой маринованный гриб и вновь возвращаемся к тому, что обсуждалось тысячу раз.

Как, к примеру, понять такую «квадратуру круга»? Барбарис был точен и доказателен, когда говорил о Сервантесе и Данте, но с Бродским случилась незадача. Тот уже был фигурой неприкосновенной, а он называл его версификатором. От таких слов студенты покрывались испариной, но все же в спор не вступали.

Думаю, когда-то давно наш преподаватель дал слабину. В эпоху суда и ссылки многие отзывались о поэте пренебрежительно, а потом сориентировались. Он слишком уважал себя, чтобы вести себя непоследовательно, и продолжал настаивать на своем.

Другими словами, Барбарис не лез на рожон, но конъюнктурщиком не был. Оставался верен не только правильным, но и неправильным своим мнениям.

Вроде все с ним ясно, а приглядишься — начинаются вопросы. Сколько лет мы складываем этот пазл, а что-то не получается. Думаю, пора с этим смириться. Признать, что если соединить блестящее и тусклое, скрытое и открытое, то это будет он.

Бывают такие гремучие смеси. Прибавьте еще, что он был человеком своей эпохи и человеком культуры, ни от какого времени не зависящим... Чтобы все это стало понятней, перейдем к истории, которая многое объяснит.

Барбарис на пенсии

Борис Александрович еще бы лет сто лет преподавал, если бы не стал слепнуть. Теперь в институт он ездил на такси. Это, конечно, лучше, чем на автобусе, но тут были свои закавыки: он спрашивал у водителя, сколько он должен, но отсчитать нужную сумму следовало ему самому.

Когда же он входил в институт, то тут тоже все было непросто. Прочсть лекцию не составляло труда, но аудиторию без чужой помощи найти не мог. Уж больно много тут этажей и коридоров.

Однажды Барбарис заснул на занятии. Студенты испугались, что ему плохо, и помчались за помощью. Когда с другого этажа прибежал декан, он уже рассказывал что-то интересное. Правда, слушателей было всего двое, но количество, как уже сказано, не имело для него значения.

Конечно, осадок остался. Как у него, так и у руководства. Поэтому его просьбу о пенсии восприняли с пониманием. С тех пор его не видели ни в институте, ни в театрах или музеях. Правда, он постоянно баловал себя тем, что отправлялся в Дом книги.

Можно обойтись без какой-нибудь выставки, но как не поинтересоваться новинками! Это все равно что заядлому пьянице бросить пить.

Любой этап поездки его радовал. Еще из троллейбуса он видел дом, над которым вознесся стеклянный глобус. Входил, шел на второй этаж. Подойдя к прилавку, начинал вглядываться. Названий не различал, но вроде как приобшчался к этому космосу.

Пока есть силы добраться до магазина, все более или менее ничего. Вот когда это станет трудно, можно будет задуматься об окончательном покое.

Тогда я уже работал в институте. Не в том, где мы слушали Барбариса, но от Дома книги тоже недалеко. После занятий я часто сюда сворачивал. Случалось это в разное время, а тут выпал четверг, около пяти часов вечера.

На втором этаже рядом с прилавком стоял наш преподаватель. Через неделю я оказался здесь в это время и, кажется, понял его секрет. Это был день и час исполнения ритуала.

Про себя эти встречи я называл: «У Люси». Когда я входил в зал на втором этаже, Барбарис беседовал со знакомой продавщицей. Случалось, он опаздывал, и у прилавка стоял я. Некоторое время мы разговаривали втроем. Затем он собирался уходить, а я шел его провожать.

Стоять Барбарису было проще, чем идти. Мешало все, начиная от поворотов лестницы до числа ступенек. При этом он размышлял. Эти задачи были настолько разные, что до остановки мы шли минут сорок.

Удивительно, что в положении пешехода он оставался лектором. Если упоминалось что-то неизвестное, то следовала справка. Затем скобка вроде как закрывалась, и он возвращался к основному сюжету. Столь же явной была точка. Она ставилась за секунду до того, как троллейбус подъезжал к остановке.

Петр Губер

Героем одной его истории был Петр Константинович Губер. Сперва Борис Александрович перечислил его книги и вкратце их охарактеризовал. Затем кое-что сказал о нем самом.

Губер был человеком одаренным, но вроде как неосуществившимся. Всю жизнь только и делал, что начинал. Окончил экономический факультет, но экономистом не

стал. Учился на юридическом, но и тут не закрепился. Даже военным в Первую мировую был каким-то неокончательным: не танкист и не сапер, а переводчик и журналист.

Свои впечатления Губер изложил в очерках для американской газеты. Сейчас бы сразу спросили: «Почему американской?», но тогда это никого не удивляло: американцы не были союзниками, но за действиями стран, воюющих с Германией, наблюдали с полным сочувствием.

Потом очерки вышли отдельным изданием. На обложке значился не Губер, а Арзубьев. Тоже мне «секрет Полишинеля»! Такие задачки органы решают на раз. Когда в середине тридцатых он оказался в кабинете следователя, эта книга лежала у него на столе.

После революции Губер старался не высовываться. Темы выбирал далекие от современности. Впрочем, опыт фронтового репортера сказался и тут — в прошлом его интересовали сюжеты самые что ни есть горячие.

Выяснилось, что биография Пушкина тоже в каком-то смысле фронт. По крайней мере, книга Петра Константиновича вышла скандальная. В ней он пытался разобраться, по какому праву в «донжуанский список» попала та или иная особа.

Вот, казалось бы, золотая середина. Губер занимается историей и переводами, а советская власть им не очень интересуется. То есть, конечно, держит в поле зрения, но не досаждают. Так продолжалось до тридцать пятого года, когда ему припомнили американскую газету и парочку неосторожных реплик.

Наказание назначили не самое строгое. Всего-навсего ссылка в Архангельск. Он бы с этим примирился, если бы в городе имелась хотя бы одна хорошая библиотека. Ведь что такое историк без книг? Получеловек и четверть литератора. Право работать у него есть, а опереться не на что.

Авторы бывают разные. Кто-то все необходимое находит в себе, а другому следует наполниться знаниями. Когда он видит, что достаточно, то садится писать свое.

Барбарис дружил с сыном Губера Сашей. Да и вся семья ему нравилась: Петр Константинович, младший сын Костя, дочка Наталья и Елена, жена Анна Аркадьевна. Вспоминая о них, он видел каждого с книгой. Конечно, в этом доме не только читали, но это занятие им подходило больше всего.

Когда Борис Александрович узнал, что Петра Константиновича сослали, он насторожился. Значит, книги могут не все. Если даже зарыться в них по самую макушку, это тебя не спасет.

Губеры разъехались в разные стороны. В ссылку с Петром Константиновичем отравились жена и дочка. Некоторое время в Ленинграде оставались сыновья, но потом началась война.

До этого Костя и Саша считали врагами тех, кто запретил отцу жить вместе с ними, но теперь вырисовался противник покрупнее. Казалось, если с ним справиться, остальные исчезнут сами собой.

Барбарис тоже пошел в военкомат. Всю жизнь он был рядом с Губерами, но сейчас им пришлось расстаться. Каждому определили свой фронт.

Это добавляло переживаний. Весь день бежишь, стреляешь, бьешь немцев. В паузах вспоминаешь своих близких. Мысленно обращаешься к кому-то из них и вроде как разговариваешь.

Еще он мечтал о Питере. При этом видел не Адмиралтейство или Казанский собор, а свою телефонную книгу. А в ней — вся его жизнь! Набираешь любой номер, и прошлое возвращается.

На фронте важнее всего, как лягут карты. Повезет — останешься жив. Род войск тоже имеет значение. Одно дело — пехотинец, а другое — артиллерист. Артиллериста защищает орудие, а пехотинец — и орудие, и солдат.

Трое друзей попали в пехоту, но ранения оказались несущественные. Да и как без них, если постоянно под огнем? Сколько ни пригибай голову, а уберечься невозможно.

Без шрамов тоже не обошлось. Ну и орденов было по числу шрамов. После войны Барбарис долго не снимал форму. Вот, мол, я, словно говорил он, через все прошедший, но все же живой. Да, да — позвякивали ордена, и это обозначало, что теперь у него начинается новая жизнь.

В Питере осуществилось то, что грезились между боями. Нашлась телефонная книга. Ее спасло то, что она такая маленькая. Спряталась в уголке письменного стола и дождалась хозяина.

Книга потемнела лицом-обложкой и покрылась морщинами-царапинами, но цифры отлично читались. Одним номерам он улыбался как старым приятелям, а другие узнавал смутно. Тут ничего не поделаешь: бывало, запишешь номер, а продолжения не случится. В мирное время люди пропадали без повода, а в военное уезжали в эвакуацию или уходили на фронт.

Почему у него не было Сашиного телефона? Скорее, за ненадобностью. Когда видишься почти ежедневно, звонить необязательно. Так уж у них повелось: если очень надо, ждешь на улице, а не очень — заходишь еще раз.

Сейчас ему ничего не оставалось, как отправиться к Губерам. По дороге поиграть в игру: «узнаю — не узнаю». Вот тот дом помню, а этот забыл. Нет, этот тоже помню, но бомбы совсем его покалечили.

До войны ленинградцы казались ему невзрачными. Вот идет какой-нибудь служащий Ленгаза мимо пышных особняков. Сразу ясно, что он здесь по ошибке. Что навсегда тут только Растрелли и Росси.

Теперь город и люди стали похожи. Всем досталось, и каждому нужно участие. Правда, общее настроение благоприятное. Людей, может, меньше, но улицы не пусты. Чаше всего спешат по делам, но кто-то прогуливается. Порой не в одиночку, а парами.

А уж как Барбарис обрадовался, когда встретила компания. Вместе шли не двое, а четверо. Один громко разговаривал и даже размахивал руками. Он уже забыл, как это бывает: все же пять лет его учили вытягивать руки вдоль тела или держать в них автомат.

Наш преподаватель приближался к дому Губеров, и его настроение улучшалось. Вот наконец знакомая дверь. На ней та же медная табличка — хотя она пережила войну и ссылку хозяина, но не потеряла своего блеска.

После ареста Петр Константинович нигде не упоминался, но табличка ничего не скрывала. Так прямо и говорила: «П. К. Губер», словно он все еще известный литератор, а не политический ссыльный.

Почему табличку не постигла участь того, чье имя она носит? Видно, просто не дошли руки. Зато друзьям и соседям мерещилось обещание: «Сейчас его нет дома, — так они читали эту надпись, — но он обязательно вернется».

Барбарис приложил палец к звонку и нажал изо всех сил. Видно, звонок его помнил и откликнулся знакомым треньканьем.

В это время в квартире что-то происходило. Кто-то долго ходил, а потом отстегивал цепочку. Борис Александрович поправил гимнастерку и выпрямился перед дверью, как перед зеркалом.

Вскоре дверь открыл человек в военной форме. Это был не Петр Константинович и не кто-то из его сыновей, но ощущение было такое, что его ждали.

Бориса Александровича жестом пригласили войти. Он сделал несколько шагов и огляделся. Все вроде знакомо, но что-то не так. Куда-то подевались шкафы, стулья, столы. От библиотеки остались пустые полки. Видно, их тоже должны были увезти, но еще не успели этого сделать.

Наш будущий преподаватель увидел в руках военного Сашину телефонную книжку и окончательно пал духом.

Конечно, это была та самая книга. Когда-то они купили две одинаковых в магазине на Невском. Его приятель выбрал коричневую, а он зеленую.

Военный спросил имя и фамилию и стал медленно переворачивать страницы. Посмотрел раз, потом еще. Не нашел ничего среди записей и принялся искать между строк.

На его лице читалось разочарование. Тогда он попробовал подойти с другой стороны — спросил номер телефона и стал снова листать. Дошел до последней страницы и отложил книгу в сторону.

Скорее всего, военный думал о том, что все же они не какая-то банда. Велено руководствоваться телефонной книгой, и он это требование исполняет.

Если бы брали всех, кто сюда приходил, не было бы никаких проблем. Даже этот юноша признал бы свою причастность. Уж вы не сомневайтесь! Все они сперва отмалчиваются, а применишь силу — прямо сыплют фамилиями.

Словом, кто только не признавался. Тут же компания особая. Эти только и делали, что разговаривали. Причем если бы обсуждали роман, получивший Сталинскую премию! Интересовались иностранным, да к тому же норовили прочесть в подлиннике. С этой целью упражнялись в знании языков.

Если мы заглянули в голову военному, то надо сказать и про такую дилемму. Казалось бы, если уж очень надо, впиши телефон сам! Кто-нибудь так и сделает, но у него есть принципы. Он тут не для того, чтобы увеличивать очередь, а ради того, чтобы ее соблюдать.

Военный поразмышлял, вновь повертел книжку и сказал Барбарису: «Идите». Это не значит, что его тут же вычеркнули. Напротив, где надо, появилась пометка: а вдруг им придется встретиться еще?

До дома наш преподаватель едва не бежал. Все ждал, что к нему подойдут, возьмут под руки, попросят в машину. Мол, не желаете ли прокатиться? По крайней мере, в одну сторону обещаем комфорт.

Барбарис вошел в квартиру, зажег свет, лег на диван. Первая мысль была о том, что Саша, наверное, тоже не записал его номер. Так что случись с ним такое, он бы тоже спасся. Это ли не подтверждение, что близкие люди всегда действуют сообща?

Сколько раз пуля пролетала рядом, а он думал: «Не моя». Что-то такое случается и в мирной жизни. Казалось бы, в западню может быть только вход, а вдруг обнаруживается выход. Сам не веришь тому, что оказываешься на свободе.

Как-то наш преподаватель цитировал Мандельштама: «Чудовищна, как броненосец в доке, / Россия отдыхает тяжело». Когда наступила оттепель, стало ясно, что не такая она железная. Запели птички, потекли ручьи. Даже из Большого дома просачивалась информация. Барбарис узнал, что старший Губер умер в лагере, а Саша после войны попал в тюрьму. Так что не зря была эта телефонная книга — записанные в ней люди составили созданную его другом организацию.

Вот на этом я закончил рассказ. Можно было оглядеться по сторонам. В основном пассажиры тихо беседовали. Видно, обсуждали что-то незначительное. По крайней мере, только я повышал голос и размахивал руками.

Я подумал, что было бы правильно, если бы эти люди тоже узнали историю Барбариса. Интересно, как они будут реагировать? Наверное, кто-нибудь спросит: «А где это — Петербург?», другой же не к месту вспомнит Эрмитаж.

Нет, лучше оставить их в покое. Про Питер я еще объясню, а как рассказать про шарманку? Про то, что сто раз она исполнит одну мелодию, но однажды случится сбой, и тогда мы сможем передохнуть.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

На сцене и вне сцены

Чтобы исповедовать культ прошлого, надо быть молодым. Ведь тут нужно воображение. Представьте, Вальтер Скотт сидит за столом, целит перо в бумагу и думает: «Кто сегодня погибнет, а кто избежит опасности?» В нем спорят чувство и долг. Долг велит следовать за фактами, а чувство говорит: то, что ты выдумашь, будет лучше реальности!

Где-то с него спросили бы: король сказал не это, а то! А посмотрите, как он у вас одет! Где его любимая шляпа, которую упоминают источники!

Все это не смущает ни романиста, ни его читателей. Пусть герои говорят то, что придет в голову автору. Что касается шляпы, то к черту шляпу! Куда эффективней, когда голова непокрыта и волосы развеваются от ветра.

Вот почему никто из ловцов блох не удостоился памятника, а монументы автору «Айвенго» стоят по всей Шотландии. Один из них находится в Глазго на Джорджсквер. В центре колонна с писателем на вершине, а вокруг десятков скульптур поменьше. Военный, выигравший битву при Балаклавле... Участник войны с Наполеоном... Премьер-министр, которого никто не помнит по имени... Эта компания существует для того, чтобы мы знали: вот они, а это Он.

Значит, дело не в исторической точности. Куда важнее пример отношения к действительности. С легкой руки Вальтера Скотта Шотландия — это не то, что есть, но и то, что, возможно, было. Здесь ко всему примешивается память о легендарном прошлом. Да хотя бы к ровно подстриженным полям. Шотландцы смотрят на них, и пейзаж продолжается в историю страны.

Может, потому здесь поняли Берсудского? Он ведь тоже сочинитель. Вот как лихо у него получается — возьмет вполне реалистические утюг или кастрюлю и сотворит нечто невозможное. Точнее, возможное лишь там, где этим предметам предстоит жить.

В Шотландии «белых ворон» называют «черными овцами». Их не побивают камнями и не пытаются наставить на истинный путь. Чаще всего называют художниками. Впрочем, можно не писать романы и не делать кинематы. Хватит того, что вы не такой, как все.

Кстати, почему «черные овцы»? Если белые вороны — это оксюморон, нечто почти невозможное, то черные овцы существуют. Конечно, светлых больше, но такие тоже встречаются. Хотя бы по две-три особи на стадо.

Таков первый урок, который Вальтер Скотт преподавал согражданам. Сочиняйте, господа! Если хотите доказать, что существуете, сделайте что-то, что отличит вас от других.

«Черная овца» на то и черная, что сразу бросается в глаза. Отсюда — многочисленные соблазны. Вы видите реакцию и начинаете подыгрывать. С этим связан второй урок. Жить надо не только той жизнью, что у всех на виду, но и той, что внутри.

Речь прежде всего о личном пространстве. О том, что каждый из нас носит с собой (или в себе), и о том, что является местом вашего проживания. О ком-то говорит дом или квартира, а о Вальтере Скотте — имение.

Оказавшись тут, сразу вспоминаешь Пушкина. Хотя квартира на Мойке — не худший вариант, но все же не замок. Ни тебе оборонительных башен, ни коллекции оружия, ни собственной церкви.

Кстати, зачем писателю оборонительные башни? Вряд ли на случай осады критиками и поклонниками. Наверное, это знак того, что тут живет исторический романист. Кому-то важна современность, а его мысли занимают давно завершившиеся споры в королевском семействе.

Так что без башен ему никак. Как бы вы узнали, что хозяин вроде как живет в истории? То есть он, конечно, тут, вместе с детьми и супругой, но в то же время в мире рыцарей, трактирщиков и аббатов.

Каково находиться внутри своих текстов! Ощущать шотландскую историю все равно что дом. Не дом как таковой, а твой собственный. Тот, в котором живешь ты и в то же время твои персонажи.

О личном пространстве говорит и памятник на эдинбургской Принсесс-стрит. Башен тут нет, но есть колонны. Они с четырех сторон держат крышу, а выше поднимаются шпиль.

Это не замок, а, скорее, храм. Ну а в нем писатель — главная святыня. Потому и решено ему больше, чем героям других монументов. Те едва не позируют перед прохожими, а он расположился по-домашнему. Голова чуть вскинута, в руке перо. Ждет счастливой минуты, когда из его мыслей что-то произрастет.

Да, еще у его ног разлегся пес. Симпатичный такой дог, самых благородных шотландских кровей.

У меня скромный опыт наблюдения за известными людьми, но все же один пример могу привести. Как-то в бытность завлитом я приехал на дачу к Владимирову. Оказалось, вечером ему надо в Ленинград. На предложение ехать в поезде Игорь Петрович только ухмыльнулся. Мы вышли на шоссе, он поднял руку, и сразу остановились пять машин. Все прямо-таки рвались везти такого пассажира.

Владимиров выбрал «Волгу», махнул рукой в сторону «москвичей», и мы поехали. Конечно, денег у него не взяли, но он расплачивался разговорами. Всю дорогу его расспрашивали о театре.

Приятно быть звездой, но при этом надо сохранять внутреннюю свободу. Это удалось Вальтеру Скотту в Эдинбурге. Прохожие его разглядывают, а он погружен в себя.

Как это связано с принципами шотландцев? Им тоже хочется быть первыми и лучшими, но не в ущерб частному существованию. Они смотрят на романиста, коротающего время с псом, пером и рукописью, и думают: если он отгородился, то, может, и я так смогу?

Отступление о частной жизни

В первые годы жизни в Глазго у Тани и Эда была квартира и всякие бытовые обязанности, но вроде как между прочим. Все время отнимала «Шарманка». Лишь недавно они озаботились «личным пространством» и даже решили этот вопрос практически.

В Герване был приобретен дом с садом. Если же иметь в виду, что в пяти минутах есть море, то с морем. Ну и, следовательно, с маяком. А также с тем, что они называют «пупочкой» — небольшим крутобоким островом, который при любой погоде виден на горизонте.

Вот чего им не хватало. Тишины, клумб с цветочками. Все это пришло как озарение. А затем прибавилось: мы кое-что понимаем в искусстве, но еще не знаем, что такое сад! И еще такая мысль: как, наверное, хорошо пройтись вдоль берега. Кормить чаек и ждать, когда в воде мелькнет дельфинья спина.

Уж как Жаковская умеет во все внести ясность (об этом еще будет сказано), но существование в большом городе не бывает упорядоченным. Только в Герване наконец понимаешь, что такое правильно организованная жизнь.

Утром Таня спрашивает: «Покормил курей?», что означает: «Покормил птичек?», и они с Эдом расходятся по своим комнатам. Конечно, иногда встречаются и даже кое-что делают вместе, но при полном уважении чужого суверенитета.

Вот почему она сердилась, когда я говорил, что буду обедать только вместе со всеми. Да это же покушение на чужое время! А если ты проголодался, а другие нет? Что ж, бросить все только затем, чтобы составить тебе компанию?

Как видно, это у меня от детского сада. Именно там были получены первые уроки коллективизма. Все делалось сообща: ели, играли, ходили гулять. Только отвлечься на что-то постороннее и сразу получаешь подзатыльник.

Да и в пионерском лагере доставалось, и опять же не без причин. Такие, как я, только мешают. Представьте, все идут строем, а двое-трое постоянно спотыкаются.

Существует русская идея, и, наверное, есть идея английская. На эту роль может претендовать английский газон. Триста лет травинки подтягивались, старались держаться одной линии и все же образовали ровную поверхность. Так здесь формируются внутренние правила. Они не являются готовыми, а вроде как прорастают.

Если в России предпочитают коллективность (прежде сказали бы — «соборность»), то здесь ценят «privacy». Частная жизнь тут регламентирована едва ли не больше, чем у нас общественная. Такое положение утверждалось долгое время и наконец стало нормой.

Словом, существует право на разные свободы, а есть право на «личное пространство». Вы его не лишаетесь, даже обзаведясь семьей. Разрешается иметь секреты не только от жены или мужа, но собственный бюджет. Потому вы не прячете деньги за бачком в сортире, а гордо помещаете на счет в банке.

Многие наши привычки шотландцы воспринимают как покушение на «отдельность». Например, манеру заходить в гости без предупреждения. Для того чтобы это сделать цивилизованно, надо долго вести переговоры. Когда все условия будут согласованы, вам назначат день и час.

Ну и людям, страдающим диабетом, здесь живется легче. Вообще-то, я не люблю говорить на эту тему, но в Шотландии иначе нельзя. Это первое, о чем следует сказать официанту. Если он проигнорирует вашу информацию, то в другой раз вы встретитесь в суде.

Существуют глобальные права, но есть такие крохотные, как право на болезни. Или упомянутое право иметь заначку. Если следовать этим принципам, то вас перестанут «доставать» (говорят, это слово произошло от фамилии Достоевского). Ну и вы не будете вести изматывающих разговоров.

Вот почему здесь любят Оскара Уайльда. Прямая спина, взгляд через монокль, каскад уколов... Вот действительно воплощение отдельности! Такого человека в России назвали бы лишним, а тут он самый необходимый.

Эти принципы распространяются не только на подобных людей. Если вы не высокомерный денди, а, к примеру, ворона, ваша независимость будет защищена.

Да, да, ворона. Причем не какая-то прикормленная, а живущая сама по себе. Где-то в других местах ваша свобода является приговором — если вы перестаете летать, то вам не поможет никто.

В шотландском «Обществе по предотвращению жестокости к животным» решили, что все живое может рассчитывать на понимание. Пусть вы жили как вольная птица, но стоит вам заболеть, вас будут лечить так же, как самую благополучную кошку.

Как это происходит? Вы идете по улице и видите больную ворону. Прижатые к тельцу крылья чуть подрагивают. В глазах читается: я уже не надеюсь на помощь. Сколько наших соплеменников погибли потому, что люди считали себя выше животных.

На сей раз будет иначе. Вы говорите: «Потерпи, друг» — и набираете телефон. Затем появляется «скорая помощь». Где больной? Вот он убегает. Совсем не верит в то, что ему желают добра. Что ж, врач не гордый. Поймает, перевяжет лапку. Если помощь больше не требуется, отпустит восвояси.

Как видите, в Шотландии не считают независимость достоянием немногих. Потому у здешней вороны гордыни не меньше, чем у Оскара Уайльда. Вот как вытягивает шею, крутит головой! Что ж, право имеет. Еще утром ей казалось, что все пропало, но тут явился Бог на машине, и силы появились опять.

Менеджер и художник

Жизнь в Глазго рассчитана по минутам, а в Герване времени слишком много. Состояние — расслабленное. Люди ленятся ходить по улицам и предпочитают сидеть дома. Появятся один или двое прохожих — значит, в холодильнике кончилась еда, и они спешат в магазин.

Таня всегда найдет собеседников. Можно поговорить о «Шарманке», садовом хозяйстве, местной администрации. Я уже не удивлялся, что все тихо ждут поезда, а она уже с кем-то беседует.

Следовательно, Герван — это мы сами. Надо только захотеть, и город станет не тихим и маленьким, а шумным и большим.

В отличие от жены, Эд больше молчит. Куда красноречивей он в своих работах. Причем не только в тех, что создаются из дерева или железа. Случается, что-то напишет. Эти заметки, конечно, не кинематы, но что-то общее есть.

Очень важно одно признание. Оказывается, он режет из дерева птиц и животных, а представляет людей. Бывает и наоборот. В одном его тексте Таня — лошадь, а в другом — пчела. Нечто громоздкое — и практически невесомое. Правда, в каждом из этих обличий она занята тем же, что и всегда: связывает, уговаривает, пытается сделать лучше.

«Я обратился за помощью к своей артели, во главе которой стояла лошадь по имени Татьяна — обыкновенная лошадь с четырьмя ногами, одной головой и одним хвостом, но с абсолютно нечеловеческими способностями. Она гениально координировала усилия человеческих душ, в том числе — душ усопших. Кроме того, она лихо стучала копытами по тому, что позже получило название компьютера, вела бухгалтерию, лаяла на заказчиков, таскала бревна и по ночам читала Бердяева».

А это из письма Тиму Стэду (осталось немного, и о нем будет глава). Много лет нет на свете автора лучших в мире столов и стульев, а Эд с ним не наговорится. Рассказывает о жизни и задается вопросами вроде такого: «Кстати, сообщите, на какой звезде ты обитаешь? От Сатурна направо или налево?» Вот тут он сообщает, что «Татьяна превратилась в пчелу. Летает по саду, сажает, пересаживает, удобряет, вскапывает, опыляет. Кормит птиц, и иногда мне перепадает».

Следует сказать, что все так и есть. Имеют место и усилия тяглогового животного, и скорости повсюду снующего насекомого. Эти свои заботы Таня называет «менеджментом». Что касается ее прежних занятий — режиссуры и критики, то она о них вспоминает редко. Зачем писать статьи или ставить спектакли, если можно организовать саму жизнь?

Если у Тани что-то не выходит, она мрачнеет и погружается в себя. В ее «Я решаю эту проблему» нет ничего похожего на чиновничью отписку. Скорее вспоминаешь божественное: «Да будет свет».

Вновь повторю — круг ее забот очень широк. Прежде всего «Шарманка». Постоянно чреватые ремонтom произведения Эда. Ну и дом с садом. Здесь надо быть особенно внимательным. Уедешь дня на два, а гля тут как тут. Берешь опылитель, и растения снова цветут и пахнут.

Вместе с насаждениями в саду выросли постройки — в одной находится мастерская Эда, а в другой Танин «офис». Так она именуется большой куб, открывающийся с двух сторон. Это именно то, что нужно для ее астмы: тепло, сухо, воздух гуляет свободно. К тому же возникает отличная перспектива: работаешь за компьютером, а краем глаза наблюдаешь за жизнью мужа и сада.

Все было бы отлично, если бы не извечный конфликт менеджера и художника. Все же одно дело — ее чувство реальности, а иное — его полеты наяву. Есть о чем пошуметь! Эти перебранки заканчиваются одинаково. Покричат-покричат, и все же Эд примет точку зрения жены.

Об этом рассказывает кинемат «Никодим». Почему эта фигура названа не Эдуардом? Наверное, потому, что тут нет ничего портретного. Что-то железное при сложении образовало голову, руки и ноги. Изображены и органы — например, там, где должны находиться легкие, булькает вода в линзе от старого телевизора.

На голове Никодима что-то вроде тарелки, которую можно считать шляпой. На ней сидит маленькая птичка и хлопает крыльями. У вышесидящей голос тонкий и вроде как извиняющийся, а у нижестоящего грубый и резкий.

Птичка, что называется, «капает на мозг», но Никодим не отступает. При этом, как вы понимаете, они неотделимы друг от друга, а значит, этот спор навсегда.

«Никодим» был последней работой Эда в России. В Шотландии он вряд ли бы сделал такой кинемат. Конечно, и сейчас они с Таней ссорятся, но все же не так. Возможно, сказывается возраст. А еще то, что много лет они живут в стране, где отдельность ценится больше, чем сходство.

Под ее руководством

Нам, мужчинам, трудно без такого руководителя, но при этом так и тянет показать самостоятельность. Каждый раз это заканчивается если не провалом, то большой неловкостью.

Как-то я пошел с Эдом погулять вдоль моря, и на нас напала большая овчарка. Испугались мы, затем собака, потом ее хозяйка. Домой возвращались как герои и еще несколько дней делились впечатлениями.

Иначе говоря, Берсудскому без Тани не обойтись. Не только потому, что при ней собаки ведут себя тихо. Не менее важно, что за тридцать лет жизни в Шотландии он не выучил английский. Когда надо что-то сказать, из-за его спины выходит жена и все объясняет.

Не все принимают эту его странность. Как-то в Галерее современного искусства в Глазго королева Елизавета захотела увидеть автора «Титаника». Таня сказала, что познакомиться можно, а поговорить никак. Королева строго взглянула из-под своей вечной шляпы с полями и чуть ли не топнула ножкой.

Мало того, что Эд не говорит по-английски, но и у меня с языками проблемы. Непросто передвигаться в таком составе. Когда мы отправились в Эдинбург, Таня написала что, где и когда. Например, в автобус садитесь в одиннадцать двадцать, а выходите через пятнадцать минут.

Для людей, страдающих географическим кретинизмом, такая инструкция спасительна. Когда нам хотелось свернуть направо, мы вытаскивали бумагу. Оказывалось,

не вправо, а влево. Так повторялось множество раз. Наверное, мы бы и сейчас бродили по городу, если бы не ее план.

Тем удивительней, что мы потерялись. Ну а она, конечно, нас спасла. История эта настолько выразительная, что ее надо рассказывать медленно.

Дело в том, что Таня оставила нас вынужденно. В это время знаменитый английский актер Саймон Кэллоу (тот самый, что играет в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны») устраивал ланч для своих друзей. Берсудского тоже звали, но как с ним разговаривать? Вот почему Эда прикомандировали ко мне.

На ланч пригласили двух руководителей театральных фестивалей, что директору «Шарманки» тоже небезразлично, но все же важнее удовольствие зрителя. Увидеть Кэллоу в ресторане так же интересно, как на сцене. Хотя за столом он отдыхает от своих ролей, но иногда делает такой жест, что сразу ясно: да, это талант.

Перед ланчем Саймон играл спектакль по уайльдовскому письму из тюрьмы. Его Уайльд не был застегнут на все пуговицы и не цедил репризы через губу, а метался и взывал к богу и черту. В ресторане взбешенный и обиженный герой исчезал и превращался в одного из самых ярких английских интеллектуалов. Начинались разговоры о Михаиле Чехове, о Юрском, о Додине. И, конечно, об Уайльде. А если об Уайльде, то о человеческих страстях.

Кэллоу не просто интеллектуал — человеком думающий, но писатель — человек записывающий. Притом не из тех, кто говорит о себе — и ни о ком больше, но любитель распутать давно завязавшиеся узлы.

Нет ничего противоположней существованию в лучах рампы, чем сидение в архиве. За свой интерес ты не получишь аплодисментов и даже простой благодарности. Откроешь что-то важное, порадуешься удаче и продолжишь поиски.

Когда жизнь для зрителя Саймона утомляет, он обращается к старым документам. Горит лампа, бумага отсвечивает желтым, прошлое с тобой разговаривает... Так он сочинял книги о Диккенсе и Орсоне Уэллсе. Об Уэллсе целых три тома! Театральные люди их вряд ли прочтут, а он их написал. Показал, что голова актера не только в руках и ногах, но и там, где ей следует находиться.

Вот такой он разнообразный, этот Кэллоу. Настоящий амбидекстр. То есть столь же правша, сколь и левша. Человек, равно хорошо себя чувствующий наедине с собой и со зрителями.

В наших краях такой уровень демонстрировал Сергей Юрский. Может, только в архивах он не работал, а все прочее ему было под силу. Кстати, Таня очень хотела их познакомить, но что-то не сложилось.

Об этом я говорю для того, чтобы подчеркнуть, как ей не повезло. Вот она отключила мобильник, расслабилась, превратилась в слух и зрение. Когда же под конец встречи мобильник включила, то сразу раздался звонок...

Сперва надо сказать, что в это время мы с Эдом завершали поход по Национальной галерее Шотландии. Оставалось забрать в гардеробе его рюкзак.

Кто же знал, что у гардероба не один, а два выхода! Первый ведет туда, где его ждал я, а второй на другую сторону здания. Эд рванул туда, где меня не могло быть. Стоит, волнуется. Ну и я переживаю. Ситуация едва ли не тупиковая. Это у Лобачевского параллельные прямые пересекаются, а в жизни это случается редко.

Наконец Таня узнала о том, что случилось, и помчалась нас спасать. Жаль оставлять интересный разговор, но такова ее миссия. Большинство людей заняты собой, а она другими.

Думаю, следующая история вас уже не удивит. Мы собирались на озеро Лох-Ломонд. Спускаемся из «Шарманки», видим машину Таниного сына Сережи, на которой

ездили два дня подряд. Открываем багажник, загружаем вещи. Немного удивляемся, что багажник забит, а вчера был свободен.

Тут из-за угла появляется человек. Кажется, он не шотландец, а итальянец. Ведь шотландцы не размахивают руками, а этот размахивает и быстро говорит. В голосе преобладает восхищение. Вот, думаю я, первая встреча с поклонником! Видно, он объясняет, как приятно видеть автора кинематов.

С каждой фразой темп нарастает. Только что он не знал, куда деть руки, а сейчас едва не танцует. Может, мы бы и заподозрили неладное, если бы он не улыбался. «Вы сделали мой день! — говорила его улыбка. — Если день так начался, дальше все пойдет как по маслу!»

Появилась Таня и все прояснила. Сережина машина стояла рядом, а мы загрузились в чужую. Еще хорошо, ею не воспользовались. А так бы сели — и ищи-свищи! Если бы, конечно, не задержала полиция.

О рассеянности Эда сказано достаточно, а теперь поговорим о том, какой он трогательный.

Опять вспомним Юрского. Как-то он заехал в Глазго и даже давал в «Шарманке» концерт. Перед отъездом сидели-выпивали. Всем было так тепло, что он предложил Эду перейти «на ты».

Сергей Юрьевич объяснил, что для этого следует сделать. Сперва надо выпить на брудершафт. Если затем произнести: «Ты — говнюк!», то это снизит торжественность момента.

С первой частью они справился легко, а на второй Эд затормозил. Слишком многое у питерских связано с Юрским. Если в семидесятые годы вы интересовались театром, то прежде всего из-за него.

Вот почему Эд испытывал смущение. Юрский сидел на расстоянии протянутой руки, но дистанция была непреодолима. Казалось, гость играет на сцене, а он находится в зале.

Теперь понимаете, почему Эд замер — и ничего не сказал. Следовало прожить ночь с этой идеей и тогда решиться.

На другой день Юрский ехал в аэропорт. Когда появился Берсудский, он уже сидел в машине. На сей раз все вышло как нельзя лучше — Сергей Юрьевич открыл окно, чтобы поздороваться, а Эд крикнул: «Ты — говнюк!»

Все это я рассказываю к тому, что автор кинематов существует в своем ритме. Не быстро и не медленно, а так, как велит чувство. Вряд ли кто-то сможет его поторопить. Здесь нужны спокойствие и терпение.

В тот приезд Сергей Юрьевич надписал свою книжку: «Татьяне Жаковской в честь ее победы над всеми обстоятельствами мой привет и поцелуй в день рождения в г. (надо же!) Glasgow. 25.10.99». Так он высказался по поводу того, что они все преодолели. Прежде всего она. Эд делал кинематы, а Таня все повторяла: «Я решаю эту проблему» — и наконец проблема была решена.

**ИНТЕРМЕДИЯ ВТОРАЯ.
СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ,
ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА**

О смерти Юрского я узнал буквально посредине фразы. Только написал: «Еще в тот приезд Сергей Юрьевич...», заглянул в фейсбук и прочел о его уходе. Для всех питерцев, населяющих эту повесть, — для Тани и Эда, да и для меня, автора, — это событие столь огромное, что невозможно говорить ни о чем другом.

Да и другие ни о чем другом говорить не могут. Френдлента переполнена фотографиями и воспоминаниями... Так бывает во время поминок. Кажется, что пока мы говорим, перебивая друг друга, что-то можно изменить.

Таня — по своей привычке прирожденной домостроительницы — сразу начала строить дом. Ее нынешняя постройка — сайт памяти Юрского. Странно, что не в Питере или Москве, а в далеком Глазго возникает этот интернет-мемориал.

Видно, это значит, что мы живем в одном пространстве. Когда по обе стороны земного шара чувствуют одинаково, то расстояния перестают существовать.

Мне тоже следует сказать несколько слов. Тут важны воспоминания, но еще существенней чувство причастности. Дело в том, что в Питере семидесятых годов это имя звучало как пароль. Ты называл своего любимого актера, и больше ничего не нужно было объяснять.

Как известно, Станиславский говорил о «Я в предлагаемых обстоятельствах». На сей раз «Я» — это Сергей Юрьевич, а «предлагаемые обстоятельства» — наша общая жизнь.

Вряд ли я что-то новое скажу об обстоятельствах. Что может быть особенного в шарманке, повторяющей один мотив? Если чем-то эта история отличается, то поведением героя. Он оставался собой не раз и не три, а всегда.

У каждого свой сюжет отношений с Юрским. Что у меня, что у Тани и Эда. Для них он — не только любимый актер, но человек схожей судьбы. Многие ругали шарманку, не соглашались с музыкой и словами, но мало кто совершил поступок. Не имеет значения, что Сергей Юрьевич уехал в Москву, а они — в Шотландию. Главное, с этих пор жизнь разделилась надвое.

Нехорошая эпоха

Недавно я искал какую-то книжку у себя на полках, потянул одну, вытащил сразу две, и из той, что мне не нужна, выпала бумажка. Видно, когда-то она служила закладкой. На ней я прочитал:

Ленинградский обком КПСС
Тов. Ласкин А. С.
приглашен на объединенный пленум правлений творческих союзов Ленинграда.
Смольный, Актный зал.
24 сентября 1976 г., 13 час.

Тысячу лет я не вспоминал об этом, как вдруг все увидел отчетливо. Прежде всего зал Смольного с огромным портретом Ленина работы Бродского. Владимир Ильич кого-то приветствовал (не исключая участников здешних собраний) и при этом улыбался своей доброжелательно-хитровой улыбкой.

Мои ощущения были похожи на те, что испытал писатель Меттер, присутствовавший на собрании, на котором уничтожали Зощенко и Ахматову. Израиль Моисеевич написал, что, оказавшись в этом зале, он вроде как «вошел в цитату» — настолько узнаваемыми были здешние интерьеры.

В это время мне было двадцать лет, не так давно я стал завлитом малой сцены театра Ленсовета. Игорь Петрович Владимиров, большой любитель неординарных решений, взял на работу студента третьего курса. Сейчас никто бы не обратил на это внимания, но тогда многие недоумевали.

Находиться здесь следовало Владимирову или директору, но они уехали на гастроли. Было решено, что будет неправильно, если никто не пойдет, и отправили меня.

Конечно, собрание в Смольном было мне «не по чину». Да и не по возрасту. Моя шевелюра выделялась на фоне большого количества лысин. Эти люди пережили террор, блокаду и эпоху борьбы с «безродными космополитами», а я еще не испытал ничего.

Мою принадлежность к числу аутсайдеров подчеркивало и отсутствие галстука. Кажется, я единственный из присутствовавших мужчин пренебрег этим атрибутом солидности. Но что поделаешь, если галстуки я не люблю. Никогда их не ношу и на сей раз себе не изменил.

Сам себя ловлю за руку: а как же случай в райкоме партии? Да, соглашаюсь с собой, что было, то было, и вскоре мы об этом поговорим.

Пока же вернемся в Смольный. Не буду описывать, сколько раз требовалось показать паспорт. Понятно, что эта процедура предполагает очередь. В ней я стоял вместе с известными в Питере людьми. Кое-кто был мне знаком. Если бы это происходило в другом месте, мы бы улыбались друг другу, а сейчас сухо кивали.

Было в этом что-то от собрания масонской ложи. На лицах читалась гордость за то, что они не просто писатели, артисты и музыканты, а вроде как представители.

Наконец все вошли и расселись. Не помню, что происходило вначале. Наверное, обычные для такого собрания вопросы — кто, когда и в какой последовательности. После этой преамбулы на трибуне появился Григорий Романов.

Нынешний читатель больше знает Александра и Николая Романовых, а Григорий совсем забыт. А ведь из-за этого человека, возглавлявшего ленинградскую партийную организацию с 1970-го по 1983 год, из города уехали Райкин, Юрский, Яновская и Гинкас. Сделал ли он что-то еще, уже никто не вспомнит, а это останется навсегда.

Романов был маленький и круглый. Было интересно наблюдать, как он взмахивает руками и Ленин за его спиной тоже взмахивает. Так они и существовали в унисон — Владимир Ильич улыбался, а этот смотрел скорее мрачно.

Если вы считаете, что советская власть несовместима с игрой, то я постараюсь вас разубедить. Уж насколько серьезен был Григорий Романов, но его выступление предполагало интерактив.

Поначалу не было ничего интересного. То-то совершили, там-то поучаствовали, в том-то приблизились к осуществлению вековой мечты. Зал это слушал вполуха. Стоило же перейти к имеющимся недостаткам, как все насторожилось.

Начал он с того, что «группа антисоветски настроенной молодежи передала в „Лен-издат“ альманах „Лепта“».

Да, была такая идея у неутомимого Бориса Ивановича Иванова — составить сборник из текстов непубликующихся литераторов, принести его в издательство и посмотреть, что из этого выйдет.

Что ж, результат оказался значительным. Первый человек города не только упомянул об этом, но сердито посмотрел на участников собрания.

Теперь можно было переходить к другим темам, как тут раздался голос: «Не слышу!» Это было невиданной дерзостью. Казалось, сейчас нарушителя дисциплины возь-

мут под руки и выведут из зала. Правда, выступающий не только не выразил недовольствия, но решил уточнить.

«Повторяю по буквам, — сказал Романов и произнес что-то вроде: — Леонид... Елена... Петр... Трофим». Самое главное было оставлено под финал. Последнюю букву он расшифровал как «Аврора».

Затем оратор перешел к этому журналу. Вроде и не собирался, но товарищ из публики подсказал, и дальше пошло-поехало.

Особенно невыносимым было то, что, оттолкнувшись от «Авроры», Романов приложил моего любимого поэта. Он сказал так: «Поэт Александр Кушнёр в своем стихотворении „Аполлон в снегу“ пытается протащить...» Что-то там Александр Семенович протаскивал нехорошее. Такое, от чего может зашататься гигантское здание империи.

Особенно запомнилось неправильное ударение. Это было все равно что сказать: «Кушнер, еврей». А еще прибавить, что этим объясняется то, почему этот потомок «овцеводов, патриархов и царей» чувствует себя в нашем климате как Аполлон в снегу.

Я, кстати, сидел в последних рядах и все слышал отлично. Так что есть смысл вновь вспомнить «человека с плохим слухом». Ясно, что эти «перформансы» предполагают подготовку. Так и вижу репетицию с участием Романова. На ней кто-то вроде режиссера предложил: «Может быть, так?», а «исполнитель» эту идею поддержал.

В это время была произнесена фраза о том, что «надо спорить по решенным вопросам». Так было сказано в ЦК партии тогдашнему руководителю ленинградского телевидения Борису Фирсову после того, как он разрешил первый в СССР прямой эфир.

Как и положено, передачу долго репетировали, все оценки и мнения были согласованы, но потом кто-то соблазнился новой возможностью и произнес то, чего не следовало говорить.

Вот почему «надо спорить по решенным вопросам». И играть в такие игры, в которых победитель заранее определен.

Все, о чем я сейчас рассказал, это, конечно, присказка. Чтобы вы еще раз оценили, в какую нехорошую эпоху мы жили.

Юрского на собрании не вспоминали, и это вполне соответствовало его тогдашнему положению. Неприятности у него начались с того, что его вроде как вычеркнули. Если по радио называли поставленный им спектакль, то без имени режиссера. Его вроде как предупреждали: сейчас не такое время, чтобы арестовывать, но настроение можем испортить.

Как известно, инициатором травли Сергея Юрьевича был тот самый маленький человек, который стал невольным конкурентом Ленина на портрете. Он был хозяином Ленинграда — и от него зависело, кому можно жить в этом городе, а кому нет.

Представитель зрительного зала

Надо знать, кем был Юрский для нас. Хороших актеров в это время хватало, но никто из них не был настолько свободен. Вот выходит человек на сцену, и сразу видно — да, он такой. Не исполнитель чужих заданий, а самостоятельный творец.

Отдельность свидетельствовала не об одиночестве, а, напротив, о тесных связях с публикой. В «Горе от ума» — его первой большой удаче — он рассказал историю своего поколения. Это была история людей «оттепели», чей «век», говоря словами Тынянова, «умер раньше них».

Эта тема была объявлена еще до начала действия. На занавесе Товстоногов поместил пушкинскую фразу: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талантом», но ее велели убрать. Это было не так обидно, потому что эту тему Юрский играл.

Как Сергей Юрьевич этого добивался? Ведь тут не было никакого «осовременивания». Чацкий не носил джинсы и черный свитер, как Высоцкий-Гамлет, но при этом был узнаваем. Это был человек начала девятнадцатого столетия, и в то же время один из нас.

Разумеется, мы были ему благодарны за понимание. Каждый это делал так, как чувствовал и умел. В последнем классе школы я был принят в члены «Общества юристов», которое создала моя тогдашняя приятельница Катя Эткинд. Общество было тайное (по крайней мере, мы никому особенно о нем не рассказывали), и главным его смыслом была любовь к артисту. Мы смотрели все, что он делает, но главное, встречались друг с другом и говорили: все-таки он гений! Как замечательно он сказал это! А как ответил то!

Это чувство сохранялось и в последующие годы. Поэтому когда я узнал о том, что Сергей Юрьевич уезжает в Москву, мне захотелось сделать что-то такое, что пусть не изменит его решение, но хоть немного оттянет наше общее с ним расставание. Конечно, возможностей у меня было мало, вернее, всего одна: я стал говорить Владимиру, что было бы замечательно предложить Юрскому постановку.

Юрский и «Эльдорадо»

На столе у Игоря Петровича как раз лежала пьеса Аллы Соколовой «Эльдорадо», и он был не против того, чтобы она шла на малой сцене. Кто будет ставить? Назывались разные фамилии, но что они против того, кто недавно поставил «Фантазии Фарятьева» в БДТ? Так что конкурентов у Юрского просто не могло быть.

Стыдно признаваться в своих ходах и уловках, но, как говорится, «из песни слова не выкинешь». К тому же не забывайте, что это театр. А театр — это такое заведение, в котором царит диктатура. Поэтому если хочешь чего-то хорошего, сделай так, чтобы твоя идея приглянулась первому лицу.

Это и есть основная задача завлита. Актер обращается к зрительному залу, писатель — к читателям, а завлит — к главному режиссеру. В их разговорах наедине вырезают важнейшие планы и решения.

Чтобы чего-то добиться от Владимирова, следовало напомнить ему о его происхождении. Мол, самое время протянуть руку товарищу в беде. Сделать так, как подобает настоящему русскому дворянину.

Это сейчас я логично излагаю, а тогда действовал наобум. Руководствовался тем, что люблю Юрского. Впрочем, к Владимиру я относился столь же горячо.

«Шеф» (именно так в театре Ленсовета называли главного режиссера) Юрскому звонить не стал, но поручил мне организовать встречу.

Я, конечно, обрадовался, но в то же время смутился. Мне тут же представилось, как я звоню, а трубку берет Мольер или Фарятьев. Почему я так робел? По отношению к Игорю Петровичу я уже не ощущал себя зрителем (все-таки мы ежедневно виделись), а в случае с Сергеем Юрьевичем зрительское преобладало.

Помог мой преподаватель по Театральному институту, литературовед и театральный критик Евгений Соломонович Калмановский. Он о Юрском не раз писал — и поддерживал с ним дружеские отношения.

Калмановский, как и Юрский, был человек отдельный. Их обоих отличали особенности интонирования, которые делали речь похожей на кардиограмму. Эта речь состояла из подъемов и спадов, из слов нарочито подчеркнутых и никак не выделенных.

Словом, Калмановский тоже играл. Его спектакли для одного или двух зрителей можно было увидеть где угодно — хоть в коридоре ВТО, хоть в очереди в кассу в Лавке писателей.

К примеру, Калмановский произносил не «Фрейндлих и Владимиров», а «Фрейндлихова и Владимирцев». Казалось бы, для чего это, а ведь в этом сочетании изысканности и простоватости, безусловно, есть резон. Или он спрашивал у моего отца: «Как наш малчик?» Именно так, без мягкого знака. Столь же красноречиво выходило «Хоро-шо» — это было одобрение не формальное, а очень личное, которое можно выразить только так.

Однажды Евгений Соломонович пришел на спектакль на малой сцене, а после него расщедрился — и подарил свою книгу. Написал что-то одобрительное мне, а потом прибавил: «после упоительного спектакля». Я удивился, но обрадовался — все-таки проняли Самого! — и сразу об этом Игорю Петровичу рассказал. Кажется, тот тоже был доволен. Возможно, даже простил Калмановскому его прежние уколы.

Книгу я сразу прочел и поставил на полку. Лет двадцать пять не держал ее в руках. Вдруг она попала мне на глаза. Открываю и вижу: «после упоительного спектакля». Снова нет одной буквы, а уже что-то другое. По крайней мере, о полном восторге не приходится говорить.

Словом, я обратился абсолютно по адресу. Юрский доверял Калмановскому, и вскоре день и время были согласованы.

Прежде чем рассказать о том, как Юрский пришел к Владимирову, два слова о месте действия. Кабинету Игоря Петровича, как знают все, кто в нем бывал, предшествовали большая комната и небольшой предбанник. Из предбанника дверь вела в туалет.

Когда Сергей Юрьевич появился, Игорь Петрович находился в туалете, где пытался отстирать пятно с лацкана своего лучшего пиджака. Так — с пиджаком в руках, одновременно продолжая тереть лацкан, он вышел навстречу Юрскому.

Сергей Юрьевич сразу оценил мизансцену и сказал после паузы:

— Игорь Петрович, вы привинчиваете новый орден?

По взгляду Владимирова я понял, что мой план если не провалился, то скоро точно провалится. Игорь Петрович явно смутился. Все режиссеры, приходившие в его кабинет, начинали с расшаркиваний, и так продолжалось до конца разговора. Бывало, смеялись, рассказывали анекдоты и даже валяли дурака, но инициатором всегда был он.

Юрский был настроен благодушно и эту тему развивать не стал. Он сказал примиряюще:

— Орден у нас с вами примерно один и тот же.

Все-таки договоренность была достигнута. Правда, разговор протекал не без сложностей. Особенно нервно обсуждали то, кто будет играть главную роль. Юрский говорил, что видит в этой роли только Владимирова, а Игорь Петрович настаивал на Алексее Розанове.

Все закончилось так, как это чаще всего бывает в театре. То есть не так, как подсказывает здравый смысл. Дело не в шутке Сергея Юрьевича (хотя она тоже, возможно, не поспособствовала), но в куда более серьезных причинах. Скорее всего, Игорь Петрович посоветовался с директором (или еще повыше), и ему все растолковали. «Своим» же Владимиров объяснил это так: Юрский, видите ли, требует, чтобы играл он, а ему хочется, чтобы эту роль сыграл Розанов.

«Эльдорадо» поставил другой режиссер. Кстати, сперва действительно репетировал Розанов. Казалось бы, все предвещает среднюю постановку. Кажется, Владимиров на это и рассчитывал — именно с такого уровня проще всего брать старт.

Игорь Петрович посмотрел чужую работу, произнес что-то одобрительное в адрес актеров и режиссера, а на следующий день назначил репетицию. Ну и потом работал столько, сколько нужно для того, чтобы о прежнем варианте спектакля напоминали только текст и декорации. Впрочем, декорации он тоже изменил — одно переставил, а другое убрал.

Главное, Владимиров ввел себя на главную роль. Так что встреча с Юрским не прошла даром — роль пожилого писателя, который пытается оглянуться на пройденный путь, он все же сыграл.

Самым незавидным было положение репетировавшего до этого режиссера, но ему на помощь пришел Игорь Петрович. На вопрос «Кто останется на афише?» он ответил так, как полагается русскому дворянину: «Конечно, на афише будете вы».

Что касается Юрского, то он с семьей переехал в Москву. В столице, как теперь понятно из его интервью и воспоминаний, его тоже не очень ждали, но все же это было лучше, чем Ленинград.

Через много лет после всех этих событий я рассказал Юрскому историю, о которой прочел в одной старой газете.

Дело в том, что мои занятия достаточно пыльные. Чтобы распутать исторический сюжет, перелистаешь множество газет. Процесс этот не только центростремительный, но и центробежный. Ищешь что-то конкретное, но постоянно отвлекаешься.

Можешь вообразить себя питерским обывателем, который купил у разносчика последний номер «Ведомостей». Что пишет прогрессивная печать? Вот, к примеру, заметка о «банных ворах». Этот подвид действует так: в предбаннике вы раздеваетесь, а вернувшись из парилки, не обнаруживаете своих вещей.

Затем рассказывается такая история. Приходит один вор (он же — ночлежник) вроде как помыться. Ему повезло, что в раздевалке вместе с ним только полицейский полковник. Он не переоделся в гражданское, а явился при всем параде. Еще сабля позвякивает на боку.

О том, что случилось после того, как полковник отправился в парную, вы уже знаете. Был военный чин, а стал «голый человек на голой земле». Даже простым гражданином его не назовешь.

Что касается вора, то он надел форму и превратился в полковника. В таком виде явился в ночлежку. Представьте, уходил вор и пьяница, а вернулся полицейский! Не только одежда на нем соответствующая, но и рычит он не хуже городского.

Вот он входит, оглядывает нары, на которых сидят и лежат его товарищи по судьбе, и как закричит:

— Всем встать!

Ночлежники слышат только голос и видят только форму и саблю. Потом все же разобрались. Или он сам себя выдал неуместным смешком.

Все сразу — хохотать. Что потом не помешало сдать товарища. Получил он и за воровство, и за спектакль. Правда, вторым сроком скорее гордился. Как-никак, минута славы, да и ощущение себя кем-то большим, чем ты сам. Только ради этого актеры играют на сцене.

Моя история Юрского и развеселила, и восхитила.

— Настоящий художник! — сказал он, — Так и надо — произвести впечатление, а затем отправиться по этапу.

Конечно, этап — это слишком, но платить приходится всем. Как Сергею Юрьевичу, так и Тане с Эдом. Помните: «Татьяне Жаковской в честь ее победы над всеми обстоятельствами...»? Видно, победа — это не орден в петлицу, а умение остаться равным себе. Сколько раз они это доказали! Возможно, будет повод еще. Как раз сейчас горсовет Глазго намеревается повысить аренду.

Об этом мы говорили на кухне «Шарманки»: а что если в Шотландии произойдет то же, что когда-то случилось в Ленинграде?

— Ну и пусть. — говорит Таня, — Тогда мы будем делать выставки и ездить с ними по миру.

Это и будет полная и окончательная независимость. Такая примерно, какой добился Сергей Дягилев. Когда он устал от российских ограничений, то отправился в свободный полет. Предпочел не подчиняться чужим правилам (именно это обозначает оседлость!), а создавать свои.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СТЭД

Убежище

Дягилев говорил: «Удиви меня!» Таким было его главное требование к соратникам. Кто не удивил, тот проиграл. В этом смысле шарманка — враг творчества. Если, конечно, это не название театра.

Можно привести другой пример. Точно не рассчитываешь удивить. Пишешь диссертацию. Руководствуешься принципом, который тебе объяснил один из твоих преподавателей: на каждой странице должно быть, по меньшей мере, две цитаты.

Поэт Виктор Соснора — любопытный человек. Он спрашивает о твоих занятиях, и ты объясняешь. Станным образом, ему интересно. И уж совсем невероятно, что он делает такой вывод:

— У меня есть друг — директор эстонского театра «Ванемуйне». Мы поставим вашу диссертацию в этом театре. Я буду играть в ней роль автора.

Надо видеть Соснору. Лицо римского патриция с явно подчеркнутыми линиями лица. Столь же чеканной была речь. Каждое слово отдельно от другого.

Поэтому возникало впечатление торжественности — пусть даже он говорил нечто совершенно несерьезное.

Теперь перейдем к дому Тима Стэда. Ни Дягилев, ни Соснора тут ни при чем, хотя вполне можно представить, как Сергей Павлович восхищается, а Виктор Александрович высказывается в том духе, в котором он часто говорил о себе:

— Путь русской поэзии лежит через Пушкина к Хлебникову и ко мне.

В данном случае понадобилось бы уточнение, а потому эта фраза должна была бы звучать так:

— Путь шотландской деревянной скульптуры лежит через деревянное убранство в часовне ордена Чертополоха в эдинбургском соборе Святого Джайльса к дому Тима Стэда в Бленсли

Вряд ли есть на свете еще одно такое «личное пространство». Вроде как художник поселился в своей картине. Настолько в этом доме все рукотворное — по сути, тут нет ничего, что бы хозяин не сделал сам.

Лишь однажды Тим уступил традиции: вилки с ножами он купил. Все-таки железо — не его материал, а кому нужны столовые приборы из дерева?

Уже говорилось, что в Шотландии больше всего природы, и Стэд верен этому соотношению. В его доме дерева столько, что может показаться, будто вы внутри него. Вроде как птица в дупле.

Как получилось, что ясени и березы в руках Тима стали столами и стульями, но не потеряли своих достоинств? Не стану утверждать, что они растут, но кое-что об этом свидетельствует.

Об этом еще будет сказано, а пока упомянем, что именно здесь Эд и Таня ощутили, что такое Шотландия. Они вошли в лес и чуть ли не хором воскликнули: «Комарово!» Это был последний аргумент в пользу нового местожительства. Еще, конечно,

сам Стэд. Два человека, занятых одним делом, это если не среда, то, по меньшей мере, компания.

Десять лет нет на свете Тима, но для Берсудского и Жаковской ничего не меняется. Главный человек для них по-прежнему он. Поэтому Бленсли в Танином плане был в первую очередь, а все прочее оставалось на потом. Даже поездка в Абботсфорд, к Вальтеру Скотту.

Мир Тима Стэда

Танин план — это очередность впечатлений. Она непременно сделает так, что мы ахнем, а потом ахнем еще. Ну а затем, когда выдохнем, сравним.

Конечно, дело не в масштабе. У Вальтера — усадьба, а у Тима — бывшая ферма в деревне. Главное, что эти пространства каждый из них придумал сам.

Уже говорилось, что Вальтер Скотт в Шотландии — все равно что Ленин в России. По крайней мере, по числу памятников они сравнялись. Впрочем, мы сейчас о чем-то большем, чем количество. Если писатель создал идеальное жилище исторического романиста, то скульптор — лучший дом деревянного мастера. Тут и там угадывается связь жизни и творчества, мира воображаемого и реального.

Теперь откроем дверь и войдем. Как уже сказано, нигде больше такого не увидишь. Случается, хозяин выпилит полочку, но чтобы сам сделал стулья и даже раковину! Намылишь руки и вспоминаешь, как шел по дощатой пристани, а затем погружался в воду.

Невдалеке от раковины находится полка деревянных фолиантов. Это уже сделал не Тим, а его сын Сэм. Все честь по чести: обложка, корешок, фамилия автора... Берешь книгу и сразу понимаешь, что это пустышка — и продолжения не будет.

Так знаменитый «Фонтан» Мориса Дюшана вырван из привычных связей и опрокинут вверх тормашками. Он покинул тесное родное пространство и теперь существует самостоятельно. На правах картины или скульптуры.

Книги-обманки скорее исключение. Тим считает, что кровать — это кровать, а шкаф — это шкаф. Тут вы лежите, а там — вешаете пальто. Это не отменяет того, что любая его работа — скульптура. Просто скульптуры бывают двух родов. Одни возносятся на пьедесталах над жизнью, а другие жизнью являются.

С чем бы это сравнить? Например, трон — это и кресло, и художественный объект. В отличие от того предмета, что вывел на свет божий французский мистификатор, он не только не потерял достоинств, но их приумножил.

Что отличает тимовское кресло? В нем можно развалиться, но опираться вы будете на одну ручку. И не оттого, что вторая сломалась, а потому, что хватает одной. Не сетуем же мы на то, что у дерева мало ветвей!

Ну а спинку соединили две палки — одна больше, а другая меньше. Если бы это было магазинное изделие, то они бы вряд ли различались. Тим показал их в настоящем размере — такими, какими они подрастали в лесу.

Кровати у этого мастера гигантские, как пещеры. На обычную кровать ложатся, а в эту уходят с головой, подобно тому как прячутся на сеновале. Ну а письменные столы! Если бы за такими сидели люди пишущие, то они были бы смущены. Сложно рядом с чем-то абсолютно деревянным сочинять нечто картонное!

Столбы были не круглые и не квадратные. Будто в насмешку над способностью «растекаться мыслью по дереву» тут растекалось само дерево, своими контурами напоминающая озеро или поляну.

Берсудский прав: работы Тима дышат. Вот откуда его тяга ко всему нестандартному. Прямая линия всегда завершает, а вьющаяся продолжается. Она являет собой знак жизни, совместного существования природы и дома.

За всем этим философия и смелость. У нас востребовано лишь то, что соответствует норме. К примеру, вы хотите играть, но не отличаетесь красотой. Да и с дикцией что-то не так. По этой причине Юрского не взяли в школу-студию МХТ. С горя он поступил на юридический, но после третьего курса вновь подался в Театральный.

Еще на заре Художественного театра отменили эти требования, а они существуют. Если не на бумаге, то в головах. Будь красавцем, говори ровно и медленно, спину держи прямо! Юрский смог доказать свое право, а многие сошли с дистанции.

Как это связано с творчеством деревянного мастера? Дело в том, что для него тоже существуют нормы. Прежде чем приступить к работе, он должен произвести отбор. Особенно строго следует отнестись к дереву с деформациями и наростами.

Ничего этого Стэд не признавал. Чем необычней, тем ему интересней. Выходит, он творил не из ясеня или бука, а вместе с ними. Старался угадать, какими они хотели бы быть.

Правда, цвет Тим выбирал не такой, как в лесу, но и не такой, как в мебельном магазине. Деревянный, но с оттенком красного. Вроде как с примесью огня. Он использовал не лак, а скипидар и прокипяченное льняное масло. Поэтому его вещи не блестят и отсвечивают, а горят и гаснут в робком свете нескольких бра.

Вновь повторяю — казалось, будто ты не рядом с деревом, а внутри него. Наверное, от этого возникало ощущение покоя. Появлялось ощущение, что если что-то случится, то эти шкафы и кровати тебя защитят.

Ты не только чувствуешь себя уверенней, но становишься лучше. Не зря спинки стульев настаивают на прямоте твоей спины. Кровать же не только мягкая, но и твердая. Она не превращает тебя в лентяя и лежебоку, а подготавливает к завтрашней работе.

Иногда убежищем может стать не дом, а место самое неожиданное. Вообразите, вы идете по лесу, и вдруг — шалаш. Вот чего вы не ожидали, но тем радостней обретение.

Так в Галерее современного искусства в Глазго натыкаешься на объект Тима. Как потом выяснилось, перед ним стояла косметическая задача — надо было что-то сделать с дырой, соединяющей два зала. Когда он обшил это место деревом, то возникло пространство столь узкое, что в него могут втиснуться только двое.

Вы оказываетесь внутри и садитесь на небольшие скамеечки — для вас и вашей подруги. Со стороны все видно, но кажется, вокруг никого нет. В этом укрытии вы существоете исключительно друг для друга.

Кстати, когда в Глазго приезжал папа римский, то решили подстраховаться. Стул, на котором должен сидеть гость, заказали Тиму. Все же другие мастера думают об удобстве, а он еще о гармонии.

Как сделать так, чтобы мебель была современной и старинной? Для Шотландии это вопрос риторический. По сути, тут все имеет отношение к прошлому — и влетается в сегодняшний день.

Вот Герван с его собором и кладбищем в центре. Ну и возрастом больше, чем у Петербурга. При этом ничего общего с «элизиумом теней». Жизнь медленная, похожая на отпускную, но пульс бьется ровно.

О Бленсли тоже не скажешь, что это место возникло недавно. Собора тут нет, но старых зданий достаточно. Взять хотя бы дом Стэда, перестроенный из фермы конца позапрошлого века. Конечно, старше всего местные пейзажи. Сколько поколений сменяли друг друга, а холмы так же зеленеют летом и белеют зимой.

Однажды Таня нашла подтверждение этой двойственности. Она читала стихи Тима и споткнулась о неизвестное ей: «kist». Прикидывала так и этак, пока не поняла, что это староанглийский. Ларчик открывался легко: слово переводилось как «сундук».

Дело не в том, когда сундук сделан — триста или десять лет назад. В любом случае он был не сегодняшний, а старинный. Лучше всего он смотрелся бы в замке Стерлинг — не в том, где сейчас хозяйничают туристы, а в том, что принадлежал шотландским королям.

Пропорции между новым и старым следует все время поддерживать. Это так же относится к жизни города, как и к созданной Тимом мебели. Иначе случится то, что вышло с одним его гарнитуром.

Слышали ли вы о том, что стулья и столы возвращаются подобно перелетным птицам? О них уже успевают забыть, но они снова собираются вместе.

Как-то вдова Тима Мегги увидела рекламу французского ресторана в Эдинбурге и узнала работы мужа. Выяснилось, что это наследие прежних владельцев. Новый хозяин ничего не знал об авторе этих вещей и ими не дорожил.

Как говорилось, Тим предпочитал масло со скипидаром: благодаря такому составу дерево не блестит, а горит внутренним огнем. Эти тонкости уже никого не интересовали. Когда мебель начала трескаться, ее покрыли лаком.

Все же постепенно хозяин проникся. Особенно он насторожился тогда, когда отпил неровную выемку. Потом смотрит — она же соответствует выступу на другом предмете! Значит, так сделано для того, чтобы они соединялись.

Вы уже поняли, к чему я клоню? Когда автора нет на свете, следует быть очень бережным. Если вы не сможете оценить его замысел, то карета опять станет тыквой. Хорошо, найдется хрустальная туфелька, и мы пойдем: да, все было именно так.

Круговорот в культуре

Стул-скульптура и шкаф-скульптура — это изобретение Тима, но есть у него вещи более традиционные. Например, при входе в дом он поставил (верней, посадил) керамическую скульптуру своего отца. Разумеется, никаких пьедесталов. Если сесть рядом, то можно помериться с ней ростом.

Говорят, действительно похож. Его отец часто сидел так: нога на ногу, тело сползает к краю стула, взгляд устремлен вперед, а на самом деле в себя... Правда, приглядевшись, мы видим, что отец совсем не прост. Начать хотя бы с того, что его жилетка скрывает ящички. Они открываются и закрываются, а в случае необходимости вмещают множество разных вещей.

Тим шутит (все, знавшие его, вспоминают, как он заразительно смеялся), но есть тут и нечто серьезное. Мы наблюдаем что-то вроде круговорота в природе: отец становится шкафом, скульптура — мебелью, а стул и шкаф превращаются в скульптуру. Здесь все взаимосвязано и не существует само по себе.

Что такое круговорот в природе, нам рассказали в школе, а что руководит круговоротом в культуре, следует понять. Как видно, произведению следует быть не жизнеподобным, а живым. Когда это случается, оно не только что-то говорит публике, но и публика по разным поводам будет к нему обращаться.

Передо мной были не столько предметы, сколько объекты. Как тут не вспомнить стул у Гоголя, восклицавший: «Я — Собакевич». Или чеховского Гаева, произносившего спич в честь «многоуважаемого шкафа». Примерно так вела себя мебель — к ней обращались, и она могла говорить.

Я попытался это представить. Если стул-Собакевич аттестовал себя по-солдатски, то тут мерещилось разнообразие. Почему бы сундуку не обладать трубным глазом, а шахматам не перешептываться? Может, только люстра помалкивает — смотрит сверху и радуется, что все собрались в кругу ее света.

Конечно, есть еще варианты. Однажды голоса деревьев услышали немногие посвященные — те, кто живет на северо-востоке и не по слухам знает о пожаре в 1988 году на нефтедобывающей платформе Пайпер Альфа.

Для часовни кирхи Святого Николая в Абердине, открытой в память о ста шестидесяти семи погибших, Стэд сделал стулья. В каждую спинку он инкрустировал дерево разных пород. Когда стулья ставились в ряд, то первые буквы названий деревьев образовывали фразу: «Мы помним вас».

Такой тайный код. Сам язык, выбранный Тимом, отбирал из многих посетителей часовни тех, кто мог это произнести.

Незадолго до смерти Стэда начали снимать о нем фильм, но завершить не успели. Остались несмонтированные куски. В одном из них он говорит о самом старом ясене эдинбургского Ботанического сада. Жизнь этого дерева заканчивалась: сто тридцать-сто сорок лет — это предельный срок.

Затем мы видим Тима за работой. Только что ясень покачивал кроной, а вот — распилен на части. Начинался новый для него этап — ему предстояло стать стулом или столом. Пришло время не только украшать, но приносить непосредственную пользу.

Несколько раз Тим нежно проводит рукой по дереву — один раз по ложбинке на его коре, а другой — по гладкой спиленной поверхности. В этом движении — он весь. С деревьями его связывала не только профессия, но внутреннее чувство.

Мы видим, что мастер испытывает признательность к своему материалу. Следовательно, тут тоже существует круговорот. Ему надлежит отдать столько, сколько он взял.

Стихи Тима

Как говорилось, за долгую историю шотландцы отвоевали право на личное пространство. Пусть даже вы — муж или жена, мать или дочь, это не умаляет ваших прав. В чем-то вы объединяетесь, а в остальном существуете отдельно.

Неудивительно, что Мегги не знала о том, что муж пишет стихи. Только после его смерти она обнаружила их у него в компьютере. Этих текстов оказалось столько, что хватило на несколько книг.

Думаю, она не особенно удивилась. Если Тим сочинял из дерева, то почему бы ему не сочинять из слов? Тем более что в этих текстах он остается деревянным мастером. Всякую ситуацию наблюдает со стороны. Так — сразу и целиком — видишь скульптуру.

Кстати, первая его книга называется «Башни». Так что и в названии он верен профессии. Предпочитает изящное в пропорциях и очевидное с первого взгляда.

Чтобы вы убедились в этом, я перевел несколько текстов. Вот стихи о том, как он пересчитывает годовые кольца и понимает, что дерево — живое. Значит, дерево умнее зверя. Он молчит о прошлом, а оно помнит и может быть уподоблено человеку.

Так — это происходит раз в миллион лет —
 Раскалывают скалу,
 И она разламывается по трещине —
 Так раскрывают ясень, обнаруживая в нем

Разнообразные цвета минувших летних сезонов,
Темные повороты зимы и бледные осени —
Все это дерево приняло в себя,
Чтобы превратить в воспоминания и тепло.

Или стихи о том, что человек и мир подчиняются общим законам. День сменяется ночью, как вдох выдохом. Почему «звезды взрываются»? А потому, что новое возникает из смены состояний. Возможно, на сей раз это будет текст, в котором он об этом расскажет.

Биение сердца внутри.
Вдыхаю и выдыхаю, втягиваю и вытягиваю.
Точно так же и снаружи —
Бьется дождь, набегают волны...
Да и вдали тоже — когда ночь приходит на смену дню,
То звезды взрываются.

Поэт артикулирует то, о чем скульптор думает. За годы в профессии он осознал, что такое процесс. Все начинается с невыразительной деревяшки, а затем она становится чем-то большим. Примерно то же делает любовь. Ходишь вокруг да около, а потом понимаешь, что влип навсегда.

Благословен день,
Когда у нас родился первенец
И я был свидетелем его явления на свет.
Назавтра я выразил свои чувства тем,
Что принес Мегги два утиных яйца
И цветы из сада.
Шел снег, но казалось, это весна.
Все потому, что были эти яйца, цветы, ребенок, мать, отец.
Еще думалось, что с этих пор все будет иначе,
Не так, как раньше,
Ведь мы теперь не наблюдатели,
А участники. Нити в чудесной паутине жизни.

А эти стихи о том, что размышления имеют объем. По крайней мере, мысли скульптора всегда воплощаются в нечто обозримое. Такое, к примеру, как коробка в руках.

Вот она раскрыта и вынесена на свет
После долгого нахождения в темном месте —
Вся такая потертая от пребывания в разных руках.
Теперь, когда она не принадлежит никому,
Свободны и независимы хранившиеся в ней воспоминания.

Вот они роятся, подобно пчелам,
Которые, радуясь и кружа,
Совершают круг за кругом, прежде чем возвратиться
Туда, откуда они вылетели.

Опять коробка закрыта —
Такая теплая в узловатых старческих руках.

Художник говорит обо всем, что с ним происходит. Если он умирает, то пишет о смерти. Лежит, опутанный трубочками, смотрит, как его кровь вытекает, а чужая втекает. Размышляет о том, каково это — умирать? Одновременно находиться здесь — и там?

Вот еще тема, одинаково важная поэту и скульптору. Как то, что внятно тебе одному, сделать понятным всем? Это противоречие зафиксировано в первом названии лучшего русского театра. Казалось бы, что соединяет «художественное» с «общедоступным»? Видно, это и есть то, к чему надо стремиться.

Тим это понял, познавая строение дерева. Едва ли не обращаясь к своему материалу и чуть ли не получая ответ. Так появлялись его стулья и столы. От их сородичей в наших домах эти вещи отличают маленькие секреты. Что бы это ни было — ложбинка или выпуклость, участки темный или светлый, — но эти подробности решают все.

Кстати, процедура переливания крови говорит о том, как близко адресное и анонимное. Казалось бы, нельзя больше соединиться с другим человеком. Хорошо бы сказать «спасибо» своему благодетелю, но это вряд ли возможно.

Из висящего надо мной полиэтиленового пакета
В вены втекает кровь.
Прежде эта кровь текла через кого-то другого —
Возможно, мужчину,
А, может быть, женщину.
Теперь тот же путь кровь проходит
Через мое сердце и самые маленькие сосуды.
Вот мы и породнились,
Но при этом не познакомились.

Вот-вот. Завершая свой путь, деревянный мастер отвечает на вопрос: близкое или далекое? Близкое — и далекое? Можно ли соединить явное с тайным?

Думая о своей профессии, он представляет (или это мне мерещится?) такую картину. Предположим, зима. Перед вами красивая женщина, но вы это понимаете не сразу. Сперва видите пальто, шапку и шарф, а потом и ее саму.

Жизнь и после нее

На счету Тима — множество посаженных сосен и вязов. Уж не говоря о спасенном лесе. Когда его решили продать под вырубку, он возглавил «комитет спасения» и даже учредил приз. Тот, кто жертвовал больше двухсот фунтов, получал сделанный им топор.

Топор весь деревянный, а значит, бесполезный в практическом смысле. Вот что такое «перековать мечи на орала»! То, что угрожало деревьям, стало искусством и украшает, к примеру, интерьер столовой.

Тогда необходимую сумму собрали и лес спасли. Ну а в конце девяностых, как уже говорилось, надлежало спасти самого Тима. Тут местное «community» оказалось бес- сильно. Да и врачи уже разводили руками. Когда настало время последних распоряжений, Тим попросил похоронить себя в том лесу, который когда-то спас.

Где это — в лесу? На поляне? Нет, прямо среди деревьев и мхов. Это будет означать, что раньше он властвовал над своим материалом, а теперь окажется в его власти.

Сперва упомянем о том, как проходило прощание. Об этих похоронах жители Бленсли вспоминают до сих пор.

Казалось бы, похороны исключают зрелищность, но художники на это смотрят иначе. Казимира Малевича хоронили в разноцветном гробу, а глаз Андрея Синявского на смертном одре был перевязан пиратской повязкой. Не знаю, как Синявский, но Малевич точно это задумал. Все же со смерти начинается бессмертие. В новый этап надо войти таким, каким ты сам видишь себя.

Вот и Тима провожали в полном соответствии с его идеями и принципами.

Дорогу через лес от шоссе к могиле покрыли толстым слоем стружки. Только таким должен быть ковер, который следует постелить в память о мастере. Первым шел ученик Стэда в клетчатой юбке-кирте. Он играл на волынке что-то заунывно-грустно-торжественное.

За учеником следовал лесничий. Он держал за ручку повозку — на таких тарахтелках перевозят упавшие стволы. На повозке, как на лафете, стоял гроб из ивовых прутьев. Сверху лежала рабочая кепка Тима с пылеуловителем на козырьке (говорят, он так ее и носил — на козырьке, а не на лице).

Приносить цветы Стэд запретил. Пусть еще поживут, порадуют яркими красками. А уж если захочется помянуть, то правильной эти деньги потратить на лес. Лучший способ отдать долг покойному — продолжить его дело.

За шарманщиком и лесником, держась за руки, шла Мегги с детьми. Затем братья вели его мать.

На трех больших, как весла, шестах, гроб установили над вырытой ямой. Настала минута жене, детям и всем желающим почитать стихи Тима. В одном из них он писал, что бояться смерти не надо, и обещал каждого встретить на небе.

Затем играл на скрипке еще один русский друг Стэдов Лев Атлас. Из-под его смычка являлось на свет нечто, казалось бы, никак не связанное с временем и местом. Это был «Пушкинский венок» Свиридова. Именно этот цикл Атлас исполнял для Тима в больнице за день до его смерти.

Попробуйте вообразить Свиридова, в унисон которому поют дрозды и шумят кроны. Думаю, Тиму это должно было бы понравиться. Да и Свиридову тоже. Все же это подтверждает то, что мы живем не вопреки природе, а с ней сообща.

Могилы в лесу

К вечеру мы покинули дом Стэдов. Оставалось посетить его могилу. Мы ехали по шоссе, и наконец машина свернула на проселочную дорогу в лесу.

Надгробие оказалось холмом. Правда, не из земли и веток, как у Толстого в Ясной Поляне, а из камня. На нем по-латыни и по-английски было написано: «Счастлив тот, кто встретил Дух леса». Словом, нас просили не горевать. Плохо, что его нет, но прекрасно, что он был.

Около могилы стоял сам дух. Странно, что он был деревянный, но ведь Тим не признавал другого материала. Дух широко улыбался узнаваемой улыбкой деревянного мастера.

Фигура Стэда представляет что-то вроде ствола дерева. Так же как из тех деревьев, с которыми работали Тим или Эд, из него возникают новые персонажи. На сей раз это птица, ящерица, медведь.

Под медведем (по-английски «beag») Берсудский имел в виду себя. Еще он имел в виду то, что они со Стэдом были как часть и целое. Поэтому голова медведя выглядывает из ствола, а тело скрыто внутри.

Эту скульптуру Эд поставил сразу после похорон. Тогда она имела цвет свежего дерева, но к тому времени, как мы ее увидели, успела покрыться мхом. Значит, памятник Тиму, как и он сам, стал частью леса. Возможно, одним из деревьев. У памятника не было веток, но, кажется, были корни — так крепко он врос в землю.

Сейчас я рассказываю об этом спокойно, а тогда был поражен. Все же нечасто такое случается. Скульптор предложил свое решение, но природа его поправила: все же вернее будет вот так.

Перспективы

Нам не привыкать к тому, что история «Вишневого сада» не частная, а общая. Не только «вся Россия — наш сад», как говорит Петя Трофимов, но и вырубка деревьев с последующей отдачей в «аренду под дачи» есть дело общероссийское. Не сосчитать, сколько садов пало жертвой унылого прагматизма!

Так вот чеховский сюжет не только русский, но французский, немецкий, итальянский, голландский. В данном случае шотландский. Чем он закончится — никто не может сказать. Ясно, что сроки поджимают и что-то непременно случится.

Вдова Тима Мегги живет во Франции и редко навещает Бленсли. Так что продажи не избежать. Все, что можно сделать, это правильно распорядиться вещами.

Главный вопрос в том — расстанется ли дом со своим богатством или продолжит существование в нынешнем виде? В первом случае мебель станет кочевой выставкой, а во втором — это будет музей.

Есть вариант более печальный: предметы продадут по одному. Многие украсят свои квартиры и виллы, но от тимовского замысла не останется ничего.

Вся надежда на ценителей красоты, но не исключен и простой расчет. Ко всем достоинствам дома прибавьте такое обстоятельство. В Шотландии есть закон, по которому собственника освободят от налогов, если на пару недель в год он откроет двери для посетителей.

Так что, олигархи, ау! Есть шанс попасть в историю. Так вошли в нее Генри Фрик, собравший столько прекрасных картин, что на их основе возник один из лучших нью-йоркских музеев. Или владелец «Лейденской коллекции» Томас Каплан. До музея дело пока не дошло, но устраиваемые им выставки составляют конкуренцию Лувру и Эрмитажу.

Пока же дом существует подобно лесу или поляне — едва ли не любой может зайти, восхититься, помыть руки в деревянной раковине. Воровство маловероятно — больно далеко это от Эдинбурга, слишком много вокруг людей, которым не безразличны Стэды.

Дом поскрипывает своими деревянными суставами, вспоминает, какой бурной была жизнь при Тиме. Сейчас, конечно, не так — гости редки, хозяйка и дети в отъезде. Впрочем, есть еще мебель. Возможно, эти стулья и столы когда-нибудь разлучат, но пока этого не случилось, они существуют как одна семья.

**ИНТЕРМЕДИЯ ТРЕТЬЯ.
РАЗГОВОР В ПОЕЗДЕ
ПО ДОРОГЕ ИЗ ГЛАЗГО В ГЕРВАН**

Небоскребы, небоскребы...

Поезд опять едет из Глазго в Герван, а мы обсуждаем шарманку — ту, которая театр, и ту, которая жизнь. Ну и удивляемся повторениям: следовало слетать в Нью-Йорк, чтобы утвердиться в том, что все существует по кругу!

Начнем с пространства, плотно заставленного небоскребами. Смотришь и думаешь о чем-то рукотворном. Например, о кубизме, который тоже утвердился в начале прошлого века. Так они и существовали параллельно — город возводил постройки, одна геометричнее другой, а Брак и Пикассо превращали круглое в прямоугольное.

Еще, конечно, важны габариты. Нью-Йорк признает только огромное. Словно строился он для великанов. Теперь тут живем мы, но не без удивления. Никак не можем понять: зачем маломеркам эти громады?

Любой город думает о чем-то своем. Например, Петербург вглядывается в прошлое. Куда больше, чем нам с вами, он порадовался бы мужчинам, целующим дамам ручки, и дамам, делающим книксен. Еще в двадцатые годы таких экземпляров хватало, но сейчас они перевелись.

Если Петербург — город прошлого, то Нью-Йорк — будущего. Так было больше ста лет назад, когда он начинал застраиваться небоскребами, и остается сейчас.

Как это назвать? Высокомерием? (Наверное, правильнее было бы сказать: «высоткомерием».) Город не считается ни с нашим ростом, ни с нашими возможностями. Когда я сказал приятелю, что за два часа прошел весь Манхэттен, он долго смеялся. На самом деле, чтобы обойти этот район, нужна, по меньшей мере, неделя.

Даже там, где все говорит о будущем, человек из России обнаружит прошлое. Да и как иначе, если немалая часть Петербурга оказалась здесь? Когда я собирался в Нью-Йорк, меня снабдили телефонными номерами. Следовало опять натянуть нити, которые связывают нас с минувшим.

Интересно, как там тот, другой, третий? Обрывочные сведения доходили, а теперь я окажусь на месте их приземления. Узнаю, как им живется, и расскажу, что за это время случилась у нас.

Первая история оказалась если не рождественской, то точно чудесной. Со мной в классе учился очень серьезный молодой человек. У меня с математикой были проблемы, а ему все давалось с лету. На его постоянно сосредоточенной физиономии было написано: сейчас решу! Еще немного, и вы получите ответ!

Вообще, с обычной жизнью он был связан по касательной. Основные события происходили в мире цифр. Какие там шли баталии! Что-то делилось, умножалось, сходило на нет и вырастало в своем значении.

В Нью-Йорке он получил работу в знаменитых башнях-близнецах. Тут он смог показать любовь к точности. Каждый день без двадцати девять подъезжал к работе. Другие и без десяти были не на месте, а он уже сидел в за своим столом. На лице было то самое знакомое выражение, которое говорило: «Сейчас вы получите ответ!»

Тем удивительней, что однажды мой одноклассник опоздал. Это было так же невозможно, как сделать арифметическую ошибку. Кого он за это ругал? Дочку, которая отвлекла своими вопросами? Прежде всего его не устраивали цифры. «В двадцать это бы не случилось, — сетовал он, — а в сорок произошло!»

Совсем близко к девяти он подъезжал к «близнецам». Вернее, одной башни уже не было: у него на глазах она превращалась в столб пыли.

В кафе, где мы с ним обсуждали эту историю, было полно людей. Знали бы они, что среди них избранник! На его лице мешалось смущение с изумлением. Что-то вроде такого вопроса: «Почему выбрали меня?»

Еще мне следовало позвонить бывшей соседке. Интересно, смогу ли я ее узнать — помню только, было много мягкого. Лицо, фигура, жесты, улыбка. Я даже подумал о такой «квадратуре круга» — как это жить в геометрическом городе, но противиться ему всем существом?

К телефону подошел мужчина. Он говорил по-русски, но при этом это был не сын или зять. На мой вопрос: «С кем я разговариваю?» — он ответил: «Сейчас я ее привезу».

Вот сколько перемен! Она тяготела к округлости, а теперь жизнь сделала полный круг. Или почти полный. Можно избежать падения башни, но еще никто не уберется от старости. Все случится в положенный час.

Кроме одноклассника и нашей соседки, в Нью-Йорке жил мой приятель. Вернее, когда-то мы общались, а потом перестали. Вот по этому поводу мне хотелось с ним объясниться.

Дальше будет моя речь на суде. Хотя ничего такого не было, но почему бы не пофантазировать? Тем более что такие монологи я не раз произносил про себя.

Прошу учесть, господа присяжные, что в это время мне исполнилось девятнадцать лет. Еще не забудьте, что у нас была дружная семья. Если у кого-то что-то случилось, мы садились за стол и долго это обсуждали.

С каждой такой новостью наш круг становился тесней. Дело ведь не только в советах. Столь же важна уверенность, что еще долго мы будем жаловаться друг другу и говорить о наших проблемах.

Как можно было пропустить отъезд моего приятеля! Сперва об этом мы поговорили начерно, а затем подробнее.

Особенно волновалась мама. Лучше всего она разбиралась в женитьбах и разводах, но и тут поучаствовала. Поинтересовалась, где приятель собирается жить. Будто речь о чем-то столь же очевидном, как поездка к тете на дачу.

Наверное, мне следовало переключиться на другую тему, но я еще усугубил. Сказал, что Америка — это не Бермудский треугольник. Слава богу, есть телефон.

После этих слов отец огорченно развел руками, а мама встала со стула.

Первой заговорила она:

— Ты не знаешь, что нас прослушивают? Твой отец — однокурсник Аксенова. Вася хоть и старше тебя, но тоже человек наивный. Вот они надеются, что он нам позвонит.

Принятая тогда конспирация была несложной. Кто не догадывается, что значит «они»? Да и про Софью Власьевну никто не подумает, что это продавщица соседнего магазина. Все знали, что так именуют советскую власть.

Самой достоверной в этой тираде была фамилия Аксенова. По поводу остального у меня были сомнения. Особенно смущала уверенность в том, что уши повсюду. Буквально в каждой телефонной трубке.

Как это может быть? Вряд ли у них столько сотрудников. К тому же есть праздники, выходные, перерывы на обед. Наверное, они бы хотели знать все, но все же не ценой личного времени!

А что если родители правы? Не так много у Аксенова друзей в Питере. Почему бы по этому случаю не отрядить сотрудника? Он наострит уши и будет ждать, когда кто-то проговорится.

Я, видите ли, сомневаюсь, а Василий Павлович верил! Сам видел, что в Питер он привозил «Ожог». Когда у нас останавливался, просил папку спрятать. Рукопись помещалась в платяной шкаф между двух комплектов белья.

Аксенов так опасался за свою книгу, что всегда держал ее при себе, а я буду звонить в Америку! Дам работу какому-нибудь сотруднику. Возможно, он будет отчитываться перед начальством нашими разговорами.

Мама увидела, что я начинаю скисать, и прибавила еще один аргумент:

— Тебя только что утвердили в театре Ленсовета.

Да, утвердили — если вы жили в ту эпоху, то знаете, что самая скромная должность требовала согласования и утверждения.

Хотя никто в нашей семье не состоял в партии — это было как-то не принято, — но утверждение происходило в райкоме.

Претендентов в тот раз набрался целый коридор. Впрочем, сперва тебя утверждали в праве войти. Рядом с фамилией ставилась галочка, и ты проходил в большую комнату.

Очередь бодро двигалась к цели, как вдруг случилась заминка. Чиновник посмотрел на меня немного испуганно и сказал:

— Вы понимаете, где находитесь?

Как не понимать? В другой ситуации мы бы это обсудили, но сейчас следовало спешить. Чиновник попросил меня пройти в комнату неподалеку. Там он порывлся в ящиках стола и вытащил нечто длинное и трепещущее. Это была не змея, а галстук противного цвета, да еще с какими-то квадратиками.

К моей рубашке галстук не просто не подходил, но с ней конфликтовал. Впрочем, сейчас я смотрел не в зеркало, а на своего визави. Он довольно улыбался. Теперь я был не случайный зевака, а полноправный участник.

Видно, мой случай был не единственный. Время от времени в райком приходили такие же раздолбаи, и чиновник их спасал. Как тут не увидеть тайной симпатии к людям без галстука? Лишь один шаг отделял их от фиаско, но он не давал им пропасть.

Больше проблем в тот день у меня не было. Во время заседания называлась фамилия, и ты вставал. На тебя внимательно смотрели, а затем просили садиться. Видно, костюм с галстуком убеждал их в том, что ты не переметнешься на сторону свитера и вельветовых брюк.

Признаюсь, в своем стремлении к расстегнутой верхней пуговице я был эпигоном. Галстуков не любил мой шеф Игорь Владимиров. Это в его-то положении руководителя театра! Как с таким отношением сидеть в президиумах и бывать в начальных кабинетах?

Может, раз или два я видел Владимирова «при всем параде» — кажется, в первый раз он получал орден, а в другой — звание. Во всех остальных случаях он настаивал на распахнутом вороте.

Это была не только натура и привычка, но позиция. Однажды он даже высказался в том смысле, что хорошо бы в обкоме партии появиться в халате.

Владимиров не только происходил из дворян, но позволял себе барские замашки. Так что это желание в его духе. Так и вижу его — огромного, шестидесятилетнего — в коридоре Смольного. На нем не только нет галстука, но нет ничего. Лишь халат вроде того, что описан в «Обломове»: «из персидской материи... без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный».

Вот это и есть высшее право: все одеты так, как положено, а один практически не одет. Остается только прикрикнуть — это Владимиров умел как никто. Тогда и станет ясно, кто тут — челядь, а кто — хозяин и отец родной.

Конечно, это фантазии. Ничего такого не было и быть не могло. Впрочем, вино раскрепощало не меньше халата. Жест становился свободным, походка легкой, а руководители города казались симпатичными людьми.

Так что свою идею Игорь Петрович осуществил. Он не раз предстал перед начальством выпившим. За это его порицали, но потом оставляли в покое. Если бы он состоял в партии, разговор был бы другой, а так все ограничивалось внушениями.

Владимиров это понимал и вступать не спешил. Уж какие расставлялись сети, но он всякий раз ускользал.

Ощущение себя барином имеет к этой ситуации прямое отношение. Когда на него особенно давили, он вызывал кого-то из своих актеров — например, Леонида Дьячкова или Анатолия Равиковича — и «переводил стрелки» на них.

Чувствуете породу? Настоящие баре себя не переутомляют. Если что, свои обязанности они перекладывают на других.

Когда выбранная им жертва соглашалась не сразу, Игорь Петрович произносил свое сакраментальное:

— Делай, потом объясню.

Часто он так говорил на репетициях. Какие-то образы возникали в его сознании, и надо было поскорее их воплотить. Стоило же начать разбираться, как видение исчезало.

...Вот что мне вспомнилось после того, как мама сказала: «Тебя только что утвердили в театре Ленсовета». Когда я добрался до разговора Владимиров с будущими членами партии, возражений почти не осталось. Уж как мне хотелось быть самостоятельным, но, кажется, родители опять были правы.

Ко всем прочим аргументам надо прибавить то, что тогда мы жили вместе, а значит, телефон у нас был один. Выходило, я их в эту историю втягиваю. По крайней мере, даю повод для ненужных волнений.

Я погулял по улице, побегал по комнате и наконец позвонил. Встреча с другом оказалась короткой — я изложил свои доводы, а он сказал, что все понимает. Затем мы крепко обнялись. Думаете, юношеская сентиментальность? Просто мы были уверены, что расстаемся навсегда.

Что и говорить, поступок не лучший. Но ведь и государство, в котором мы жили, не отличалось благородством. Не мы выбрали обстоятельства, а также мании и фобии. Может, с этого и начать? «Ты же сам все понимаешь», — скажу я, а в ответе услышу: «Давай не будем вспоминать».

В кафе

Наша встреча началась как нельзя лучше. Прошлись по самой веселой улице города — Пятой авеню. Вечером она превращается в сплошную рекламу. Кажется, будто движешься по огромному светящемуся коридору. Справа у тебя — гулливерской величины бутылка, а слева — немереные женские трусы.

Потом мы решили зайти в кафе. Перекусить, выпить — и почувствовать себя соразмерными окружающим вещам. Бутылка вина и сигареты тут не напоминали океанский лайнер, а были такими, какими им следует быть.

Сперва разговаривали о том о сем. Слава богу, общих знакомых хватает. Что по ту, что по эту сторону океана.

При этом мы оба чувствовали, что недоговариваем. Он все не переходил к вопросам стороны обвинения, а я не приступал к последнему слову. Где-то в районе четвертой рюмки он спросил:

- А когда ты положил партийный билет?
- В смысле?
- Когда ты вышел из партии?
- Я в нее не вступал.

Потом он произнес:

- Ты урод. Ты меня предал.

Затем мой приятель (теперь уж точно бывший) стал кричать что-то несусветное. Тут я понял, почему он так обрадовался моему звонку. Вот уже сорок лет ему хотелось это сказать, но лишь сейчас предоставилась возможность.

Где-то я читал, что 14 декабря 1825 года было главным — и единственным — событием для восставших. Их биография разделилась надвое: первая половина вела к этому дню, а вторая из него вытекала.

По Пастернаку (или Чингизу Айтматову) это называется «и дольше века длится день». А с точки зрения Эда — «шарманка». Движение его кинетических скульптур чаще всего означает остановку. Ничего не меняется — проходит круг и вновь возвращается в ту же точку.

Оставалось выйти из кафе и дойти до сабвея. Кажется, мы оба были расстроены тем, что так вышло, но вида не подавали. Что за выпивка без выяснения отношений? Может, в Нью-Йорке так бывает, но нас воспитали по-другому.

Оказывается, пока мы сидели и разговаривали, в городе пошел снег. Нечасто это здесь случается, но сейчас было на удивление к месту. Ведь если есть у нас что-то общее, то прежде всего снегопад. Неважно, где он нас застанет — в Бруклине или рядом с Эрмитажем.

Всякий раз у снега своя повадка. Иногда он падает хлопьями, не различая людей, а порой важно и медленно. Так было сейчас. Мы отнеслись к этому с пониманием, а прохожие реагировали нервно. Они гнали снежинки, как назойливых мух.

В Петербурге снег начинают убирать тогда, когда его становится много. Вот вы ощутите себя Суворовым, переходящим через Альпы, и вам на помощь придут дворники. В Нью-Йорке люди с лопатами не ждут, когда все пространство станет белым, а сразу вступают в борьбу.

Итак, мы шли через снег. Вскоре в нем растворились прохожие, а затем пропали дома. Остались только мы двое. Ну, еще наше прошлое. В нем, в этом прошлом, тоже шел снег, засыпая границу между минувшим и настоящим, между нами сегодняшними — и теми, какими мы были эпоху назад.

ПЕРВЫЙ ЭПИЛОГ

Шарманка дает сбой

Еще раз вспомним «паутину жизни», о которой писал Стэд. Каковы цели невидимого глазу паука? Одни ниточки тянутся, а другие обрываются. Бывает, неделями нечего не происходит, а вдруг событие за событием.

Уже пару раз мы замечали — шарманка проборматывает мелодию, а тут случается сбой. В нашем варианте — это новый поворот сюжета. Ушел Юрский, и я о нем вспомнил. Сейчас тоже случилось важное. Стоило приготовиться к тихой жизни в Питере, как получаю приглашение в Киев.

Все мы что-то оставили в соседних странах. Украинцы — в России, россияне — в Украине.

Вот, например, Таня. Ее дед работал в Наркомздраве. Для работников министерства в конце тридцатых годов в центре Киева построили роскошный дом, и семья въехала в собственную квартиру. Наслаждаться комнатами, кухней и двумя балконами пришлось недолго — вскоре за дедом пришли.

Постепенно дом опустел — каждую ночь «воронок» кого-то забирал. Когда план выполнили, оказалось, работать некому. Даже на место наркома не нашлось никого. Назначенный мелкий чиновник еще долго выяснял отношения с сослуживцами: «Ты мне не тыкай. — говорил он, — Я теперь министр».

Как тут не вспомнить кинемат «Вавилон». Он изображает крайнее напряжение попусту потраченных сил. Неважно, чем заняты фигурки. Если бы они арестовывали друг друга и выходили в наркомы, впечатление было таким же.

В мае 2017 года Таня и Эд ездили в Киев и почтили память деда табличкой «Последнего адреса». Знаете, такие железные пластины с прямоугольным отверстием посредине? Видно, она обозначает прореху, образовавшуюся в этом доме.

Теперь моя украинская история. Впрочем, прежде чем переместиться в Украину, немного задержимся в России. Все же надо знать, как все начиналось.

Сразу скажу, ничто не предвещало. Достоинство упоминания только место действия — тогда мы жили в Пушкине, прямо напротив Дома ветеранов архитектуры.

Я часто гулял с маленькой дочкой в «ветеранском» саду. Архитекторы тихо беседовали на скамейках. Возможно, они обсуждали построенные ими дома и сетовали на то, что ничего подобного уже не случится.

Так бы и протекали наши жизни параллельно, если бы судьба не свела меня с Зоей Борисовной Томашевской.

Томашевская, внучка Блинова

Помимо принадлежности к ветеранскому племени, Зою Борисовну отличало умение дружить. Этот талант достался ей от родителей — литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой-Томашевской. Общими усилиями возник семейный круг, в который в разные годы входили Ахматова, Зощенко, Рихтер, Альтман и Иосиф Бродский.

Я стал бывать у Зои Борисовны. Уже тогда из дома она почти не выходила, и на меня возлагались обязанности связного. Всякий раз, напутствуя меня перед походом в магазин или на почту, она рассказывала удивительные истории.

В какой-то момент между нами появился диктофон. Уж больно неправильно, что рассказы уникальные, а рассчитывать можно только на память.

Однажды мы сидели и пили чай. Только что она вспоминала Ахматову и уже собралась говорить о Рихтере, но ей захотелось передохнуть. Диктофон при этом работал. Он зафиксировал ее вопрос:

— А вы знаете, кто был мой дедушка?

Тут я узнал о том, что жил в Житомире Коля Блинов. Ему было двадцать четыре года, но он уже обзавелся семьей и двумя детьми. Правда, что такое личное благополучие в сравнении с чужим несчастьем? Когда в пятом году начался еврейский погром, он не побоялся противостоять погромщикам и был за это жестоко убит.

Во всех пятидесяти одной синагогах Житомира читались молитвы за упокой жертв погрома. Имя Коли произносилось первым. Так русский студент стал еврейским героем. Конечно, русским героем тоже. Может, дома, за самоваром, кто-то и осуждал насилие, но он один попытался вмешаться.

Помните человека в кипе — персонажа кинемата «Виктория»? Многими нитями он привязан к колесам, но совершенно свободен. Как от этих механизмов, так от скорой гибели. Вообразите, он движется под музыку! Ведь единственное, что осталось в его власти, это ритм.

У Коли все было иначе. Его свалили на землю и били железными прутьями. Еще улюлюкали, загоняя в смерть: «Хоть ты сицилист, — бесновались погромщики, — но хуже жидов».

Это тоже называется «смертью смерть поправ». И потому, что Блинов умер «за други своя», и потому, что он был готов к такому концу.

Мать нашла сына в морге Еврейской больницы, куда его привезли вместе с другими жертвами. У него в пиджаке она нашла письмо. С этим письмом в кармане он

прожил несколько лет, точно зная, что все будет именно так. Коля обращался к ней: «Дорогая мамочка!», а затем объяснял, почему был убит.

Продолжение сюжета

У наших с Зоей Борисовной разговоров оказалось долгое эхо. Примерно лет на пять-шесть. Сперва я написал документальную повесть «Наследственная неприязнь к блестящим пуговицам» о ней самой, а потом документальный роман «Дом горит, часы идут» о ее дедушке².

После публикации в «Неве» журнального варианта романа я получил два письма — одно из Израиля, а другое из Житомира. Мои адресаты писали, что прежде не слышали об этой истории, но теперь их жизнь изменилась. Они видят свой долг в том, чтобы увековечить память о Коле.

Честно сказать, я не поверил. Больше ста лет забвения не располагают к оптимизму. Хорошо, что кого-то этот подвиг не оставил равнодушными, но, скорее всего, все ограничится благими намерениями.

Вообще в правила верить легко, а попробуй поверь в исключения! В то, что, много раз исполнив нечто незатейливое, шарманка перешла на более сложный мотив.

Вместе с тем случилось именно это. Меньше через год я поехал в Израиль на открытие памятника Блинову в кампусе Ариэльского университета. Это была победа Коли и его принципов, но тут была и толика моей удачи. Ведь всякая книга предполагает обратную связь: я проживаю с героем его жизнь, но и он прочно входит в мою.

Ариэль находится на так называемых «территориях» — землях, занятых во время войны 1967 года. Поэтому его окружает колючая проволока. Говорят, жители соседних арабских деревень проникают через забор и ходят в местные магазины. Поначалу меня смущала такая близость, но потом я об этом забыл. Столь большое место заняло все, что связано с университетом.

Здесь студенты зовут преподавателей «ахи» — «братец». Возможно, это связано с тем, что у Ариэля русские корни. Многие тут помнят, что в Советском Союзе молодые люди называли друг друга: «старик». Дело не в возрасте, а в принадлежности одному кругу. Вот и «братец» означает: «свой».

Университет долго существовал, не имея примера, а вдруг обрел его в лице Блинова. В какую бы лабораторию ни зашел, на компьютере заставка с портретом Коли. Вроде как напоминание, что студент должен не только много знать, но делать выводы. Если выводы требуют участия, ему не следует оставаться в стороне.

Открытие стелы было торжественным. Буквально до слез. К тому же были сказаны важные слова. К примеру, ректор Ариэльского университета Михаил Зиниград говорил о том, что по-русски есть непере译имое слово «интеллигент». Среди тех обязательств, которые оно накладывает, невозможность подать руку черносотенцу. Так понимали принадлежность к «мыслящему сословию» Короленко, Горький, Владимир Соловьев.

С тех пор ариэльские студенты идут на занятия мимо памятника Коле. Возможно, некоторые не слышали о Житомире, но теперь они знают, что это место взаимоисключающих сил. Существует, конечно, зло, но есть и то, что ему противостоит.

Кстати, памятник представляет стелу, на вершину которой уселась металлическая бабочка. Это Колина душа обрела крылья — и приготовилась лететь дальше. Туда, где беззащитным угрожает расправа.

² Ласкин А. Наследственная неприязнь к блестящим пуговицам // А. Ласкин. Время, назад! М., 2008; Ласкин А. Петербургские тени. Изд. 2-е. СПб., 2017; Ласкин А. Дом горит, часы идут. СПб., 2012; Ласкин А. Дом горит, часы идут. Изд. 2-е. Житомир, 2012.

Во время церемонии рядом со стелой мы посадили лимонное дерево. С тех пор по несколько раз за год оно дает плоды. Так они и существуют вместе: бабочка, расправившая крылья, и дерево, почти не знающее передышки, вновь и вновь покрывающееся желтым цветом.

Житомир-2012

Опять шарманка произвела на свет не привычное «Разлука, ты разлука...», а, к примеру, начало Пятой симфонии Шостаковича. Через несколько месяцев после Израиля я ехал в Житомир, где вышло украинское издание моей книги.

Особенно запомнилась презентация в местном университете. Народу набился целый зал. Я рассказал Колину историю, а затем попробовал домашнюю заготовку — попросил собравшихся проголосовать за то, чтобы в их городе появилась мемориальная доска Блинову.

Сразу поднялся лес рук. Всем захотелось, чтобы Колю не только вспоминали, но он постоянно присутствовал в житомирском пейзаже.

Конечно, я был наивен. Не все решается голосованием. Тем более что скоро в Украине стало просто не до того. Правда, еще одну доску успели повесить — она посвящена Колиному однокласснику Александру Гликбергу, будущему Саше Черному.

Нет, житомиряне не забыли о Коле. Они писали письма в инстанции, собирали деньги и наконец сделали саму доску. Только до установки дело не доходило. Постоянно находились аргументы в пользу того, что надо немного подождать.

Основной аргумент заключался в том, что еще не установлены доски всем великим украинцам. Вот когда это случится, тогда, возможно, дойдет очередь и до Коли.

Новый поворот

Шарманка настаивала, что все повторяется, но тут опять стало сбоить. Я узнал, что доской занялся Евгений Городецкий. Двадцать семь лет он живет в Германии, но о Житомире не забывает. Хочет, чтобы в его родном городе случилось что-то по-настоящему важное.

Есть, знаете ли, такие люди, которым мало того, что есть. Им непременно хочется большего. Так, чтобы не на один день, а очень надолго. Вот появится доска, и она переживет нас.

Честно говоря, я опять сомневался. Если столько времени ничего не выходило, то почему сейчас получится? Вместе с тем события развивались стремительно. Что ни неделя, то какие-то новости.

Месяца через три приходит уже упомянутое приглашение. Оказывается, мероприятий не одно, а два. Седьмого октября восемнадцатого года должен состояться марш памяти Бабьего Яра, а восьмого — церемония установления доски.

В аэропорту Борисполь меня встречал охранник Городецкого Ваня. По дороге в гостиницу он говорил только о том, какими талантами обладает его начальник, а про Блинова сказал так:

— Это же надо, какого хлопца откопали!

Бабий Яр

Меня несколько раз спрашивали: почему именно в эти числа? Действительно, даты выбраны произвольно, если не считать того, что восьмое следует за седьмым.

Раз эти числа стоят рядом, то это не два мероприятия, а одно. Сперва все вместе идем к Бабьему Яру. Затем переезжаем в Житомир, где состоится церемония установления доски.

Надо сказать, это был не первый, а третий марш. Сначала Городецкий прошел этим путем вдвоем со своим товарищем. По дороге он написал об этом в Фейсбуке — и его тексты и фото сразу стали постить. Многие выразили желание в следующий раз к нему присоединиться.

О, великий и могучий Фейсбук — СМИ частного человека! Нынешние телевидение и радио не вызывают большого доверия, и он занял их место. Поэтому через год пришло уже сто человек. Их не приглашали — зовут в гости или в кафе, но не на марш памяти, — но они не могли не принять участия.

Вот и произнесены главные слова — частный человек. Хотя на марше были люди, облеченные властью, но их никто сюда не делегировал. Просто есть вещи, которые нельзя пропустить. В этот день ты обязан быть не на работе или дома, а идти к Бабьему Яру.

На третий марш собралось уже триста человек. Кто-то приехал из Израиля, Германии, Америки. Одна пожилая израильтянка прочла об этом в Интернете — и поняла, что должна быть в Киеве. Купила билет и уже на другой день была вместе с нами.

Еще надо сказать, что в марше участвовали дети из еврейских и немецких школ. Поэтому иврит и немецкий звучали одновременно. Ну и русский с украинским. Сейчас эти языки ничто не разделяло, ибо их носители говорили и думали об одном.

В иной ситуации странно заговорить о погибших и выживших родственниках, но сейчас хотелось вспоминать только об этом. Возникало ощущение, что ты здесь не только за себя, но и за тех, кого нет. Казалось, достаточно назвать имя, и этот человек появляется. Пусть его не различить среди сотен спин и затылков, но он где-то тут.

Я рассказал своим спутникам о Марии Рольникайте. Ведь если была она, то должен быть этот марш. Да и моей книги о Блинове не было бы, если бы не ее присутствие где-то рядом.

Детство Марии Григорьевны — это два немецких концлагеря. Плюс ощущение, сформулированное в названии ее книги: «Я должна рассказать». Мысль о том, что она живет в истории, пришла к ней в том возрасте, когда сверстницы наряжают кукол.

Кое-что этому предшествовало. Желание зафиксировать появилось у нее одновременно с тем, как она научилась читать и писать. Лет в десять на одесском базаре ее так увлекли разговоры, что она решила их записывать. Эти тексты на небольших карточках стали первым ее свидетельством.

Поэтому в лагере Мария Григорьевна сразу знала, что делать. С тех пор она жила общей со всеми жизнью, но ракурс был немного другой. Все же пишущий видит ситуацию немного со стороны.

После окончания войны Рольникайте тоже старалась для будущего. Казалось бы, кому нужны тряпичные желтые звезды, пропуска в гетто, приказы немецкого командования, разбросанные в перевернутой вверх дном бывшей вильнюсской комендатуре? Она не устрашилась и все это собрала. Так возник ее домашний «музей».

«Музей» — это что-то вроде детского альбома для рисования. Сюда Мария Григорьевна вклеила все, что попало к ней в руки. Ты перелистывал страницы, а она комментировала. Объясняла, что надо сделать для того, чтобы выжить в аду.

Больше всего поражало спокойствие. Будто все это произошло не с ней, а с кем-то другим. Так что название «музей» не случайно. Ведь музей — это место, где даже боль и страдание могут стать экспонатами.

Только однажды она не выдержала. Как-то мы беседовали по телефону. Сперва обсуждали что-то не столь важное. Вдруг я услышал: «Вы когда-нибудь жили среди мертвых?» — и трубка сразу стала горячей.

Мать и брата Марии Григорьевны уничтожили в газовой камере. С тех пор ее преследовал один страх, и в том разговоре она в нем призналась. Поэтому в петербургском крематории, где мы с ней прощались, я сразу вспомнил ее слова:

— Меня только не в крематории!

...Так мы двигались дорогой ужаса и безумия. Кто-то вытирал слезы, другие сосредоточенно смотрели перед собой, третьи изо всех сил сохраняли спокойствие... Вокруг шумел и спешил Киев, а мы были не с этой колонной, а с той, что шла по этой дороге в октябре сорок первого года.

Марш не только возвращал в прошлое, но его преодолевал. Особенно остро мы это ощутили тогда, когда пришли в Бабий Яр и встали вокруг огромной меноры. Житомирский раввин Шломо Вильгельм, чуть покачиваясь, прочел «Кадиш». Акция завершилась точкой — нет, все-таки запятой! — ведь молитва побеждает мрак и дает силы жить дальше.

Опять Житомир

В Житомире мне показали строящуюся синагогу. Она не только возникала на месте старой, но вроде как включала ее в себя — в современное здание были вмонтированы фрагменты прежнего фасада.

Когда-то на стене синагоги висела мемориальная доска памяти студента Блинова. Доска не сохранилась, да и от интерьеров не осталось ничего. Только старые кирпичи подтверждали, что все было именно так.

Еще о поступке Блинова рассказывает тот район Житомира, где до революции селились евреи. До войны здесь разговаривали на идиш, а сейчас от тех лет осталась только улица Шолом-Алейхема. Да еще «пер. Ш. Алейхема» — именно так обозначен адрес на одном из домов.

Улыбнулись? Думаю, великий писатель не в обиде. Он ценил все, в чем слышна интонация — ведь это через нее проявляется единственность и неповторимость.

Вот, кстати, повод вспомнить мысль Шолом-Алейхема. Как это он писал? «Человек подобен столюру: столляр живет, живет и умирает, и человек тоже...» Значит, столляр вроде как больше человека. Он не только ходит, ест, разговаривает, но делает нечто важное. Такое, что не умрет вместе с ним.

От этой фразы проще перейти к тому, как на другой день мы открывали доску на месте Колиной гибели. Опять пришло много детей. Для тех, кто участвовал в марше, это был еще один урок. Им предстояло узнать, что бывает не только так, как в сорок первом, но и так, как в пятом. Многие тогда поняли, что зло не настолько монолитно, как казалось прежде.

В этот день я несколько раз проходил мимо доски. Каждый раз повторялась одна картина. Люди шли по своим делам, но, увидев, останавливались. Читали, удивлялись. Понимали, что произошло нечто важное. Не только тогда, более ста лет назад, но и сейчас.

Опять вернемся к частному человеку. Сколько он претерпел от разного рода писателей и философов! Вот, мол, живет обыватель в своей норе. Если оторвется от телевизора, то по хозяйственной надобности. Так и курсирует по маршруту — дом-работа-магазин. Может, еще в праздник сходит в кафе.

Не так давно мы говорили о том, что чаще всего памятники посвящены прошлому, а Татлин создал памятник будущему. В Киеве я видел памятник превращению огня в пепел или мелодии в тишину. При входе на станцию метро «Площадь Независимости» стоит пианино. «Лицом» оно повернуто к стене, а к нам «спиной».

Это не просто музыкальный инструмент, но инструмент «с историей». Можно сказать, участник и ветеран. В четырнадцатом году, во время майдана, кто-то его сюда притащил. Все же людям требуются не только вода и еда. Уж если не уходить с площади, то под речи ораторов, а еще под Моцарта и Шопена.

Поэтому наш ветеран стар и дряхл. Что только ему не довелось пережить! Сейчас он полностью погрузился в себя. Совсем недоступен для каких-либо контактов.

У частного человека тоже бывают разные периоды. Порой он существует наособицу, и тогда жизнь проходит мимо. А случается, вроде как не участвует, а на самом деле накапливает. Наконец понимает, что частный — это тот, кто представляет целое. С этих пор его судьба начинает меняться.

Взять хотя бы Блинова. Казалось бы, он обречен на долгую жизнь на тихой инженерной должности. Так нет же, потянуло вмешаться, и Коля вышел против толпы. Знал, что погибнет, но не мог поступить иначе.

Евгения Городецкого странно сравнивать с Колей. Что угрожает благополучному немецкому бизнесмену? Если все же что-то случится, то для этого есть охранник Ваня, постоянно маячащий за его спиной.

Вместе с тем Городецкий сполна выполнил долг частного человека. Десятки людей при должностях не справились, а у него получилось. Наверное, ему мало того, что дает бизнес. Хочется чего-то такого, на чем нельзя заработать ничего, кроме репутации.

К Городецкому следует присоединить его родителей. Они не уехали из Житомира и помогают сыну в его здешних делах. Все же он больше в Германии, а они в непосредственной близости от тех инстанций, с которыми надо вести переговоры.

Я даже больше скажу — думаю, все, что делает Городецкий, обращено к матери и отцу. Конечно, к человечеству тоже, но прежде всего к ним.

Представьте лестницу. Большая ее часть погружена во тьму, а один участок освещен. На одной ступеньке — бабушка с дедушкой, на другой — родители, а на третьей — вы... Кажется, Городецкий исходит из этой последовательности. Его акции подтверждают, что жизнь не ограничена настоящим временем. Она, жизнь, имеет длинные корни — для того, чтобы на них опираться и из них вырастать.

Напоследок опять вспомним шарманку. Она говорит о многом, но все же не обо всем. Есть что-то, кроме той несложной логики, которую предлагают один и другой поворот ручки.

Редко такое случается, но, как видите, бывает. В такие моменты кажется, что жизнь обрела объем. Начинаешь угадывать не только близкие, но и далекие цели. Те самые, что и делают нас людьми.

Что такое «я»?

Разные люди демонстрируют право поступать так, а не иначе. Это может быть скульптор, который заставил двигаться свои работы. И другой скульптор, которому наскучила привычная мебель, и он создал самые удивительные на свете стулья и столы.

Не так просто приходит понимание, как жить. Конечно, судьба — шарманка, но есть еще предрасположенность. Не зря в детском саду Эд лепил из хлеба. Да и его упорство не случайно. Он вроде как сообщал окружающим: да, творю и буду творить!

А вот еще пример. Тут не только смелый взгляд и развернутые плечи. Соответствующий документ подтверждает, что податель сего — человек с именем и фамилией, а значит, с собственным «я».

Этот человек — моя мама. В кармашке чужого перешитого платья (вот и все ее наследство!) лежали визитки. Да, все как положено: шрифт затейливый, картон твердый... Размер сильно меньше обычного, но и хозяйке этих карточек каких-то пять или шесть лет.

Так постарался мой дедушка, мамин отец. Вскоре его убьют на фронте, и это, пожалуй, единственное о нем свидетельство. Еще где-то на антресолях лежат его фрак и цилиндр.

Видно, до революции дедушка был денди, а потом стало не до того. С «корабля современности» сбрасывали грузы куда более ценные. Тем удивительней, что вещи сохранились. Как мы радовались, когда их нашли! Жаль, случилось это поздно. К седьмому классу я так подрос, что фрак и цилиндр оказались малы.

Представляю, как доставалось дедушке за его рост. Предположим, построение роты, а он последний. Ну а если тащить что-то тяжелое! Наверняка рядом находился кто-то, кого это забавляло.

Пока он живет мирной жизнью. Просит сделать дочке визитки. Работает заместителем директора ленинградской типографии Детгиз. Здесь, под его руководством, печатались «Чиж» и «Еж».

Кажется, визитки — это тот же стиль. Авторы журналов учили не ходить строем. Даже одевались не так, как другие. Если существовал выбор между брюками и бриджами, сигаретой и трубкой, они всегда предпочитали второе.

Визитки тоже противостояли миру победившего коллективизма. Как это Хармс говорил? «Извините, мне тут надо полежать». Смысл этой акции заключался в единственности. На улице все шли, стояли или сидели, а только он делал так.

Хотя карточки — не листовки, но и не то чтобы нечто разрешенное. В тридцатые годы их считали принадлежностью буржуазного прошлого. Единственные, кто имел право ими пользоваться, были дипломаты, что специально отмечено в Большой Советской энциклопедии.

Казалось бы, визитка — чуть больше букашки, а какое впечатление! Вот человек при должности спрашивает: «Ты кто?», и мама протягивает карточку. Он, такой круглолицый и крутобокий, прямо теряется. Всякое случалось в его жизни, но это впервые. Неужто опять вернулись церемонии и каждый будет предъявлять свои права?

Вот такой урок. Причем — от кого? Совсем юное существо объясняет, что она не спица в колеснице, не одна из множества, а самостоятельная фигура.

Вскоре стало не до визиток. Какие могут быть фантазии, если идет война? Впрочем, карточка только повод, а дальше начинаются взгляд и жест. Тому, кто этим обладает, легче пережить блокаду.

В блокаду мама жила одна в огромной коммунальной квартире: родители ушли на фронт, соседи умерли или тоже воевали. Выйти в коридор было все равно что на улицу. Боязно, что темно, но еще страшней потому, что тихо. Трудно себя уговорить, что в тишине не таится угроза.

Хорошо, в комнате стоял большой письменный стол. Между его тумбами ночью можно спать, а днем готовить уроки. Иногда стол превращается в бомбоубежище — мама верила, что когда упадет бомба, он ее защитит.

Теперь вновь окажемся на кухне «Шарманки» (за стеной живут своей жизнью кинематы) и прислушаемся. Таня размышляет о том, что мы — дети случайно не погибших. А ведь так и есть! Вспомните в судьбу предков и убедитесь, что каждому предшествовало чудесное спасение.

Да и как могло быть иначе — при таком количестве войн и революций! Видно, кто-то заботился о том, чтобы линия рода не прерывалась.

Вот история Эда. Его дед был небогат, но все же обзавелся магазинчиком в Николаеве. Ну и пятеро детей — это тоже капитал.

В Гражданскую всей семьей пробирались в Румынию. Остановились переночевать на границе. Глава семьи пошел «до ветра» и услышал, как проводник и хозяин избы сговариваются их убить.

Он всех разбудил, и они пробрались в Тирасполь. Тут на равных хозяйничали Котовский, голод и смерть. Все было очень непросто, но им удалось спастись.

Дальше пути лежали в разные стороны. Брат Володя попал в Палестину, мать Эда — в Ленинград... Так образуется «паутина жизни», создаются пересечения и пробы. Ниточка натягивается и чуть ли не рвется, но тянется дальше.

Значит, не случайно мы сидим на этой кухне. Для этого постарались родные Эда и Тани. Да и моя мама поучаствовала. Не знаю, помог ли ей письменный стол, но уверенность в своих силах пригодилась. Как это ни называй — пушкинским «самостоянием» или мандельштамовским «ощущением личной значимости», — тут и есть основа всего.

«Я — глава рода», «Я — Олечка», «Я — автор движущихся скульптор», «Я — создатель самых необычных в мире стульев» — это ведь о том, как осознаешь свое отличие. Понимаешь, что только ради этого следует жить.

Присоединим к этим примерам женщину на вершине «Миллениума». Ее жест тоже может быть прочитан как демонстрация своего «я». Ведь если она так не сделает, то кто это сделает за нее?

ВТОРОЙ ЭПИЛОГ

В октябре 2018 года я шел по Киеву — такому просторному и неожиданному в каждом своем повороте — и вдруг вижу, что заблудился. Спрашиваю прохожего, как пройти туда-то. Он объясняет, а потом интересуется:

— А вы сами-то откуда?

— Из Петербурга, — говорю я.

Что тут с ним произошло! Он немного отошел в сторону, словно картина, которая была перед ним, не вмещалась в его зрение. Когда я наконец занял положенное место в его зрачке, он спросил:

— Можно я вас обниму?

Честно сказать, такое у меня впервые. Никогда не обнимался с прохожими. Но сейчас мы были вроде как Киев и вроде как Петербург. Уж эти-то города точно не безразличны друг другу.

Мы не сразу расцепились и так стояли еще пару секунд. Затем расстались навсегда. Что это было? Может быть, у него что-то связано с нашим городом, и через меня он свой «меседж» передавал.

Очень похожи отношения между героями этой повести. Многие из них не знают друг о друге, но без каждого картина останется незавершенной. Так и представляю, что здесь Эд делает кинематы, а там мы идем к Бабьему Яру.

Помните, что сказал Тим Стэд, наблюдая за процессом переливания крови: «Вот мы и породнились, / Но при этом не познакомились». Кажется, деревянный мастер понял главное. Участников сообщества (в том числе и того, что образует текст) соединяют не причинно-следственные связи, а что-то вроде принципа дополтельности.

Похоже строятся контакты читателя с персонажами. В Дании у вас есть друг Гамлет, а в Германии Фауст. Случается, в поле зрения возникнет современник. Если, к примеру, вы дочитали до этой страницы, то кто-то из героев вас заинтересовал. Возможно, вам любопытно: а что произошло дальше?

Окинем взглядом расстояние от Петербурга до Глазго, от Нью-Йорка до Киева и убедимся, что перемен немного. Сколько было волнений вокруг владений Стэдов, а все по-прежнему. Надеюсь, так будет не всегда. Кому-то очень захочется, и жизнь в доме возобновится.

И у Берсудского без изменений. Проблемы с давлением — не в счет. На вопрос о планах Эд отвечает, что стал орнитологом и изучает сексуальную жизнь воробьев. Такое у него философское настроение. Думаю, еще недолго, и он опять удивит мир.

В последние месяцы Сережа Жаковский находился в разъездах, а потому не появлялся в этой повести. Сейчас Таня передала сыну свои обязанности, и он теперь в «Шарманке» «за главного». Зато у нее стало больше времени для сада. А там дел невпроворот! Что ни день, то какие-то проблемы у подшефных крокусов и гладиолусов.

Конечно, это не в ущерб сайту памяти Юрского. По ее требованию из Питера, Москвы и Иерусалима приходят новые материалы. Мне она тоже дала пару заданий, и я вскоре этим займусь.

Теперь очередь Городецкого. Кажется, я не сказал, что он большой человек во всех смыслах. Немалого веса. Поэтому следующая его акция обращена не на других, а на себя.

В латвийском санатории его обещали сделать «доцентом» или, вернее, «доцент-нером». Придется выпить много кефира, но это того стоит. Когда он перейдет черту в сто килограмм, жизнь станет веселее. Легче будет заниматься бизнесом и организовывать марши.

Что касается моего приятеля из Нью-Йорка, то он тоже не сидит без дела. Не знаю, что у него с бизнесом, но выяснять отношения с ленинградской жизнью он будет всегда.

Ну и, наконец, я, автор этого сочинения. Уже то неплохо, что наше путешествие подходит к концу. О чем думаешь, заканчивая работу? Почему-то вспоминается презентация книги Юрского в музее-квартире Пушкина на Мойке в марте 2001 года. Кстати, книга называлась «Эжен Ионеско в русской версии Сергея Юрского» и еще раз подтверждала, что для этого актера и режиссера не существует границ. Он не только пишет стихи и прозу, но и переводит.

Сперва Юрский читал — играл — свой мемуар о Венеции и Бродском. Затем было нечто вроде чествования — презентация совпала с его днем рождения. Представьте, на сцену выходит хор областного университета. Тридцать или сорок почти одинаковых барышень выстраиваются в несколько рядов.

Видно, Сергей Юрьевич почувствовал опасность. А вдруг будет величальная? Как мы помним, пафоса он избегал. Даже перейти на «ты» пытался без церемоний. Вернее, все сделал, как полагается, но тут же снизил торжественность момента.

Только барышни изготвились следовать за рукой дирижера, а Юрский уже рассказывал о том, как в студенчестве ездил с таким хором в Эстонию. Все пели, он объявлял. Вот и сейчас Сергей Юрьевич вытянулся в струнку и произнес голосом равно нейтральным, сколь и заинтересованным:

— Хор Санкт-Петербургского областного университета имени Пушкина...

Что всегда умел Юрский, так это внести смысл. В считанные минуты настоящее стало прошлым. Не прошлым вообще, а его личным воспоминанием. Участвовавшие в воспоминании девушки действительно пели величальную, но это уже было неважно.

Еще мне приходит на память одна фотография — в феврале семьдесят седьмого года Юрский выступает в ленинградском Доме писателя на вечере памяти Зощенко. Народ сидит, стоит, висит на люстрах. Из окошка в комнате звукорежиссера на хорах выглядывает голова известного литератора.

В одну из наших более поздних встреч я попросил Сергея Юрьевича что-нибудь на этом фото написать. «Давно это было, — написал он, — но ведь было же!»

Это фото долго стояло у меня в шкафу, пока я не заметил, что буквы стираются. В конце концов они пропали совсем. Как видно, фломастер, который я дал Юрскому, был не рассчитан на долгую жизнь.

Впрочем, своей надписью он все сказал и про это фото с исчезнувшими буквами, и вообще про все, что с нами случилось за наш некороткий век: «Давно это было, но ведь было же!»

КАМНИ, БЕЗДУШНЫЕ

Рассказ

Илья Иванович Потапов всегда мечтал жить медленно. Так медленно, чтобы успевать чувствовать нутром трепет мгновений.

Секундная стрелка часов, длинноногая и прожорливая, как саранча, игнорировалась им начисто, минутная презиралась, а ползучая часовая удовлетворяла хронометрические потребности Ильи Ивановича не в полной мере.

Именно Потапова завораживало почти застывшее для постороннего взгляда движение. Нечто в пучинах Хроноса предназначалось лично нашему герою и явилось причиной его необыкновенной судьбы.

До сорока пяти Потапов по инерции отмазывал год за годом, уныло осознавая, что живет не в своем ритме. Оттого, пожалуй, существование его, в том числе личное и семейное, так и складывалось.

В сорок пять он развелся. Однако обо всем по порядку.

Мать рассказала, что ребенком Илюша был спокойным, созерцательным. Сам себя грудничком Потапов не помнил, но был уверен, что именно тогда жизнь ему удавалась. Потом ее подпортил социум, который в младенчестве тоже присутствовал, но запросто устранился сочными потаповскими воплями.

Детский сад, школа, студенчество и зрелость до сорока пяти прошли, как у всех. Опустим их.

На границе же рокового возраста что-то в Потапове тренькнуло. Мол, хватит, разбазариваешься, пора. Брак его к тому времени существовал лишь формально, и Потапов первым делом прекратил его окончательно, чтобы ничто не нарушало сосредоточенного уединения.

Дабы соблюсти хронологию, самое время сообщить о роде занятий Ильи Ивановича. Был он повелителем цифр, то есть бухгалтером. Работа не являлась делом всей потаповской жизни, но, по крайней мере, не мешала ей осуществляться. Замершие пред величием Ильи Ивановича цифры беспрекословно повиновались, а главное, безмолвствовали. Обходился с ними Потапов нежно, но твердо, как подобает правителю. Пригвождал, куда следует, взглядом, острым карандашиком или молнией курсора.

Сложнее было с сослуживцами, которые все норовили мельтешить или вступать в никчемное общение. Однако коллектив оказался хорошим, по-нынешнему — толерантным, и вскоре слился для Ильи Ивановича со спокойным фоном офисных обоев. Коллеги ответили взаимностью, стали воспринимать Потапова как функциональный элемент офиса, требующий особого уважения, поскольку документооборот плавно, абсолютно без сбоев тек через странного бухгалтера. О лучшем отношении Потапов и не мечтал.

Юлия Борисовна Ким, родилась в 1966 году в городе Ирбит Свердловской области. Окончила Орский государственный педагогический институт, факультет русского языка и литературы. Публиковалась в журналах «Русское эхо» (Самара), «Нижний Новгород», «Техника — молодежи», в сборнике «Крымское приключение» (2018). Живет в Москве.

Сотрудники стремились прошмыгнуть мимо плотно занявшего свою нишу Ильи Ивановича, чуя его чуждость. Тот думал о них с сожалением. Мимо, мимо, всю жизнь мимо важного, главного, ценного. Образ важного для самого Потапова скрывался в тумане, как гора Ай-Петри. Возможно, поэтому он надолго застрял в привычном для всех мягком, пухлом облике, прикрытом сверху розовато-пепельной и щетинистой, как бочок поросенка, лысинкой.

Как-то не попадал Илья Иванович в такт с другими.

Никем до сорока пяти лет он не оброс, увяз в одиночестве, как в болоте. Хотя кому болото, а Потапову — самая та среда обитания.

Справедливости ради замечу, что не всегда так было. В мягкой беззлобной юности желал Потапов рядом человека, с которым сможет с наслаждением пройти сквозь мгновения, не расплескав понапрасну драгоценностей жизни. Мечтал он найти единение с теплым, женским, самой природой созданным быть медленным и текучим.

Большие надежды, растаявшие, впрочем, в раннем браке, возлагались на первую любовь, невесту, ныне бывшую жену, в то время кроткое существо с опущенными долу ресницами под аккуратной челкой. Невеста, скинув удушающее свадебное платье, расправила перышки, подняла голову. Под ресницами ее засверкала жажда обладания материальным, которого у Потапова особо и не было, а самое страшное — временем, отпущенным Илье Ивановичу.

В итоге получилось, что замедлиться, как мечталось, с кем-то мягким у Потапова не получалось даже в случайном или купленном сексе. Женщины не понимали, чего от них хотят, а жена быстро нашла Илье Ивановичу постельную замену, от чего он с облегчением вздохнул и остался ей благодарен.

Нежность Потапова к живому, в юности, бывало, доводившая моего героя до стыдно-сладких слез, улетучилась со временем, выдохлась, как тонкие духи из неплотно закрученного витиеватого флакона. Внутри осталась пустота. Илья Иванович нырял в нее с запоздалым сожалением, но все реже, все реже.

До сорока пяти пробовал он еще время от времени трепетное, женское и тянулся иногда душой к особям своего пола за дружеским теплом, но напрасно, не находя понимания. После сорока пяти — как отрезало.

Грустная истина была в том, что другие люди сбивали Потапова с его ритма.

Вернемся к разводу, после которого все и началось, точно выжидало мироздание, когда Потапов одумается и обеспечит себя одиночеством. Отдал Илья Иванович без сожаления жене, в качестве компенсации за загубленную молодость ее, все нажитое и перебрался налегке в коммуналку с крутыми сводами, доставшуюся ему в наследство от умершей недавно одинокой тетушки. Территория, отгороженная от бешеных пульсаций мира шестью плоскостями, устроила Потапова до такой степени, что даже ремонт сделать он не посчитал нужным. Ржавые подтеки по углам, глубокие трещины на потолке и колоритное пятно от гигантского утюга на стертом до белесости линолеуме нисколько его не смущали, напротив, придавали жилищу хронологической весомости. Соседи Илье Ивановичу достались колоритные, достойные отдельного рассказа, но, слава богу, неназойливые. Чаще всего они просто отсутствовали в квартире или в стандартной действительности. Находясь в офисе, Потапов представлял, как вечером по извилистым, сумеречным коридорам попадет в пространство, заполненное только его воздухом, и проведет в нем медленное время до самого утра.

Почетное место в жилище занимала кровать. Досталась она Потапову от той же покойной старушки, по конструкции напоминала слоеный пирог, поскольку была заполнена таким количеством тюфяков, матрасов, одеял, что походила в итоге на постамент. Кровать сразу понравилась Илье Ивановичу, менять в ней он ничего не стал, не

попытался даже добраться до ее дна, лишь переместил из угла в центр комнаты. На постаменте Потапов и замедлялся в объятиях ласкового Морфея или величественного Хроноса.

И если у самого Ильи Ивановича никогда не возникало желания объяснить кому-либо, что он есть, то я совсем не хочу, чтобы вы поняли что-нибудь из моего рассказа о нем превратно.

Ленив он не был. Аккуратен был. Дело свое знал. Оставшуюся от него жизнь не разбазаривал.

Если вы поняли, что Потапов оглянется вдруг вокруг и удивится, к чему вся эта суета, как не к созданию новой суеты, и так по кругу, по кругу, как крысиные бега... Если вы поняли меня именно так, то вы ничего не поняли про Илью Ивановича. Плевать ему было на суету и круговые забеги.

Не так, как другие, ощущал он движение жизни в себе и вокруг.

Ему всегда казалось, а позже это переросло в уверенность, что существовать нужно в глубь времени, а не пытаться растянуть его вширь до бесконечности, как резиновый эспандер, который, порвавшись в итоге, с громким всхлипом хлопнет по незащитному телу и заставит его съежиться на какое-то время, а может статься, и навсегда.

Илье Ивановичу было знакомо ощущение, когда зрачки расширяются до бездны, в которую ныряешь, ныряешь, ныряешь...

Нет, нет, что вы, даже не думайте, он не употреблял, не кололся и не нюхал. В мыслях не было. Илья Иванович не бегал от жизни, тем более столь сомнительным способом. Он зрил в ее корень, вслушивался в пучины времени запросто, как в себя.

Когда Илья Иванович глубоко, протяжно вздыхал, настраиваясь на медленную растянутую волну, мир отстранялся, оставался один Потапов, который вырастал из маленького, кругленького размера и глыбой повисал над земной красотой...

Жил бы Илья Иванович спокойно, в окружении кротких цифр, если бы не офисная активистка Финогеева, возрастная фея льготных путевок и прочих улучшений жизни и здоровья. Беспокойство Потапову от нее было маленькое, не больше чем от надоедливой мухи, и не стала бы я упоминать о Финогеевой в этом печальном рассказе, если бы не некоторое участие ее в дальнейшей судьбе Ильи Ивановича.

Скорее всего, это все равно бы произошло. Просто активистка стала личным потаповским катализатором.

Жила она в среднестатистическом темпе. Одежду носила разных оттенков красного. Откуда она такая, деятельная, только взялась?

Женщиной Финогеева была миниатюрной, даже Потапову едва до плеча доставала, но нехватка нескольких сантиметров тела с лихвой компенсировалась повышенной социальной активностью. Финогеева была убеждена, что коллектив должен быть сплочен, и сплочен именно ею путем культурно-массовых мероприятий. На очередном, объявление о котором Потапов воспринял с глубокой тоской, все и началось.

Пришлось долго трястись на автобусе, от чего тошнило, да еще и пели все хором, выдергивая Потапова громкостью звуков в общее веселье из спасительного забытья.

Однако когда прибыли на место, Потапов замер от восхищения.

* * *

Откуда здесь взялся каменный лес, никто толком не знал. Причудливых форм глыбы, округлые и пупырчатые, повылазили на солнышко, растолкав твердыми плечами вековые сосны. «Наука, — сказал группе проводник, — грешит на ледник, который якобы и притащил карельскую природу на волжские берега». Однако территорию камен-

ного леса благополучно окружала банальная среднерусская природа. Не по воздуху же ледник переместил булыжники... Хотя версия про воздух показалась Потапову правдоподобной. Казалось, именно оттуда случился беспощадный камнепад, примявший к земле деревья, словно былинки. Возникал вопрос: откуда конкретно и в результате чего камни попадали? Ответ отсутствовал. Оставалось рассказывать сказки, что и делал проводник, налаживая контакт с группой подвижными прозрачными глазками, похозяйски похлопывая глыбы ладонью и ковыряясь в каменных трещинах нечищеным ногтем.

Проводник поведал, что места эти овеяны легендами, камням приписываются магические свойства, темная сила. Говорят, люди здесь пропадают. (Меньше чем через час Потапов вспомнит последние слова.)

Якобы посетили этот клочок суши великаны, а может, и отпрыски великанов, как же им без детства, и разбросали, может специально, может по небрежности, то ли игрушки, то ли нечто более практичное. Для подтверждения гипотезы восторженно внимающей группе предлагалось разглядеть в скоплениях камней фигуры огромных людей. Экскурсанты, веселясь, мучили фантазию.

Потапова великаны не впечатлили. Все происходило неправильно.

Подогретая проводником группа принялась одушевлять все встречное. Типа, этот валун похож на спящего человека, та скала — на льва, булыжник — на лисичку. Потапов одиноко страдал. Разве мыслимо сравнивать то, вековое, с тленным? Напрашивалось сравнение наоборот — светлых людей с безмолвными исполинами, ведь камни первичны.

Что за свойство у человека, прости господи, раздраженно думал Потапов, все равнять по себе, неуместно приписывая человеческие качества всему подряд, да еще с уничижительными интонациями. «Смотрите, смотрите, собачка какает ну совсем как маленький ребенок». Да как собака она срет, оставьте ее в покое со своей манерой величия.

Товарищи Потапова разбрелись по лесу, фотографируя себя, венцов творения, на ее фоне. Ах, какая красота, какая первозданность! Вульгарность происходящего нервировала Потапова, ему было неловко за людей. Мысленно Илья Иванович неуклюже оправдывался перед природой.

Она же мощно и неспешно стояла на своем, взирая сверху вниз на теплых, смертных, забавно, самоуверенно шелестящих, уступающих камням в поединке за вечность.

А еще Потапов страдал от плотского. Тело его вело себя в лесу совсем не так, как представлялось Илье Ивановичу накануне поездки. Думал он, что от лесного воздуха пепельная кожа его порозовеет и будет он бодрым козликком весело скакать по камням. На деле козлика из него не вышло, кожа осталась серой, вдобавок заблестела от пота и кожного сала. Таскать себя по природе оказалось тяжело. Кроссовки, приобретенные давно, по случаю, неношенные и непривычные ногам, елозили по круглым камням, тщетно ища устойчивости. Потапов неловко взмахивал руками и заваливался, переламываясь в поясице, назад, рискуя рухнуть затылком на булыжники с высоты своего роста.

Местность была холмистая. С крутых горок приходилось под прибаутки проводника съезжать на пятой точке, чертыхаясь в досаде от неспособности своего тела для неровной местности и от унижения. Краешком сознания, чудом оставшимся в этом кошмаре потаповским, Илья Иванович жалел об упущенных выходных и с тоской вспоминал прохладу и покой своей кельи.

Все случилось в каменном лабиринте. Сквозь пелену усталости просочились его флюиды, в чем-то созвучные натуре Ильи Ивановича. После стыдных страданий ему безумно захотелось остаться в лабиринте одному.

Строго говоря, не лабиринт это был вовсе, а так, нагромождение камней в человеческий рост и выше. Усталый проводник объявил группе свободное время, а сам остался наверху. Народ рванул внутрь.

Сначала шли гуськом, всматривались в прохладную тьму многочисленных впадин, гротов, пещер, дивились сюрреалистическим формам, налетали друг на друга. Потом лабиринт разветвился, и все разбрелось.

Потапов шагал вперед, надежно прикрытый с боков от простора мира каменными сводами, натертыми до гладкости природными явлениями. Время от времени он поднимал голову, чтобы полюбоваться синью атмосферы. Коллеги обгоняли его или шли навстречу, пресытившись каменными видами, но общением не докучали. На Потапова снизошел покой. Всегда бы так.

Почему он свернул с тропинки именно к этому гроту, Илья Иванович не помнил. Он пригнулся, нырнул вниз, там оказалось, что можно спуститься еще глубже, туда, куда не дотягивался дневной свет. Глаза быстро привыкли к темноте. Внутри оказалось удивительно просторно. Потапов распрямился в полный рост. Было холодно, пахло мхом и сырой землей.

Не видимый никому, Илья Иванович позволил себе до предела замедлиться и побрел на ощупь, касаясь шершавых твердых стен, впитывая ладонями холодную умершую древность. Вдруг он почувствовал, что кто-то мягко и ненавязчиво, словно извиняясь, присоединился к его замедлению. Потапов оглянулся на выход из пещеры, и тогда внешний мир странным образом ускорился, а потом и вовсе свернулся в сплошную белую, ускользящую от внимания Ильи Ивановича ленту. Однако постороннее присутствие было не там, не снаружи, а здесь, в глубине, в двух шагах от Потапова.

Там, где только что была каменная мертвечина, словно включили отопление.

Ладони Потапова становилось все теплее. Тьма редела. Илья Иванович положил на каменный выступ обе руки, а потом и вовсе обнял его. Пуговица на рубашке отвалилась, цокнула по твердому. Живот Потапова оголился и плотно лег на глыбу. В живот заструилось чужое тепло...

Вдруг Потапов услышал вздох. Не свой. Свое дыхание Илья Иванович затаил, чтобы тоньше чувствовать происходящее. Вздох был, глухим, низким. Потапову послышались в нем удовлетворение и грусть от недавно пережитого. Вздох длился долго, к завершению его Потапов уже не сомневался, что под руками и животом — живое. Тем временем живое стало мягким, как губка, и мой герой услышал рядом стук каменного сердца.

Илья Иванович слушал, и внутри его разворачивалось единение с тем, кто оказался не мертвым.

Потапов готов был уже остаться здесь, пропасть для всех и обрести себя. Только он собрался заговорить с незнакомцем, только стал аккуратно подбирать слова, мусоля их во рту и обкатывая языком, как монпансье, только до него издалека, из самых глубин подсознания, запертых от бранных, очень-очень медленно стало что-то доходить, как все испортила Финогеева.

На выходе замаячило багровое. Потапов отвлекся, расфокусировался. Время беспоощадно ускорилось и выдернуло его наружу. Что тут скажешь, у активистки было исключительное чутье на немассовость.

— Что с вами, Илья Иванович? — Рука ее без спросу взялась за Потапова и тут же отдернулась. — Илья Иванович, вы весь холодный. Вам здесь вредно, вам нужно в тепло.

Финогеева вновь бесстрашно взяла Потапова за руку и потащила на поверхность спасать солнцем.

Возможно, правильно она сделала. Возможно, внизу подцепил он то самое, к чему предрасположенность имел всегда и отчего признали его своим нелюди.

Возле багровой реальной Финогеевой Потапов подумал было, что все произошедшее ему примерещилось. Однако подозрение и еще что-то в нем уже зародилось.

Весь следующий день, выпавший на воскресенье, Илья Иванович провел дома в невнятной тревоге. Вчерашние события медленно переваривались потаповским разумом и постепенно списывались на опьянение от свежего воздуха и жару.

Он было задремал, успокоившись, как вдруг кто-то сказал в его голове голосом проводника что-то про душу камней. Слова, бултыхающиеся в подчищенном выходным днем потаповском разуме, внезапно приобрели новый смысл. Илья Иванович, скатившись с перин, рванул к Интернету.

Камни дышат? Душа камней? Камни живые?

«Камни появились в древнейшие времена творения и впитали в себя всю историю». Важно, но не то.

Вот оно!

«Двое французских геологов-исследователей Арнольд Решар и Пьер Эсколье долго и тщательно изучали образцы пород, взятые в разных точках земного шара, и выяснили, что камни обладают подобием процессов жизнедеятельности, только очень медленных.

Оказывается, структура камня способна меняться, они бывают старые и молодые. Более того — они словно дышат. Правда, на один вдох у них уходит около трех дней, а на выдох около двух. А каждый удар сердца длится около суток...»

Далее осторожным бюрократическим языком с множеством оговорок рассказывалось, как два упрямых заграничных парня годами докапывались до истины.

После того как приборы зафиксировали в камнях еле уловимую пульсацию, Арнольд и Пьер вели наблюдение за ее частотой и систематически взвешивали камни.

Потапов представил, как желчно издевались над ними коллеги, ощутил колкость насмешек и мерзость безденежья. Кто же возьмется финансировать подобную ерунду? И симпатия к людям, давно покинувшая сердце Ильи Ивановича, посетила его вновь.

Потапову стало стыдно своего намерения растворить в эфире будничности вчерашнее происшествие. Он лихо поставил на дыбы хлипкий тетушкин стул, чуть не опрокинулся вместе с ним навзничь, но вовремя поймал равновесие: «Не-е-ет, шутите, не померещилось...»

Илья Иванович даже пригрозил кому-то пухлым пальцем. Возможно, невиноватой Финогеевой.

Засыпая, он старался дышать как можно медленнее и мечтательно шептал: «Вдох — три дня, выдох — два...»

* * *

Второй раз странность случилась с Потаповым не скоро, месяцев через шесть, в Государственном Эрмитаже.

Илья Иванович подозревал, что текучесть офисных кадров, не то чтобы фатальная, но все же заметная, брала истоки от симбиоза тяги Финогеевой к прекрасному и ее же страсти к коллективному. Робкие попытки сопротивления коллег приобщению к тому или другому воспринимались ею крайне болезненно и грозили непокорным анафемой по общественной линии с перспективой лишения корпоративных благ.

Финогеева была убеждена в необходимости окультуривания ближних и взывала к сознательности.

Мол, стыдно, проживая в Северной столице, досконально не знать Эрмитажа. Для достижения доскональности следовало осматривать его частями, а для оптимизации охвата — массово.

Возражать считалось стыдным, поскольку Эрмитаж — святыня, практически культовое явление. Проще было кинуть долю своего выходного на жернова искусства.

В тот день досмотру подвергались греко-римские залы.

Искусствовед, высохшая, тихая, как осенний лист, старушка, кутаясь в пыльную шаль, с философским спокойствием знакомила группу с торжественно выставленной напоказ античной каменной плотью.

Обилие вечной обнаженки ничуть не смущало женщину. Впрочем, похоже, на фоне приближающейся вечности ее ничто уже не способно было смутить.

Рядом с Аполлонами Потапов чувствовал себя шарообразным, которому не помешало бы придать твердости и мудрой рукой скульптора сколоть лишнее.

Старушка зашелестела про самых знаменитых Венер-Афродит Эрмитажа и мягко притормозила группу возле Венеры Таврической.

Финогеева жестами и взглядами призывала коллег в упор разглядывать обнаженную Венеру.

Плоский живот с глубоким пупком, лысый лобок, ноги со слишком крупными пальцами, юную грудь в пятнах времени, как в веснушках. Венера отворачивалась от бесстыжей толпы. Она глядела в сторону. Мягко сомкнутые губы, плавные изгибы стана. Ей даже нечем было прикрыться, руки потерялись где-то в веках.

Потапову стало стыдно за группу и по-доброму жалко Венеру Таврическую. Как, однако, поганно ей здесь!

Он незаметно полюбовался пухлым лобком, щечкой и решил оторваться от товарищей.

Илья Иванович захотел скрыться в интимности с какой-нибудь Венерой-Афродитой. Раз их здесь так много, то найдется для него одна, та, которую не облапывают сейчас нескромные взгляды.

«Камень словно дышит», — удаляясь на цыпочках, услышал Потапов шелестящий голос, и внутри его что-то щелкнуло.

Чтобы успокоиться, Илья Иванович решил занять мозг привычным образом и принялся считать, бродя по залам и подглядывая в путеводитель, эрмитажных Венер-Афродит. Были они выбраны им для счета как символ приобщения к прекрасному, поскольку перед Финогеевой все же было неудобно за побег.

В путеводителе Венер оказалось не меньше, чем эрмитажных кошек.

Потапов нашел уже с десятков, когда набрел на нее, купающуюся.

Она, склонив голову, на корточках сидела у окна. Вокруг не было никого, лишь мраморный Эрот маячил за Афродитиной белой спиной. Смотреть на купальщицу было не стыдно. Она находилась здесь не напоказ, как Венера Таврическая, а просто занималась своим веселым делом. Потапов подошел вплотную, просто как мог когда-то в далекой юности запросто подойти к красивой девушке на пляже, залюбовался ею, настоящей, без одежды, макияжа, лишнего веса, целлюлита и неожиданно для себя вдруг задумчиво положил руку Афродите на бедро.

Тут что-то всколыхнулось в воздухе, и внешний мир, оставшийся на периферии, ускорился, а затем, слившись всеми своими предметами в сплошную белую ленту, исчез. Ладони стало тепло.

Афродита грациозно разогнула мраморную шею, весело поглядела на потаповскую длань на своем бедре, кожа под ней примялась и стала совсем горячей и розовой. Афродита подмигнула Илье Ивановичу и пригрозила пальчиком с коротко остриженным ноготком.

Морская волна обдала божественную девушку с ног до головы, проигнорировав Потапова. Он краснел, но руку с мокрого тела Афродиты не убирал.

Оглядевшись, Илья Иванович обнаружил вокруг другие статуи. Они подавали признаки жизни и даже разговаривали.

Отовсюду слышались смех, шепот, шелест. Неужели это он вдохнул душу в камень? Только Потапов так подумал, как Афродита заколыхалась от веселья.

— Смешно, они мнят себя хозяевами планеты, сосудами для души. Какой бред! Мы есть, были и будем сутью Земли.

— Мы основа основ, мы опора и твердыня, — угрожающе зашуршало вокруг.

— Тоже мне — боги. Слизь у наших ног, — горячо прошептал кто-то прямо в затылок Илье Ивановичу. — Наши души повсюду...

— Слизняки — разнеслось по залу.

— Однако, — тихо начала Афродита и все вокруг тотчас смолкло. — Однако, иногда встречаются среди них наши. К примеру, Потапов.

Афродита нежно уткнула в него белый пальчик.

— Наш — дружелюбно зашелестело вокруг

Стоя с пальцем внутри и с рукой на бедре Афродиты, Потапов чувствовал, как блаженно каменеет.

Тут мелькнуло красное. Мой герой сразу понял, что это. Реальность вдавилась в его новую жизнь, а Афродита замерла и опустила взгляд долу. Рядом с ней дерзко нарисовалась Финогеева. И почему она всегда не вовремя? Проклятая красная кофта!

Финогеева застучала Потапова с бедром Афродиты в руке. Группа чуть поотстала, внимая шелесту старушки. Финогеева громким шепотом закричала на Потапова. Мол, Потапов, вы что, сбрендили? Мол, немедленно уберите руку с экспоната, он непременно испортится от вашей микробной потной ладони.

Потом активистка заметила, что бухгалтер вроде как не в себе, и поспешила его спасать.

На этот раз все списали на жару в сочетании с лишним весом Потапова. Чай, не Аполлон! В залах в тот день действительно было не по-эрмитажному душно.

— Камни несут в себе необъяснимую энергию и силу, — продолжала старушка, туманным взором вручая Илью Ивановича Финогеевой. — Посмотрите, как художнику удалось вдохнуть жизнь в мертвый камень, — искусствоведша указала на купающуюся Афродиту.

«Хм, жизнь в мертвый камень, — усмехнулся Потапов, сидя на скамье с противно мокрым носовым платком на лбу, прижимая ладонь с Афродитиным теплом к своей щеке. — Это еще надо разобраться, кто мертвее сейчас — камень или художник», — зло подумал Илья Иванович и поплелся дальше по эрмитажным залам под бдительным присмотром Финогеевой.

Домой он возвратился смурной. Ночью в эротическом сне, умолчим из скромности про его содержание, к Илье Ивановичу явились Афродиты, а по пробуждении примерещились по углам комнаты шевелящиеся конечности статуй. Весь день Потапов пугливо оборачивался, но, слава богу, ничего такого за спиной не обнаруживал. А еще он внимательно прислушивался к себе. Что-то странное и сладкое происходило в нем после контакта с каменным бедром.

* * *

Бог троицу любит. Дьявол ее обожает. Решающий третий раз настал для Потапова через пару месяцев.

До этого были цветочки, а тут действительно — началось. С ним вступил в контакт сам солнце нашей поэзии, Александр Сергеевич, в камне.

Илья Иванович имел привычку после работы заходить в Пушкинский сквер, что на одноименной улице.

Вокруг бурлила городская жизнь, а за чугунной оградой был свой микроклимат, возвышающий и слегка отдающий глубокой стариной.

Здесь Потапов мог позволить себе замедлиться до возможной степени и насладиться тягучей паузой.

Илья Иванович присел на лавочку, удобно приняв уставший от поддержки Потапова позвоночник, и устремил рассеянный взгляд на памятник.

Именно этот каменный Пушкин, взбешенный словоблудием вечно нетрезвых по причине вдохновения отцов-основателей русского рока, по их же словам, указал перстом на только что расселенный дом на Пушкинской, 10: «Идите, забирайте и создайте же свое новое искусство, довольно вам ныть».

Александр Сергеевич на постаменте, чересчур громоздском для поджарого, легкого на подъем при жизни поэта, стоял со скрещенными на груди руками, придерживая книжный томик под мышкой, серьезный, даже сердитый.

Как же ему скучно нести бремя славы посреди губительной суеты. Как скучно, как тоскливо...

Каменный Пушкин выпрямил руку и указал пальцем вдаль. Долго в такой позе простоять он не смог. Каменная книга стала соскальзывать из подмышки Александра Сергеевича. Он присел, ловко подхватил том и принял прежнее положение.

Потапов моментально очумел и ускорился. Так быстро он не двигался с мальчишеских времен. Бежал вслепую. Вскинутая рука поэта и палец его, прямой, с жесткими узелками суставов и отполированным ногтем, маячил пред мысленным взором всю дорогу домой.

У себя, отдышавшись, Илья Иванович путем сложных компьютерных манипуляций и гугл-карт наложил длань Александра Сергеевича на местность Санкт-Петербурга. Длань легла поверх улиц, переулков, каналов, мостов и уперлась завершением идеального пушкинского ногтя в неказистое здание.

Где-то в ином временно-пространственном измерении Пушкин с маникюрной пилочкой в сухопарой ладони, закинув ногу на ногу и склонив озорную курчавую голову к красе своих ногтей, тихонечко хихикал.

Палец поэта уперся в урологическую клинику «Слон», прямо в ее стыдное нутро.

Потапов плюнул и отправил изображение с экрана в корзину, ибо не ведал дальнейшей судьбы своей.

* * *

Еще через пару месяцев с телом Потапова стало неладно.

Болел он редко, точно застыло все в нем в состоянии практического здоровья. Ни туда ни сюда.

Надо было бы, конечно, собой заняться. Лишний вес, дряблость мышц, постоянные обещания себе исправиться. Но жил и жил Потапов, как привык, не тренированный с юности.

А тут вдруг нижняя часть его утяжелилась и стала тянуть Илью Ивановича вниз.

Тупыми болями присоединилась поясница, да еще и резь при мочеиспускании добавилась. Любой другой давно бы понял, что это почки, но Потапов верил в свое телесное постоянство, кряхтел, пыхтел, но к докторам не шел.

Однажды, прямо посреди рабочего дня, скрутило его так, что аж согнулся он напополам. Перепуганные коллеги вызвали «скорую» для непонятого Потапова. Обезболенный, в карете «скорой помощи», на кушетке, покрытой холодной клеенкой, он вдыхал запах медикаментов и чувствовал, как переходит в статус больного.

Врачи обнаружили в почках камни. Начались мытарства.

Камни в Потапове оказались заковыристыми. Поначалу доктора пытались травить их медикаментами и дробить ультразвуком.

Потапов наблюдал за лицом узиста. Тот пытался засечь на экране, в мутных колыпаниях потаповских внутренностей, чужеродное, чтобы обрушить на него ультразвуковой удар, чтобы измельчить и обессилить камни. Предполагалось, что тогда они сами покинут Илью Ивановича. Камни от узиста ускользали и прятались неизвестно где в недрах потаповского организма.

Узист морщился, обиженно двигал бровями и щеками, становился похож на грустного ребенка, а в Потапове вопреки здравому смыслу вызревала гордость своей исключительностью.

Илья Иванович, видя напрасные старания докторов, сам стал изучать вопрос.

Камни в человеческих организмах зарождались с песчинкой. Потапов вспомнил белый с черными вкраплениями, словно звездное небо наизнанку, песок на пляже. Пересыпаешь, бывало, его в ладонях, как в песочных часах, и время вокруг притормаживает.

Народившиеся песчинки наполнялись мокрым содержимым нутра Потапова, тяжелели, кучковались и образовывали породу. Порода, породистый, — твердил Потапов.

Окончательная причина формирования камней до конца не выяснена — утверждала наука, и Илья Иванович таинственно щурился. Чего уж греха таить, что-то в нем вместе с болезнью зарождалось такое, от чего совсем не хотелось избавляться.

А вот доктора оказались категоричны — резать, и немедленно. И то правда, камни в благоприятном для них внутреннем мире Потапова росли как грибы и грозили заполнить собой Илью Ивановича.

Потапов послушно сдал анализы, подписал все необходимые для хирургического вмешательства бумаги, но в назначенный день в клинику не явился, предприняв хитрый маневр. Позвонил, выждав положенное для операции и действия наркоза время, на службу, слабым голосом доложил, что все прошло благополучно, а теперь ему нужен покой, исходя из законодательного права на больничный, а сам основательно разместился на высоком ложе, замедлился до предела и стал наблюдать за своими внутренними процессами.

Тишина стояла гробовая, никто ему не мешал, даже на кухне сковородки не гремели, точно тоже пребывали в ожидании.

Сначала ничего не происходило, Илья Иванович просто лежал. Мгновения разворачивались одно за другим. Время просачивалось сквозь него, словно сканируя. Он было задремал, как вдруг понял, что ощущает в себе, до того мягком, основу.

Основа заполняла его чрево, росла, громычала, перекатывалась и приятно тянула Потапова к земле. Основа дышала, соблазняя остальную потаповскую плоть стать ею.

Илья Иванович с нетерпением ждал, что будет дальше. Между тем картина его внутреннего мира прояснялась.

Сквозь рассеивающийся туман он вглядывался глубже и глубже в себя, точно в бездну, долго-долго вглядывался, пока не достиг первозданности.

Илья Иванович Потапов сравнивался глубиной с недрами земли, а через них — с космосом. Он, зародившийся из песчинки, стал твердыней, впитавшей века, и с усмешкой взирал на человеческий мир, вознамерившийся раздробить его душу.

Наконец-то Потапов мог позволить себе жить медленно. Очень медленно.

* * *

Нетрудоспособность Потапова по всем мыслимым подсчетам должна была уже прекратиться, но к работе он не приступил, на телефонные звонки не отзывался. Тогда по месту жительства Ильи Ивановича от коллектива направилась Финогеева.

Дверь в квартиру была распахнута, как для проветривания, на визитершу дохнуло прошлым. Она поморщилась, для порядка постучала о косяк и, пройдя через кишкообразную прихожую, оказалась в безлюдной кухне. В кухне обитал дух вчерашнего борща и свежего перегара. Финогеева преодолела препятствие в виде откровенно развешанного на обвисших капроновых веревках белья и попала в длинный, слабо освещенный коридор с дверьми по обе стороны. Человеческой жизнедеятельности слышно не было. Лишь дощатый пол скрипел под ногами активистки, как обиженный кот, да на каждый ее шаг отзывалось развешанное по стенам имущество: звонкие тазы и корыта, глухие медные емкости для изготовления варенья, прочие, непонятного назначения, железяки. Велосипеды, взрослые и детские, подтягивались к звуковому сопровождению передвижения гости неуверенными подзвываниями.

Она прошла коридор до середины и от отсутствия информации постучала в первую попавшуюся дверь. Мгновенно, точно ждала визита, дверь открыла босая баба с выраженными рельефами на лице и покрасневшими веками. В ответ на вопрос о Потапове она молча, плавным аристократическим движением пальца снизу вверх указала на нишу в темном закутке, не замеченную было Финогеевой. Потаповская дверь была обита советским дерматином, из-под которого тут и там торчали крупные гвозди и пожелтевшие клочки ваты. Сквозь обивку стучалось глухо, и активистка пару раз приложила кулачком к деревянному косяку. Звук все равно не получился, зато в палец впиалась коварная заноза. Финогеева ее выдернула. На месте занозы на пальце вздулась густая багровая капля, слизывать которую женщина побрезговала, вытерла кровь о свой бок и потянула дверь на себя. Она открылась.

Финогеева увидела на уровне глаз ступни в бывших когда-то нежно-розовыми носках. Неровности ступней обращались к ней укоризненно. Мол, проворонила ты, активистка Финогеева, своего товарища. За ступнями возвышался холм неподвижного живота.

Финогеева обошла его справа. Напротив ступней серел каменный профиль Потапова. Профиль, казалось, успел запылиться от долгой неподвижности, и активистке захотелось обмахнуть его салфеткой. Тонкие, слежавшиеся в складки веки прикрывали неподвижные глазные яблоки Ильи Ивановича.

Финогеева отошла в угол и оглядела композицию со стороны.

Она была настолько безжизненна, что гостя лишь для порядка боязливо приблизилась, приложила пальцы к шее Потапова, отчего следующая алая капля крови Финогеевой скатилась на мертвую кожу Ильи Ивановича. Ничего, кроме холода, активистка не почувствовала и, ежась от случившейся неприятности, набрала неотложку.

Что делать дальше, было непонятно. Женщина огляделась, обнаружила в углу колченогий стул, подтянула его к ложу усопшего и присела у изголовья. О покойном следовало думать хорошо.

Бедный, бедный Илья Иванович. Умер в одиночестве.

Дверь затворилась, изолировав Финогееву от реальности. Стало жутко.

В качестве опоры она обхватила ладонями сиденье стула и стала усиленно вспоминать хорошее про Потапова. Неотложка не торопилась.

Финогеева, живая, заботливая душа, до самого конца сидела возле бывшего Ильи Ивановича. На стене бесшумно шевелили стрелками старинные часы.

На шестнадцатой минуте ожидания Финогеева, стремясь инстинктивно отодвинуть наползающий со стороны каменной глыбы ужас, полезла было в соцсети, но одернула себя.

На тридцать первой минуте ей, малодушной, захотелось убежать отсюда хотя бы под предлогом встретить «скорую». Финогеева усидела на стуле.

На сорок пятой минуте, когда ждать стало совсем нестерпимо, воздух в комнате сгустился, охладился до могильного, а неотложка все не ехала, Илья Иванович Потапов медленно, глубоко, грудью и животом вздохнул, да так и замер, удержав внутри стылый воздух.

ОХОТНИК

Памяти норильского поэта Сергея Лузана

Конец связи. Ты — «в завязке».
Как собака породы хаски,
наблюдаешь тепло, но пристально:
пуст эфир, только эхо выстрела.
Слово — пуля. Твое — в Истории.
Но вернется. По траектории.
Потому, что *всё* возвращается.
Потому, что жизнь не кончается.
После смерти поэту пишется
пуще прежнего — легче слышится.
В нос — ни грамма, в душу — ни сантимента.
Работаем до последнего клиента!

* * *

Свет, согревающий вслед за дождем,
площадь Сан-Марко.
Благостно утром, радостно днем.
Ночью не жарко.
Если пропустишь этот момент —
он повторится.
Tenga il resto, cameriere.
Кьянти и пицца.
Звук появился — Чаплин исчез.
Время такое.
Днем — черно-белое. Ночью — процесс.
Утро — цветное.

* * *

В путешествии «связь» дорожает,
исчезает налет суеты.
По дороге, пока провожают,
ангел с грустью глядит с высоты.

Олег Александрович Ващаев родился в 1970 году в Норильске. В 1998 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, поэтический семинар Евгения Борисовича Рейна. Публиковался в журналах «Нева» (Санкт-Петербург), «Север» (Петрозаводск), «День и ночь» (Красноярск) и др. Живет в Санкт-Петербурге.

А потом опускается рядом,
 мягко под руки и — унесет.
 Не увидите, значит, не надо.
 Piano, piano, всему свой черед.
 То, что случай быстрее расчета, —
 это верно, но счетчик — включи.
 Существуют судьба и свобода —
 разводные по жизни ключи.
 «Прогони» прикипевшие гайки,
 чтобы легче дышала резьба.
 Не лишают прогулки и пайки?
 А не это ли счастье раба?
 Воспитание чувств по Флоберу —
 воспитание сердца — виной.
 Не согласен на высшую меру —
 так хотя бы не стой за спиной.

* * *

Бирюзово-лазурный танец, а на похороны — халва.
 Это Турция, чужестранец. Если что, выбирай слова.
 Мусульманок в надежных бурках «поливают» на все лады.
 Что известно тебе о турках, чужестранец? Алаверды.
 Все понятно в немом укоре, дважды два или пятью пять.
 Ляг у берега, слушай море. Море знает, о чем сказать.
 Будь помягче, нащупай жилку. Проясни для себя Коран.
 Постарайся не лезть в бутылку. Здесь не принято, есть кальян.
 А мороженое какое! Отдохнут Петербург и Минск.
 Тает медленно, слой за слоем, карамельный тягучий микс
 шоколада и свежих сливок. Это вам не фруктовый лед!
 Не забудь про арбуз и сливы. Не торгуйся, и так сойдет.
 Снова будешь ли здесь? едва ли? Обязательно пожелай.
 Брось монетку на морвокзале и давай, дорогой, давай!

МЯКИШ

Утки ныряют и жадно пьют, пузыри вокруг и круги.
 Ловят кого-то, ищут, зовут: «га-га» говорят, «ги-ги».
 Голуби рядом, и чайки здесь. Ждут, когда человек
 хлеб разломит и даст поесть, добрый их человек.
 Водой не обманешь пустой живот. Подгребай, налетай, не спи.
 Тот, кто успел, обратно плывет. Пропусти его, не шипи.
 Обратный, он же победный след, похож на латинский знак.
 Знак, которому равных нет, символ торгов и драк.
 Влейся в поток, зацепи чуток и еще поживи.
 Когда в душе человека — Бог — хватит на всех любви.

* * *

Стихи для поэта в застойные годы —
язык его тайной личной свободы.
Гармония слова сжата в размере.
Поэт, как святой, в исключительной вере.
В ритмах и метрах душевной картины —
движется к Богу в рамках доктрины.

* * *

Интроверту, зачем по душам разговоры?
Интернет для него как магнит.
Заходи, и откроется «ящик Пандоры».
Ждать не нужно — сейчас «прилетит».
Как на крысу реакция Гамлета, в стиле:
так и быть, пропадай, золотой!
Раньше крымскому хану «поминки» платили
за мирской и церковный покой.
Силовик оборзел, отшатнулся сановник.
Имиджмейкеры держат фасон.
Голосуют — за всех — вахтовик и надомник,
и грядет сериальный сезон.
Карнавал-маскарад, безобразная лажа.
Нахватались чужого дерьма.
Бутафория крутится у Эрмитажа,
а вокруг — долговая тюрьма.

* * *

Руки, ноги холодные. Обкололи, подумали — сердце.
Защемило, зажало, тридцать девять, внезапный озноб.
Вольтареном и но-шпой, самогоном с корицей и перцем.
Довезли, донесли до «Покровки», фактически в гроб.
— Не сгущай... Отпустило? — Почти. Воспаление легких.
Пневмония — не редкость, осмысли и дальше иди.
Инстинктивная сила терзает упертых и ловких.
Человечных — особо. Поэтому, в оба гляди.
— Эпидемия, вирус? — Тщеславие. Зависть и гордость.
«Никогда и никто, только я, только так, не по мне...»
Скоро «крышу» снесло, захватило под самое горло,
будто взяли за жабры, и демон прижался к спине.
Знаешь, холодно было, так холодно, что бесполезно
показалось стараться. Что толку, искра пропадет.
А тепло не иссякло! Объятое пламенем сердце
раскачалось, пылает. И кровь до всего достает.

РАССКАЗЫ

ОРЕХИ

Осенью, когда из опавших листьев зажигают погребальные костры и земля, окутываясь дымом, замедляет свое вращение, мы с сестрой начинали печь грецкие орехи. После обеда, ближе к вечеру, когда мама, бабушка и тетя Нина закрывались наверху в большой комнате, и, взявшись за руки, склонялись над старинным альбомом с фотографиями, на самом дне которых плещутся, цвета сирени и йода, воды минувшего, и замирали, не решаясь спускаться в их тесные колодцы, дом затихал. Меркли его светлые комнаты, замирал холодильник. Умолкало, прохрипев что-то, радио. Половицы выпрямлялись вслед растаявшим шагам, постанывая и обретая обратную кривизну, выгибались сказочными мостами над безднами, над сонной молочной рекой, текущей невидимо и спокойно где-то там, в глубине их, в кисельных подрагивающих берегах, в лиловеющем мареве, упирающемся в самую ночь, и даже сверкающая пыль прекращала свое движение, увязнув в янтарном сердце солнечного луча.

Маринка и я, выглянув в коридор и убедившись в том, что путь свободен, быстро натягивали, прямо поверх домашнего, уличные штаны и кофты и на цыпочках спускались на кухню. Орехи бабушка хранила в бездонном комодe, внизу, и нужно было залезть почти целиком в его темную пахучую глубину, чтобы нащупать там, в матерчатом мешке (вроде тех, в которых хранят картошку), их морщинистые твердые спины. Торопясь, я все время пытался захватить их в горсть как можно больше, но, крупные и ребристые, они выскакивали и с глухим стуком падали обратно, из бездны — в бездну, из тьмы — во тьму. Маринка, теряя терпение, громко шипела, что я слишком долго вожусь, и я, раскрасневшийся, потный, торопливо отвечал ей, что пусть в следующий раз она попробует сама, но и в следующий раз все повторялось — это было частью ритуала, началом нашей игры.

Из кисти, раскоряченной добычей, торопливо отводимой за спину, Маринка выбирала по одному все и складывала тут же, на пол. Я чувствовал торопливые прикосновения ее горячих пальцев, неловких и царапающих. (Бездумно вглядываясь перед собой, я видел их — маленькие, красные — в жаркой пульсирующей тьме.) Наконец, натаскав достаточное количество и рассыпав добычу по карманам, мы так же, на носочках, пробирались в прихожую, натягивали там свои курточки и ботинки и выскальзывали за дверь...

Свобода! Ветер, ликуя, ерошит наши волосы и зовет за собой.

Свобода! Дым с каждым вдохом наполняет наши легкие и впитывается в тщедушные тела — идет стремительная реакция замещения, атомы наших клеток, такие привычные и надоевшие, уносятся прочь, и на их место встают новые: неизвестные науке, неведомые и нам, но делающие наши тела легкими и прозрачными, ноги — неутомимыми,

Дмитрий Константинович Исакжанов родился в городе Омске, в 1970 году. Образование высшее юридическое. Публиковался (стихи) в журналах «Арион», «Новая Юность», «Крещатик», «Меценат и мир», «Сибирские огни». Живет в Подольске.

а кожу — чуть серебщейся в закатном свете, словно мы — два маленьких юрких самолета, уверенно летящие к известной одним лишь нам цели, отважно пробирающиеся сквозь страшные опасности, прозревающие путь в матовой путанице ветвей, слышавшие зов.

Мы переглядываемся, и, шепотом издав ликующий победный вопль «Ого-гооо!», сбегает со ступенек, и мчимся вперед. Прохладные потоки воздуха разжигают наши лица, и вот уже щеки пылают, леденеют носы, и руки, маленькие и цепкие, как веточки, деревенеют на ветру. Две светящиеся рубиновые точки носятся над новой опавшей листвой, два шелкопряда раскачиваются над миром на своих невидимых нитях — и в гаснущем воздухе тускло светятся спутанные нити их траекторий, связывая воедино и сад, и землю, и пространство между ними, пропитанное воздухом ранней осени, и нас, увязших, счастливых, выбившихся из сил.

Наконец, остановившись и отдышавшись, мы начинали поиск. Мы шли и шли вперед, в самую гущу сада, еще ближе к тайнам, осторожно ступая, замирая и изредка обмениваясь условными знаками, чтобы выбрать кучу тлеющих листьев побольше, поближе к какому-нибудь дереву, подальше от дома.

Кто зажигал их, кто раздувал эти тлеющие с краев листья? Кто превращал одинокие мерцающие искры в пылающие созвездия, вдыхая в них свою жизнь? Я до сих пор не знаю. Мы никогда не видели тех, кто переходил от холма к холму, поджигая их. Не слышали дребезжащих голосов, не различали утомленного шарканья ног, ленивого бряканья спичек в утреннем тумане. Не видели пугливых теней, не замечали тающих силуэтов на закате дня. Вполне возможно, что огонь в слоистых глубинах зарождался сам, но не в результате термогенеза, а вследствие распада шелковистой винноцветной материи, что простиралась каждую осень от самых ступеней нашего дома вдаль, насколько хватало глаз, зарождался с высвобождением тепла и света, накопленных за три долгих летних месяца, — не знаю... Это начиналось внезапно. Нас не охватывало предчувствие вакханалии, и ничего в наших душах не вопило: «Скоро!!!» или «Вот, сегодня!», или «Завтра! Завтра, непременно!» Просто в один прекрасный день, в той его части, что едва заметным образом (вроде волокон воздуха, поднимающихся над остывающей землей и, дрожа, впивающихся в низкое холодное небо) соединяется с начальным светом сумерек, наши сердца вдруг начинали биться особенно громко и часто, как после игры в догонялки, а головы, не сговариваясь, поворачивались конопатыми носами в ту сторону, откуда доносился пряный, как запах старых книг, и печальный, как звук фляжолета, аромат.

«Осень!» — восклицали мы тогда. «Вот, пришла!» — кричали мы что есть сил. «Началась настоящая осень!» — радостно возвещали мы друг другу, стараясь произносить эти слова так, чтобы дрожащий голос не выдавал волнения, едкого, как пот, и соленого, как слезы. Мы знали, что не может быть настоящей осени и не может быть даруемого ею восторженного прозрения самых дальних уголков нашей жизни, которая была садом и которому был сад, без вдыхания этого пьянящего фимиама. Стоя в горьковато-сладкой мгле, кутаясь в нее и утопая с головой, уходя на самое дно райка, так, что даже лбы наши касались выстилающей его пурпурной ткани, мы пророчествовали, дуррачились и ликовали, потому что знали, что вот наступило наконец, То Самое Время!

Мы высыпали в горячую золу свою добычу и усаживались поближе, так, что чувствовали еще разгоряченными лицами новый, не внутренний жар собственной крови, но внешний жар тлеющих листьев, легкий и горький. Мы ерзали, выискивая себе место поудобнее, мы кашляли и вытирали слезы, когда ветер бросал дым прямо на

нас, мы отворачивались, ища себе опоры понадежнее, чем вечеряющий воздух, мы сгибали и разгибали ноги, перебирали руками, не замечая, как сползаем, спинами вперед, по направлению к ближайшему дереву, и останавливались, лишь почувствовав, что дальше двигаться уже некуда. Наступало время историй. Мы рассказывали друг другу все, что могли вспомнить из происшедшего за день: с соседями, со знакомыми (друг про друга мы и так знали все), с приятелями, с друзьями, с друзьями друзей и с друзьями друзей друзей... Дойдя до границ круга, мы начинали вспоминать о том, что происходило с ними вчера, затем — позавчера, и позапозавчера, и месяц, и год назад, и до того, как они появились здесь, и то того, как мы их узнали... Мы ворошили длинными палками с черными обуглившимися концами в пламенеющей пыли, тыкали ими в самое сердце костра, колотили его и любовались тем, как в назревающую ночь взмывают его крохотные алые звезды. Приближалась очередь размышлений над причинами пересказанных событий, пора домыслов, догадок, предположений... Реальность, окружающая нас, неуловимо истончалась, таяла, убывала в результате непрерывного гомеопатического деления на выдумку и фантазии, и черные тени деревьев, запрокинувшись, все росли и ширились, простираясь все дальше и дальше, переплетаясь на стихающей земле все прихотливее, туже, кромешнее и становясь все фантастичнее. Они множились, вовлекая в себя все новых и новых персонажей, о которых мы только что говорили понизив голоса, почти шепотом: и птиц, что кормят птенцов собственной кровью, и зверей, вырастающих из корня и погибающих от голода, когда заканчивается вся трава вокруг них, и морских рыб, что ходят по земле, обратившись в странников в обмен на собственную жизнь в виде жемчужины, и многих еще, которым не было ни имени, ни образа, ни времени, чтобы все это придумать. Мы захлебывались словами, мы перебивали друг друга, дополняя никогда не виданными подробностями, вскрикивали, умолкали и начинали снова, замирая от ужаса, на миг представив себе то, что бродило, невидимое, вокруг, и касалось ледяным дыханием наших голых и тощих шей. Потом наступала очередь рассказов про отрезанную руку, про черную комнату и про зловещие говорящие колокола из неизвестного металла...

И вот уже наши тела потихоньку заливала тьма близящейся ночи, исподволь она брала себе от них по кусочку, отщипывала по чуть-чуть, подкравшись со спины, облизывала нас широкими холодными языками, так, что мы не сразу замечали, как нас становится все меньше и меньше, как, разгоряченные, мы таем, и лишь те наши части, что были обращены к слабому свечению жаровни, еще можно было угадывать, уже не видя вполне. Широкие и плавные волны остывающего воздуха доносили до нас из хлева острые запахи животных, расслабленным слухом мы улавливали стихающее бляенье коз, возню и всхрапыванье коровы. День уходил, и, спохватившись, мы провожали его минутной заминкой, паузой, неловким вздохом. Наступала та самая минута, ради чего все затевалось, миг трансмутации: попевали орехи.

Пора! Нетерпеливые, словно маленькие старцы, мы приступали со своим желанием к костровищу (в гамме этой рембрандтовской «Сусанны» из «Огонька», висевшей у нас на вернаде, я вижу двойным зрением, вспоминающего и вспоминаемого, тех нас), мы подавались вперед и вглядывались, пытая: действительно ли пора? Инстинкт охотников просыпался в нас. Глеющими прутиками («сигары» называли мы их, притворяясь, что курим) мы тыкали в горячую пыль внешнего круга, шарили ими, подбираясь все ближе и ближе к жаркой середине, раскапывали в золе почерневшие и будто уменьшившиеся и разгладившиеся от своих морщин шарики, и, обжигаясь и шипя, хватили их, разламывали их грязными пальцами, и грязными ртами приникали прямо к пахнущим мускусом и дымом обломкам. Разговор наш смолкал, и наступившая тишина перемежалась лишь невнятными выкриками: «Ого!» «Зырь!» «Ваще!» «Мой!».

Разжевывая горячие кисловатые крошки, мы изо всех сил таращились в подергивающийся серой пепельной пленкой холм и все ворошили его, ворошили, разрывали, переносили с места на место, словно сказочный город, срывали его до основания и возводили наново рядом в поисках новой добычи — еще и еще, еще и еще! Кто первый увидит?! Кто отыщет самый большой?! А самый дальний, закатившийся под край, едва затронутый горением? Уже все? Нет?! «Глянь, целых три!»

Словно черты, перепачканные сажей, мы тянемся за добычей наперегонки, в самое пекло, не замечая, как наступаем прямо в костер, как несмотрительно затаптываем в золу другие, незамеченные орехи, как давим их, давим, топчем, хороним в размягчившейся земле, не слыша слабого треска лопающейся скорлупы. Успеть! Схватить! Быть первым! Искаженные слабыми отблесками света и резкими мазками теней наши лица не узнать — губы потрескались, зрачки стали огромными и, кажется, сияют каким-то собственным черным светом. Курточки и шапки сбились, перекрутились, едва не вывернулись наизнанку — о, как мешают они! Прочь шапки! Наши волосы, мокрые от пота, стоят дыбом, словно маленькие рожки. Палки чиркают по земле, взметают вверх остатки несгоревших листьев, слепо тычутся в подозрительные ямки и бугорки, придирчиво исследуют почву, валятся и, не успев долететь до земли, ловятся окоченевшими пальцами. Рты не перестают жевать, глаза — смотреть, руки — шарить. В гонке преследования мы не заметили, как все стихло на земле, и только наши голоса звучат резко и гортанно, словно крики ночных птиц.

Но выпав в очередной раз, палки наконец исчезают во тьме. Одна, другая... Они больше не нужны нам, мы их не ищем. Над нашими головами накипают разочарованный ропот ветвей, и ветер, налетев с размаху на дерево, посвистывает, постанывает, путаясь в кривых клетках, продираясь и ища выход. Азарт наш угасает вместе с огнем, и последние горки пламенеющей пыли не удерживают взглядов. Наше дыхание от проглоченных орехов становится горячим, а внутренняя сторона щек бугристой — язык в нее тычется, как слепой в кирпичную стену. Хочется пить, жажда скрипит золой на распухших губах. Скоро мы уже не можем думать ни о чем другом, кроме воды, но по инерции еще продолжаем скрести по дну тускло светящейся чаши глазами, через силу запихиваем остывающие комки в свои пересохшие рты, в сузившиеся глотки, и наконец, обессилев, мы озираемся. Оглядываем друг друга...

Последние, перед окончательным мраком, косматые тени стекаются к нам со всех сторон, поглощая, окутывая своими козьими, остро пахнущими шкурами, окончательно похищая наши истинные черты, превращая в сатиров. Навек, навек!

Заставляя окончательно перейти на шепот, а затем и вовсе умолкнуть, все резче, все пронзительнее воет ветер, вырвавшийся наконец из плена и набросившийся на нас. Он впивается нам в спины, путает и дергает волосы. Воет, раздувая на наших лопатках лихорадочный жар, разрывая нашу одежду, раздирая ее на клочки, раздевая нас, оставляя в первозданной тьме совершенно нагих, нагих и одиноких! Страх, ужас, паника охватывают наши цепенеющие души, опутывают своими цепкими корнями, притягивают к жесткой сухой траве, вжимают, вплетая в густой звериный подшерсток, оцетинившийся на невидимого, но близкого врага, лишают сил, хватают за сердце.

И вот уже, не сговариваясь, мы вскакиваем и, отталкивая друг друга, со всех ног, не разбирая дороги, несемся сквозь мрак и ужас к дому, обозначенному вдали едва светящимся контуром двери, несемся, громко, оглушительно громко стуча подошвами по вымощенной обломками кирпича дорожке, чтобы отпугнуть *его*, чтобы не дать ему приблизиться к себе, чтобы *оно* знало, чтобы весь мир знал: мы — есть! В этом хаосе, в этой ночи, мы — живые!

Быстрее! Быстрее! Быстрее! Пока оно не схватило нас, пока мы сами не стали, совсем как оно! О, как болит в боку! Быстрее, пока мы не застыли в беге, с разинутыми рта-

ми и прижатыми к груди руками, от его ледящего прикосновения! Боже, как хочется пить! Быстрее, еще быстрее, я чувствую его дыхание! Громче бейте, подошвы, стучите и стуком своим предупреждайте всех, кто может оказаться на пути! Предупреждайте их и отгоняйте, умоляем вас! Но, словно во сне, каждый видит себя с вытаращенными от ужаса глазами, замершим на одной ноге, с другой, поднятой позади себя, — как гипсовая балерина в нашем школьном дворе. Внезапно крыльцо оказывается уже прямо перед нами. Чудо! Чудо нас спасло! О, спасибо тебе, кто ты там есть! (Кто — некогда думать.)

После короткой ожесточенной борьбы в тесном дверном проеме мы влетали в ярко освещенную безмолвную прихожую и устремлялись к ведру с водой, стоящему на табурете. Густое, сонное тепло окружало нас, беря под свою защиту, но схватка наша, уже здесь, продолжалась: за кружку, за то, кто раньше схватит ее, кто первым напьется. Я помню, как, едва ворочая руками, отдираю ее ненавистные пальцы, вцепившиеся в обшарпанную ручку, тонкие ледяные пальцы с обкусанными черными ногтями и бахромой вокруг, как колотила она меня свободной рукой («Пусти, я первая, пусти!», «Уйди, дура, я первый!», «Нет я, нет я, нет я!!!»), пока кружка не падала на пол и, гремя, не укатывалась по широкой параболе за табурет...

Только тогда с нас вдруг спадали чары, и, очнувшись, мы согласно кидались на четвереньки и доставали ее, всю в пыли, в крошках, обдували, очищали рукавами, и уже не спеша, словно никогда и не дрались, словно вообще никогда ничего и не было, черпали и пили, пили, пили, передавая друг другу, проливая большую часть на пол, капая на пол, на себя, заливая одежду до животов и ниже — колени, ботинки, и не могли напиться, изредка все еще ревниво посматривая сквозь полуприкрытые от удовольствия глаза: чтобы никто из нас не стоял к ведру ближе, чем другой. Страх и жажда оставляли нас, тела наши согревались, успевшая задубеть кожа размягчалась, скрюченные пальцы распрямлялись и вновь обретали подвижность, а уши начинали различать привычные звуки, которыми жил дом: тиканье электросчетчика, писк остывающего чайника на плитке, какие-то непонятные, но привычные пощелкивания в глубине деревянных стен... «Кто там? Это вы?» — спустя некоторое время сверху раздавался рассеянный голос матери. И мы молчали, не зная, что сказать.

ТАЙНОЕ КИНО

Долгое время, вспоминающееся мне как зрелые сумерки лета, мы с сестрой искали тот самый кинотеатр, в котором день напролет крутят иностранное кино и фантастические фильмы сменяют невероятные комедии, а еще — приключения, мультики и даже, даже... Мишка сам видел! И рассказал об этом нам.

Где находится кинотеатр, он, по его словам, точно вспомнить не мог, кажется, где-то в центре, в Саду Офицеров, в Павильоне, или на Набережной... Мы с сестрой облазили там все. (Я помню, как дожидался ее после уроков — наша смена тогда заканчивалась раньше, несмотря на то, что она была на пять лет моложе меня.) Мы изучили эту часть города так, что могли бы начертить ее в любом масштабе и с любого места, вдвоем, не отрывая рук от листа и не открывая глаз, наглядно тем самым подтверждая достоверность наших сомнамбулических блужданий и серьезность намерений. И может быть, именно здесь, в месте, не поименованном на карте действительности ничем, кроме эфемерных, едва произносимых на выдохе прилагательных, удостоверяющих его существование лишь наличием ряда сообщающихся певучих продолжительных глоссолалий, появился и стал расти зародыш той иррациональности, будучи охваченными которой потом мы с легкостью допускали в своей жизни самые невероятные

возможности и предположения, потворствуя им как легкой невинной лжи, помогающей выкарабкаться из дней, катящихся ввечеру под уклон засыпанных снегом траншей, как ничтожному смещению осей настроенного на нечто еще не до конца понятное механизма существования, позволяющему заглянуть в пространства, интригующие своими потенциями, как прощительному недосмотру, оставляющему в целостности и сохранности после сокрушительной генеральной уборки все самое сокровенное и трепетное, изъятое из подноготной нашей одной на двоих жизни.

В течение примерно двух месяцев, с перерывами, обусловленными различными неотложными делами, но в первую очередь соображениями конспирации, едва успев перекусить в соседней со школой булочной, мы садились на шестьдесят третий автобус и доезжали до центра, от которого, раз за разом продвигаясь то посолонь, то противосолонь, то строго радиально, то интуитивно-хаотически, словно Амундсен и Нансен, исследовали понурые, изуродованные временем и неумелым хозяйствованием постройки былых времен, возвышающиеся над ржавыми прутьями, над неоконченной опалубкой, над бурой кирпичной осыпью чего-то безвременного, безликого и бесконечно унылого, называемого «культмасс». Доверяя не столько путаным описаниям случайного свидетеля, сколько собственному наитию и томительному беспокойству, что, подобно ветру, имеет направление, а значит, и возможность быть обозначенным на карте странствий вектором движения, мы прокрадывались на чердаки, спускались в подвалы и блуждали в стенах невысоких сырых лабиринтов улиц, попадая через едва приметные дверки в первых этажах на одной стороне на третий, а то и четвертый этаж, выходящий на соседней, изумленно отшатываясь от осыпающихся балюстрад на высоте птичьего полета, озираясь среди ржавого железа крыш, спутанных проводов в потрескавшейся изоляции, скопищ мутных бутылок, нанесенных ветром газет и голубиных перьев. Мы читали вылинявшие, облезлые вывески, разбирая их едва просматривавшиеся графемы, складывая отдельные фрагменты в буквы, буквы — в слова, а слова — в свидетельства прошедших времен. Настоящее время обходило центр города стороной, словно это был центр циклона, дремотный омут спокойствия, необходимый для поддержания в природе равновесия энергий, второе чудо раздвижения вод с обнажением дна, неряшливого и непригодного для пешеходных прогулок. Мы расспрашивали людей на улицах, останавливая тех, что казались нам наиболее вызывающими доверие, мы сопоставляли собственные прозрения с приметам строений, которые могли бы подходить под описание кинотеатра, но все было тщетно: вождя заведений нигде не было. Мы бросались через дорогу, чтобы разглядеть афишу за пыльным стеклом здания напротив, мы едва не попадали под колеса грузовика, стараясь углядеть шпиль и арку, которыми, как мнилось нам, украшено искомое здание, и бесстрашно входили в самые мрачные, осыпающиеся кирпичом и штукатуркой, протяжные, словно вздох отчаяния, дворы. Мы проходили их насквозь и, убедившись в очередной ошибке, продолжали идти дальше, уже просто потому, что были не в силах остановиться, двигались, ведомые тем самым беспокойством, чей пунктир безошибочно считывался нами как среди безлюдных, залитых солнцем кварталов, так и в аллеях сумрачного, заброшенного парка — так следуют силовым линиям наитий бабочки и птицы, втянутые инстинктом в авантюры над мятущимися полями Атлантики. Мы шли, шли и шли, пока ноги не начинали гудеть от усталости, а в висках не начинали стучать маленькие молоточки, которые, по незнанию, мы принимали то за медные звонки трамваев, то за ложную надежду последнего предупреждения, доносящегося из близкого уже кинозала. Предвкушая мерцание вождя света, то ускоряясь, то замедляя ход, мы продвигались в путанице узких переулков, словно разматывая вороха пожухлой киноленты, не замечая, как, высвеченные заходящим солнцем, картины минувшей жизни

ложились на нас галереей призрачных отпечатков, как покрывали с ног до головы несмываемым загаром драгоценной контрабанды.

Я не уверен, что нам удалось хоть раз набрести на следы этого кинотеатра, хотя его продавленные дощатые полы, засаленный бархат портьер и темноту, пахнущую кислым духом мебельного лака и пролитой в буфете газировки, я помню отчетливо и ясно. (Именно запахи лака и газировки имеют в этом мнемоническом пейзаже наибольшую доминанту, возвышаясь среди прочих составляющих так, чтобы при неловком движении путника не сбиться ему с пути, не запутаться, не закрутиться внутри липковатых стен бесконечной бесплодной спиралью, все более обезчеловечивающейся, слыша, как отраженный, отовсюду доносится голос главного героя, произносящий фразу сначала отчетливо, а потом все более и более рассыпаясь в бессмысленной звуковой крошке.) Скорее всего, во время наших странствий нам удалось другое, более важное: мы смогли отстать на небольшую терцину от всеобщего тока времени и попасть в его тихий затон, в край, называемый иногда «элизиумом» и ассоциирующийся с забытjem, отстранением и покоем (полупрозрачным, ломким, как папиросная бумага, покрывающая цветные иллюстрации в альбомах Эйхема и пахнущим одинокой старостью), иногда — «безвременьем», а иногда и еще чем-то... Чем-то таким, чье звучание более всего близко к негромкому звону серовато-дымчатых дней.

Каждый раз после возвращения из наших экспедиций мы не делились впечатлениями, не обсуждали результатов, не перебирали найденных сокровищ. Мы не обменивались друг с другом ничем — ни единым словом, ни звуком. Но спустя несколько времени, перед сном, когда родители гасили в нашей комнате свет и оставляли одних, лежащих в своих кроватях, один из нас вдруг начинал тихим голосом — так, словно речь шла о чем-то прекрасно известном нам обоим: «А помнишь, как он выхватил свой наган и выстрелил, не оборачиваясь, прямо в главаря банды?» И вопрос, подхваченный прямым утверждением, превращался в начало длинного-длинного фильма, шедшего где-то в стороне от Сада Офицеров, в кинозале рядом с бывшим страховым обществом «Саламандра».

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Вот уже три недели, как я вернулся из командировки и сижу дома. За это время мне так и не удалось встретиться и поговорить с нею — я четко ощущаю свою нематериальность. Уже несколько раз в комнатах и один раз на улице она проходила сквозь меня, не замечая, а я даже не мог ее окликнуть, поскольку воздух в моем горле был как стоячая вода в старом колодце — темен и недвижим.

Кроме нее, у меня никого нет. С тех пор как она стала мне ровесницей, мы проводили все время лишь вдвоем, а потом было уже поздно что-либо менять, поскольку ход мировой истории миновал нас и пролегал уже где-то в стороне — там, где кончался наш сад, и даже дальше, за полем и за железной дорогой. Сетовать ли мне на это? Думаю, что не стоит — не в этом дело. Сейчас мне кажется, что основная проблема нашей семьи заключалась в том, что все мы пребывали в различных фазовых состояниях времени: сестра, пробыв какое-то время со мной, двинулась дальше и надолго исчезла из моего поля зрения, отец существовал в своей особенной, обусловленной сном среде, мать же, как человек наиболее мирской, была ближе всего к размеренной жизни обывателей, а значит, и отстояла дальше от всех нас — если считать достоверным существование между нами некоего центра, связывающего всех воедино.

Мое собственное пребывание в мире всегда было настолько нестабильным, что я постоянно то появлялся в нем, то исчезал, словно солнечный блик на стене в облач-

ную погоду, ставя под сомнение саму концепцию связанности материального объекта с омывающими его потоками хроноса. Да и обязательность размерности этого объекта, кстати говоря, тоже. И теперь я чаще всего кажусь себе лишь точкой, произвольно выбранной досужим наблюдателем в сообществе миллионов подобных точек, кружащих и вспыхивающих то в солнечном луче, то на фоне зимнего неба, точкой, все условия существования которой описываются единственно словами «аз есмь». Где вот только она существует, эта точка, в какой области бытия? Во времени? В пространстве? И если во времени или пространстве, то в каком именно — во внутреннем? Внешнем? Сомнительно...

В обманчивости внешних свойств чего бы то ни было я убедился еще в раннем детстве, когда заметил, как порой, размеченное вещами и событиями, полотно действительности внезапно, без видимых причин бледнеет, становится прозрачным, словно намокшая ткань, и каким-то неожиданным, неуловимым жестом, каким-то ускользающим от понимания движением вдруг сворачивается и уходит вовнутрь вещи, являя взгляду нечто, вызывающее оторопь, — так, словно «это» расцвело изнутри, проступило татуированными письменами, приблизилось с той стороны выколотых тьмой окон. Это непредсказуемое взаимопроникновение с тех еще пор сводило меня с ума и заставляло все время быть настороже: с одной стороны, я боялся пропустить этот по-своему прекрасный момент, а с другой — всерьез опасался лишиться таким образом кого-то из своих близких, — они ведь тоже могли в ком-нибудь или чем-нибудь исчезнуть.

Я помню как приехавшая к нам в то же лето погостить тетя Нина, с ловкостью тошнотворной и завораживающей, подобно гаитянскому хиллеру, вынимала из себя, буквально из себя самой, из глубины необъятной рыхлой плоти, обернутой цветастым пахучим халатом, отрезки времени различной длины и давности: минуту, день, год, час, мгновение — любой, на выбор! — вчерашнего пошива, годовичного и даже десяти-двадцати и сорокалетнего, в состоянии изумительном, коллекционном, извлекала из нее вещи — в натуральную величину (часы, проданные зачем-то кому-то на базаре, разбитые вазы (непонятно, они были в тот момент все еще целыми, или разбитыми? Кажется, подобно шредингеровскому коту, они все же существовали одновременно в двух состояниях), роскошное пальто «Москвичка», бумажные цветы) и даже людей, живых и невредимых, а со всем этим — и какую-то особенную, чарующую, но неуловимую атмосферу, тотчас окружавшую все наше сообщество, собиравшееся на веранде за чаем, невыразимо нежную и сладкую, словно газ, едва сочащийся из неплотно прилегающего к баллону редуктора. О, паспарту из папье-маше, крашенного марганцовкой, о, анилиновые губы и глаза ее племянницы, о, астры с гибкими лепестками! Желтые, красные, голубые! Военные астры тети Нины...

Или же она сгущала все это из окружавшего ее времени? Вернее, даже не сгущала, а выбирала — витающее вокруг, существующее от века, но непроявленное, выбирала, отделяя, подобно Творцу, свет от тьмы и сушу от воды? Мне трудно было тогда в этом разобраться, трудно разобраться и сейчас...

Выбирала и давала смотреть нам.

«Бедняжка», — говорила о ней наша бабушка. «Ей столько довелось пережить в детстве... Наша Нинья... Слава богу, таки слава богу, что все обошлось!»

Я знал, что «Нинья» — это был один из кораблей Колумба, попавший в шторм и едва не разбившийся о скалы. Ему столько довелось пережить... И уже в постели, засыпая, я представлял себе маленькую девочку, носящуюся в пене волн, обессиленную, уже простившуюся с жизнью, но наконец счастливо прибываемую к берегу, целой и невредимой и тут же спасаемой отрядом полунагих смуглых индейцев. Образ этой

девочки — «тети Ниньи» — ночь за ночью, постепенно сливался с образом Маринки, с которой днем мы в этих самых индейцев и играли, и пробирались с конкистой сквозь джунгли, и носились по бушующим волнам в отчаянном поиске Новой Земли, и, таким образом, скоро я уже вовсе уверился, что моя сестра и маленькая тетя Нина — это один и тот же человек, одновременно существующий в двух различных ипостасях. Я вспоминал фотографии, которые тетя хранила в недрах своего необъятного красного чемодана, прямо так, в почтовых конвертах, словно собралась было их кому-то отослать, да в последний момент передумала или, наоборот, вдруг получила их от неведомого адресата накануне, только-только убрала, да решила показать нам. Вынимала, из пахнущего сладкой пудрой и пьянящей камфарой вертепа, секунду-другую вглядывалась, словно сличая позитив с хранящимся где-то поблизости невидимым оригиналом, и передавала по одному в наши протянутые руки: там были изображены пухлощекая куколка в кружевном передничке поверх серого платья, в черных ботиках до щиколот («Это — я», — утверждала с тайной гордостью тетя Нина), какой-то мужчина в длинном пальто и борсалино («Это — мой папа!»), группа военных («Тоже папа...»), и мы почтительно задерживали взгляд, принимая на душу эти тяжелые толстые картонки, молочно-серые там, где было изображение, и карамельные, ровные для глаз, с испода, и сквозь сонную одурь я все силился понять, какая же из этих двух девочек — настоящая?

«История в моей крови!» — восклицала тетя Нина, рассказывая о своем отце-герое. «Я дышу историей, а история — дышит мной!» — громогласно убеждала она обращенных к ней. И еще она говорила: «Пока я дышу — я живу!» и «Пока я живу — я надеюсь!» И если второе утверждение было, на мой взгляд, избыточным — любому ведь ясно, что надеяться могут только живые, то первое многое объясняло. В частности, оно все же слегка приоткрывало мне глаза на природу тети Ниньи: она была подобна соборному органу. Поскольку в отличие от меня, у которого, по выражению бабушки, «ветер в голове» (а ветер — значит «сквозняк»), у нее в теле отсутствовали сквозные отверстия, позволявшие свободно гулять сквознякам, то ее кровь, насыщенная кислородом и историей, совершив большой артериальный и малый венозный круг, возвращалась в легкие за новой порцией воздуха, а прожитые и отработанные мгновения жизни, ставшие за время странствия по капиллярам временем, скапливались во всем ее объеме, подобно нагнетаемому в мехи воздуху. И когда по вечерам за семейным столом тетя была расположена к «высокому», она, открывая и закрывая невидимые клапаны, играла на своем теле восхитительные фуги и сонаты, одновременно доказывая удивительную природу прошедшего времени — его неисчерпаемость. Одни и те же гаммы повторялись из раза в раз, не растрачиваясь, не улечучиваясь из своих вместилищ, но вновь и вновь свободно струясь, легко изменяясь под рукой мастера в виртуозных и весьма вольных импровизациях, так, что не всегда сразу можно было узнать знакомый мотив, начинающийся вдруг то легкой ригурнелью, то звенящим тремоло, то громовым, трагическим басом. Полы платья ее при этом как бы сами собою раздувались, словно корабельные паруса.

О том, что ей пришлось «пережить», тетя Нина говорила неохотно. «Так...» — неопределенно и добродушно отмахивалась она от наших расспросов, и мы, разочарованно вздыхая, смотрели прямо перед собой, стараясь не замечать осуждающих взглядов родителей. Смотрели, вздыхали и слушали, как жужжит муха да шелестят листки писем в подрагивающей пухлой руке, колеблемые беспокойной атмосферой тайны и загадки. Ее полумифическое, полULEгендарное прошлое и не менее таинственное настоящее почему-то мало интересовало Маринку (я полагал, по причине глубинной их соприродности, а следовательно — избыточности), но совершенно не давало покоя

мне, и я сгорал от желания узнать, что же такое из себя представляет наша тетя. Может быть, подобно греческим героям — потомкам богов и простых смертных, она имеет какие-то особенности в своем строении, вроде ахиллесовой пяты? Может быть, подобно Царевне-лягушке, ей приходится день и ночь носить на себе покрывающий некий роковой изъян этот ужасный синий халат? А может быть, она вообще не имеет тела — в привычном нам представлении? (Я слышал однажды, как поздно вечером на кухне за чаем мама вздыхала: «Бедняжка, у нее полтела, считай, оттяпали..») Я сразу догадался, о ком идет речь, и это еще больше разожгло во мне любопытство. К тому же еще раньше я слышал, как бабушка и папа говорили о ней, что она — дочь героя... Да, не исключено, что ее цветастый, до полу, халат скрывает немало волнующих жутких тайн. Но как узнать, как мне разглядеть ее дивное сложение? В конце концов, не в летнем же душе — это было бы весьма рискованно и в случае провала операции грозило роскошным скандалом. Помню, как бабушка со вздохом сказала как-то: «Все мы, бабы, одинаковые...» Что это значило? «Одинаковые»? Неужели? А как же тогда ее героическое происхождение? Ведь не может быть, чтобы она и, например, моя сестра... Нет-нет, в сути своей, раздваивающейся, там, на фотокарточках, — это конечно, но так, вот прямо так... Я осторожно, чтобы не спугнуть, поделился своими соображениями с сестрою, и Маринка простодушно обещала мне помочь в этом вопросе — была пятница, и после обеда, как обычно, собирались топить баню.

Уже перед сном, распаренная и с волосами, курчавящимися, как у Медузы Горгоны, Маринка шепнула мне то, в общем-то, бабушка права... Я не поверил: что-то здесь не то. Какое-то полное противоречие, абсолютное несовпадение образов! Вернее, их фатальное расхождение — малышки Ниньи, так естественно ставшей моею сестрою, корабля, спасенного индейцами и... Разность образов должна была продолжаться и дальше, вплоть до молекулярной разности веществ, образующих тела! И опять же, это полупоупендарное, полумифическое прошлое, берущее начало от неизвестного героя... Ведь не могло же это не проявиться во плоти! Налицо была полная неразбериха не только с невидимыми временными пластами, но, более того, нарушалась сама элементарная первооснова существования материи! Нет, определенно Маринка чего-то не доглядела. В голове крутилось еще сказанное кем-то, не помню о ком: «Нет, она слеплена из другого теста!» Может быть, это тоже о ней? Но почему из «другого»? И почему «теста»? Никто из нас не был сделан из теста, но... Может быть, как раз она? (Я помнил, как отец рассказывал мне о Големе.) А из какого, из сдобного? Песочного? Слоеного? Я подумал, что, скорее всего, из сдобного, но ведь возможны и варианты, я могу ошибаться... Эту загадку необходимо было разрешить, и чем скорее, тем лучше — терпеть уже не было сил.

Наконец, собравшись с духом, я решил проверить свою гипотезу. Момент был выбран удачный: в ближайший воскресный вечер, после сообщая приконченной взрослыми «Тамянки», я подкрался к тете сзади и обнял ее, уткнувшись носом в шею, торопясь уловить: ваниль? Корица? Яичный желток? Сливки? «Мальчик мой! — растроганно прошептала тетя. — Мальчик мой, один ты меня любишь! Дай я тебя поцелую!» И как я ни уворачивался, она схватила меня за руку, обвела вокруг себя, словно планету вокруг светила, и ткнулась большими дряблыми губами мне в щеку. Мне стало жарко и стыдно, в уголках ее глаз я заметил блеснувшие слезы...

Во избежание дальнейших эксцессов эксперименты по выяснению состава тети я решил временно прекратить. По крайней мере, в результате проведенных исследований тогда ясно стало прорисовываться одно: доматериальное существование моей сестры, брезжущее в тумане и мгле эпохи открытия обеих Америк.

ТА СТОРОНА

Однажды, в том самом июле, когда мне было уже десять лет, а Маринке около пяти или шести, мы с нею наконец решились переправиться на тот берег речки. Вид его, сонный и нечеткий, расплывающийся в мареве дрожащего летнего воздуха, давно привлекал и наши взоры, и наши мысли. Недоступный, он казался нам прекрасной чужой землей, сказочным миром, где все не так, как здесь, и даже небо над ним казалось нам небом других миров. Мы были уверены, что, ступив на его землю, и мы станем такими же особенными, необыкновенными, словно, причастившись его тайн, отблеск их навсегда унесем с собой. И хотя воображение наше, буйное и богатое, с удвоенной силой рисовало самые фантастические чудеса, ожидающие нас там, больше всего нас сводило с ума именно то, что мы *даже представить себе не могли!* (Произнося эти слова, Маринка схватывала свое круглое лицо в ладошки, словно вазу, готовую опрокинуться и разбиться от невозможного, невероятного потрясения.) И хотя добраться до того берега было, в общем-то, просто: наша речушка была настолько мелкой, что взрослые легко переходили ее вброд, держа над головой узелки с вещами и едой (вода едва достигала им до груди даже на середине), но наш рост не позволял нам воспользоваться привычным для большинства путем, и потому мы мечтали переправиться туда на надувном матрасе. Долгих три недели мы собирались с духом, чтобы совершить сразу два преступления: похищение из дома вещи и купание без спросу. Однако лето уходило безвозвратно, соблазн рос, и в конце концов страх наш отступил. Матрас мы тайком стащили из кладовки, когда мама ходила в магазин с тетей Ниной, а бабушка спала после завтрака, а сумка для него нашлась прямо сама собой: вывернутая наизнанку для просушки, она висела на шесте возле калитки.

Сначала, обрадованные успехом первого этапа нашей кампании, мы решили надуть матрас прямо за сараем, но Маринка первая сообразила, что тогда мы легко можем попасться на глаза взрослым: или своим, или соседям, которые обязательно расскажут нашим о том, что видели нас двоих, шествовавших с надутым матрасом в сторону речки, и тогда — прощай, экспедиция, и здравствуй, грусть. Посовещавшись, мы решили сложить его в ту самую случайную сумку и на следующий день после обеда, запихнув туда же и пару припасенных бутербродов, отправились в путь. Матрас оказался большим и тяжелым, и сумка больно била по голым икрам, но я упорно тащил ее через сад и заросший травой пустырь — так идти было чуть дальше, но безопаснее: все ходили купаться по тропинке. Маринка, забегая то справа, то слева, все хваталась за ручку, желая мне помочь, но я мужественного говорил, что не надо — мне не тяжело. Идти и говорить было трудно, но, впрочем, мы почти и не разговаривали. В тишине было особенно слышно, как истошно звенят кузнечики. Впрочем, «звенят» — не совсем верное слово. Звук был такой, словно узкую стальную полосу быстро-быстро водили о другую, такую же. «Это они ногами! — сказала вдруг Маринка. — Задними!» — «Угу», — буркнул я. Ручки сильно резали ладони, и углы сумки уже оставили пару хороших царапин на моих ногах. На задних. Воздух был жарким и влажным, и огромное рыхлое солнце медленно, но уверенно поднималось на вершину седьмой хрустальной сферы.

Наконец мы пришли к реке. Надувать решили под навесом плакучей ивы — чтобы было незаметнее. Я взял в губы оглушительно пахнущий резиной сосок, как видел это у взрослых, и сделал первый выдох в беспросветную глубину полосатой резиной туши. Туша никак не отреагировала. Тогда я дунул еще. И еще, и еще, набирая полную грудь воздуха и отдавая его весь, без остатка, не успев даже насладиться им пол-

ностью сам. Спустя вечность очертания матраса наконец стали изменяться в сторону желанных форм. От отчаяния я чуть не заплакал, но поскольку дело было начато и тот берег был совсем рядом, я продолжил. Солнце палило уже вовсю, даже сквозь густую пелену ветвей, пот противными холодными струйками затекал мне в уши, а перед глазами кружились и кувыркались ослепительные круги, расцветкой напоминавшие злосчастный матрас. Маринка прыгала где-то рядом — я слышал ее голос — и собирала прошлогодние веточки. «Эта — для костра!» — восклицала она, отыскав очередную. «Для какого костра? — раздраженно подумал я. — У нас даже спичек нет! И вообще...» Но ничего ей не сказал: экономил силы, да и боялся выпустить изо рта резинку — второго такого надувательства я бы не пережил.

Наконец матрас был готов. Не такой тугой, как у взрослых, он все же выглядел вполне подходящим для переправы. В голове моей гудело, а грудь болела так, словно я наглотался стекловаты. Пьяно пошатываясь, я отволок матрас к воде, положил в его изголовье сумку с бутербродами и велел Маринке идти рядом: залезем, когда зайдем поглубже. «Сначала ты, а потом я». (Почему я так решил, почему нельзя было лечь ей на матрас сразу у берега — я не знаю. Возможно, я просто плохо соображал после долгого кислородного голодания.) Река была тихой и прозрачной. Сквозь зеленоватую толщу вод было видно, как вяло колышутся длинные нечистые нити водорослей, прикрепленные ко дну, как стремительно перемещаются стайки мальков поодаль. Тайна того берега начиналась прямо отсюда, с замусоренного мелкого песочка, с поросшей гусиной травкой земли, полого уходящей в воду и становящейся, прямо на наших глазах так легко и просто речным исподом, которое вот буквально через пару десятков шагов выходило из воды уже новой, неведомой и желанной землей. Немыслимо изломанными, белыми ногами мы ступали, с каждой секундой теряя вес своего обыденного и такого скучного существования. Издали, звонкие и пронзительные, доносились крики отдыхающих, бухали гулкие шлепки по мячу. Где-то надрывался транзистор.

Когда Маринкины плечи, маленькие и округлые, как мячики для пинг-понга, качались над водой, я остановился и скомандовал: «Лезь!» Маринка послушно навалилась на матрас, но он, слегка прогнувшись, тут же легко и грациозно отплыл в сторону. Тогда она попыталась придержать его руками, но это оказалось не так просто — словно зверь, оказавшийся в родной стихии, этот притворщик решил проявить свой истинный нор: он не давался. Он избегал ее. Изящным обманчивым движением отрицал любую попытку приручить себя, уворачивался, отплывал и, взбрыкнув, как ни в чем не бывало снова безмятежно покачивался под самым носом. Я безучастно наблюдал за этой борьбой сквозь радужные круги, все еще полыхающие перед глазами. «Подожди, — сказал я наконец, — сейчас помогу». Я подтянул матрас к себе, велел ей опять взяться руками за край и присел, стараясь обхватить ее в воде за ляжки, чтобы приподнять и положить сразу посередине. Из детской энциклопедии, которую я успел уже прочесть вдоль и поперек, я знал, что вода плотнее воздуха в восемьсот раз, и потому все предметы в ней становятся легче, но... Во-первых, я не считал свою сестру предметом, а потому совершенно сознательно исключал действие этой гравитационной скидки на нее, а во-вторых, подсознательно я не ожидал, что она окажется настолько легкой. Впрочем, возможно, что это уже начали проявляться особенности ее пребывания в нашем мире, связанные с утратой массы покоя, обретением повышенной проницаемости для световых лучей, а также с появлением этих странных, ее сугубо личных взаимоотношений с волнами времени... И еще: кажется, тогда я впервые в жизни прикоснулся к ней. Именно прикоснулся. Что означает, в первую очередь, «Приблизился». «Почувствовал». Или — «Соединил границы собственного тела с границами ее тела». Или — «Образовал общую неравновесную систему».

Или — «Почувствовал жизнь, наполняющую другого человека». (Случайные касания при передаче чего-либо из рук в руки не считаются, так же как и объятия во время драк — в те моменты ее по большому счету не существовало.) Ее ноги показались мне поразительно тонкими, твердыми и, как это ни смешно, необычайно мокрыми. Локти — острыми...

Я поднатужился и как можно сильнее подбросил ее вверх. Заездив, Маринка вскарабкалась наконец на матрас, замерла на мгновение на четвереньках, привыкая к ненадежной своей опоре, и, осторожно развернувшись, со счастливой улыбкой улеглась. Я, довольный собственным успехом, опустил руки на край матраса, машинально выпрямил их, и Маринка, не успев сказать ни слова, тут же скатилась на меня и скользнула в глубину.

Как передать мне это оцепенение, в которое впал мир, это оглушительное обворожение катастрофы, это обрушившееся на меня безмолвие и замедление времени? Словно открылось перед моими глазами новое, неведомое измерение пространства, в глубине которого нежно светилось худенькое тело с раскинутыми в стороны руками и ногами, словно бы зависшее на месте и в то же время медленно заваливающееся на бок, окутываемое, все больше и больше — словно теперь они почуяли свободу расти стремительно и беспрепятственно, как в сказке — ореолом светлых волос.

Паря легко и грациозно, так, словно никогда еще в своей прежней жизни оно не знало ни трения, ни притяжения, ни инерции, словно никогда-никогда ему не встречалось никакого сопротивления, ни материи, ни духа, но всегда оно пребывало в той истинной плероме, где не ведомы ни верх, ни низ, ни стыд, ни страх, тело ее на моих глазах медленно и неотвратимо устремлялось к вечности, бесконечно замедляя скорость своего движения. Приглушенная мгlistым водоворотом белизна ее кожи, широко распахнутые голубые глаза (взгляд их, кажется, в тот миг обрел отдельное, свое собственное существование и с тех пор уже навсегда, словно исполняя обет в честь увиденной новой жизни, едва ли не полностью заместил в моей памяти образ их обладательницы) удалялись от меня, опускались на дно, не сдвигаясь с места. В этот момент сестра моя показалась мне такой прекрасной и такой чужой, что, может быть, еще и поэтому первые мгновения я бездействовал, не решаясь... Ундина. Впервые в жизни я видел, как сливаются воедино движение и неподвижность, как сущее уходит, оставаясь на месте, и во плоти присутствовал там, где жизнь вот-вот уступит, уйдет и уже никогда не вернется. Это обаяние катастрофы поразило меня на всю оставшуюся жизнь. Вероятно, именно тогда сквозь подвижную оптику колышущейся воды я впервые увидел ее по-настоящему удаляющейся от себя, отъединяемой, готовящейся принести присягу открывающейся форме инобытия...

Впрочем, ступор мой не продлился долго. Опомнившись, я присел ((резкие движения отдались ощущением шелка, плотно повивающего мои бока и грудь. (Мне было знакомо это скользкое, спелывающее прикосновение — однажды мы с Маринкой, пока никого не было дома, нашли в шкафу у тети Нины то платье, о котором она, рассказывая трагическую историю своей любви, говорила: «В том самом, шелковом!..», и по очереди примеряли его, торопливо ныряя в скользкие тугие складки, тяжело пахнущие духами, и пылью, и еще чем-то острым, дразнящим, будоражающим каждую клеточку тела, ныряли, по-настоящему задерживая дыхание, словно ловцы жемчуга, и, помедлив, выныривали обратно, в наш мир, из ускользающей голубой проруби с другой стороны, передавая его друг другу молча, трепетно, остерегаясь уронить. Мы изучали его глубины сосредоточенно, стараясь как можно полнее запечатлеть на своей коже все, что оно хранило в себе, все, что было с ним связано прямо и опосредованно, что могло относиться к нему даже гипотетически, спешно припоминая тетины рассказы, обрыв-

ки фраз, слова... После, прежде чем одеться в свое, мы оглядели друг друга: кажется, мы чуть-чуть изменились, стали немножко другими, чем были прежде, до того, как по очереди упали в холодные объятия шелка... Неловко, словно чужими пальцами — чужое, мы поднимали с пола свою одежду, путаясь и передавая друг другу, негнушующая, легкую, как хитин,) и я успел отметить, как рвутся его лоскуты,) и схватил ее поперек тела, вынул, поднял над водой. «Нормально?!» — воскликнул. Маринка кивнула головой и закашлялась. Я сделал два больших шага к берегу, поставил ее на ноги, схватил за угол злосчастный матрас, потом поднял со дна свалившуюся сумку и перевел наконец дыхание. Развернувшись, мы молча побрели обратно: я с матрасом в одной руке и сумкой в другой, а впереди — Маринка. Уверенный, что больше с нею ничего уже не случится, (но не это было причиной...), я всю дорогу избегал смотреть на нее.

Так же молча я потом давил и пинал этот матрас, выгоняя из него остатки воздуха, а Маринка сидела на корточках рядом и отрешенно смотрела, как оседает цветастая ткань, обретая рельеф покоящейся под ним земли, как я топчу ногами переливчатые линии и круги, изредка против воли бросая взгляды на ее съезжившуюся фигурку, на спину, похожую на углую лодочку, перевернутую вверх килем, на сосульки потемневших волос, на растопыренные острые локти...

ДНИ ТВОРЕНИЯ

На днях в ящике своего стола я нашел темно-бурый, с рыжеватым оттенком, земляной шарик. Такие шарики, размером с лещину, мы катали с сестрой в детстве, когда наступала весна и земля на грядках оттаивала настолько, что можно было соскрести ее верхний слой толщиной примерно с палец. Обычно после обеда, когда еще слабое солнце уже начинало заметно клониться к западу, мы уходили в дальний конец нашего сада, туда, где розовый частокол яблонь едва скрывал нас от наших домашних граций, и там, присев на корточки, начинали самозабвенно ковыряться в грязи, стараясь выискать комок попестрее, поинтереснее. В азарте поиска мы доходили до самого льда — до той глубины, где земля, еще не оттаявшая, больно царапала пальцы и цеплялась за ногти. Казалось, что там, в стылых неподатливых глубинах таится самое интересное, удивительное, что-то такое, чего нет на поверхности. Может быть, сокровища, некогда зарытые здесь шайкой разбойников, может быть — золотой самородок или осколки древнегреческой амфоры, может быть — кристалл или, в конце концов, некая *интересная находка*. «Мать сыра земля, — бормотал я вычитанные в сказке про Добрыню Никитича слова, расшатывая пальцами мерзлые комки, — мать сыра земля, отдай!..» Но мать сыра земля не очень-то слушалась нас. Впрочем, охота за сокровищами не была главной целью наших изысканий. Главным было добыть именно интересной земли, что-то обещающей, благодатной, насыщенной какими-нибудь включениями, крупинками, зернышками, и из нее скатать свой самый лучший шарик. За одну вылазку полагалось делать только один шарик.

Мы долго и старательно месили добычу в руках, не брезгуя, разминая и любовно оглаживая ее, согревая дыханием, любуясь формой, в которую самозаклучалась между нашими снующими ладонями масса, еще только что бывшая бесформенной, и вдруг, поддавшись неожиданному охватившему нас желанию разрушать созданное и близкое к совершенству, не сговариваясь, одновременно, словно соединенные чем-то, что незримо, но согласно двигало нами во всем, безжалостно расплющивали, раздавливали, вминая пальцы в новоявленные полюса, разрывали на части плоды своего труда, торжествующе давили их, уничтожали и сжимали, скручивали, сдавливали в кулаках, словно желая изничтожить самую материю, стискивали ее до изнеможения, до судорог

в предплечьях и до полного исчезновения лунул в багровых приливах пяти своих взбесившихся рек, удовлетворенно наблюдая, как, завиваясь, бурые червяки лезут между грязных пальцев и как они никнут, валятся обратно, туда, откуда изошли.

Отдышавшись, мы принимались вновь собирать, соединять, слепливать и скреплять из подобранных ошметков подобия небесных тел, что без усталости несутся над нами в космической выси. Сидя на корточках, в своих детских курточках и намокших от пота вязаных шапках, мы чувствовали, как постепенно жажда разрушения покидает нас, оставляя в руках только желание творить, похожее на усталость на закате дня и подобное мудрости, и уже молча, без торжествующих воплей (сдавливаемых, впрочем, чтобы нас не обнаружили) мы самозабвенно трудились над сферами, в которых слабое тепло далекого весеннего солнца соединялось с теплом приблизившихся к ним плотную наших собственных жизней.

Скатав и придав шарикам по возможности наиболее совершенную форму, мы тайком проносили их в дом, в свою комнату и клали на батарею, где за пару дней они высыхали до твердокаменного состояния. Первоначально в наши планы не входила сушка — батарея использовалась просто как укромное местечко, где во время неожиданной генеральной уборки они могли уберечься от выбрасывания, и лишь потом совершенно случайно нами было открыто благотворное воздействие сухого жара на рукодельные планеты.

После того как пора ожидания заканчивалась, первоначально нескрываемая, даже показная, но со временем уже таимая, все более приобретающая черты и правила языческого ритуала, (Кто это придумал? Кто сообразил, что до совершенства можно и нужно доводить все, связанное с созиданием, в том числе — а может быть, и даже особенно! — и сам период созревания свойств креатуры? Кто додумался, нет, не додумался, — кто почувствовал, ибо это можно только почувствовать, то есть уловить, понять и верно истолковать посланное, а значит, уже существующее где-то, и, вероятно, всевечно, сообщение — кто из нас первым узнал о том, что способ выживания, то есть, вид проведения времени, проходящего до наступления окончательного момента завершения процесса творения, возможно, важен столь же, сколько и сам процесс собирания чего-то из ничего (а может быть, даже и важнее, ибо это — последний и решающий фазис творения), — нет и не может быть на это ответа, как не может быть окончательного ответа на лукавый, ускользающий в самой постановке своей вопрос о миге рождения Вселенной и загадочной связанности в ней всего со всем и всего через все. Мы были связаны, просты и первичны, подобно пронизывающему пространству Вселенной двухатомному водороду, покорному, волнуемому и чувствительному — плоти от плоти ее, ее вездесущему духу и ее же беспредельному телу), но таимого так мучительно и мучительностью своею дарующего нам особенную, невероятную, неизъяснимую сладкую муку), наступала эра отдохновения и созерцания.

Я помню, как мы лежали на полу в пятнах солнечного света, чье отфильтрованное запылившимися за зиму стеклами тепло накрывало нас шерстяным одеялом, лежали в оцепенении, лишь притворявшимся бездельем, и переключившись из ладони в ладонь, передавали из щепоти в щепоть, перекачивали аж до запястий (где истонченная, нежная кожа сообщала об их новых, непознаваемых иначе свойствах) свои затвердевшие земляные шарики, любясь завершаемым трудом. Мне кажется что именно тогда наши души, прежде огрубевшие в сосредоточенной работе рук, а после долго оглушаемые самообманом выдержки, наконец раскрывались подобно цветкам, и начинали работать истово, изобильно, постигая в собственном, особенном труде своем прекрасное и, соединяясь с ним, приводили себя в покойное и мирное соответствие с гармонией сфер. Наши взгляды, прищуренные и пытливые, на шероховатой несминаемой

поверхности различали поры, бугорки, угольно-черные точки, сероватые зерна и играющие в лучах света крохотные блестки. Чуткие ноздри, подрагивая, втягивали в себя воздух отяжеленный запахом пыли и собственных потных рук, маленькие уши ловили восторженный шепот друг друга: «Зыканско! Офигеть...»

Когда же восторг наш спустя несколько дней ослабевал и ямки, выдавленные твердыми комочками в пластичной субстанции наших душ, заравнивались, мы устраивали бой. Он всегда начинался внезапно. Словно сошедшие со своих орбит планеты, шарики со всего маху сшибались, сталкивались, крошась и трескаясь, и в конце концов разваливались на части, рассыпались и гибли без следа и без памяти, завершая такую долгую и такую непростую цепочку превращений, вовлекшую в себя как материальные, так и нематериальные субстанции и силы. Те крупницы, которым удавалось уцелеть в апокалиптических сражениях, наши пальцы последним усилием превращали в труху и пыль. В метафизическое ничто. Впрочем, иногда в горстке темно-серого праха обнаруживались некие неделимые остатки, следы настоящей жизни: семена трав, почки, волоконца корней...

СЕМЕНА

Моя любовь, подобно Кирлианову свечению, окружает меня всю жизнь, от самого рождения. Она ниоткуда не приходила и никуда никогда не исчезала. Даже тогда, когда вокруг меня не было никого, к кому бы она могла склониться, вокруг кого могла бы собраться сияющим облаком, — в такие времена она была просто равномерно рассеяна в пространстве, подобно реликтовому излучению Вселенной. Когда из моей жизни ушел человек, вокруг которого она впервые смогла собраться в цельный сияющий кокон, — ушел неожиданно, так же, как и появился, — я ощутил не столько ревность, сколько разочарование и сожаление. Сожаление — от того, что не стало в мире больше такого прекрасного сооружения, подобного зримому соединению двух сефирот, разочарование же... Разочарование всегда сопутствует тому, кто строит, и нет смысла доискиваться его причин, поскольку оно само причина дальнейшего созидания.

Я переболел этой потерей, просто переболел: мучительно и долго, утратив в весе столько, что ходил едва касаясь начавшей желтеть травы подошвами ног и поминутно хватаясь за казавшиеся едва теплыми стволы яблонь, прислоняясь к ним всем телом и подолгу замирая перед тем, как продолжить свой путь — чтобы собраться с остатками веса в своем теле и неосторожно не улечь в небесную высь, делая следующий шаг. Я собирался с собственным весом так, как собираются с силами: отчаянно и долго. (Так долго, что мама, или бабушка, или тетя Нина, встречая в глубине сада мою застывшую фигуру, обходили ее стороной, считая, что я сплю в обнимку с деревом согласно какой-то новой методике здорового образа жизни. Стараясь не шуметь сами, они трогательно и нелепо подавали знаками просьбы не шуметь и вести себя как можно тише и всем остальным, кто заходил к нам на участок. Оберегая мой мнимый сон, они надеялись заодно узнать от меня наконец, есть ли у деревьев своя собственная жизнь и способна ли она перетекать к тому, кто способен, соединясь с нагретыми солнцем стволами, продолжительное время не двигаться, касаясь дыханием — дыхания, сердцем — сердца, а корнями — корней.)

Несмотря на свою веру в то, невозможно забыть то, чему не учился, я, как зачарованный, бродил по извилистым дорожкам сада, внезапно прерывавшимся там, где еще вчера было их продолжение, и появлявшимся за одну ночь там, где еще накануне была лишь трава, ломая голову над тайной этого великого озарения, этого трепетного чуда, пытаясь понять, как же удалось мне создать вдруг такое прекрасное здание люб-

ви. Словно последний тупица, вновь и вновь пытающийся прочесть чужие чертежи, я возвращался в прошлое в надежде обнаружить там самое начало момента творения и проследить его развитие, чтобы разгадать все его секреты, изучить все перипетии развития сюжета, чтобы потом, обладая необходимыми знаниями, воссоздать все заново самому, но без такого трагического финала! Не понимая, что в план здания входит все... Все-все, что было. И увлекаясь в своих мечтах этой новой постройкой, которую я надеялся когда-нибудь возвести на месте старых развалин, я вдруг просыпался, осознавая, что все уже создано, все уже существует и принадлежит мне всецело и безраздельно, а другого уже не будет никогда.

Я и вправду засыпал в обнимку с деревьями, не разбирая в зеленом сумраке сюжетных линий ни собственных снов, ни тех, что проникали в меня сквозь камбий. Соединяясь в прекрасные и химерические картины, они переполняли меня всего настолько, что вытесняли все иное из тела прочь с такой небывалой скоростью и силой, что мне даже приходилось дважды в неделю — против одного, по обыкновению — стричь ногти на руках и ногах и ходить в парикмахерскую, что была в конце нашей улицы в одном помещении с летним кинотеатром, каждую субботу, чтобы привести в порядок без удержу разраставшуюся копну на голове. (Не говоря уже о том, что в наш туалет, стоящий за самыми последними яблонями, у самого забора, я бегал теперь так часто, что изучил его выбеленный изнутри и заново затянутый серой паутиной жаркий сонный покой, как особого рода поэму, таимую и лихорадочно повторяемую наизусть к месту и не к месту, отрывками, строчками, фрагментами, яркими образами...)

В этом странном состоянии, похожем на сомнамбулизм, я пребывал часами. Выходя утром в сад, чтобы срезать к завтраку лук, я приходил в себя лишь в полдень, очнувшись от звонкого окрика матери, присевшим на корточки над грядкой, с рукой, протянутой с ножом к пучку зеленых стрел. Отправившись по просьбе бабушки после обеда собирать малину, я забирался в самую гущу кустов, поближе к земле, к корням, чтобы густая и колючая сеть удержала меня от непредвиденных случайностей, но все равно спустя час или два находил себя левитирующим над кончиками лениво колышущихся розоватых ветвей, грезящим с открытыми глазами о ее дыхании, о звуках ее голоса. Рассматривая свои руки, я думал: «О, не может быть, чтобы у нее были такие же пальцы, и такие же заусенцы у ногтей, и такие же шрамы, как у меня!» Касаясь ладонью одной кисти тыльной стороны другой, я пытался хотя бы на миг разделить свои ощущения, забыть одну из рук и почувствовать ее заново, так, словно одна из этих рук ее и словно это она касается меня или я касаюсь ее. Дотрагиваясь пяткой одной ноги до пальцев другой, я, подобно праведной матери, представшей на суд Соломона, отрекался от половины собственной плоти и говорил в себе: «Не знаю, кто он», и замирал от предвкушаемого сладострастия. И хотя обмануться в сфере телесного осязания так же невозможно, как и увидеть себя во сне мертвым, порою ощущение двойственного осязания все же озаряло меня — всего лишь на миг, подобно вспышке магния, и тогда я едва не терял сознание от охватывающего меня сладостного и смертного восторга. И деревья вокруг, и кусты, и большие и малые травы стояли вокруг меня зримыми расколами тяжелого знойного пространства, заполненными упруго трепещущей жизнью, извилистыми, причудливо раскинувшимися капиллярами, наполненными материей, проводящими время подобно тому, как провода проводят электричество, и потому — смертными, смертными, но прекрасными и неповторимыми.

Время! Я почернел и стал землей.

Время! Я стал цветами на этой земле.

Время!

Пахнет спитым чаем, сырой заваркой. Холодно. Холодно утром. Горсть капель бросаю на землю — я держал их всю ночь на своей голове. Вчерашний дождь, вчерашний дождь...

И вечер, и чай на веранде пред тем — рука смуглая, мягкая выплеснула, и сполоснула, и насыпала — все, все как учили обращаться с пузатым голубым глобусом (это — тоже плод. «Плод бабушкиных усилий!» — с умилением говорит тетя Нина. «Да... — вздыхает мама. — Когда-то их было больше, они были все... Ах!» О, какие вы, неведомые плоды, которых уже нет? Вас было девять?) для получения, настаиванья, выжидания и провозждения — о, «провождения» в полной форме, только в полной, через «и» — времени. Время! Время! Время! (Прежде мы с сестрой оглядывались, мы оглядывали — подними руку! повернись! — друг друга, пытаясь разглядеть его невидимые, холодные, как волны воздуха, поздней порою волочащиеся о голые икры волокна. Туманные — может быть, вязкие — может быть, едва отблескивающие — может, может быть... Мы замирали и заглядывали, поднимались и спускались, прислушивались, встав пажами за спинками, положив руки им на плечи, обняв их за шеи, обожаемые ими, и медленно, незамеченные, отходили — словно репетируя неизбежное... Мы были в нем, купались, мы вдыхали его, но не чувствовали, не чувствовали, господи, не чувствовали! Чувствуя лишь, как кружатся наши головы, как смех разбирает нас и желтыми всполохами, золотистыми искрами вылетает из наших невинных ртов, делая тьму и глубину темнее и глубже и движение превращая в ужас. О, как стремительно взрослели мы там, на углу веранды, у георгин! О, цветы, цветы, цветы! Цветы-свидетели, цветы-устилатели, цветы-уводители и возвращатели с той стороны, с той стороны...)

С той стороны (вертеп наш вращается), с той стороны, (раек теснится и воздух в нем горяч: о, вспыхнет!, о, воспламенится!), с той стороны (тетя Нина истекает нектаром, бабушка пускает стрелки, мама благоухает), с той стороны — мы поднимаемся в бельэтаж:

- Видишь?
- Вижу.
- Слышишь?
- Слышу.
- Спокойной ночи!
- Спокойной ночи!!

С той стороны, с той стороны...

Утром ноги наши ступят на крошки чашелистиков, на осколки семян, на россыпь: «Как выросли, глянть!» Высыхает выброшенная заварка, падают капли, пахнет слабо и тонко — если только лечь, лицом окунуться, оставив посмертную маску в земле — тонко и слабо пахнет спитым чаем: день вчерашний прошел. Он был здесь, чувствуешь? Здесь, здесь, здесь! Ой, крошка! Тише, тише, тише... Не топай. Сойди. Не буди: все еще спят...

Еще я цеплялся за свои грезы, еще пытался удержать их и даже раскрывался им, насколько можно, в уединении сада; еще, приманивая, замирал, подобно рыбаку, нависшему над поплавком своего удилища, над травой, колеблемой ветром и связанной ветром, подобно ему же, с уже ускользящей навек в сонную зеленую глубину тенью, еще чувствовал слабеющие рывки и умолял вернуться, подойти поближе и остаться, — все было тщетно: время первой любви вышло, и она отцветала, роняя свои невесомые, прозрачные одежды, и ветер носил их по земле, скручивая, блеклыми червячками, и оставались во мне семена — до поздней осени.

Однажды, очнувшись от сна, я перестал видеть свою сестру... Еще встречал я порой ее маленькие «лодочки», сухие и жесткие, словно высохшие стручки акации, еще слы-

шал иногда, за зеленою клеенкой летнего душа, ее пение и шум текущей воды, и мыльная пена, похожая на жидкое серебро, текла из-под гниющих досок ручейком и скрывалась в крапиве, а у порога веранды все еще блестела расставленная ею игрушечная посудка: крохотные фарфоровые чашечки, разрисованные черными сороками, и белые толстогубые блюдца, но самой ее уже не было нигде. И напрасно ходил я по комнатам дома, таясь и ступая бесшумно, как индеец, чтобы не спугнуть ее, — скоро даже голос ее перестал звучать, даже одежды ее, прежде так часто опадавшие в спешке на пол, исчезли. И когда однажды я, не выдержав, спросил, где моя сестра, тетя Нина и мама, переглянувшись ничего не ответили мне, но лишь покачали головами...

Несмотря ни на что, мой первый опыт максимальной концентрации любви в замкнутом живом объеме не оказался бесплодным: в последний день лета, когда все чары рассеялись окончательно, я ощутил в себе что-то вроде твердой крупницы, которая, бывало, оставалась в наших пальцах после того, как они раскрошат земляной шарик, что-то вроде твердого, острого семечка. Это было понимание того, что всегда и всюду, что бы со мной ни случилось, я буду один. Всю жизнь.

ТОНКИЕ МАТЕРИИ

Однажды бабушка, жившая вечно, умерла. Ее похоронили на нашем кладбище, на опушке леса. Я помню, как темнела его колючая щетина, как тянуло от земли стылой сыростью и затхлостью, а с неба нам на головы летели мелкие снежинки и взрослые, шедшие кучкой «своих», как на первомайской демонстрации, вполголоса переговаривались, что хорошо, в общем-то, что все случилось сейчас, когда земля мягкая и работа стоит не так дорого, как зимой.

На следующий день все ходили по дому такие же притихшие, как там, на кладбище, и на следующий день и на следующий после следующего, и так длилось, казалось нам с Маринкой, уже целую вечность, пока тишину воскресного утра не разорвал истошный мамин вопль: «Паразит! Ты! Ты! Ты что ж это, паразит!..» Мамин голос доходил до этого места, осекался и начинал фразу снова, брал ее приступом, наливался от первой до последней фонемы силой и мощью, закипал праведным гневом и вдруг обрывался, раз за разом, раз за разом, пока не оборвался совсем затихающим рыданием и какой-то совершенно невнятной окрошкой слогов. Возбужденные, мы слетелись на крик в коридор второго этажа, обступили ее и недоуменными взглядами, невнятными сбивчивыми расспросами попытались узнать причину столь мощного и неожиданно взрыва, но — ничего. Мама вытирала мелкие слезы и стоически, демонстративно молчала, но скоро показала тете Нине — коротким движением подбородка — на нас: «Не при детях», и тогда нас убрали, вывели, исключили из завязи набухающей, огромной тайны.

Мы сидели в своей комнате молча, тихо, почти неподвижно, неподвижностью своей старательно усиливая и молчье, и тишь, возводя оцепенение, охватившее наш дом в последние дни, в высшую, немислимую степень, когда стекленеет сам воздух, сгущаясь до состояния тверди. Мы сидели и сквозь полуприкрытые глаза наблюдали, как эта твердь вокруг нас темнеет, превращается в янтарь, а янтарь — в черную слюду, а слюда — в черный-пречерный шелк... И так мы сидели бесконечность, и еще бесконечность, и еще полбесконечности, пока сдержанные рыдания мамы внизу, на кухне, не оформились в человеческую речь, обращенную к сестре ее матери: «Ведь ты представляешь, он же, паразит какой, а! Я же порядок навести вошла, я убиралась и нашла их совершенно случайно, он их, паразит, держал в столе и даже не прятал!» И вот эта каденция «даже не прятал» звучала так пронзительно, так звонко и так интригующе, что мы с Маринкой, несмотря на жгучую обиду на взрослых, лишивших нас чего-то невыно-

симо-ощутимого, материально-таинственного, снова решили выйти и спуститься вниз. Там, в ярко освещенной кухне, друг напротив друга, в глубоких креслах сидели мама и тетя Нина, и мама после небольшой паузы, после короткого взгляда на нас, явившихся ко второму акту, продолжила, видимо махнув уже рукой на условности: «Он там, представляешь, прямо так и написал, что она умрет. Осенью. Представляешь? Я когда читала, у меня же волосы дыбом вставали, Нина Давыдовна!» — переход ко второму лицу был, видимо, спонтанным, но эффектным приемом ораторского искусства. Тетя Нина дернулась всем своим крупным телом, словно лошадь, на теле которой овод нащупал чувствительную точку, и повернулась к окну — там, в полумраке, словно поверженный пророк, сидел на табуретке грустный наш отец, скрестив в щиколотках могучие шишковатые ступни, босые, как и положено библейскому пророку, положив на колени под вытянутым трико такие же огромные бугристые руки. Волосы его, редкие и все еще чуть вьющиеся, были мокры — то ли от лунного света, то ли от испарины, блестящей на лысом его темени. «Ты зачем это написал, а?! Ты зачем это писал, писатель ты чертов! Паразит!» — обратилась к нему мама уже хорошо контролируемым полусшепотом, но отец молчал и даже не повернулся в ее сторону, даже не поднял голову — видимо, все так же, в соответствии с ролью посрамленного пророка. Нас он не видел. Что, учитывая его положение, было неудивительно. «Писааатель! — горестно и презрительно выдохнула мама. — Хоть бы подумал немного, что ты пишешь-то... И о ком! Ведь это мать моя! Я запрещаю тебе! — тут голос ее опять взмыл к горным и зазвенел оттуда медью ангельских труб: — Слышишь?! Я запрещаю тебе отныне писать о будущем! И вообще, писать...» — закончила она, спускаясь уже, теряя силы, угасая.

Как постепенно выяснилось, мама, поднявшись в комнату к отцу, чтобы навести порядок, прибираясь в ящике стола, нашла его рукописи, в которых он, по вольному попущению своего свободного воображения, описал смерть бабушки — что, на мой взгляд, не являлось никаким грехом: ведь все мы смертны, чего уж тут лицемерить. Но учитывая время, в которое ознакомилась с этим неожиданным, но вполне естественным «пророчеством» мама, вернее, близость двух этих времен, рассказ произвел эффект куда больший, чем мог бы его произвести, скажем, за год до этого или тем более год спустя. Это было всего лишь совпадение, простить которого отцу, однако, мама не смогла уже никогда.

Вероятно, и сама ткань нашего домашнего времени, затягивавшая прежде раны подобно древесной коре, изменилась и утратила свои живительные свойства. Она стала рыхлой, творожистой, рассыпающейся от малейшего неосторожного прикосновения к ней на мелкие мягкие комочки, на крупички, в прах. Что-то непоправимо изменилось и в самих обитателях нашего дома: мама утратила свои самые звонкие и чистые регистры голоса, отец — способность существовать в свете обращенных на него взглядов, но зато тетя Нина неожиданно обрела дар спонтанных мистических прозрений, однако, видимо, вследствие воздействия гения места длительного своего пребывания искусство это проходило не по части ее кровной веры, а относилось к епархии веры здешней, с луковками, ленточками и образами. Однажды за завтраком она сказала маме: «Олимпиада Сергеевна, должна вам сказать... — тетя замялась, катая в руках хлебный шарик, катая и катая его со все усиливающимся нажимом и буд-то забывая с каждым оборотом все более, что же именно она должна сказать, но вдруг, отложив его, посмотрела на маму и начала опять: — Олимпиада Сергеевна, должна вам сказать... Сегодня я видела сон... — наконец смогла перескочить она. — «Я видела во сне Валерию. Она просила покрестить ее, потому что она не может сейчас попасть в рай и ей очень тяжело там, на том свете». Мы с Маринкой замерли, ошарашенные столь неожиданным признанием от закоренелой материалистки, доче-

ри настоящего революционного героя, сделанного из другого — в отличие от всех других людей — теста. Но мама не удивилась. Она лишь задала весьма разумный вопрос: «Но как? Ведь она же умерла. Разве можно крестить мертвых?»

— Да-да, Липочка, — сразу перейдя на доверительно-деловой тон, ответила ей тетья Нина. — Я тоже спросила ее: Как нам это сделать? И она сказала, чтобы мы отнесли в церковь и покрестили там ту куклу, в которую теперь переселилась ее душа!

Мы переглянулись: мы сразу сообразили, о какой кукле идет речь. Это была старинная фарфоровая игрушка, в пыльном выцветшем сарафане, с отколотыми пальчиками на руках, паричком, сделанным из волос, иссушенность которых уже давно перешла физическую грань и продолжалась теперь где-то в области пустынных песков, тех самых, на которых некогда отпечатались следы тысяч беглецов от фараона, с молочным потрескавшимся личиком, в растрепавшихся от времени красных атласных башмачках. Это была бабушкина кукла — игрушка той девочки, что однажды через какое-то непонятное колдовство стала нашей бабушкой.

— Вы не представляете, — опять неожиданно перейдя на «вы» продолжила с жаром тетья Нина, — я видела ее словно по телевизору, она мне говорила из какого-то... вертепа, — тетья слегка замялась в поисках нужного слова, окидывая быстрым взглядом комнату и нас, — так она мне прямо и сказала: возьми мою куклу — я теперь вся в ней, — отнеси в церковь и покрести. Если батюшка откажет, то ты сама макни ее в купель и прочитай молитву.

Тете Нине, со временем начавшей продвигаться по жизни так, словно она стала помаленьку прозревать в светлеющих сумерках — уже не на ощупь, с безразличием слепого, движущегося напрямую, но по каким-то ей одним понятным приметам, подобно бабочке — действие это казалось простым и логичным, и мама, подпавшая под обаяние тетиного безумия, согласилась на обряд таинства в ближайшее воскресенье. Священника они решили не тревожить, резонно полагая, что он ответит отказом, а потому взяли с собой большую хозяйственную сумку из кожзаменителя, с которой в конце лета мы все ходили за сахаром на варенье, взяли целлофановый пакет, в который должны были завернуть покрещенную и мокрую куклу, и отправились в церковь. Мы с Маринкой увязались за ними.

В церкви было прохладно и сумрачно, как в том самом лесу, на краю которого была закопана бабушка, и редкие огоньки, видимые словно сквозь кисею, дрожали вдали и вблизи в маленьких золотых чашечках, похожих на распутившиеся цветки. В тишине было слышно, как что-то потрескивает, и пахло так сладко, так вкусно, что пока тетья Нина с мамой шептались в дальнем углу у какого-то большого таза на подставке, мы с Маринкой подошли к огромной картине в резной тусклой раме и стали тыкаться в нее носами, пытаясь уловить этот запах во всей его прелести, напитаться им, вдохнуть его в себя побольше и унести, не дыша сколько можно. Мы тыкались, елозили, и я в какой-то момент даже лизнул ее, думая: не сладкая ли она на вкус? И Маринка, увидев, что я делаю, тоже стала лизать раму. Но рама на вкус была лишь чуть солоноватой. Вошел священник, и мама с тетей Ниной, словно две большие птицы, переполошились, громко зашептались, завозились, нелепо взмахивая руками, и под недоуменный взгляд вошедшего устремились к выходу, позвав за собой и нас. Мы выбрались на свет и переглянулись: сумки в руках ни у кого не было. «Я ее там оставила, — сказала мама. — Он как вошел, у меня аж сердце от страха остановилось. Ну, я сумку там и оставила. А куклу макнула в чан и под юбку себе спрятала, — тут мама рассмеялась и стала похожа на играющую девочку. Она погладила себя по животу, — вот тут она», — мы дружно посмотрели на ее вздувшуюся куртку, из-под которой торчали полы юбки. Засмеялись и пошли. И за мамой оставался тонкий след капавшей и застывавшей на морозце святой воды.

МАСКА

Когда она перестала прикасаться ко мне? Трудно вспомнить... Понятно, что это произошло не вдруг, и потому граница события и несобытия размыта, растянута во времени, но... Но оно и не продолжалось долго, это ее прощание с моей плотью. Вероятно, какое-то время она еще пыталась вести себя как прежде, заставляла себя прикасаться ко мне, гладить, может быть, даже иногда целовать, еще делала вид, что ничего не произошло, что все идет своим установленным порядком, но пружины, приводящие в действие механизм наших взаимоотношений, уже не подчинялись установленным когда-то правилам, уже не совершали втайне свою благородную работу и все чаще, вырвавшись в самый неподходящий момент и неподходящем месте наружу, кололи нас в самые чувствительные места, словно на старом продавленном диване.

Однажды, вскоре после того, как я впервые обратил внимание на это внимание, я заметил, как она вытирает руки, которыми только что, дурачась, толкала меня... Кажется, это было полотенце. Да, она вытирала руки кухонным полотенцем — первым, что попало ей, на что упал взгляд. Она увидела, что я заметил это, и улыбнулась. Как-то жалко и дерзко одновременно. Пару раз я еще ловил ее на этом — то, передав мне кружку, она, словно бы машинально, начинала комкать в руках тряпку, которой только что вытирала стол, то, коснувшись меня в узком коридоре, ведущем в зал, замирала на секунду и принималась, растерянно улыбаясь, словно школьница, тереть край своего платья... Я внимательно наблюдал за ней — она не просто комкала, не просто тербила, она проводила по материи ладонями так, чтобы движения получались скользкими, длящимися, неотрывными, чтобы на ее поверхности оставалось то, что она случайно только что переняла от меня.

Потом она перестала прикасаться ко мне вовсе — наш физический контакт прекратился. Вероятно, несмотря на все свое рациональное и позитивистское мышление, подспудно она боялась заразиться от меня... И я перестал для нее существовать. Я утратил свое тело — то, чем вторгался в ее жизнь, чем заставлял почувствовать себя существующим в этом мире, — средство, с помощью которого я достигал самых дальних областей ее истинного, потаенного бытия, тех его областей, где не существует ни слов, ни идей, ни даже абстрактных образов. Тех, что реагируют лишь на непосредственный контакт, подобно подвешенным на нитках металлическим шарам, предназначенным для демонстрации закона передачи импульса. На прикосновение.

Я утратил возможность заявлять о себе, пробираться на периферию ее сознания и снимать там маску, сообщающую подобие человеческих черт той части ее существа, что руководствуется исключительно рефлексам и дремлет там, на доисторической глубине, в темном родстве с самыми примитивными хилоподами которых простое нажатие пальцем заставляет вздрагивать и сжиматься в комочек. Части, скрытой в глубине каждого из нас и управляющей нашим поведением без помощи высших побуждений, благородных целей и гуманистических идеалов, но позволяющей выживать при самых низменных, невыносимых условиях, заставляющей рефлекторно разевать рот при сдавливании грудной клетки, отдергивать палец при прикосновении к острию иглы и избегать темных незнакомых мест. В общем, можно сказать, что она буквально на моих глазах и по собственной воле переместилась в сферу чистой идеи, отвлеченного союза и сугубого сосуществования, ни к чему не обязывающего, ничего на самом деле не связывающего.

Внезапное осознание этого неожиданно вызвало в моей памяти один давний случай: накануне Нового года взрослые наряжали елку. Они распаковывали пыльные

картонные коробки с игрушками, вынимая из шуршащих, за год пересохших, словно забытый лавровый лист, газет стеклянные гирлянды, самодельные снежинки, острожно, с грацией истинных портовых грузчиков спускали со шкафа коробки с конфетти, оставшиеся с прошлых, незапамятных празднований, подбирая и машинально перечитывая выпавшие открытки с давно выкипевшими поздравлениями от родственников, с легкими улыбками просматривали случайно затесавшиеся на те же антресоли семейные альбомы.

Мы с сестрой скучали. Не знаю, отчего так случилось — ведь шла подготовка к нашему любимому празднику, — но факт есть факт: словно серые сумерки, стоявшие за окном, затопили все вокруг, приглушили краски, скрыли рисовавшиеся воображением картины тихого блаженства, свободного от ежедневной школьной повинности, уроков и даже докучных домашних дел. Маринка то ли на что-то дулась, то-ли воображала себя взрослой: сидела и со скучающим видом разглядывала «Мурзилку». Казалось, еще чуть-чуть, и новогодние хлопоты станут нам просто в тягость. Вдруг раздался удивленный и радостный возглас бабушки. Мама и тетя Нина с готовностью подхватили его и загомонили, передавая друг другу что-то жесткое и выпуклое, как надкрылья жука, но размером с суповую тарелку, серое и рябое, как жеваный и слепленный слюной домик, который осы каждое лето стоили у нас под крышей. Заинтригованные, мы с Маринкой подбежали, и мама передала это нам. Оказалось, что это были две детские маски, вложенные друг в друга, обыкновенные картонные маски, которые, видимо, когда-то нам же и покупали, да забыли про них. Второпях, не увидев прорезей для глаз, мы сперва не узнали их, разглядывая с обратной стороны, но потом, убежав под одобрительные смешки с добычей к себе в комнату, мы рассмотрели находки уже внимательно: медведь и коза. Краска на их носах и щеках пообтерлась, лак пошел кракелюрами, а уши немного замялись вовнутрь, но мы были довольны. Да что там, мы были просто счастливы! Скуки не было уже и в помине, какой-то невероятный восторг охватил нас, едва мы приложили их к своим лицам: словно через них на нас сошло наконец благодатью праздничное настроение взрослых и усилилось до максимального своего состояния, до высших нот того самого, бывающего лишь раз в году предчувствия чего-то особенного, чего-то такого, чего не было и не могло быть в году прошедшем и, возможно, не будет даже в будущем, но теперь, когда в наших руках есть вот это, чье свойство новизны чудесным образом так легко переходит на нас, — возможно все! Мы ликовали.

Нацепив маски и спрятав тонкие резинки на затылке под волосами, мы выскочили из комнаты, и гулкие полутемные коридоры сами повлекли нас в неведомые дали. В бесконечность! В темный лес за окнами! По взмывающим под самый потолок скрипучим лестницам — в небеса, к иным планетам, к другим островам, к сокрррровишам! Рыча и бляя, носились мы друг за другом, и дом скрипел и покачивался под нашими ногами, словно пиратский корабль. Его пропахшие ворванью и варом внутренности ухали и стонали, словно за бортом бушевал ураган и волны высотой со стоэтажный дом с размаху бросались на утлую посудину, бросая ее и вертя, как щепку. Где-то там, в самой немислимой глубине трюма, в самом дальнем-предальнем его отсеке томился привязанный на цепях дракон, и нашей задачей было пробраться в кают-компанию, где сейчас готовятся к исполнению какого-то ужасного обряда, и выкрасть ключ в виде стеклянной сосульки, чтобы освободить несчастное животное...

Я не помню, сколько длилось наше счастье, как долго мы были не собою и сколько времени взрослые притворялись, что не узнают нас, с испугом спрашивая друг у друга, кто это ворвался к ним в дом и куда делись их собственные дети, — мне трудно понять. И тогда было трудно, и сейчас: сколько же времени наш привычный мир был вытеснен из течения жизни, сколько длилось наше путешествие, полное приключений

и опасностей, среди подвалов сказочного замка, на валком, пахнущем лыжной мазью и хвоей корабле, среди беспредельности океана, в джунглях далекой планеты. Какая-то неведомая мощная сила играла нами, помыкала, заставляла преследовать друг друга и бежать, бежать, бежать, даже тогда, когда не хватало уже дыхания, когда ноги отказывались нас слушаться и пот грязноватыми ручейками обильно потек из-под масок. Однако постепенно что-то вроде истощения стало овладевать нами, словно задышливая усталость все чаще ловила нас своей сильной рукой, сжимая грудь за развевающимися от быстрого бега портьерами, за откинутыми дверцами шифоньеров, за высющимися спинками сумрачных кресел, и пригвождала к полу так, что невозможно было уже сдвинуться с места, пробежать еще пару шагов, даже просто пошевелиться — лишь постояв некоторое время и переведа дух, оглядевшись и обратным усилием воображения вернув себя в привычную обстановку, мы могли сделать несколько шагов по направлению к крану, чтобы набрать в кружку теплой солоноватой воды — выпить мелкими и частыми глотками, и тогда, остановившись и запрокинув голову, наблюдая боковым зрением разведчика, мы могли заметить, как новые пространства слева и справа торопливо задерживаются привычным рисунком обоев, словно бы в нашем клубе перед показом фильма наползает знакомое всем полотно, и казалось, что само время, приотставшее за время игры, сейчас нагоняет нас. Все чаще нам хотелось присесть — чтобы поправить ремешок на сандалиях, подтянуть сползшее трико, подровнять маску, откинуть с горячего лба прилипшую прядь волос. Мы устали. Мы исчерпали свою радость до дна, мы насладились новизной мира и жизнью в новых обличьях полностью, мы выпили ее до капли, и она вышла через поры, раскрывшиеся от охватившего нас жара, наружу незаметно и безболезненно. Именно так, мне кажется, и оставляет человека счастье, когда он устает от него. Оставляет, чтобы иметь возможность вернуться вновь.

Мы решили снять маски. И тут случилось ужасное: завязки Маринкиной маски оборвались. Я видел, как ее пальцы сжимают бессильно повисшие резинки, как глаза ее, озорно и ярко блестящие в круглых прорезях маски, вдруг заблестели еще ярче, невероятно ярко — так, словно их изнутри осветил какой-то особенный источник света, и слезы, крупные и обильные, подступили и хлынули стремительно и неудержимо. Искаженный прессованным картоном оглушительный рев — внезапный, непрерывающийся — разорвал тишину, в которой только что она безуспешно пыталась сдернуть с себя ненавистную личину. На крик прибежала тетя Нина, и, сразу поняв, в чем дело, спасла мою сестру: вернула ей человеческое обличье, стянув с нее маску через верх, как снимают глухие вязаные шапки, и, аккуратно распутав застрявшие в остатках резинки волосы, прижала ее к своему необъятному мягкому животу. Но Маринка, умолкнув так же внезапно, как и заревела, вырвалась и, отбежав в угол комнаты, уселась, всхлипывая, на коленки, спиной ко всем и спрятав покрасневшее лицо в ладонях. Тетя Нина, хмыкнув, повернулась и направилась обратно к елке, в пути своим громкогласно повествуя невидимым еще слушателям историю драмы, хохотами и хохотками начиная подсвечивать достраиваемую на ходу сцену, а я так и остался стоять, не зная, что делать. Я чувствовал к случившемуся какую-то свою причастность, но не понимал, в чем она заключается и в чем ей следует выразиться дальше — в форме покровительствования или в форме покаяния: ведь Маринка продолжала всхлипывать, ее острые лопатки подрагивали, выпирая из-под красной материи платья, а маленькие пяточки в бежевых носочках, вдруг удивительно округлившиеся и похожие на мячики, торчали так жалко и так беспомощно, что хотелось подойти к ним, склониться, надавить...

Алексей ЧЕСТНЕЙШИН

РАССКАЗЫ

О ДРУГЕ

Дружок у меня есть один. Вернее сказать, близкий знакомый. Учились вместе.

Так вот, недавно приходит ко мне и говорит... хотя, пожалуй, следует рассказать по порядку и начать со времен далеких.

1

В начале девяностых учились мы с ним в одном провинциальном училище. Готовили из нас мастеров по ремонту радиоаппаратуры. «Учились» — это говоря формально, на самом же деле ни черта мы не учились. Так просто ходили на пары, часы просиживали там и все. Начало девяностых! — время-то какое развеселое было. Я не знаю, как остальные, а я просто уверен был, что в стране вот-вот начнется гражданская война. А я в училище сижу как дурак, преподавателя слушаю, к каким-то идиотским экзаменам готовлюсь. Смешно. Потом, конечно, оказалось, что никакой гражданской войны нет и не будет. Но это было потом, а тогда — в головах у нас было черт-те что, будущность не блистала яркими красками, а сама учеба представлялась чем-то в высшей степени абсурдным.

Сам я был не местный и жил в общежитии. А приятель мой был парень городской и, конечно же, жил у родителей. Общность интересов — вот, пожалуй, единственное, что в том возрасте нужно для сближения людей. Мы бродили по городу с бутылками пива, болтали о всякой всячине: о музыке, книжках, ну, и о политике, конечно. Я читать любил, и в то время у меня как раз произошел скачок от Джека Лондона к Герману Гессе. Мне льстило, что приятель считал меня специалистом в мире литературы. Моя тумбочка в двушке (так называется комната, рассчитанная на двух человек) всегда была забита книгами. Их я и покупал, и из библиотек носил, — а записан я был во все четыре городских библиотеки.

Моего соседа по комнате на втором курсе выгнали за пьянку. Как же он пил! — ну это вообще отдельная история. В общем, жил я комнате один.

И вот однажды приятель мой говорит:

— Слушай, у меня идея есть, давай создадим свою рок-группу.

Пришел ко мне в общежитие с гитарой и на полном серьезе бабах: «рок-группу». Ни больше ни меньше. Конечно, без сарказма я ответить не мог.

— Ты, наверное, весь день сегодня думал, чего бы такого отчебучить, чтоб потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Такие шутки были у нас нормой, никто не обижался. Приятель тоже не обиделся.

Он начал меня убеждать. Дескать, это ерунда, что я не умею ни на чем играть и что мне в детстве бегемот на ухо наступил, — можно на ударной установке сидеть

Алексей Александрович Честнейшин родился в 1976 году в селе Бестужево Устьянского района Архангельской области. Окончил Литературный институт имени Горького (отделение прозы, семинар Н. С. Евдокимова). Печатался в журнале «Урал». Живет в Москве.

«и в такт музыке: бумс-бумс-бумс». А самое главное, говорил он, рок-группа — это не просто собрание музыкантов, это прежде всего коллектив единомышленников, личностей, духовно близких.

— Я давно мечтал создать рок-группу, — его голос стал особенно серьезен, — понимаешь, для меня это дело всей жизни, — и по его взгляду можно было понять, что он не шутит.

Тем временем вскипел чайник. Сели пить чай с ванильными сухарями. Он рассказывал про какого-то знакомого, виртуозно владеющего соло-гитарой, про то, как можно доставать инструменты или брать напрокат. И чтоб уж совсем меня дожать, добавил:

— Нам бы и корректор для текстов не помешал.

— А что, уже и тексты песен имеются?

— Да, — он отставил стакан с чаем и взял в руки гитару, — недавно сочинил, тебе должно понравиться.

Я приготовился внимать. А сам думаю: сейчас зазвучат «мечи», «солнца лучи», «кровь — любовь», «рыцари», в общем, что-нибудь в духе раннего Гумилева.

Как же я ошибся! Оказывается, плохо я знал своего друга. Его «песня» повергла меня в глубокое уныние. Я вообще о ней ничего говорить не хочу. Настолько убогая она была по смыслу, а главное — и по лексикону. А впрочем, раз уж начал, скажу: в песне шла речь о сумасшедших детях, которые курят траву, и о дьяволе, стоящем у них за спиной. И ладно бы, написана была с умом, а то ведь заурядный набор бестолковых слов и фраз, которые, по его мнению, должны звучать устрашающе, — что еще один минус. Бред сумасшедшего. Даже хуже, бред сумасшедшего хотя бы интересен своими неожиданными ассоциативными скачками, тут же все однородно и монотонно. Никакая корректура «песню» не спасала.

— Ну как, — спросил он, — понравилось?

Я молчал. Я думал. По нему было видно, что уж ему-то песня очень нравится. Что делать? Надо в глаза ему сказать, что он занимается откровенной дуротой. Или не надо? Перспектива оплевать его святыню и, конечно, рассориться с ним вдрызг не очень меня радовала. Я вздохнул, налил себе еще чаю, отломил сухарь.

— Нет, не понравилась.

— М-да? А почему? — он был явно раздосадован.

— Ну, не понравилась, и все. Не нравятся мне такие песни, — я уже сам завибрировал, мне стало противно, и чтоб уж покончить со всем этим, я сказал: — Ты меня извини, конечно, но ни в какой рок-группе я участвовать не буду.

А впрочем, рассорились мы с ним не сильно. Какое-то время он считал меня снобом, потом это прошло. Из его затеи, конечно же, ничего не вышло. Видать, он так и не встретил поклонников своего творчества. И рано или поздно он понял, что все-таки занимается дуротой. Такой вот бесславный финал его «дела всей жизни».

2

Еще случай.

Прошло года четыре. Мы кое-как получили свои дипломы и, как могли, устраивались. Я так и жил в общежитии. Там у нас был негласный порядок: человек, окончивший училище, может и дальше жить в своей комнате. Плата за съём небольшая, куда она идет, неизвестно, но думаю, что комендант внакладе не остается. А все это потому, что приезжих учащихся мало, и многие комнаты пустовали бы, если бы такие, как я, их не заполняли. Сколько я работ переменял, и не сосчитать. Одно время даже по профилю работал: в ателье по ремонту теле- и радиоаппаратуры. Но, получив зарплату, сразу свалил. Этих грошей хватало лишь на общежитие и проезд. Надо сказать, что в наш век плазменных телевизоров и лазерных компакт-дисков все знания, полученные нами в училище,

и все наши представления о радиотехнике на уровне тиристорного приемника (я утрирую, конечно, но доля правды велика) были просто ерундой.

Скажу лучше о главном. Я ведь в это время начал рассказы писать. Да. Маленькие философские рассказы. Редко писал. Но после двух лет писаний решил, что на публикацию уже вполне хватает. Решился. Понес в местный литературный альманах.

И потерпел фиаско. Дело было так: отнес, сказали прийти через две недели. Прихожу, и что же? При виде меня редактор не вскочил с места как ошпаренный и не закричал: «Молодой человек! Как я рад вас видеть! Рассказы ваши — что-то потрясающее! Мы все тут читаем и перечитываем, Боже мой, вы хоть сами-то понимаете, что вы написали?! Это же просто колоссально! неслыханно! Все потрясены», — так вот, ничего этого не было, и это был дурной знак. Вместо этого редактор долго рылся в шкафу, сначала на одной полке, потом на другой, потом с третьей полки извлек наконец мои листки. Разложил их на письменном столе и начал их пересматривать, как бы припоминая, что это вообще такое. Лютая ненависть поднялась во мне из глубин уязвленного самолюбия.

Я, конечно, знал, что творческие люди всегда с иронией относились к редакторам, все эти байки про примитивность их суждений, склонность к традиции были мне знакомы. И между прочим, я считал, что в них не столько правды, сколько мести за непризнание. Действительно, ну не могут же редакторы, люди умные, много читающие, быть такими недалекими.

Но здесь же — о ужас! — я убедился, что байки-то все — чистая правда. Лучше б редактор мне вообще ничего не говорил. Но он с видом носителя абсолютной истины вещал: «Примитивизм как стиль...» (а я и сам знаю — это мой метод), «прямолинейность...» (а что здесь такого?), «схематичность...» (а, надо сказать, половина мировой литературы — сплошные схемы). Ну и напоследок он, конечно же, посоветовал мне читать больше русской классики, особенно Льва Толстого (который, кстати, и так мой любимый писатель, особенно поздний Толстой). Публикация была отклонена: я не вписывался в конъюнктуру издания.

«Какие ж они все, оказывается, ту-пы-е! Он ничего — ровным счетом, ничего не понял в моих рассказах. Ненавижу редакторов!» — сидел я и переживал в своей душке. Но потом взглянул на проблему с другого боку: «а, может, я сам чего-то недопонимаю? в чем-то глубоко заблуждаюсь? Может, редактор прав — у меня вообще неверный подход к литературе?» Я понял, что запутываюсь, и уже сам не знаю, что мне дальше делать, как писать, о чем писать, куда двигаться. Думал ли я, что все закончится таким идиотизмом?

Осень за окном. Морозящий без устали дождь смешивает с грязью облетевшие листья. Состояние мое подавленное, настроение ни к черту, рассказы свои я видеть не могу, как, впрочем, и все остальные книги тоже.

Вот тут-то как раз и заявляется мой приятель. Пришел. Сама целеустремленность. — Хорошо, что застал тебя. У меня предложение: давай создадим свою газету.

Оказывается, в последнее время его сильно шатнуло влево — в идеологическом смысле, — даже в ультралево. Он сейчас — активист радикальной революционной организации. Взвалил на себя почетное бремя: организовать издание партийной газеты (ну, газета не газета, а просто боевой листок). План такой: он отвечает за идеологическую сторону, а редактором газеты должен стать — кто бы вы думали? — я.

— Ну, ты сам подумай, к кому я еще пойду?

Еще он много мне говорил о жизни: в жизни, оказывается, человек должен самоутвердиться. Нужно уметь заявить о себе, уметь сделать шаг:

— ...и если я умею видеть глубоко, все тонко чувствую и широко рассуждаю, а шага ступить не умею, то я медь звенящая и кимвал звучащий, — говорил он.

Глядя на беспрестанную октябрьскую морось, стуча пальцами по подоконнику, я слушал его сентенции, что только действием можно раскрыть себя, что другого пути в жизни нет, что нужно выбрать свою стезю раз и навсегда и следовать ей. И теперь он, оказывается, не мыслит свою жизнь без партийной деятельности. Все бы ничего, но когда пулеметными очередями застрекотали партноменклатурные аббревиатуры, я не выдержал.

— Ненавижу я все эти партии.

— Что? А почему, собственно?

Нужно срочно что-то придумать.

— Я индивидуалист и не терплю толпу, а партии — это всегда толпа.

Желчи во мне было хоть отбавляй. И желчь задушила во мне и редактора, и парт-активиста.

Боевой листок мой приятель издавал и без меня. Печатал в нем свои политические стихи. Мне показывал, ценил мое мнение. Не могу устоять от соблазна — приведу для примера некоторые из них:

Я помню, мне приснился Че
С гранатометом не плече.
Сказал он: «Не задушит хунта
Святые идеалы бунта».

Без комментариев.

Или вот такой стих, из цикла «Палестинские страдания»:

Вчера боевик группировки ХАМАС
Взорвал начиненный взрывчаткой КамАЗ.
Пускай сионисты натерпятя страху
И первый министр Беньямин Нитаньяху!

Смешно, конечно. Но все-таки, стихи у него лучше, чем песни. А придраться надо:

— А что, на Ближнем Востоке КамАЗы водятся?

— Да их там как грязи. А ты не знал?

Что ж, вполне может быть.

«Газета» выходила полгода. Сначала часто, потом все реже и реже. Потом выпуск прекратился. Причины? Мне они неизвестны, но думаю, что однажды ему просто надоело. Еще одно дело всей его жизни пошло прахом.

3

Прошло еще лет пять. В нашем провинциальном городке мало что изменилось. Открылись три новых бара. Но самое знаменательное — к нам четкой прагматичной поступью пришли высокие технологии в виде мобильной связи. И тут мне в кои-то веки крупно повезло. Устроился я в организацию по установке ретрансляторов сотовой сети. Работа несложная, главное — четко следовать инструкциям, иметь самые общие знания об электричестве и уметь читать элементарные схемы. Зато зарплата — у-у! о такой зарплате на периферии можно только мечтать. Одно плохо: работа быстро закончилась. Городок маленький. Всех ретрансляторов — раз-два и обчелся. Мы установили все, что нужно, и потом нас без сожаления уволили.

Я все так же жил в комнате-душке. Творчество свое забросил к чертям собачьим. Но книги читал. А книг у меня уже было... вот здесь уместно описать свою комнату. Квадрат три на три метра. Дверь напротив окна. Под окном стол — и обеденный, и письменный — в общем, просто стол. Рядом стул. На правой от входа стене висит политическая карта мира — во всю стену. Под ней кровать. Левая стена: у входа шкаф для

верхней одежды, за ним два книжных шкафа. В одном русская литература, в другом — иностранная. Книжные шкафы я не покупал — я их делал сам. И дело не только в том, что дешевле. В покупных книжных шкафах пространство расходуется крайне нерационально. Проемы между полок большие и везде одинаковые, без учета книжной форматности. Зато уж если сам делаешь — подгонишь все с точностью до миллиметра: низ шкафа для книг энциклопедического формата (словари, атласы, альбомы с репродукциями живописи и прочее), потом идут полки для книг обычного размера, кроме того, выделяешь и проемчик для поэзии, издатели которой почему-то тяготеют к миниатюрности. Шкаф получается — просто загляденье. Все логично, все компактно, все на своем месте.

Я уже давно хотел сделать третий шкаф, чтоб переложить туда научную литературу, атласы, философию и прочее. А тут как раз очень кстати меня уволили. И деньги после работы скопились приличные, на них можно было долго прожить. Я решил: пора заняться шкафом.

Заказал на пилораме доски (заметьте, на шкаф у меня идет не какая-нибудь ДСП, а натуральная сосновая доска-двадцатка), купил бесцветный лак, полкодержатели, рояльные петли для дверец, саморезы-пятидесятку — и за дело.

Приятель мой пришел в самый разгар работы: наждачной бумагой я зачищал обрешеченную по размерам доску.

— Здорово, труд на пользу.

— Здорово, проходи садись.

Какое-то время он, сидя на стуле, вникал в суть происходящего.

— Слушай, а куда ты этот шкаф ставить собираешься? У тебя уже места нет.

— Вот сюда приткну, — указал я на угол справа от входа.

— Карту закроешь.

— Подумаешь, Тихий океан. Кому они нужны — эти острова Фиджи.

На какое-то время он умолк, потом снова:

— А куда такие полки здоровые?

— На Луне ты живешь, что ли? Большая Российская энциклопедия выходит. Вон том «Россия» уже вышел, можешь посмотреть.

Приятель погрузился в чтение. А я не спеша закончил шлифовать доски, составил их в углу (лаком завтра покрою), пол подмел. Потом пошел на общую кухню. Достал со своей полки холодильника початую бутылку немировской горилки, захватил табуретку.

— А я ведь к тебе по серьезному делу пришел, — выпив, он закурил и, делая глубокие затяжки, объявил о цели визита: — Давай создадим свою фирму.

— Фирму? — вот уж чего я никак не ожидал. — Что? Какую еще фирму?

Он принялся объяснять. А я только сейчас обратил внимание на весь его видок. Переменился, посмотрите на него — это же начинающий бизнесмен. Черная кожаная барсетка со всякой ерундой: записная книжка, ручка, калькулятор, какие-то пластиковые карточки непонятного мне назначения. На запястье болтается мобильный телефон, причем «Пантек», а не какой-нибудь там «Сименс-А25», как у некоторых, вроде меня.

Идея такая: ему предлагают по дешевке подержанный фургон «газель». Нужно купить этот фургон и заняться грузовыми перевозками — рекламное объявление дать в газету. Только у него своих денег не хватает, вот он и пришел ко мне.

— У тебя ведь, я знаю, деньги есть приличные.

— Есть. В банке на счете.

— Ну вот, сложимся. Главное, чтоб все было по-честному, чтоб все пополам.

С этим трудно не согласиться. Далее: ездить будем вдвоем, он будет баранку крутить, я — на звонки отвечать и записи вести, ну а погруз-разгруз только вместе. Люди сейчас много покупают: мебель, бытовую технику, стройматериалы, поэтому грузовые

перевозки востребованы. По его расчетам, деньги окупятся уже через полгода. Еще выпили. Слушаю его и думаю, как это в человеке такая перемена могла произойти: песни писал, стихи, революционную газету издавал, а теперь — грузовые перевозки. Как могла так планка опуститься? Что-то в нас уходит безвозвратно, что-то хорошее, дорогое, на смену приходит холодный меркантилизм.

Спрашиваю. Он рукой махнул:

— А-а, плюнуть на все и просто зарабатывать деньги, я для себя уже решил, — он прикурил очередную сигарету, — осточертело все: все эти устремления непонятно к чему, — сигаретный дым он пускал струей в оконное стекло, и дым расходился, клубясь, по стеклу во все стороны, — я вот тут все думал: как же так, люди в моем возрасте золотые медали получают на олимпиадах, чемпионами мира по шахматам становятся, на музыкальных конкурсах побеждают, а я еще ничего, понимаешь, ни-че-го в жизни не достиг, и вряд ли чего достигну. Противно, знаешь, как мне это противно — чувствуешь себя каким-то недоумком.

Что я могу ему возразить, — я и сам такой же. И мне тоже противно, что ничего не достиг. Но во мне живет беспринципный спорщик, который спорит лишь ради спора:

— Ну, в чем же дело? Занимайся чем угодно. Стихи пиши.

— А-а, — он опять отмахнулся, — ты лучше меня знаешь, что сейчас стихи писать все равно что дрова в лес возить, — на какое-то время он замолчал, потом продолжил: — Я тут недавно статейку одну прочел, м-м, забыл фамилию, — какой-то немецкий экономист-социолог тиснул. Так вот, он пишет, что экономика наиболее динамично развивается именно в той стране, где большинство людей плюют на все и начинают просто зарабатывать деньги, — он усмехнулся, — и тогда я подумал: правильно, так и надо жить — наплевать на все и просто зарабатывать деньги. И как-то, ты знаешь, даже легче на душе стало.

«Легче на душе стало». Психолог Леонтьев говорил: «Обилие информации иссушает душу». Может быть, это и так. Может быть, все эти книги и знания — лишь наркотик для алчного рассудка, но сушилка для нашей души. А безграмотные памирские пастухи — личности куда более гармоничные, чем мы. К чему я это все? Я и сам уже давно в такой же тупиковой ситуации и тоже думаю все, думаю, ищу какой-то выход и не нахожу.

— Ну что? — сказал он, — соглашайся, ты все равно сейчас уволен, работать где-то надо.

Я смотрел в окно. Я видел проезжающий по улице транспорт, дома, магазины, огни реклам, пешеходов — все то, что условно назову «жизнь». Я смотрел, как вся эта «жизнь» поднимается, восстает всем своим кишашим, сверкающим, грохочущим хаосом — все выше и выше. Наконец наваливается на нас. Лавиной. Цунами. Она несет, сметая в нас все: мыльные пузыри нравственных принципов, карточные домики мировоззренческих концепций, мишуру эстетических представлений, — сметает все, и легче становится на душе. О, мой друг! — как же я тебя понимаю!

Я не заорал от ужаса, не рассмеялся ему в лицо, не вытолкал в гнев его взашей, я даже не усмехнулся, — я кивнул и тихо сказал:

— Я согласен.

В ПУСТОТЕ

Если долго смотреть на обыкновенную электрическую розетку, она в конце концов покажется бесформенным белым пятном. Сегодня суббота — выходной день. Я лежу с утра на своем диване. На мне синее трико и белая футболка. Я отдыхаю. Стараюсь ни о чем не думать, хотя не думать ни о чем невозможно — разные мысли так и лезут в голову, причем далеко не всегда приятные.

Я спокоен, я совершенно спокоен. Тело мое расслаблено. Правая рука вытянута вдоль него, левая — под головой. Иногда не то чтобы дрема накатывает, а просто хочется глаза закрыть, и какое-то время я лежу с закрытыми глазами. 14:46 — прошло уже полдня. Вставал только утром, прошел на кухню, выпил чая стакан и съел два бутерброда с ветчиной. И снова лежу.

Делать нечего. Включишь телевизор, пробежишься по всем каналам, попал на новости — посмотришь, а нет, то и выключай. И снова тишина, только от дороги вечный гул.

Взгляд блуждает по комнате, задерживается на отдельных предметах. Пыльные лучи солнца образуют на полу освещенный квадрат. И квадрат этот медленно ползет по линолеуму от дивана мимо письменного стола к книжному шкафу. Освещенное солнцем косое пространство воздуха полно пыли. Пылинки находятся в постоянном движении. Они хаотично мечутся, крутятся, вьются, как пиявки, хотя видимых причин для движения нет: воздух неподвижен, форточка (единственная возможность сквозняка) закрыта, в комнате ни малейшего шевеления. Но пылинки не стоят на месте. Я думаю: какая сила заставляет пылинки двигаться? Какая побудительная причина этого движения? Ведь гораздо проще зависнуть на месте, замереть, быть неподвижным (быть неподвижным!), чем двигаться. Кажется, само освещенное пространство породило этот кишасый хаос. Выходит, что движение вообще свойственно природе — движение бесцельное и беспричинное, движение само по себе. Более того, движение есть природа. И только радикальный философ может утверждать, что движения нет.

Движение есть.

В выходные дни ко мне иногда заходят так называемые «друзья», мы сидим на кухне, пьем водку, болтаем о всякой ерунде и хохочем над разной дурью, они курят, надо сказать, сам-то я не курю — денег жалко на сигареты тратить (шутка), но пепельница для «друзей» у меня всегда на столе. Потом прощаемся, и они уходят.

Но обычно в выходные дни я лежу на диване и ни черта не делаю, как сегодня. Время — 15:11. Солнце освещает книжный шкаф, и сквозь его стекла видны вырванные светом из полумрака комнаты корешки книг. Я уже давно ничего не читаю. Надоело в какой-то момент. Последнее, что прочел, — «Литературная амнезия» Патрика Зюскинда. Будто мои мысли записаны. У меня ведь то же самое — читаешь и все забываешь. Когда-то с восторгом прочитал «Дневник художника в юности» Джойса, сейчас не помню ни-че-го. Сартровские «Слова» чуть ли не конспектировал, а сейчас из памяти всплывает одна лишь дурацкая картинка: седой Карл Швейцер умиленно поглаживает по голове маленького Жана Поля. Зачем я все это читал, непонятно. Какой смысл? Откроешь книжный шкаф, пробежишься глазами по знакомым фамилиям — этот расскажет тебе об этом, тот — о том, а третьего вообще читать неохота. Да и вообще, пишут все, пишут, только пишут не о том, о чем надо. А о чем надо? Не знаю. «Какой должна быть та книга, которая бы мне действительно понравилась?» — задаюсь я вопросом, закрывая книжный шкаф. Ответа нет.

Лежу на диване. Неподвижен. О течении времени напоминает лишь мельтешение пылинок в воздухе, крики с улицы, да электронные часы на полке меняют цифры: 15:43.

Великий сказал: «Нет нужды выходить из дома. Оставайся за своим столом и прислушивайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе...» Правда истинная. Вот смотрю я вокруг, а сам неподвижен, только взгляд перебирается с предмета на предмет, и все, что я вижу: потолок, стены с обоями, стол, шкаф, окно и небо за окном, — все это вместе превращается в какую-то плоскую и пошлую картинку, в нечто незначительное, смехотворное. «Ну и пустяковина — весь этот мир», — думаю я, и радостно на душе становится. Будь неподвижен и одинок, будь неподвижен и одинок. К сожалению, вечно быть неподвижным невозможно. Голод, знаете ли, не тетка.

Прохожу на кухню, После некоторого раздумья у раскрытого холодильника решаю сделать салат. Достая пару помидоров, огурец, перец, зеленый лук и листья салата. Все это мою и нарезаю, потом заправляю оливковым майонезом, солю, — и вот вам отличнейший салат. Ем. Пища проникает в желудок, и голод утоляется. Через пятнадцать минут организм готов к дальнейшей жизнедеятельности, правда, в моем случае к жизни, но не к деятельности, поскольку сейчас я пойду и снова рухну на диван.

Может показаться, что, лежа на диване, я отдыхаю от своей работы, — это не так. Работа у меня не тяжелая, нервная только. Я курьер. Откройте бесплатную газету «Метро», на развороте среди рекламных объявлений увидите квадратик:

* МАСТЕРСТВО *
Любые виды ремонтов
Быстро и качественно
Тел. 8-800-341-99-10, 8-800-341-80-72

Это и есть наше общество с ограниченной ответственностью (у нас из начальства действительно никто ни за что не отвечает, особенно за свои обещания перед сотрудниками и клиентами) «Мастерство». И я в нем работаю курьером.

Каждый будний день я просыпаюсь в 5:30. Двадцать минут на завтрак, десять минут на сборы: бреюсь, надеваю белую рубашку, пепельного цвета костюм, черный галстук завязываю широким виндзорским узлом (такие специфические в нашей фирме требования к внешнему виду курьера). И в путь. Один час сорок минут — дань пригородной электричке и московскому метро. Входя в офис, креплю к нагрудному карману пиджака табличку с инициалами, и — здравствуй, новый рабочий день.

Не подумайте, что если я курьер, то мотаюсь по всей Москве с кучей важных бумаг. Я работаю в офисе. Наша фирма занимается бытовым квартирным ремонтом: сантехника, малярно-штукатурные работы, есть у нас также электрики и плотники.

Что я должен делать — я должен:

1) приносить с диспетчерской и раздавать мастерам наряды-сметы на выполнение работ;

2) носить из кабинета в кабинет различную документацию по поручению начальства;

3) сопровождать с пропускной через охрану в отдел кадров соискателей, устраивающихся к нам на работу (у нас в фирме жуткая текучесть кадров).

Работа у меня, прямо скажем, идиотская. Мало того, что набегаешься за день до одурения, так еще и орут на тебя все, кому не лень от генерального директора до последнего диспетчера. Поначалу меня это раздражало, конечно. А потом привык. Пусть орут — ничего тут не поделаешь, им это по штату положено, а мне положено безропотно сносить.

Но самое главное то, что я, по большому счету, тут не нужен, — работу мою нельзя назвать незаменимой. Мастера могут сами ходить за нарядами на диспетчерскую, им даже еще лучше: оттуда всегда можно созвониться с клиентом, выяснить подробности. Начальникам тоже проще самим бумаги носить (что многие и делают), чем меня искать по всей конторе. А что касается сопровождения новых работников, ну это просто смешно. Так за что же я получаю свои двадцать семь тысяч? А дело тут вот в чем: фирма наша еще совсем молодая. Ее учредители рассудили так: у нас будет солидная организация, и нам, конечно же, нужен курьер. А что ему делать, об этом они не подумали. В общем, если руководству взбредет в голову сократить штат или оптимизировать расходы, я — кандидат номер один на увольнение.

Да и вообще, у нас, как в любой молодой фирме, полно всякого идиотизма. Вот, допустим, такой пример. Наш генеральный директор Венцова Александра Александров-

на, женщина толстая и холерическая, по долгу службы часто навещает налоговую инспекцию. Поэтому всегда одета соответствующе: синий спортивный костюм, который еще чуть-чуть, и потребует заплат, и спортивная шапочка-петушок. В таком виде она преспокойно, безо всякого стеснения, дефилирует по всей конторе, составляя контраст с одетыми по специфическим требованиям сотрудниками. Так это еще что! Иной новичок примет ее за уборщицу — вот где ухочешься.

Но вообще, смешного в нашей работе мало, в основном нервы, нервы, нервы. О сплоченности коллектива тоже говорить не приходится. Если кто-то с тобой вдруг заговорит, что называется, по душам, то, скорее всего, в долг будет просить, а может, даже и подвох какой-то. Такая атмосфера немногим нравится, отсюда и текучка.

Завтра еще отваляюсь день, а потом опять работа. Как бы то ни было, работа — большая часть моей жизни.

Склонило в сон.

Когда проснулся (а проснулся я оттого, что автомобильная сирена взвыла во дворе и уже весь вечер не смолкала, где хозяин машины — неизвестно), часы показывали 19:23. Включить, что ли, телевизор, где этот чертов пульт? По «Культуре» драматург Евгений Гришковец убеждал собеседника, что человеку нужно слушать свое сердце, и оно подскажет. Переключил — не вынес. Почему-то я сколько ни слушал свое сердце, кроме размеренного стука, ни черта услышать не мог, ни подсказок, ни намеков. То ли сердце некачественное, то ли слушаю не тем местом. Есть еще вариант: Гришковец вместе с прочими любителями сантиментов врут напропалую. Какой вариант правильный?

По Второму каналу какой-то юморист веселил народ. Показали возбужденный зрительный зал, раскрасневшиеся от хохота лица. Я выключил телевизор и отвернулся к стене.

Может быть, у меня вообще какое-то неправильное восприятие. Весь зал смеется, а я, глядя на все это, готов заорать от ужаса. Природу этого ужаса трудно определить. С натяжкой можно сказать, что, видя подобные праздники жизни, я с особенной остротой чувствую какую-то всеобщую перекошенность, всеобщую обреченность. Чувство это — опять же с натяжкой назовем его отчаянием — иногда и по разным причинам возникает во мне. И чередуется оно с длительными периодами безразличия. Нет, слово «безразличие» не подходит, оно несет явно негативный оттенок. Есть более точное в силу своей нейтральности слово — пустота.

Пустота. Она возникла не сразу, не вдруг.

Когда-то (как это было давно!) в глухом провинциальном городке жил мальчик. Сейчас его уже нет, он умер. Тот человек, который по выходным валяется на диване с утра до вечера, хотя и носит то же имя и фамилию, что и у мальчика, но не имеет с ним ничего общего. А был ли вообще мальчик? — порой приходит на ум.

Конечно, мальчик был. С самого младенчества он смотрел на мир как на нечто волшебное, загадочное: непонятные соотношения вещей, непонятные взаимоотношения людей. И у мальчика была лишь одна цель: понять все-все, что происходит вокруг, найти в мире один универсальный закон, по которому все устроено, — найти его и жить согласно ему. А иначе зачем жить? Какой смысл в том, чтоб жить и ничего не понимать? — наивно, со свойственным детству максимализмом, хотя и не без логики, рассуждал мальчик. Но как найти этот закон? С чего начать? Мальчик решил просто: нужно как можно больше познавать, как можно больше изучать все накопленные людьми знания, и тогда постепенно понимание придет.

Самообразование мальчика было бессистемно и непоследовательно. Но к шестому классу он в некоторых науках залез уже в такие дебри, что местный библиотекарь в бессилии разводил руками и многие вопросы любителя знаний оставались без ответа.

А потом мальчик вырос, и многое изменилось в нем. Никакого «закона» он, конечно, не нашел. Большая часть знаний, которые он скопил, оказалась просто ненужным хламом. Начались шатания из крайности в крайность, в общем, профанация полная.

В поисках «закона» в середине девяностых годов теперь уже не мальчик, а юноша примкнул к одной из сект, которые плодились в то время как грибы после дождя. Там его крестили. А закончилось все скукой и отвращением.

В конце девяностых он стал членом леворадикальной партии и поначалу занял довольно активную позицию: выступал на съездах, участвовал в пикетах и всерьез думал о карьере политика. Но в один прекрасный день юноша понял, что его мнение никого не интересует, что в глазах руководства партии он прежде всего функционер. Но его партбилет, может, и не нашел бы пристанище в мусорном баке, если б секретарем местного молодежного отделения был назначен не какой-то мягкотелый и недалекий, по его мнению, человек, а он сам — наш амбициозный герой.

Сейчас противно вспоминать обо всем этом. Успокаивает лишь мысль, что сейчас я совсем другой человек, и в каком-то смысле все это было не со мной.

На рубеже веков молодой человек перебрался в Москву: в глухомани ни нормальной работы, ни приличной зарплаты. Через седьмую воду на киселе устроился на работу, которую потом много раз менял. В Подмоскovie снял комнату. Потом — однокомнатную квартиру в новостройках того же подмосковного города, который чем-то напоминал юноше его историческую родину.

Однажды, — было это два года назад — я возвращался с работы в по-летнему душевной переполненной электричке. Толкотня. Галдеж. Я стоял в тамбуре у двери. Не помню, о чем я думал тогда, но, скорее всего, в голове моей была каша из геополитики, экономики, истории, религий и культур, и я, как обычно, тщился увязать все воедино и увидеть сквозь все какой-то общий принцип. Сквозь мельтешащий за окном лес прорывалось солнце и в какой-то момент прорвалось. Я глянул в окно. Солнце прямо в глаза. Безоблачное небо. Зеленая даль на многие километры. В вагоне духота, жара. Вот так родилась пустота.

Как бы объяснить, что это такое? Вот если б компьютер работал двадцать пять лет, а потом вдруг щелк мышкой — и стерли все, что в нем есть, но от сети не отключили. Так и сознание — оно как будто опустошилось на секунду. И возникающая пустота вдруг стала дороже мне, чем вся та каша, которая постоянно кипела и бурлила в голове. И пустота явилась альтернативой, ответом своего рода на все вопросы, которые я воздевал к небесам.

Следует сразу же оговориться, теоретически пустота во мне существовала давно. Мысль о *пустотности* себя и мира слишком проста, я бы даже сказал, слишком примитивна, чтоб явиться таким уж откровением. Мысль — да, но не чувство. Я не знаю, что нужно сделать, чтоб реально почувствовать пустоту. Чтобы в конце концов ясно понять, что есть пустота внешняя — мир и есть внутренняя — сознание. А сам человек — его тело, мысли, чувства — есть мембрана, натянутая между ними, ни больше ни меньше. Пустоты действуют на мембрану с двух сторон, мембрана дергается, колеблется: человек идет куда-то, говорит что-то, проявляет какие-то эмоции, глубоко задумывается. Как это ни покажется странно, понимание того, что я мембрана, здорово помогает мне в жизни. Все, что происходит со мной, даже самое жизненно важное, — все кажется пустым, ничтожным; и внутри я тихо улыбаюсь всему. А задумываться о чем-то нет нужды. Ведь мысли — это не более чем абсурдный, но свойственный мембране процесс.

По возможности, бездействовать и ни о чем не думать — вот то единственное, к чему я стремлюсь.

Бездействовать и ни о чем не думать.

Звонок в дверь. Резкий электронный звук влетел в комнату. Эхом поотскакивал от стен, и, кажется, преобразилось все. Будто пылинки завертелись быстрее. Вздвогнув от испуга и выйдя из оцепеняющей рефлексии, я секунд пятнадцать соображал, что к чему. Кто бы мог? А сколько времени вообще? 21:04. Звонок повторился. «Вставай, мембрана, хватит валяться!» — подумал с иронией.

— Кто там?

— Я, — женский голос.

Вера. Давненько она не показывалась. Не спеша открыл дверь. Признаюсь, волнение какое-то возникло, но быстро прошло.

— Привет.

— Привет.

Мы с ней не разговариваем. Вообще. Негласная договоренность. А потому, что смысла нет во всей этой болтологии. Ну, скажу я ей: «Как дела?» — «Хорошо, а у тебя как?» — «Нормально, как на работе?» — «Да потихоньку, у тебя тоже?» — «Да» и т. д. и т. п. Ну, согласитесь, — общение, достойное интеллекта насекомых. Да лучше уж молчать, что мы и делаем. Может быть, она молчание как-то по-своему понимает, не знаю. Зачем она приходит? Наверное, в этом для нее отдушина, выход из обыденной рутины: работа — дом — работа — дом — работа — дом.

Меня часто спрашивают, почему я такой мрачный, почему я такой грустный. Я отшучиваюсь: «Мир несовершенен» (при этом один «друг» мне подыгрывает: «Ну да, пространство-время искривлено, трудно жить честным людям»). Вот и сейчас по ее взгляду я понял, что глаза мои, как всегда, отражают разверзшуюся впереди пропасть. Вера, конечно, не сказала ничего. Она, впрочем, сама была какая-то грустная. Босоножки сняла и прошла на кухню. Достала из пакета бутылку — интересно, что на этот раз? — вермут мартины. Зарплата бухгалтера позволяет не экономить. Сев к столу на табуретку, закурила, а я достал из посудного шкафчика пару коктейльных стаканчиков, открыл вермут и, разлив его по стаканам, откинулся в кресле.

Алкоголь на меня действует быстро и сильно. Через пять минут уже зыбкая пелена отделяла сознание от реальности. В этой пелене всегда что-то жизнеутверждающее, конструктивное. Она как бы говорит тебе: «Расслабься, приятель, разве можно серьезно относиться к миру, который вот так запросто бац — и покрывается пеленой». В общем, для того, чтоб спиться, у меня есть все задатки. Почему этого не происходит? Наверное, только лишь потому, что я все-таки боюсь спиться.

Вера курила много, но курила задумчиво, неподвижно, забывала пепел вовремя стряхнуть, и он падал на ее белую блузку с короткими рукавами и острым широким воротником и на голубые джинсы. Приходилось стряхивать пепел с одежды. Она сидела, спиной прислонившись к стене, закинув ногу на ногу. Взгляд ее был прикован к закатному солнцу. А солнце освещало пласт сигаретного дыма на кухне. Дым неспешно плавал в воздухе. В его пласте выпучивались волны, отделялись протуберанцы, возникали циклонические завихрения — целая мини-вселенная. Тикали настенные часы. На улице тарахтела автомобильная сирена на подыхающем уже аккумуляторе. Доживающее последние минуты солнце освещало стену, и корявая тень от сигаретного дыма плавно ворочалась на ней. На столе стояли два почти опустевших коктейльных стаканчика, на матовом стекле которых были нарисованы желтый пляж с пальмой, синее море и белый парус на волне. Грамм примерно двадцать оставалось в моем стаканчике, когда я уснул.

Сон, навеянный противоугонной сиреной

Мне приснился сон. Темно. Все в черных тонах. Я разбужен тяжелым грохотом во дворе и воем сирен. Что за чертовщина там творится среди ночи? Я встал с крес-

ла и подошел к окну. В свете уличных фонарей было видно, как какой-то полудурок на «ниве» поочередно таранит все припаркованные машины: разгон — удар; задний ход, и снова разгон — удар... удар... удар. Вокруг — черный безмолвный город под черным беззвездным небом.

И глядя на это безобразие, я подумал лишь: «Выспаться не дадут; поймать бы этого идиота и...» Не окончившись, мысль преобразилась в действие. И вот я уже внизу. Я — офицер патрульно-постовой службы. Только что прибыл на место происшествия и, оглядев ситуацию на месте, заметил стоявший посреди двора автомобиль ВАЗ-2121 «нива». Автомобиль имел характерные следы столкновений на бампере, решетке радиатора и передних крыльях. Также был замечен неизвестный, спешно покидавший место происшествия. Начал преследование.

И вот еще одна метаморфоза. Я — уже преступник, бегущий от представителя закона. Бегство — избитый сюжет моих снов. Мне часто, раз в неделю точно, снится, будто я бегу, скрываюсь, меняю личину, прячусь от кого-то. Но в конце концов я попадаю в тупик, и меня всегда находят, и после этого следует наказание: меня начинают избивать и избивают жестоко и методично. И во сне я понимаю, что они избьют меня до смерти.

Я бегу, выбиваюсь из сил, чувствую, не спастись — мой преследователь все ближе ко мне. Стремительно светает. На улице уже полно людей — целая толпа. Люди движутся вокруг, как ползучие мишени на армейских полигонах. Я, распахивая всех, прорываюсь сквозь людскую массу. Пустите меня, пустите. Быстрее, нужно быстрее. Наконец я ныряю в какой-то мрачный подвал. В нем нечистоты, духота, смрад. Тусклый свет. Может быть, я остался незамечен? Но нет. И вот уже шаги гулко звучат по подвальной лестнице. Я падаю в подвальную грязь — может, не увидит. Но он идет прямо ко мне. Все кончено. Я уже дрожу от страха перед болью, и будто тяжелый вязкий запах гематом стоит в носоглотке. Человек подходит ко мне, склоняется и говорит:

— Проводишь меня до дому?

Редко я бываю благодарен, когда меня будят. Сегодня исключение. «Мать честная, что за сны такие?»

Но вот вопрос: с какой стати я должен ее провожать?.. Хотя... летний вечер, свежий воздух, прогулка перед сном.

— Да, конечно, провожу. Подожди только, сейчас переоденусь.

Я прошел в комнату, и стены ее сассоциировались с подвальными, настолько четко кадры сна зависли в памяти. Время — 22:27. Надел черные джинсы и черную же джинсовую куртку.

Спустились вниз. Знойный день оставил по себе теплую ночь. Тишина и безветрие — не шевельнется ни один древесный лист. Я поднял воротник (привычка такая), Вера вставила в уши наушники и включила плеер. Кругом ходили юноши и девушки с бутылками пива. По улицам носились байкеры, забывшие напрочь о такой детали, как глушитель, ездили одиночные машины и полупустые автобусы.

Мы шли с ней вдвоем сквозь вавилон ночных новостроек. Она слушала свой любимый «Пикник», а я думал.

Я все думал: что за сон такой? Что бы он значил? Сон был явно не из простых. Не было в нем того бестолкового хаоса, какой обычно наполняет мои сны. Наоборот, все было последовательно, логично, завершено. Своей ясностью и четкостью он мне даже нравился, и расшифровать его труда не составило.

Смысл такой:

1. Во мне сидит «преступник» — субъект, совершающий ошибочные действия, не отдающий отчета о последствиях. Он способен на безрассудства. Он постоянно «за-

носит» меня: втягивает в секты, в политические партии, в конфликты, в авантюры, причем часто с благими намерениями. Он эмоционален и импульсивен.

2. Есть во мне и «сотрудник ППС». Он строг и хладнокровен. Этот «полицейский» противопоставит «преступнику». Он говорит: «Что же ты делаешь, дурак? Думай головой!», «Зачем тебе это надо было?», «Теперь расплачивайся за свою глупость, ты этого хотел!». Он мстителен.

Если смотреть на меня со стороны, то вся моя жизнь есть колебания между «преступником» и «офицером ППС». То один берет верх, то второй. Они, надо сказать, со временем меняются. Сейчас, например, пыл «преступника» поутих, равно как и претензии «полицейского». Но повторяю: все это так, если смотреть на меня со стороны. Ведь есть еще третий.

3. Разбуженный возней «посторонний наблюдатель». Он ничего собой не представляет. У него нет ни характера, ни рассудка, ни эмоций. Иногда кажется, что его вообще не существует. Но лишь вспомни о нем — и вот он: снова открыл глаза и смотрит и за «преступником», и за «полицейским», и за всем вокруг. Глаза — единственное, что у него есть. В безмолвном равнодушном наблюдении есть какая-то особая мудрость, какая-то особая радость.

А вот уже и ее дом перед нами. Сказав «пока», Вера зашла в подъезд, и тяжелая стальная дверь закрылась, клацнув магнитным замком.

Я был доволен тем, что сон разгадан. Спать не хотелось. Теплая ночь будто сама говорила: «Почему бы просто не побродить по городу?» И я отправился наугад через какие-то дворы неизвестно куда. Я вообще люблю иногда побродить по городу неспешно и бесцельно.

Идешь и думаешь — не думать ни о чем невозможно, разные мысли так и лезут в голову. Мысли — они как волны: нахлынет одна, поглотит меня, как песчаный берег, и бесшумно сойдет, лишь пузырьки пены лопаются на песке; и вот уже вторая на подходе и снова с грохотом разбивается о твердь. Зачастую одна мысль противоречит другой, но в этом ничего страшного нет...

(Тем временем я спустился в какой-то подвальный бар, заказал пива «Великопоповицкий козел» с сухариками и, сидя в углу на кресле, смотрел, как две девушки играют в бильярд на американском столе с лузами в два шара шириной.)

...ничего в этом страшного нет, потому что мысли самодостаточны и неподотчетны. Они не средство для какой-то цели — они сами цель. А что следует из этого? А из этого следует, конечно, что цена им всем — ровный ноль. Но ведь мысли мои — это и есть я, а что же еще, как не они? Значит, и мне цена — ровный ноль. И всем моим знаниям, и опыту, и мировоззрению — ровный ноль цена.

Я вышел из бара и побрел дальше. Справа по ходу круглосуточная стройка трещала сварочными аппаратами. Тут же стояла высохшая липа. Дерево с раздавленными строительной техникой корнями простирало к черному небу свои корявые пальцы. «Вот так и я стою...» — подумал было я, но оборвал мысль: противно стало от пошлого сравнения.

Да, цена мне со всеми моими потрохами — ноль. И это прекрасно. Это просто здорово. С пониманием, что ты ноль, одновременно приходит и чувство безграничной свободы, не побоюсь сказать — абсолютной свободы. Я ноль, и, значит, я свободен.

Я вышел на пустырь, поросший травой. Такие пустыри часто встречаются среди новостроек. За ним горел огнями квартал многоэтажек. Луна в третьей четверти освещала пустырь с волнами замершей травы. Штиль. Ни одна травинка не шелохнется. Небо было бы усыпано звездами, если б не городской смог. Облако с освещенной лунной кромкой неподвижно зависло над горящим огнями городом.

Я свободен. И спокоен. Я совершенно спокоен.

Ирина ИСТОМИНА

* * *

Всё же, хоть будни нас всех одолели,
Живы едва,
Мы на каком-то последнем пределе
Ждем Рождества.

Хочется счастья хоть самую малость —
В мире оков.
Всем нам доньше навеки досталась
Доля волхвов.

С нею одной по земле колесите.
Знаете ль вы? —
Это ведь нас ждет рожденный Спаситель,
Все мы волхвы.

Что принесем Милосердному Богу
В трепетный дар?
Надо любви, ну, хотя бы немного,
Веры, добра.

Мы их поднимем, как светлое знамя
Из темноты.
Страшно идти не с пустыми руками —
С сердцем пустым.

Порознь, но вдруг мы окажемся вместе:
Зрячий, слепой —
Все мы идем за звездой Вифлеемской
Вечной тропой.

CARMINA MORTE CARENT

Стихи лишены смерти (лат.)

Скитаясь среди картин несмелых штрихов
Седой зимы и юной весны,
Я ничего не вспомню, кроме стихов.
Мне этих дней заботы — лишь сны.

Ирина Анатольевна Истомина родилась в г. Котласе Архангельской области в 1970 году. Образование высшее. Автор четырех поэтических книг. Член Союза российских писателей. Живет в г. Котлас.

Забыты — новый век наш, видно, таков —
Сомнений детских слезы, увы.
Я ничего не помню, кроме стихов
Творцов, ушедших в вечность. А вы?

И в сонме лет давно минувших эпох
Из хроник, дат, событий любых
Мы ничего не вспомним, кроме стихов:
Забвенья смерть обходит лишь их.

* * *

...Буква убивает, а дух животворит.

*Второе послание к Коринфянам
св. апостола Павла*

Не буквы, но духа ишу я в стихах,
Рожденных на бренной земле,
Где ведом нам смерти безжалостной страх,
И всё у нее в кабале.

Что вечности скажем суровой в ответ
Мы, в рифмы вплетая слова?
Не мертвою буквой жив будет поэт.
Чтоб память осталась жива

Сквозь все времена и громады веков,
Безвременья твердый гранит,
Не буквы, но духа прошу у стихов,
Который их животворит.

* * *

Пришел еси от Девы не ходатай,
ни Ангел, но Сам, Господи, воплощя...

Канон

Ни ходатая, ни ангела
Не видать в кромешной мгле.
Не ласкала нас, не гладила
Осень в этом ноябре:

В зиму грозную и снежную
Воплотилась вдруг она,
В плен взяла нас неизбежного
И томительного сна.

Не сыскать нигде отдушины:
В мире бедам нет конца.
Может, всем нам ранней стужей
Заморозило сердца?

Ни ходатая, ни ангела, —
Ночь вселенская пуста.
Встретить в ней, чтоб жизнь наладил нам,
Все пытаемся Христа.

* * *

Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче
мой и хранителю, от Бога данный ми Ангеле.

Канон Ангелу-хранителю

Свете светлый, светло освети
Трудной жизни путь, тернистый, грешный,
Где не наберется и горсти
Дней благополучных, безмятежных.

Строгий мой наставник, посреди
Зла мирского сдать ты не дай мне
И не допусти с креста сойти,
Всякий раз поддерживая тайно.

Добрый мой хранитель, впереди
Что бы Богом ни дано мне было,
Душу — в самый темный час, унылый —
Свете светлый, светло просвети.

* * *

Любовь никогда не перестает...

*Первое послание к Коринфянам
св. апостола Павла (13:8)*

Вновь под ногами несчастий лед,
Жухлая грусть-листва...
Правда ль, любовь не перестает,
Только она жива?

Птица-надежда убита влет.
Снова взойдет трава?
Верю, любовь не перестает.
Только она права.

Ночи, и дни, и жизнь напролет
В сердце стучат слова:
Если любовь не перестает,
Значит, душа жива.

ВСАДНИК, ИМЕЮЩИЙ МЕРУ

Повесть

1

Евдокимов спешил. А тут эта старая цыганка подняла на него, торопливо проходившего мимо, взгляд и сказала:

— Не надо тебе ходить за мост.

Сказала спокойно, словно продолжала прерванный разговор. А сказав, откинулась на спинку скамейки, закурила. Евдокимов опешил.

Ему бы пройти мимо, будто и не произошло ничего, а он остановился и промямлил:

— Да не собираюсь я. У меня и визы-то нет.

И тут же сжался внутренне, решив, что цыганка сейчас ухватится за эту его якобы готовность к общению, разговорит и, чего доброго, облапошит.

Цыганка сидела на скамейке спиной к библиотеке и лицом к тому самому мосту через Неман. Здесь, на берегу, обрывался теперь российский город, который благодаря встрече двух императоров в 1807 году попал в историю, а на противоположном берегу сразу начинался литовский поселок. Мост связал два государства. Потому-то и сказал Евдокимов о визе. А цыганка кивнула одобительно:

— Вот и хорошо. И не спеши.

Затянулась и прикрыла глаза.

А Евдокимов все же спешил: шел с покупкой — с чернилами.

С недавнего времени Евдокимов отказался от шариковых ручек и стал писать чернилами. Как когда-то в школе. К этому он решил вернуться, когда однажды, копаясь в глубинах своего стола, обнаружил старую авторучку с золотым пером. Авторучку он промыл теплой водой, аккуратно протер и побежал по канцелярским магазинам за чернилами. В магазинах чернил не было. Некоторые молоденькие продавщицы даже понять не могли, о чем речь. А он с досадой вынимал ручку из кармана, снимал колпачок, раскручивал, показывал, объяснял. Продавщицы виновато улыбались и пожимали плечами. Нашлись чернила лишь в двух магазинчиках на окраине города — по бутылочке в каждом. Он купил обе. Чернила оказались старыми и потому бледными.

Евдокимов спешил на чердак, в мансарду — к себе в каморку. Втайне от семьи снимал он эту комнатку в глубине старой части города. Комнатка под черепичной крышей

Александр Борисович Жданов — поэт, прозаик, художник, искусствовед. Член Союза российских писателей и Творческого союза художников России. Родился в 1956 году в Баку. В 1982 году окончил филологический факультет МГУ. Работал преподавателем в школах — сначала в Литве, потом снова в Баку. В 1989 году переехал в Калининградскую область. Публиковался в журналах «Запад России», «Балтика», «Литературный Азербайджан», «Нева», «Берега», в интернет-журналах «Твоя глава», «Бюро Постышева», в альманахах «Российский колокол», «Литера К», «Эхо». Автор трех сборников стихов, трех книг прозы, альбома живописи и графики и трех учебных пособий по истории изобразительного искусства.

вызывала одновременно радостное беспокойство и умиротворение. Он скрывался здесь от родных, потому что сочинял. Дома ему все мешали, дома подтрунивали над его внезапно проснувшейся страстью. А он написал несколько рассказов, разместил их в социальных сетях — пришли одобрительные отзывы. Тогда решился на книжку, на электронное издание. Книжка появилась в интернет-магазинах, и вновь приходили доброжелательные, хоть и редкие отзывы, но дохода книжка не приносила. Вот и посмеивались домашние. Он же замахнулся на повесть, и ему нужно было полное уединение.

Комнатка досталась ему, если разобраться, чудная. С двумя окнами: одно в торцевой стене, а другое — мансардное, в самом скате крыши. Под этим окном прежние еще хозяева квартиры соорудили что-то вроде невысокого подиума или балкончика с оградкой. На балкончике он уместил письменный стол, а на него водрузил лампу — тяжелую, мраморную, с орлом у подножия. Хозяева ее оставили, а тем, видно, тоже перешла с давних довоенных лет. Только абажура не было — торчала одна лампочка. Тогда он ринулся на барахолку и отыскал ведь похожую лампу! Правда, металлическую, грубо покрашенную под бронзу. Но на ней был стеклянный зеленый абажур. Он-то и переключал на ту самую мраморную. Впрочем, лампа была не единственным старым предметом в комнате. Евдокимову очень нравилась этажерка — ротанговая, с изогнутыми ножками. В детстве Евдокимов видел похожую у бабушки, когда приезжал к ней на каникулы. Этажерке Евдокимов был рад особенно и сразу уставил ее книгами. Зеленая лампа и этажерка вызвали литературные и исторические размышления. Однако писать получалось не всегда.

Не писалось и сейчас. С досады Евдокимов во всех своих бедах винил цыганку. Мол, не может он после ее предостережения ни о чем другом думать. Наконец после раздумий написал: «Однобокая, как гнутый пятак, луна выплыла из-за кирхи, боком стоявшей к проспекту». И тут же, усмехнувшись, зачеркнул строку. «Гнутый пятак» — где они сейчас, такие крупные пятаки? Мелочь одна во всех смыслах. А ведь еще лет тридцать назад получился бы неплохой, зримый образ. Много изменилось в жизни. Вот и Неман стал границей. Права старая цыганка: нечего туда ходить. Евдокимов чуть ли не физически ощущал преграду, словно отсекала река его, арестовывала.

Писать не получалось, мысли скакали где-то далеко. Дальше фразы об однобокой луне дело не шло. Он чертил на бумаге стрелки и черточки, а потом вывел первое, что пришло в голову: «Sator Arepo tenet opera rotas». Палиндром, который помнил со студенческих лет. Перечитал его несколько раз слева направо и справа налево. Потом записал фразу иначе — каждое слово с новой строки:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Теперь фраза читалась одинаково не только в двух направлениях, но и сверху вниз и снизу вверх. А потом подумал и расчертил по линейке часть листа на квадратики и записал фразу вот так:

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

Подумал, что в средние века в квадратном этом палиндроме наверняка усматривали что-то мистическое, возможно, и ужас он вселял в людей. А какой-нибудь черно-книжник мог, наверное, включать его в свои заклинания. Хотя смысл его был безобидным: «Сеятель Арепо сдерживает свою повозку (колесо)». «Сдерживает свою повозку...» То есть сдерживает от работы, не дает разойтись. Ему тоже нередко приходилось сдерживать слова, когда они торопливо толпились, наталкивались одно на другое. Тогда надо было властно остановить их бег, заставить каждое слово встать на свое место. И это было самым увлекательным в его работе. Но сейчас бега не было. Он снова обратился к начерченному на листе квадрату, снова перечитал фразу по всем направлениям, пририсовал к каждому маленькому квадратику по периметру дуги — работа не двигалась.

За узким окошком становилось все темнее. Он включил лампу. Свет падал на лист бумаги на столе, где орел отбрасывал зловещую тень. Падал свет и на пол, образуя светлый полукруг. Он то и дело бросал туда взгляд. На улице совсем стемнело, от внезапно сгустившегося тумана ночь казалась серой. Вместе с туманом сгушалась головная боль.

Что-то еще, помимо головной боли, мешало ему сосредоточиться, словно смотрел кто на него со стороны. Несколько раз он оборачивался, взглядывал через плечо, но ничего не находил. Тогда он решил подсветить, передвинул лампу к краю стола и заметил то, на что до сих пор не обращал внимания: из стены слегка выдавался уголок кирпича. Штукатурка в этом месте недавно обвалилась, обнажилась кладка, и сейчас один кирпич явно выпирал.

Он подошел к стене, провел пальцами по кирпичам — выступ и впрямь выпирал. Евдокимов вернулся к столу, взял разрезальный ножик (любил он изящные старинные, в наше время совсем ненужные вещицы!), затем рукояткой ножа постучал по кирпичу — стена за ним отозвалась гулкой пустотой. «Это что же — тайник?» — подумал он и хотел уже попытаться выковырять этот кирпич, заглянуть внутрь, но в это время звякнул дверной колокольчик, потом еще раз. И еще. Гостей он не ждал, открывать никому не хотелось, но он обернулся к двери, подумав одновременно, что никакого висячего колокольчика у него нет и откуда быть звону. И тут увидел стоявшего в дверях человека в плаще.

— У вас не заперто. Я пытался позвонить, но электрический звонок, похоже, не работает. Я и вошел.

В руках у ночного посетителя был холщовый пакет, в котором позвякивали бутылки. Евдокимов так и стоял спиной к тайнику в стене. Стоял и молчал. А гость продолжал:

— Туман сгущается невероятно, в трех шагах ничего не видно. Вы позволите мне переждать у вас недолго?

Не дожидаясь ответа, гость снял плащ, стряхнул успешную осесть на него влагу, повесил на стоящую в углу вешалку и, припадая на одну ногу, прошел в комнатку, где продолжал:

— Прескверная погода. Авто гудят, шоферы ничего не видят.

Не сразу осознал Евдокимов, что гость его говорит странно, старомодно — так говорили лет сто назад. И он сам, перенимая против своей воли манеру гостя, пробормотал:

— Не извольте беспокоиться, проходите, располагайтесь.

Но гость уже сам уселся на диванчике, выставив вперед ногу. Потом тяжело встал, подошел к столу и нежно, как старого знакомого, погладил мраморного орла. Эта бесцеремонность злила Евдокимова, захотелось выставить гостя, но он сказал лишь:

— Вы так себя ведете, будто хорошо все знаете здесь.

— Так это моя каморка. Я снимал ее. Вот и лампа та же, и этажерка. Только кресла не вижу. Здесь я рассказ писал, прятал рукопись в тайнике. Виноват — не представился: поручик двести семидесятого пехотного Гатчинского полка Иван Николаевич Поляков.

2

Подходя к драгунским казармам на Банхофштрассе, поручик Поляков с раздражением посмотрел на две низкорослые колонны у входа. Их венчали нелепые капители, которые и вызывали раздражение: выбивались они из общего строгого с претензией на готику стиля здания — внушительного сооружения из красного кирпича с восемью мишуклями на фасаде под крышей. Прежде здесь располагался немецкий Драгунский принца Альбрехта Прусского полк, теперь вот разместились русские.

Поручик ловко взбежал по лестнице, намереваясь быстро прошмыгнуть в комнату, которую он занимал вдвоем с молчуном поручиком Игнатовым. Но тут его окликнули:

— Никак, Поляков, опять у своей немочки были? И, наверное, опять наперебой стихи читали! Кого на этот раз — Новалиса? Шиллера? Давайте-ка лучше на бильярде сыграем!

— С вами, Иноземцев, играть невозможно: либо кий сломаете, либо снова сукно прорвете, — сдерживая досаду, сказал Поляков.

И был прав: штабс-капитан Иноземцев бильярд любил страстно, но страстность эта мешала. Из-за нее он не мог в достаточной мере достичь мастерства, горячился, терял контроль над игрой. Накануне он так увлекся, что сильно ковырнул кием и пропорол сукно на столе. Как новичок. Поляков хотел было пройти мимо, но Иноземцев не отставал:

— А как вы разговариваете с вашей немочкой? По-немецки? Откуда у вас такое хорошее знание языка?

— Ни для кого не секрет, что бабка моя по материнской линии — немка. Анна Ивановна, урожденная фон Ключе. Да и в гимназии были хорошие учителя, — Поляков говорил подчеркнуто сухо и серьезно, не принимая фривольный тон Иноземцева. Он коротко поклонился и сказал:

— С вашего позволения, господин штабс-капитан, я пойду. Мне надо отдохнуть. Сегодня заступаю в караул.

В караул Поляков не заступал, но надо было как-то избавиться от штабс-капитана. В комнате поручик лег на койку, не снимая сапог, свесив ноги. Он заложил руки за голову и подумал, что Иноземцев прав: его частые отлучки становятся заметными, и всем ясно, что он проводит время не в кафе, как другие офицеры, а в обществе Марты Вагнер, дочери доктора местного госпиталя. Как ни крути, а враги...

Обычно они с Мартой виделись в кирхе. В ней — единственной в городе — мог отправлять службу для русских солдат и офицеров их полковой священник, хотя прихожанами кирхи были немцы и живущие в Тильзите литовцы-лютеране. Кирха и до этого удивляла Полякова необычной полукруглой формой, но недавно удивили и слова Марты:

— А вы знаете, что это русская императрица дала деньги, и строительство смогли быстро завершить?

Три дня, всего три дня был знаком поручик с этой немецкой девушкой, а казалось, что они знают друг друга вечность. И это чувствовал не только Поляков. Марте тоже было легко с этим учтивым русским. Но сегодня — ошибался штабс-капитан — они не виделись, сегодня переплелось слишком много других событий

Еще накануне поручик стоял у моста через Неман. Немцы называли реку Мемелем, и название это не нравилось Полякову: было в нем что-то невнятное, мямлящее. Зато мост с уходящими на другой берег полукруглыми фермами и изящной аркой радовал. И картуш с профилем королевы Луизы, чье имя носил мост, тоже нравился. Как-никак королева — бабка блаженной памяти русского императора. Стало быть, с родственниками воюем, горько подумал поручик, вспомнив о троюродном брате Иоганне,

сыне дяди Ульриха, который жил в Кёнигсберге. Наверняка Иоганн сейчас тоже воюет — с другой стороны.

На площади Поляков с интересом рассматривал выросшую на берегу кирху, ее лежащую на восьми шарах и уходящую в небо башню. Барочный купол башни перекликался с башенками арки моста, и уходила вдаль перекличка, в перспективу улицы. Там дальше был шпиль городской ратуши, а еще дальше — крест Реформатской кирхи. Изломанная линия прочерчивалась по воздуху.

«Философы эти немцы, — думал Поляков. — Вот стоит эта Реформатская кирха у кладбища, рядом, на спуске к реке — бойня, а напротив кирхи и кладбища — театр. То, что рядом кладбище и бойня, не удивляет: когда-то здесь была окраина, проходила граница города, но поставить напротив театр?! Философы».

От шпиля ратуши шла и другая воздушная линия, к другому шпилю — той самой литовской церкви, где они встретились с Мартой.

— Знаете, что и ратушу, и церковь проектировал один зодчий — Карл Людвиг Бергиус? — говорила Марта. Она была девушкой любознательной и начитанной.

Три дня были знакомы они с Мартой. Да и в Тильзит русские вошли совсем недавно. Вошли спокойно и бескровно. Утром на улицах города показался конный патруль русских. А потом разъезд из пятидесяти всадников увидел немецкий офицер и поспешил к дому обер-бургомистра Поля. Полю доложили — и он появился в дверях очень быстро, успев вызвать через телефон бургомистра Роде. Градоначальники поспешили навстречу вошедшему отряду. Так и стояли оба, пешие, пред русскими конными. Уставленные вверх пики всадников покачивались в такт переступавшим лошадям. Пауза затянулась.

Наконец старший из них спешил, подошел к Полю и представился:

— Поручик Кавалергардского императрицы Марии Федоровны полка флигель-адъютант князь Константин Багратион-Мухранский.

Князь был строен, подтянут, кровь предков в нем выдавали лишь крупные глаза и слегка изогнутый нос. Поручик говорил по-французски, немецкий градоначальник чуть замешкался, но тут из небольшой толпы горожан, уже собравшейся к этому времени, вышла дама и сказала, что может взять на себя роль переводчицы. И князь, и Поль одновременно, как по команде, повернулись к ней и благодарно поклонились. Впрочем, речь командира разъезда была краткой. Он объявил, что русские войска разместятся в городе, и потребовал обеспечить их продовольствием и фуражом. Потом, несколько смущаясь, попросил сто плиток шоколада и даже протянул обер-бургомистру сто марок. Поль еле заметно улыбнулся, денег не взял и распорядился, чтобы шоколад предоставили.

В тот же день генерал Ренненкампф доносил в штаб фронта: «25 августа вечером в Тильзит вошла пограничная стража, мосты целы, захвачены телеграфные, телефонные аппараты, корреспонденция. Приказал пограничникам охранять мосты до прихода полка пятьдесят третьей дивизии».

Оккупационные власти позволили сельскому населению въезжать в Тильзит и выезжать из него, а в самом городе работали рестораны, кафе, торговали в магазинах и на базаре. Был несколько смягчен первоначально жесткий запрет на передвижение горожан по реке. С улыбкой смотрел Поляков, как деловито спешили на уроки немецкие ребятишки: учебный год начался, и школы были открыты.

3

До войны еще успел прочитать Иван Николаевич в «Сирине»: «Петербургские улицы обладают одним несомненным свойством: превращают в тени прохожих». Это были главы романа — и роман тогда затянул. Особенно поразили Полякова «моз-

говая игра» и человек в красном домино на ночных улицах. «Мозговая игра, мозговая игра», — все твердил он вполголоса и представлял: человек в красном домино и черной маске подходит к нему, берет под руку — и они превращаются в тень.

Но в Тильзите улицы прохожих в тень не превращали, в Тильзите плавно расплывалась мягкая осень. Да и осенью трудно назвать эту пору. Все еще зеленая листва лишь кое-где, сбоку тронута подступавшей желтизной, ровный юго-западный ветер нес тепло. И только каштаны, верные времени, выпадали из своих колючих шкатулок и глухо стучались о булыжник мостовых и тротуаров. Их коричневые, словно полированные, спинки вызывали детский восторг.

Он шел, задумавшись, по улице и вдруг вздрогнул от такого знакомого звончка — проходящий мимо трамвай живо напомнил поручику Петербург. Совсем по-русски, забыв всю свою сдержанность, он вскочил на подножку и поехал. Трамвай довез его до Энгельсберга — восточной окраины города на высоком берегу Мемеля. Поляков с интересом разглядывал водонапорную башню, противоположный пологий берег с уходящими вдаль полями. А потом трамвай пошел назад. Это был один из самых протяженных маршрутов. Поручик оказался на другой окраине — лесном кладбище Вальдфридхофф. Он побродил между невысокими строгими памятниками, щебетали птицы, и угрожающе вились вокруг комары.

Поляков почувствовал на себе пристальный взгляд и оглянулся. На него, не мигая, смотрела старуха: из-под темно-бордового плаща с капюшоном выдавалось черное платье и белый, уже заношенный и даже грязный чепец. «Вот тебе и красное домино», — подумал неожиданно Поляков. Старуха опиралась на кривую суковатую палку, другой рукой подзывала к себе Полякова. Он подошел. Старуха, указывая пальцем на низенький серый памятник, проскрипела:

— Молодой был. Плохо, когда молодые умирают. Трудно переплыть реку. Ты еще узнаешь. Приходи в следующий раз.

И ушла, теряясь за деревьями.

А в Полякове что-то шевельнулось. От красного домино мысли метнулись к «мозговой игре», оттуда к прочитанным в «Сирине» главам романа. Какая-то игра явно зарождалась в его, Полякова, мозгу, но какая — он пока понять не мог, только смутное, не сформировавшееся еще желание беспокоило его. Поручик вернулся в город, сошел у здания суда.

К казармам надо было идти направо, и Поляков уже было свернул, но тут же круто развернулся. Успел даже улыбнуться тому, как сработала военная привычка: и здесь, вне строя, он развернулся через левое плечо. Поляков пошел по центральной Хоештрассе к знакомому ресторанчику.

В ресторанчик Поляков вошел как завсегдатай: он успел полюбить уютный зал, вежливых кельнеров, прекрасное пиво. И служителям нравился этот хорошо воспитанный русский с безукоризненным немецким. Особенно расположил он к себе после недавнего случая.

Тогда Поляков сидел за столиком. От раздумий его оторвали шум и слишком громкая русская речь. Поляков поднял голову и увидел, как у стойки русский унтер-офицер наседавал на опешившего кельнера, грозя ему кулаком и что-то крича. По обрывкам фраз Поляков понял, что унтер отказывался платить и вдобавок требовал шнапса. Резко встав из-за стола, Поляков подошел к буяну, сильно сдавил ему запястье и жестко проговорил:

— Потрудитесь прекратить этот балаган, унтер. И немедленно выйдите вон. Водки вам не дадут. Или вы запомнили распоряжение коменданта?!

В глазах некоторых сослуживцев Поляков выглядел странным. Когда надо было отчитать кого-то, он становился подчеркнуто вежливым и официальным, не «тыкал», даже нижним чином. Иные офицеры считали это интеллигентским слюнтяйством, но

на солдат холодная вежливость поручика действовала сильнее зуботычин. Эта холодная вежливость делала дистанцию между ними более ощутимой, и никому не приходило в голову перечить поручику. Вот и унтер попятился, приговаривая:

— Да я разве што, ваше благородие... Никак нет... Я мигом, — и выскочил из ресторана.

А потом Поляков обратился к кельнеру:

— Этот солдат что-то должен вам?

— Да, господин офицер. Две марки и тридцать феннигов.

Поляков вынул деньги.

— Русскими деньгами возьмете? — спросил он, протягивая рубль. — Кажется, по установленному курсу все верно?

Кельнер благодарно закивал головой:

— Это больше, чем надо.

— Возьмите. И не судите солдата строго

А потом, когда Поляков, вернувшись за столик, продолжил трапезу, кельнер подошел и, учтиво склонившись, сказал:

— Хозяин благодарит господина офицера и говорит, что господин офицер всегда может рассчитывать на кредит в нашем заведении.

— Передайте хозяину, что я тронут его заботой, но этого не понадобится.

И добавил почему-то по-русски:

— Честь имею.

И теперь в ресторанчик Поляков входил, надеясь, что никаких подобных встреч не будет. Обычно здесь бывало тихо и немногочленно, но сейчас — заметил Поляков — пустовало только одно место за столиком, где уже сидел какой-то пруссак. Полякову показалась немного смешной его фигура в сером костюме, смешным показались и монокль, и усы незнакомца: они были расчесаны в обе стороны почти параллельно земле. «Ну, пруссак — ни дать ни взять», — отметил про себя Поляков.

— У вас не занято? Вы позволите? — обратился к нему Поляков.

Незнакомец кивнул, но тут же напрягся и, опустив голову ниже, исподлобья посмотрел на садившегося Полякова. Поляков заметил это движение и тоже взгляделся в незнакомца.

— Иоганн? Ты ли? Вот так встреча! — воскликнул Поляков почему-то шепотом. — Какими судьбами?

Незнакомец отвечал тоже тихо, стараясь не привлекать к себе внимания.

— Здравствуй, Иван. Могу задать тот же вопрос тебе: какими судьбами ты? Я-то почти дома, приехал из Кёнигсберга к своей невесте. А вот ты почему так далеко от Петербурга?

Это был Иоганн фон Клюге, его троюродный брат. Они родились с разницей в три дня, и их обоих называли в честь прадеда. Иоганн был как натянутая струна. Поляков попытался смягчить напряжение:

— Полно, Иоганн, полно — будет тебе. Ты же прекрасно все понимаешь. Лучше скажи, как живешь. Служишь? Как дядя Ульрих?

На все вопросы Иоганн лишь коротко ответил:

— Папа здоров.

Они недолго просидели за столиком, говорили мало и тихо, незаметно для других. Из кафе они вышли почти одновременно, но по улице пошли так, что никто не подумал бы, что они знакомы. Однако потом, не сговариваясь, оба свернули налево, на площадь, и остановились у памятника. Подняв руку вверх, на здание городской ратуши смотрел поэт Макс фон Шенкендорф. На площади не было никого, и можно было говорить спокойно. Обойдя памятник кругом, Иоганн поднял голову и сказал:

— Вот он, он понимал немцев и Германию. Он прав: Германия превыше всего. Он понимал наш дух и сто лет назад, когда лягушатники тоже грозили нам. А что сейчас? Мы гордились, что живем в мире? Но тридцать лет мира размягчили армию, размягчили немецкий дух. Живем в мире... А есть ли этот мир? Бог умер! Культура умерла!

Иоганн явно был увлечен новыми идеями, повторял не им сказанные громкие фразы, и Поляков старался не ввязываться в опасную дискуссию. Впрочем, он отчасти поверил Иоганну. Поверил, что тот приехал к невесте. Но подозревал, что невеста — лишь повод, лишь один из пунктов пребывания Иоганна в занятом русскими Тильзите. Поручик не мог не заметить военной выправки родственника, догадывался, что появился Иоганн в городе не без ведома своих командиров, а может, и с разведывательной целью. Вскоре они расстались.

«Надо донести, — стучало в голове Полякова, пока он шел к казарме. — Иоганн несомненно шпион». За такими размышлениями Поляков не заметил, как оказался у здания, которое было хорошо известно всем офицерам: здесь располагалась контрразведка. «Надо же: ноги сами привели. Надо зайти и донести. Надо донести», — подумал Поляков. И прошел мимо.

Он уже повернул было на улицу к казарме, как увидел краем глаза болтавшийся на стене полуоторванный плакат — за столом сидят Николай Второй и Пуанкаре, французский президент, а за ними огромная фигура Вильгельма со словами: «Я все знаю». Вспомнил, что похожую карикатуру видел в юмористическом журнале, большое количество которых было разбросано в казарме, когда они туда вошли. В сердцах Поляков сорвал плакат, скомкал его, огляделся, куда бы выбросить. Не найдя урны, с ожесточением швырнул на мостовую и пошел быстрым шагом.

Возможно, всеми этими событиями, а не только нелепыми колоннами у входа в казарму была вызвана его раздражительность. Он надеялся, что отлежится в уединении, мысли и чувства придут в порядок. Но встреча с Иноземцевым снова вывела его из равновесия.

В казарме, лежа на койке, Поляков думал о кирхе, о нелепой старухе, о встрече с Иоганном, о том, что с Мартой увидится не скоро, да и увидится ли вообще. По немногим, только военным людям понятным деталям поручик догадывался, что вскоре предстоит нечто серьезное.

Он резко поднялся и, усевшись на койке, принялся чистить свой револьвер. Услышав за спиной шумное сопение, обернулся. Там стоял Игнатов и говорил, будто гудел:

— К боям готовитесь, Иван Николаевич? Неужто скоро? Ох, и я чувю: неладное что-то затевается.

— А, это вы, Игнатов.

Вдруг, вспомнив, что сегодня 30 августа (в Пруссии стоял сентябрь, но для Полякова, верного календарю российскому, еще был август), он добавил:

— Виноват, с утра не пришлось вас поздравить: с днем ангела, Александр Петрович. Высокий и грузный Игнатов заулыбался по-детски:

— Благодарю, поручик. Смешно, наверное, но меня матушка, Ольга Ксаверьевна, всегда так поздравляла. Войдет в комнату, склонится ко мне, только проснувшемуся, поцелует в лоб и скажет: «С днем ангела, Александр Петрович». Мне лет шесть, а она — «Александр Петрович». Говорит серьезно, а глаза смеются... Я ее во сне нынче видел. Все ладанку мне протягивала, просила надеть. Она и при расставании мне ее давала, да я взять отказался. Сентиментальным показалось, а сейчас вот жалею. Глупо, да?

Помолчав немного, Поляков ответил:

— Горше всего мы обижаем тех, кто нас сильнее всего любит.

Игнатов потоптался, потом, тяжело вздохнув, сказал:

— Тоже, что ли, оружие почистить?

Игнатов слыл аккуратистом. Прежде чем приступить к делу, он извлек из своей офицерской сумки чистую тряпицу, разложил ее на койке. Разбирая свой парабеллум, он в строгом порядке раскладывал на тряпице узлы и детали, аккуратно протирал каждую.

— Поляков, а почему вы все еще наганом пользуетесь? — спросил он вдруг.

— Почему? Да хороший ведь револьвер, не отказывал до сих пор.

— Хороший-то хороший, а как быть в ближнем бою? Что если расстреляете весь барабан? Как перезарядите? Нет уж, лучше я со своим парабеллумом.

— Не станемте загадывать, Александр Петрович. Пусть уж как Бог положит.

В глубине души Поляков соглашался с Игнатовым: в условиях, о которых он говорил, пистолет был бы надежнее, но... Поляков был невысок ростом, и револьвер, уместяющийся в компактную кобуру, его вполне устраивал. А громоздкая, становящаяся при случае прикладом деревянная кобура парабеллума, не говоря уж о маузере, свисала бы ниже колена. Мальчишечье самолубие Полякова не могло смириться с этим.

В эту ночь Полякову не спалось. Как это случилось?! Почему столь удачно начавшееся их наступление захлебнулось? Поляков и позже думал над этим — и не мог найти объяснения. Но и сейчас бессонной ночью понимал, что остановка — это сбой темпа, чреватый тяжелыми последствиями.

И они последовали. На следующий день на площадь, где Поляков несколькими днями раньше рассматривал шпиль кирхи, ворвались немецкие отряды. Это было столь внезапно, что русские и опомниться не смогли. На площади завязался бой. Четверка запряженных цугом лошадей тащила орудие. Маневренная в поле, здесь, на площади города, она оказалась неуклюжей. В суматохе лошади замешкались, задняя двойка запуталась в упряжи, верховые отчаянно хлестали лошадей, но замешательство лишь усиливалось. Все попытки прислуги развернуть лошадей с тем, чтобы и пушку развернуть против противника, ни к чему не привели. Не сразу заметили, как прямо на них на черном коне несется немецкий офицер в каске с шишаком. Двумя выстрелами из пистолета офицер уложил возничего и командира орудия. Пушка встала. Надо было отходить.

Полк отошел по Штольбеккерштрассе и, отрезанный от основных сил, окопался на кладбище Вальдфридхофф. Поляков вновь подумал о старухе в плаще — и дух смерти словно повис над ними.

Бой длился четыре часа. Поляков видел, как погиб Игнатов. Замешкавшись из-за чего-то, он выстрелил от живота, и выброшенная гильза — коварная сущность парабеллума — угодила ему в лицо, в глаз. От внезапной боли Игнатов согнулся, схватился рукой за ушибленное место — немецкий палаш опустился ему на голову. Погиб и Иноземцев. Раненный в ногу Поляков попал в плен.

Их было много — пленных. Всех вели с городской окраины мимо озера, мимо мельницы, мимо бумажной фабрики. Ее едкие выбросы с непривычки резали глотку.

Рядом с фабрикой — мост через Неман. Лежат на нем рельсы, поблескивают, уходят вдаль — на Хайдекруг, Мемель. Манят рельсы. От Мемеля морем недалеко совсем до русского берега. Да и по суше недалеко: переправиться через реку и двигаться на восток, на Ковно. А там и Россия. Оттуда, с того берега может еще прийти подмога, а они здесь за рекой, как отрезанные. Блестят, манят рельсы.

Нет, верно, не судьба! Свернули направо — и вот она, красная стена драгунских казарм. Пока не самих казарм — конюшни.

Поручик шел, сильно хромя и тяжело опираясь на толстый сук, подобранный на лесном кладбище. Пленных привели в те же драгунские казармы. На плацу остановились, немецкий офицер пересчитал всех и приказал фельдфебелю вести их дальше. Поляков надеялся, что сейчас их проведут в помещение, и тогда можно будет лечь и вытянуть ногу. Но фельдфебель повернул строй направо и повел дальше, вглубь, к конюшням. Там в конюшнях их и заперли...

Поляков с трудом опустился на каменный пол, откинулся спиной на загородку стойла. Это помогло немного снять напряжение, и боль в ноге слегка ослабла. От каменного пола шел холод, высасывая из тела остатки тепла, резко пахло лошадьми, но все же это была небольшая возможность отдохнуть после долгого перехода. Поляков почувствовал, как его одолевает дремота.

— Пожалте сюда, ваше благородие. Я и постельку приготовил, — услышал Поляков и узнал по голосу солдата своего взвода Антипа Копылова. Тот колдовал в углу, укладывая удобнее сено. Тяжело поднявшись, Поляков доковылял и снова устало опустился на пол. Антип помог поручику улечься, снял с него сапоги, подложил их под голову поручику. Поглядел на ногу поручика в окровавленной штанине, сказал сокрушенно:

— Вот беда. Гляди, утром не натянуть будет, как ногу вздует. И неужто дохтур еще не глядел? Беда, беда... Вы, ваше благородие, погодьте, я мигом — присмотрел тут одну вещичку.

Копылов исчез и вскоре вернулся, неся что-то под мышкой и прикрывая это от посторонних глаз снятой гимнастеркой. Он опустился перед лежащим Поляковым и зашептал:

— Вот седло раздобыл. Старое оно, порченное, для дела негодно, а нам в самый раз.

Он бережно положил на то, что когда-то было седлом, раненую ногу поручика и укрыл его шинелью.

— Спасибо, Копылов. Может, ты где моего денщика видел, Куприянова?

— Как не видать?! Убило Митрия. Вы бы уснули, ваше благородие. А завтра, глядишь, дохтура приведут.

— А как же ты сам?

— Да нешто здесь сена мало! Улягусь как-нибудь. Ну, почивайте, ваше благородие.

Последние слова солдата поручик слышал уже сквозь наваливавшийся сон. Перед ним, как в тумане, проплывали кирпичные крестовые своды конюшни, лицо Марты, покачивался силуэт полукруглой кирхи, и куда-то спешил человек в нахлобученной на парик треуголке.

4

Плохо был сделан парик, неудобно сидел и набок все время съезжал. Правда, сейчас треуголка парик прижимала. Но и ее приходилось придерживать рукой: назойливый ветер проникал всюду, поднимал полы плаща, который капельдинер Коробкин пытался стянуть на груди другой, свободной рукой. Но и это было непросто: под плащом под мышкой Иван Евсеевич держал портфельчик с нотами. Спешил капельдинер.

Уже несколько лет квартировали русские в Тильзите. Коробкин обжился, завел знакомства, и сейчас он спешил к своему прусскому приятелю — музыканту Губерту Штольцу. Удивительный он был музыкант: орган, флейта, скрипка были подвластны ему. Сам Коробкин тоже хорошо играл на гобое и трубе, но скрипка... Дома в Петербурге не случилось ему научиться, а Штольц взялся обучить и обучал. К нему-то и спешил капельдинер.

Но как ни хотел Иван Евсеевич быстрее взять в руки скрипку, не задержаться у новой кирхи он не мог. Дивную кирху строил Карл Людвиг Бергиус, не похожа она на другие — полукруглая, с шатром уходящей черепичной крышей, которая венчалась башенкой с куполом. Она была почти готова и завораживала. «Великая Петрова дщерь щедроты отчи превышает... Прав, прав Михайло Васильевич, — бормотал Коробкин. — Надо же: денег изволила прислать благодетельница — тысячу двести восемьдесят три талера. А зачем? Да чтобы кирху здесь достроить. Не иначе как о нас, о своих солдатах, печется».

Коробкин обошел кирху, посмотрел на уходящую вверх башенку. В другой раз он непременно поговорил бы с кирхой. Частенько капельмейстер, оглядываясь по

сторонам, чтобы никто не застал его врасплох, разговаривал с кирхой. Но сейчас лишь тяжело вздохнул и пошел к своему учителю музыки.

Штольц встретил его странным предложением:

— Мой молодой друг, вы не станете возражать, если сегодня мы оставим музыку? Я хочу показать вам нечто, чем любили мы развлекаться в молодости. Вот прочтите.

Он извлек из шкатулки сложенный четверо листок, расправил его. Коробкин увидел:

SATOR
AREFO
TENET
OPERA
ROTAS

— Вы понимаете? Во все стороны читается одинаково, словно настойчиво кто говорит нам: не надо спешить, всему на земле свое время. Не станемте и мы спешить, а лучше прогуляемся.

Ветер утих, и старый музыкант с молодым капельдинером медленно шли по улице. У новой кирхи остановились.

— Я заметил, что она вам нравится, — сказал Штольц. — Мне тоже. И скажу по секрету, я люблю беседовать с нею. Вы тоже?! Мне намекнули, что я смогу получить здесь место органиста. Но я бываю суеверным, поэтому помалкиваю. В маленьком городке, знаете ли, надо держать ухо остро.

5

В маленьком городке известия распространяются быстро. Наутро весь город знал о пленных русских. Пришел доктор Вагнер. Он осмотрел всех раненых, двух из них распорядился поместить в госпиталь, в том числе и Полякова. Первый раненый — молоденький прапорщик — был очень плох, доктор отводил ему не более суток и на госпитальную койку помещал лишь для того, чтобы облегчить последние страдания несчастного. А Поляков? Вряд ли доктор догадывался о знакомстве его и Марты, но русский пленный сразу расположил доктора к себе. К тому же он оказался единственным свободно владевшим немецким, и, таким образом, Поляков невольно стал переводчиком. Впрочем, и рана поручика была серьезна.

Уже в госпитале доктор присел рядом с койкой Полякова, стал его расспрашивать о самочувствии, о беспокойствах. Неожиданно для себя Поляков рассказал доктору о своей недавней встрече со странной старухой.

— Это, по всей видимости, была наша Берта, — успокоил его доктор. — В каждом городе, знаете ли, есть свои душевнобольные. Когда-то у нее утонул сын. Тело не нашли. Она ежедневно приходит на кладбище. Всякий раз к другой могиле. Она заговорила с вами?

— Да. Даже подозвала к себе.

— Видно, вы ей понравились. Она чувствует людей с честным сердцем.

— Эта Берта сказала тогда, что я еще раз окажусь там. И ведь права оказалась. Там меня и пленили.

— Я вижу, она произвела на вас сильное впечатление. Забудьте ее, не придавайте значения ее словам. И вообще не думайте о них, не возвращайтесь к ним. В противном случае вы все свое поведение будете подстраивать под ее безумную фразу. Поверьте мне: я достаточно изучал психологию и психиатрию... Впрочем, вряд ли вы последуете моему совету. Вы, русские, насколько мне известно, любите копаться в себе.

Доктор ушел. А Поляков вдруг вспомнил свои ночные видения. Вернулось и то смутное желание, которое испытал он на старом кладбище после встречи со старухой. И тогда он попросил принести бумагу и карандаш...

А на следующий день неожиданно пришла Марта. Потом пришла еще раз и дежурила, словно сестра милосердия. Но часто приходиться она не могла.

Поляков радовался каждому приходу Марты, ему было приятно слышать ее голос, чувствовать на лбу легкое случайное прикосновение ее холодных пальцев. Но он же страдал от сознания того, как нелегко даются скромной девушке эти редкие визиты, скольких усилий стоит ее внешняя непринужденность. Ведь наверняка встречала она косые взгляды горожан. Однажды Марта обмолвилась, что на дальнем кладбище («Ну да, на том самом, где был тот ужасный бой») будут хоронить погибших и, кажется, русских тоже. Поляков решил непременно побывать там. Этими соображениями и поделился с доктором. Однако доктор затею не одобрил:

— И не упрасивайте. Рана ваша серьезна, общее состояние оставляет желать лучшего. Процесс может обостриться. «Я направлю режим больных к их пользе», — завещал нам Гиппократ.

Но Поляков настаивал. Тогда доктор, который уже, кажется, сдался, привел последний аргумент:

— В чем же вы пойдете? Не собираетесь ведь вы идти в своей военной форме! Кто знает, как отреагируют на такой ваш вид горожане. Вам нужно партикулярное платье.

На это Поляков простодушно предложил:

— Так достаньте, доктор. Пожалуйста.

Это было сказано с такой детской непосредственностью и доверчивостью, что доктор, рассмеявшись, пообещал помочь.

Неполные два месяца войны изменили не только поведение, но и внешность Полякова. Прежде он, любивший изящество и утонченность во всем, хорошо одевался, с некоторым даже шиком носил сюртук, головные уборы. На нем одинаково хорошо сидели цилиндр, котелок и канотье. И даже форменная фуражка, когда он надел ее впервые, легла, будто сшита была по специальной мерке. Война изменила все. Сейчас на нем ладно сидела только военная форма, но вид поручика, одетого в чужие брюки и сюртук, вызывал улыбку. Особенно нелепо выглядел котелок, который сползал и висел на ушах.

Таким — в мешковатом сюртуке — и посадил его доктор с собой в коляску, и они поехали на кладбище.

Уже в полдень собралось здесь много народа, а к трем часам дня насчитывалось несколько тысяч человек. На возвышении стояли богато украшенные гробы. За ними на холме возвышался и нависал над толпой и покойными крематорий. В тишине до Полякова долетел передаваемый по толпе шепот: «Капеллан Коннар, капеллан Коннар».

Капеллан говорил долго. Поляков хорошо слышал. И вдруг невольно дернулся. Капеллан сказал то, чего услышать от него Поляков не рассчитывал:

— Здесь есть один гроб. Лежащий в нем не наш соотечественник. Но разве смерть не снимает все противоречия? Мы молим Бога о том, чтобы он ниспослал нам любовь, и да возлюбим мы и врагов наших. Хотелось бы эту войну направить на то, чтобы всемогущей стала любовь.

Капеллан говорил о гробе полковника Петрова, погибшего в первый же день. Его перенесли на другое место южнее главной дороги. Там уже покоились русские. Восемь других гробов еще ждали захоронения. Тела принесли к могилам в открытых гробах, что крайне удивило немцев, не знавших православных обычаев.

«Со святыми упокой... Идеже несть печаль, ни болесть, ни воздыхание...» — долетали до Полякова глухо звучащие в плотном лесном воздухе слова.

Полякову удалось протиснуться сквозь толпу ближе, и он узнал своего полкового священника.

Когда все было позади, Поляков уллучил момент и подошел к священнику:

— Благословите, отец Георгий.

Осеня Полякова крестным знамением, священник помедлил, словно задумавшись, задержал руку над головой Полякова. А потом взгляделся в лицо и спросил:

— Вы ли, поручик? Иван Николаевич? Рад видеть вас живым. Здоровы ли?

— С Божьей помощью.

Священник покосился на отставленную ногу поручика, на мощную трость в его руках и горестно вздохнул. А Поляков продолжал:

— Как же вы так, батюшка? Почему здесь? Почему не отошли с остальными?

— Ай-ай-ай, поручик, как же вы дурно думаете обо мне. Неужто вы бросили бы своих солдат? Вот и я не могу оставить чад своих. И кто бы отпел почивших? Да по правде сказать, не с кем отходить было. Вы ведь знаете: полк погиб почти полностью.

— И как теперь? Вы тоже в плену?

— Пока я буду здесь с пленными. А там — как Бог положит. Храни вас, Господь, поручик. Ступайте, а я помолюсь еще.

Поляков отошел. Постояв немного, он медленно побрел по тропинке. Со стороны было видно, как тяжело дается ему каждый шаг, как он преодолевает боль. Тем не менее он доковылял до часовни, у которой его поджидал доктор Вагнер. Доктор посмотрел на осунувшееся, позеленевшее лицо Полякова и покачал головой:

— Напрасно вы предприняли это путешествие... И я хорош — позволил пациенту такой бездумный поступок. Давайте я вас подсажу.

Доктор помог Полякову влезть в пролетку. Усаживаясь удобнее, они оба одновременно обернулись на рокот мотора: мимо проезжал автомобиль обер-бургомистра. Полякову показалось, что они встретились взглядами.

Обер-бургомистр действительно увидел Полякова — чем-то привлек его этот непохожий на тильзитца господин в нелепо сидящем котелке. Наверное, Поль о чем-то догадывался. Но в душе он был солдат, этот обер-бургомистр, и воинский подвиг почитал превыше всего. Через месяц после похорон на открытом собрании городских представителей он заявил:

— Там, на нашем Лесном кладбище, находятся воины, павшие в бою; от вашего имени, господа, я принимаю заботы об их могилах на город.

Долгая осень опустилась на Тильзит.

6

Дождливой и туманной была осень первого года войны в Пруссии. Помнил ее Коробкин. Но зима была доброй. А генваря 24 дня года 1758-го по Рождестве Христовом Штольц занятия отменил. В этот день — день рождения прусского короля Фридриха Второго — он, как и другие подданные, привык не работать. Но ни он, ни Коробкин не ведали, что день этот особенный, что не работают и в Кёнигсберге, но по другой причине. В оный день много народа собралось в кирхе Королевского замка в Кёнигсберге — да все персоны важные, значительные. Слушали все Манифест Высочайший Божю милостию государыни императрицы Елисавет Петровны. С трепетом ждали Манифеста — что еще их ждать может? А благодетельница свободу вероисповедания и торговли жаловала да умелых и умных людей служить приглашала. Отлегло от сердца. С легкою душой присягали персоны на верность. Слух быстро прошел по всей Пруссии, и весною уже и Штольц присягал.

Летом же 1760 года по Рождестве Христовом жара изнуряла. Ночи летние в Пруссии коротки и светлы. Не зажигая свечи, сидел Коробкин у окна и листы марал:

О, ты, которая к эфиру
Взметнулась дерзкою главой,
Елисаветину порфиру
Не зрела ль днесь перед собой?
Внемли: «Отныне вере русской
Сиять вовек в твердыне прусской», —
Велика дщерь Петра речет
И се...
Своею щедрою рукою
В Тильзит далекай злато шлет.
Преславный зодчий Бергиус...

Не удержался Коробкин, сташил-таки строку у Михайлы Васильича. Слова переставил и строку стыдливо спрятал в середину: авось не заметят. За то и досадовал на себя. И на то досадовал Коробкин, что слова нейдут, и оставлял пробелы: после вставлю. Уж перо изгрыз — не получается ода.

Коробкин спешил: полночь скоро — стемнеет; хоть и белесы ночи, а без свечи тогда не обойтись, а зажечь свечу нельзя: комары налетят, как окно отворит. А и не отворить нельзя: ночи тильзитские душны. Спешит Коробкин, ломается другое перо, нейдут слова.

На койке у дальней стены заворочался и заворчал во сне литаврщик Антропов. Приподнялся на локте:

— Что это ты, мин херц, полуночникаешь?

— Ах, душа моя, Антропов, скажу тебе за тайну: оду пишу. Скоро церкву освящать станут — как тут без оды.

— Ох, Коробкин, беда с тобой: бросаешься в разные стороны. Ты кто у нас? Трубач. Ну, гобой одолел, доброе дело. Сейчас на скрыпце учиться взялся. А к чему? Как скрыпицу ты к маршу пристроишь?! Теперь вот и ода. Много разного.

— Так что ж с того, что много? Вон государь Петр Алексеевич умел все — и корабли строить, и зубы рвать. Умел и нам велел.

— Эвона хватил! Так то государь, а то Коробкин.

Коробкин вздохнул глубоко, закусил перо и вновь склонился над одой. Антропов поспел, пробормотал:

— Ну, как знаешь. А я — спать.

Улегся, отвернулся к стене и захрапел. И храп, к удивлению самого Коробкина, помог. Храпел Антропов ямбом: короткий всхрап — длинный, короткий — длинный. Храпа Коробкин не замечал, он слышал ритм, а скоро и слова, прятавшиеся где-то, явились.

Перебелял Коробкин оду, уже с трудом различая буквы в набегавшей тьме.

* * *

Мог ликовать Коробкин: оду приняли благосклонно. Да и самого Коробкина приметили. О том ему Штольц сказал, когда Коробкин пришел к нему для экзерциций. Слышал он разговор двух важных особ.

И, видно, не только приметили, но и запомнили. Год прошел, и однажды застал Коробкин Штольца в возбужденном состоянии. Старик непрестанно потирал руки и ходил по комнате взад и вперед.

— Мой молодой друг, готов сообщить вам нечто весьма важное и интересное. В день тезоименинства государыни вашей... нашей, — поправился, — императрицы обер-бургомистр прием дает. Мне позволено исполнить на нем мое новое сочинение — для гобоя с квартетом. Вы догадываетесь, кому играть на гобое? — Штольц хитро улыбнулся. — Это будет ваш дебют.

— Да смогу ли я, Губерт Карлович?! — Коробкин, хоть и говорил по-немецки, неожиданно назвал учителя на русский манер.

Штольц улыбнулся снова:

— Вот и меня русским сделали. Но мне приятно. У вас ведь большое уважение выказывается этим самым «витч», не так ли? У вас трудный язык... А сыграть вы сможете. Главное — не спешить, чуть сдерживать себя. Помните: *sator Arepo tenet opera rotas*. Время у нас до сентября еще есть.

7

А сентябрь пролетел незаметно. Доктору удалось добиться разрешения — и Полякова отпустили с ним. Пленных иногда забирали городские жители, чтобы те работали на них. Такое не только позволялось властями, но и поощрялось: ведь выгодно использовать рабочую силу, не очень задумываясь об ответственности.

Кем были эти пленные у новых хозяев — батраками? рабами? Кем был, например, Копылов, живший у хозяев, как позже выяснилось, неподалеку от Полякова? Раз они случайно встретились. Копылов служил у пастора, и пастор был доволен своим трудолюбивым и смышленным работником. Очень скоро понятливый Копылов усвоил несколько самых необходимых немецких фраз, что позволяло ему общаться с продавцами на рынке. И пастор стал доверять Копылову делать некоторые покупки. Копылову нравился домик, в котором пастор занимал несколько комнат. Домик почти сказочный — красиво украшенный небольшим куполом со шпилем. Сам же Копылов жил не в этом доме, а в конюшне, но таких конюшен он прежде не видел. Конюшня была из красного кирпича, сухая, отчасти даже теплая. Но сильнее всего поразила Копылова крыша.

— Это диво. У меня и изба-то соломой крыта, а тут для лошадушек — эвона глиняные черепки, — восторгался он черепицей.

Но еще больше восхищали Копылова сами лошади. Таких не было в их деревне. Копылов называл их тракенами.

Работающего и неунывающего Копылова, казалось, не угнетало его положение, но от взгляда Полякова не ускользнула глубоко сидящая тоска. «Как дома буду», — несколько раз вырывалось у него, но Полякову показалось, что солдат сам не верит в свое возвращение. И того не знал Поляков, что, накупив на рынке всего необходимого, спускается Антип с рыночной площади к реке и долго смотрит на противоположный берег.

— Бывайте здоровы, ваше благородие. Свидимся ли нет? — улыбнувшись, попрощался он и пошел.

Поляков глядел ему вслед и видел удаляющуюся сутулую фигуру и бессильно свесившиеся руки прежде всегда прямого и подтянутого солдата.

Сам Поляков, считалось, работает у доктора, хотя мало кто верил, что доктор Вагнер станет заставлять своего доброго знакомого делать тяжелую работу.

И все же Поляков работал — помогал по мере возможностей своих доктору. Гимназических знаний латыни и прекрасного владения немецким хватало, чтобы вести медицинскую статистику и быть своего рода секретарем доктора.

Между тем с течением времени сводки с фронтов становились все тревожнее и противоречивее. Предпринятое было новое наступление русских войск на Тильзит осенью 1915 года так и не получило развития — и все шло без изменений. Поручик оставался военнопленным, а война велась как бы отдельно от него и от других таких же несчастных. Немецкие газеты, которые имел возможность прочитывать Поляков, не могли дать полной картины, их переполняла псевдопатриотическая трескотня. Иван Николаевич невольно сравнивал их с некоторыми русскими газетами, которые он успел прочитать в самом начале войны, и с сожалением находил в них много общего.

И получалось, что война идет сама собой, газеты пишут о чем-то другом и совсем иные вести доходят в письмах, в рассказах калек, возвращавшихся с фронтов, в слухах и в официальных извещениях. Одно известие коснулось и доктора.

Поляков не видел его уже дня три. Доктор не заглядывал к нему в комнату, не поручал ему никаких дел, больше времени проводя в клинике. Лишь однажды ненадолго заглянула Марта. Она была подавлена, по припухшим векам девушки Поляков догадался, что она плакала. Поначалу она отмалчивалась, на все расспросы Полякова лишь отрицательно качала головой, но ему все же удалось выяснить, что погиб Вальтер, ее кузен, племянник доктора. Погиб на Восточном фронте.

— Ради всего святого, не затевайте с отцом разговор об этом, — умоляла Полякова Марта. — Неизвестно, как он отреагирует. Он очень переживает: Вальтер был таким молодым — совсем мальчик. Боже милосердный, почему?! Почему все так происходит?! Эта война, которая забирает самых добрых и молодых! Вы, которого я должна была бы ненавидеть, но которого... — Марта смутилась, щеки ее легка порозовели. И она закончила почти скороговоркой: — Которого я не могу возненавидеть... Словом, с вами мне не страшно и спокойно... Мне, пожалуй, пора идти.

Марта ушла так же поспешно, как и появилась, а Поляков стоял посреди комнаты и глядел в окно. Лишь спустя некоторое время он понял, что улыбается. Непонятно чему.

Доктор же объявился на следующий день. Он вошел с самым серьезным и решительным видом и с ходу заговорил:

— Я хочу, чтобы между нами не оставалось никаких недоразумений и недомолвок. Мой племянник Вальтер убит — вы это знаете. Убит на Восточном фронте. И это вы тоже знаете. Но я хочу, чтобы вы знали и другое: никогда мое негодование не обернется на вас.

— Доктор, я не сомневаюсь в вашем благородстве и в вашей порядочности, но в таких условиях оставаться в вашем доме с моей стороны было бы верхом неприличия, — Поляков говорил, пытаясь не выдавать своего волнения. — Верните меня туда, где я должен находиться, к другим пленным.

Доктор еще больше насупился:

— Оставьте. Вы нужны мне как помощник. Да и ваша нога... Нельзя вам туда, к остальным.

— Во всяком случае, позвольте мне снять комнату где-нибудь в другом месте. Чтобы не смущать ни вас, ни фройляйн Марту.

Услышав имя дочери, доктор вскинул исподлобья взгляд на Полякова и проворчал: — Вот еще! К чему это? Впрочем, как вам будет угодно. Я постараюсь вам помочь.

Однако после этого разговора Поляков еще три дня прожил у доктора, присматриваясь к нему. Поручик замечал, что доктор стал чаще замыкаться в себе, иногда до Полякова долетало бормотание доктора. Раз он отчетливо услышал:

— Свины! Мерзкие свиньи! Они решили, что имеют право вершить судьбы мира...

Обещание доктор выполнил — и Поляков поселился в маленькой комнатке под самой крышей. Обстановка в ней была скучная, и вскоре появилось там кресло-качалка — прекрасное ротанговое кресло. Оно удачно сочеталось с такой же ротанговой этажеркой. Кресло появилось, конечно же, благодаря Марте. И было оно кстати.

Сидеть за столом порой становилось неудобно и даже тяжело. Тогда садился Поляков в ротанговое кресло-качалку, брал на колени дощечку, бумагу. Покачиваясь в кресле, смотрел перед собой.

Невеселый липкий прибалтийский снег залеплял окно. Снежинки, распластавшись на стекле, тут же таяли и стекали грустными капельками. Снег вдалеке занимался печальным бураном. И виделся Полякову — возок.

8

Погонял возничего фельдъегерь, бил по спине тростью: поспевай! поспевай! Холодно в возке — треуголку пониже, чуть ли не к ушам! В плащ закутаться, нос укрыть и дышать внутрь — нет, не согреешься! А как хорошо собрались было за грогом! Грогу бы сейчас — ан нельзя: пакет преважнейший везет фельдъегерь. Не просто фельдъегерь, а с полномочиями. Так и не дали выпить, вдруг во дворец потребовали: скачи, доставь пакет. А что в пакете — не могли знать! Да только догадывался фельдъегерь Волков, знал: коль есть у стен дворцовых уши, то есть и уста. Проболтались они — тишком, шепотом, почти молчком — а проболтались: государыня императрица, благодетельница, проболев премного, о Господе почила. И аккурат в рождественскую ночь. О том и написано в депеше, в пакет упрятанной. А еще предписано, хоть и праздник новогодний, а в печали о кончине благодетельницы машкерадов не устраивать, музыку не играть, иллюминацию не учинять.

Спешил Волков — да разве поспеешь?! Как поспеть, когда от Петербурга до Ревеля надо, оттуда через Ригу и Митаву, а дальше — перекресток: не пропустить его! Резко повернуть направо надо — тут следи за возницей, за лодырем и пьяницей! Следи, чтобы не пролетел, чтобы непременно повернул. Долог путь до Мемеля. В Мемеле возьмет еще одного курьера, передаст ему другую депешу, с тем же наказом — и отправляться новому курьеру по косе в Кёнигсберг, а ему, Волкову, — в Тильзит.

Не поспеть, не остановить праздников и машкерадов. Понимал о том Волков, но гнал лошадей, и опускалась его трость на спину возничего.

Как ни затягивал Волков кожаным фартуком передок возка, как ни подлезал под шубу, которую в последний момент при расставании набросила на него его Анюта, как ни кутался он в плащ, а инфлюэнца его настигла, и в Мемеле пришлось Волкову задержаться на день.

Когда подъезжал Волков к дому обер-бургомистра Мемеля, кости его ломило, в голове гудел жар, а глаза застилала слезы.

Императорского гонца (не гонца — курьера с полномочиями!) градоначальник принял радушно, к столу пригласил. А после обеда Волков скинул сапоги, сел спиной к печи. Прижимался спиной к теплым изразцам. Изразцы впивались в спину, больно давили, но Волков прижимался еще сильнее: внешняя боль облегчала мучения.

Водка с толченым чесноком — рецепт лейб-медика Корфа! — подействовала мгновенно. Проснулся Волков на другой день на диване, укрытый шубой. А проснувшись, спохватился: надо ехать!

То ли водка бургомистрова оказалась слабоватой, то ли чесноку недостаточно натолкли, то ли плут Корф, лейб-медик, что-то в рецепте утаил, но в дороге Волкову опять стало худо. К переправе на Тильзит он добрался в скверном самочувствии и в дурном расположении духа.

Река уже замерзла, и по льду можно было перебраться быстро, но крут тильзитский берег, не взобраться лошадям по скользким уступам. Волков приказал взять левее, выше по течению и там перебраться. Перебравшись, поехали по пологому склону вверх, оставляя справа мрачный замок.

Волков, конечно, опоздал, и все празднества в городке уже прошли. Досадуя, что приказ не исполнен, и все еще чувствуя недомогание, Волков потребовал водки и бани. Водку ему подали. Но нет бани в прусском городке, где и сараи-то кирпичные — запрещено деревянные строения возводить: горят они зело, и города вмиг может не стать. Но что поделать, коли баню требуют? В один из самых маленьких — чтобы прогрелся быстрее — сараев нанесли валунов, ведро с раскаленными угольями, воды нагрели. Мыться было можно, но чтобы попариться, да так, чтобы мышцы от костей отходили, не получилось. Досада не исчезла.

Сидя в кабинете, Волков выяснял, как проходили праздники, кто пуще всех веселился. Хоть депеша и припоздала, а скорбь по государыне должно было иметь.

Кого-то надлежало наказать. Взгляд упал на исписанный лист бумаги. Среди немецких имен взгляд выхватил: Иван Коробкин — кто таков? Доложили: капельдинер, играл в квартете с немцами. Отлегло от сердца у Волкова:

— Коробкина на гауптвахту!

«Зело наказывать не станем, — думал. — Пяток ден посидит — и ладно. А он, Волков, донесет, что виновники наказаны. Музыканта потом выпустят, и все забудется». С тем и уехал. А Коробкин сидел.

Сидел Коробкин и вспоминал машкерад. Сначала музыку вспомнил — дивную вещицу сочинил Штольц. Свою игру вспомнил — изрядно играл. Штольц несколько раз оборачивался и подмигивал приветливо.

А потом увидел Коробкин: красное домино и черная маска. Персона кружила, переходила по зале, и все ближе к квартету, и все чаще чувствовал Коробкин на себе взгляд. Кюлоты и башмаки с пряжкой не смогли обмануть Коробкина: догадался он — то была дама. И выиграло в Коробкине сердце. Вот уж отыграл квартет, вот уж поклонились музыканты, скрипичи свои укладывать стали. Коробкину гобой в футляр уложить, тончайшим фетром покрыть и серебряные замочки на крышке защелкнуть — всего-то дела. А не получается: то гобой в пазы футляра не встанет, то фетр упадет. А Коробкин из-под плеча в зал глядел: домино в сторонке беседует с какой-то дамой. Поклонился Коробкин музыкантам, поклонился Штольцу, обнялся с ним, и — футляр с гобоем под мышку — уходить надо. Коробкин пошел, но не коротким путем, а — с почтением к публике — вдоль стенки и мимо красного домино. Подошел к персоне, замаялся, засеменял, призадержался. Персона обернулась, увидел Коробкин — не глаза даже, свет их — и обомлел. А домино — колокольчик звякнул, — хохотнув, в заднюю дверь юркнуло. Коробкин следом — но в комнате никого не оказалось.

А потом Коробкин стоял у крыльца, а мимо малец, пруссачок — рыженький, худощавый — пробежал. Пробегаю, задержался перед Коробкиным, огляделся да за обшлаг ему бумажицу сунул. И был таков.

Коробкин хвататься за бумажицу не поспешил, но знал: записка там. А потом и прочитал: «Известное вам домино имеет ждать вас у известной вам кирхи». И время, когда ждать будет.

Вечер подходил медленно. Капельдинеру не терпелось встретиться с неизвестной персоной. Место выбрано хорошее: у кирхи в это время народу много — и подозрения не вызвать, и затеряться можно. Он обошел кирху справа, спрятался за выступ. Из-за тучи выплыла однобокая луна. Она была похожа на гнутый пятак. Коробкин ждал. Сначала ждал у кирхи, а теперь вот на гауптвахте.

О Коробкине вспомнили через неделю. И не выпустили. Что-то подсказывало: хоть можно не спешить исполнять прежние приказания, но и, рассудить если... Государыни Елизаветы Петровны, Царствие ей небесное, нет, новому монарху еще не присягали. А новый... он все по-новому начнет, это уж как водится. И где окажутся прежние распорядители, Бог ведает. Сейчас лучше, пригнувшись, переждать волну, а пережидая, и себя не забыть. Так что пусть посидит пока капельдинер. И оставался он ни арестант, ни свободный, а вроде бы — забытый.

Но Коробкин ждал.

9

А ведь умел ждать и поручик Поляков. Терпеливо ждать, понимая, что поспешность часто не только смешна, но и опасна. В бою, правда, он действовал иначе, по обстановке. А сейчас вот ждал. Но ни он сам, ни кто другой не объяснили бы, чего именно ждет поручик. Уже почти пять лет он в этом прусском городе Тильзите. В неясном он положении — ни пленный, ни свободный, ни офицер действующей армии, ни частное лицо. Да и армии, пожалуй, нет. Вести и слухи из России темны и противоречивы. За во-

семь месяцев — два переворота. Государь отрекся. Власть взяли непонятные большевики, столицу вернули в Первопрестольную. Газеты писали о мире, заключенном в Брест-Литовске.

Поручик Поляков в неопределенном положении. Он все так же отрезан рекой. Когда-то он думал: достаточно перебраться через нее, двинуться в сторону Ковно — и ты уже в Российской империи. А что теперь? Где империя? Границы изменились, да и есть ли они, границы? И не только границы — за годы войны многое изменилось вокруг, изменились и люди. Еще недавно — пяти лет не прошло — в Восточной Пруссии было много русских; на курортах, в поездах звучала русская речь. Но что случилось с людьми, если еще до начала активных военных действий около четырехсот русских привезли из Германии в Кёнигсберг и держали две недели как военнопленных? Да что там подданные Российской империи, когда издевательски отнеслись пруссаки к семье великого князя Константина Константиновича?!

Да если бы и не революция, если бы государь довел войну до победы, что ждало Полякова? Смог бы он вернуться домой? Еще в начале войны — знал, знал Поляков! — государь подписал указ, по которому все побывавшие в плену по окончании войны подлежали суду, а затем бессрочной высылке в Сибирь. А каково его матушке? Ее ведь лишили бы пенсий и субсидий.

Поляков шел, размышляя, и не сразу заметил двух пробежавших мимо подростков. А заметив, не придал значения тому, что один из них быстро забежал Полякову за спину, а другой, поравнявшись, замедлил бег.

В затылок больно ударил камень. Ударил с такой силой, что поручик чуть было не упал ничком. Сохраняя равновесие, он подался вперед и тут получил другой удар — тоже камнем, но в ногу, в большую ногу. Справившись с болью, Поляков обернулся. Мальчишки не убежали. Они стояли на своих местах и, не мигая, с ненавистью смотрели на Полякова.

Вечером Поляков, обычно не склонный к жалобам, все же рассказал доктору о происшедшем. Доктор сразу осмотрел и ногу, и затылок. Осматривая, качал головой и ворчал в усы: «Нехорошо. Нехорошо». Потом сел рядом с Поляковым, тронув его за руку, сказал:

— Война ужасна. Но вы не сердитесь сильно на этих мальчишек. Столько ненависти разлито вокруг, а они — самая чувствительная губка — все впитывают. Давайте-ка я еще раз осмотрю вас.

Не зря беспокоился доктор. Через два дня небольшая поначалу шишка на затылке раздулась в заметную опухоль. С течением времени опухоль увеличивалась, Полякова стала мучить головная боль.

В неясном положении поручик Поляков, а раненая нога и опухоль на затылке все чаще дают о себе знать. Доктор приходит через день, осматривает раны, качает головой и, бормоча (что бормочет — не разобрать), уходит. Нога горит. Когда поручик закрывает глаза, перед ним — красная пелена.

Красное домино, о котором прочитал Поляков в «Сирине» еще до войны, стало являться чаще. Оно виделось то петухом, летевшим к Петербургу, то персоной в кюлотах и с лицом троюродного брата Иоганна.

С Иоганном им пришлось встретиться еще раз. Иоганн был в темных очках, левая рука свисала плетью, а вместо кисти торчала какая-то окаменевшая черная перчатка.

— Я почти не снимаю очков, — сказал он. — Я был на Западном фронте. Я не успел защититься. Проклятые лягушатники!

— Газы? — осторожно спросил Поляков. — Но, Иоганн, это ведь не французы атаковали газами.

— И что с того?! Два месяца я провалялся в госпитале без левой руки и с повязкой на глазах. Глаза горели, будто в них насыпали раскаленных углей. Два месяца! Два ме-

сяца! Я не могу видеть солнечный свет, у нас и дома всегда задернуты гардины. А ты говоришь: при чем здесь французы?! У меня нет руки. К роялю я уже не подойду никогда. Моя милая Анхен! Она любила, когда я играл для нее. Она ангел. Она дождалась и приняла меня — калеку. У нас сын. Ему два года. Но я объясню ему все! Он поймет, что никто не смеет унижать Германию. Они, те, что сегодня лежат в люльках, сделают то, чего не удалось нам!

Иоганн горячился, на его лбу выступили капельки пота, слабозаметный тик перекошил рот.

— Одумайся, Иоганн! О чем ты говоришь?! — взволнованно заговорил Поляков. — Одумайся! Едва эта война окончена, а ты говоришь о новой!

— Ты читал газеты?! Что они сделали с Германией?! Что они сделали, эти Клемансо, Ллойд Джордж?! И итальяшки туда же! Предатели! Никто не смеет унижать Германию! Нам не надо больше видеться. Прощай.

Больше они не виделись. Иоганн появлялся теперь только в красном домино. Появлялся и стоял в дверях, не глядя на родственника. А Поляков не мог ни окликнуть его, ни подойти ближе. Он мог, преодолевая тяжесть и боль, подняться и встать с кровати, но в тот же момент красное домино превращалось в петушиный хвост, петух летал по комнате, красный свет разливался вокруг, и от него делалось жарко. Петух садился на перекрестие приоткрытой форточки и глядел одним глазом на Полякова. А тот знал: чтобы прогнать петуха, нужен снег, много снега. Снег погасит жар — и петуха не станет. Снег ложился на лоб холодной мокрой салфеткой или полотенцем.

Когда жар проходил, летящий петух становился похож на гимназического латиниста. Латинист в гимназии развлекал их палиндромами: «Sator Arepo tenet opera rotas». Этот палиндром запомнился лучше остальных, видел в нем Поляков какую-то загадку. Но и латинист уходил в окно — всякий раз в одну и ту же сторону.

Жар на некоторое время спал. Поляков привстал на кровати, дотянулся до этажерки, взял книгу, раскрыл наугад и стал читать:

«Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал...»

Поляков перевернул страницу и снова прочел наугад:

«Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

И когда Он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри.

Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей...

И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного: иди и смотри.

И вот я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечем и голодом, и мором и зверями земными.

И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.

И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка святыи и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?

И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились на малое время...

И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса.

Но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего».

Читать становилось тяжело, словно что-то давило на глаза, хотелось закрыть их. Он отложил книгу. Окно было раскрыто, и удивительная тишина разливалась за ним.

Тут неожиданно пришел доктор. Он был настроен решительно. Осмотрев затылок и ногу, заявил:

— Медлить больше нельзя!

10

«Медлить больше нельзя», — вывел своими бледными чернилами Евдокимов, и застопорилось перо. Исчезла картинка, которую он видел, как на экране. Последняя картинка, которую удалось ухватить Евдокимову, была — Марта и Поляков у окна. Больше он ничего не видел. И вдруг снова почувствовал легкое движение за спиной. Евдокимов обернулся — и вскрикнул от удивления:

— Поручик?! Как я рад вас видеть, Иван Николаевич. Вы давно не появлялись. Я много думал о вас. Нам нужно о многом поговорить.

Поляков помолчал, а потом произнес не совсем понятную фразу:

— Пришел, хотя в моем приходе не было никакой необходимости. И говорить нам не нужно. Вам это известно лучше, чем кому-либо.

— Но рассказ... Вы его дописали? Что случилось с Коробкиным? — взволнованно спросил Евдокимов.

Гость ничего не ответил, а только улыбнулся и посмотрел на стену с облупившейся штукатуркой.

— Мне пора, — сказал он и быстро исчез за дверью.

Закричал петух — в окно лился утренний свет. Петух кричал снова, потом еще раз. «Почему петух? Откуда петух в городской квартире?» — подумал Евдокимов. Но петух продолжал кукарекать и бить клювом и ногой по деревянному полу. Стук был громким.

С трудом отрывая голову от стола, Евдокимов догадался, что петухом кричит будильник в его телефоне, а стук доносится из-за входной двери. Еще плохо соображая, Евдокимов подошел к двери, отпер ее. В дверях стояли два полицейских и женщина в белом халате. За их спинами он разглядел соседку из квартиры под его мансардой. «Залил я ее, что ли?» — успел подумать Евдокимов. Между тем стоявший ближе к двери лейтенант спросил:

— Вы здесь живете?

— Да. Точнее, снимаю комнату.

— Вы нам не поможете? Не согласитесь быть понятым?

Еще не проснувшись окончательно, Евдокимов понял одно: гости не к нему — и поэтому кивнул. Потом, все яснее осознавая происходящее и пытаясь поймать взгляд соседки, он спросил:

— А что случилось?

Лейтенант спросил в свою очередь:

— Вы хорошо знали соседа из соседней квартиры?

— Не то чтобы очень хорошо. Знаете по принципу «привет — пока». Ну, денег иногда давал в долг. Возвращал сосед редко. Пьет он крепко. Да что случилось, в конце концов?!

— Сосед ваш найден сегодня мертвым. Пройдемте в его комнату.

В комнате было почти пусто, висел въевшийся в стены запах табачного дыма. У стены на четырех кирпичях покоился матрас от того, что когда-то было кроватью. На спинке единственного стула висел холщовый мешок, показавшийся Евдокимову знакомым. В мешке угадывались бутылки. Сосед сидел в старом ротанговом кресле-качалке — руки его свесились, голова запрокинулась.

Полицейские наскоро осмотрели место происшествия. Вместе с врачом «Скорой» (им-то и оказалась женщина в белом халате) составили протокол, дали подписать Евдокимову и соседке.

Евдокимов вернулся в свою каморку и сразу бросился к тайнику. В нем оказались две старые фотографии и исписанный по-немецки лист бумаги. Евдокимов сел к столу и стал переводить.

То был единственный случай, когда я решилась. Отец отъехал по делам в Кёнигсберг, не оставив Ивану никаких поручений. А он, не зная об отъезде отца, принес какие-то бумаги.

Сама не знаю почему, я пригласила его войти. На этот раз мы говорили и читали не очень много, но зато у нас была музыка. Он сел к моему старенькому роялю. Он играет совсем неплохо, даже хорошо, можно сказать, изобретательно. В одном месте нужно было пустить в ход педаль, я заметила, что из-за больной ноги ему трудно это сделать. Но он нашел другие краски, чтобы выделить это место. Если бы не эта ужасная война, Иван мог бы стать хорошим музыкантом. Так мы провели почти весь день.

До сих пор не могу объяснить себе, почему я так поступила. Я совсем не упрекаю его и нисколько не корю себя. Больше того: мне кажется, что я корила бы себя, когда бы отпустила его.

Как он был нежен и ласков. Он гладил мои волосы и шептал в самое ухо. Не знаю, о чем были его слова — он говорил по-русски, но — Бог мой! — как я была счастлива в ту минуту!

Когда все произошло, я встала, подошла к окну и долго смотрела на ночную улицу. Я смотрела на балконы в доме напротив, на их изящные кованые решетки, на затейливый узор. Как они красивы! Сколько раз я видела их, сколько раз взгляд мой скользил по этим решеткам, не замечая их красоты. Она открылась мне лишь в ту ночь.

Он неслышно подошел сзади и обнял меня. И тогда я сказала:

— Не знаю, как отец воспримет все это. Он очень хорошо относится к тебе, но принять, чтобы мы соединились, не согласится, не сможет. Он очень консервативный немец.

Но отцу не суждено было узнать ничего. Он умер внезапно, не успев даже провести обещанную Ивану операцию. Кроме него, лечить пленного русского никто не хотел.

А я же чувствую, что во мне бьется новая жизнь. Если родится сын, а я уверена, что будет мальчик, — что его ждет? Как страстно я хочу, чтобы на его долю не выпали те ужасы, которые переживаем мы.

На пожелтевшей фотографии угадывалось русское кладбище, где можно было разглядеть небольшое квадратной формы надгробие с еле различимой короткой надписью: «Iwan Poljakow». На обороте фотографии — аккуратная надпись: «1919». С другой фотографии улыбался молодой человек лет двадцати в немецкой военной форме. Дата была выбелена на самой фотографии — «1940».

Туман за ночь не рассеялся — сгустился еще больше. Евдокимов раскрыл торцевое окно и выглянул наружу. Где-то там за пропадающими в тумане домами протекал Неман, пограничная река. В тумане стирались краски, гасли звуки.

И сделалось безмолвие на небе.

РАССКАЗЫ

ПЛАНИДА

В первобытные времена детства все явления на свете имели свой запах как имманентное, неотчуждаемое свойство. Но я и сейчас иногда вздрагиваю, когда, например, открываю новую бутылку моющего средства для посуды: ведь так, оказывается, пахли прошлогодние экзамены. В детстве, однако, все было острее и резче, как у тех британских летчиков, которых, по легенде, перекормили черникой, и они стали видеть на сто пятьдесят. Пахла ладаном мамина (и моя, как я думала) церковная работа, пахла безлюдностью и заброшенностью открываемая после зимы дача, пахли отсыревшими булками поездки на кладбище.

Поездки на кладбище — отдельная история. Вначале нужно было испечь булки, а это, как минимум, заказать мешок муки и ждать целый день. Бабушка готовилась встречать всегда чертыхающегося за то, что живем на пятом этаже, муковоза, и когда звонили в дверь, почему-то командовала мне на всякий случай: прячься. Зачем «прячься», почему «прячься»? Единственное, чем я могу это объяснить, муковоз — все-таки девяностые на излете — мог оказаться бандитом размаха души Раскольников. Я неслась в дальнюю комнату, прижималась спиной к стене, становилась максимально плоской и по возможности белой равносущно этой стене. По дороге в машине меня укачивало, поэтому нужно было ехать стоя, держась за передние сиденья. Таня везла нас и любовалась моей бело-зеленой физиономией, отражающейся в зеркале: «Ох, и красивая ты, Галка. Наверное, рано замуж выйдешь». — «Нет, не выйду, мне еще нужно три института закончить: исторический, музыкальный и травологический». Бывало, нас останавливал гаишник, и если была Пасха, мама зачем-то совала скучающему блюстителю крашеное яйцо: «Христос Воскресе!» — «Спасибо», — говорил гаишник, и мы ехали дальше. Потом мы продирались сквозь вязкий тошнотворный снег, крошили на столик отсыревшие булки, пели «Душа ее во благих» и служили панихиду. Я тогда слабо представляла, что такое смерть, и любила разнообразить действие комментариями вроде: «Бабки, молитесь кверху жопий» (я и впрямь была смелее в то время). Отец Александр (или еще там уже не помню, какой отец) изо всех сил прятал улыбку в бороду, но у него ничего не выходило. На кладбище случались свои местные чудеса: с дерева иногда спускался дятел или белка, ворующая конфеты, а сами деревья обступали нас в кольцо полукругом (сейчас мне кажется, что я тогда чувствовала это свойство деревьев, почти как Пастернак, но, возможно, я завралась), и сквозь них проходил отфильтрованный негреющий мартовский свет. К пониманию смерти с тех времен прибавилось немного. Мне все кажется, что свидетельство о смерти — это такая формальная отписка, какую дают, когда обращаешься в администрацию: как-то все умно, а до сути не доберешься. Почему-то в двух почти одинаковых по безысходности случаях

Галина Михайловна Батюк родилась в 1995 году в Барнауле. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет (направление — история искусств). Публиковалась в журналах «Алтай», «Культура Алтайского края», «Роман-газета». Учится в магистратуре НИУ ВШЭ (направление — литературное мастерство). Живет Живет в Москве и Барнауле.

при прочих равных одного спасают, а другого — нет. Все встало на место на уроке биологии в одиннадцатом классе. Учительница спрашивала, почему клетки эмбриона знают, как им делиться: вот нервные клетки знают, что они нервные, и посреди них анклавом не вырастают какие-нибудь глупые кишечные энтероциты. Все стали строить теории, а учительница сказала, что никто не знает, а ежели узнает, то тому умнику дадут Нобелевскую премию. А может, и не надо этой Нобелевской премии, иначе вдруг бы мы все с ума сошли от такого знания. Тогда круг замкнулся или, напротив, распрямился лопнувшей дугой и стал лучом с двумя выколотыми точками по краям — конец и начало. На кладбище бабушка давала инструкцию, кого куда положить (вроде бы в воздух, а на самом деле — мне): вот с этой стороны от Олеси, у елки (беда только, что елка может разрастись, придется корчевать) — ее, бабушку, с другой — маму, смотри не перепутай. Места по правую и левую сторону, слава богу, все еще свободны, я ношу Олесин свитер, который мне очень идет, и жалею только об одном: у всех сестры как сестры, а у меня — ангел. Мне так всегда хотелось, чтобы был человек, которому можно было бы вышептывать все свои секреты ночью, кто был бы за меня и про меня при любом раскладе, будь я худая, толстая, злая, выигравшая олимпиаду или завалившая экзамен.

А вот запах дерева мама шибко не любит — видимо, есть причины. Опять была Пасха, и одна женщина, чтобы облегчить маме послеродовые страдания (самая гуманная медицина в мире с этим, понятное дело, не справилась), зачем-то принесла ей в роддом и поставила на тумбочку деревянную свежеструганную форму для творожной пасхи. Маме казалось, что она уже в гробу или где-то около, просила моего крестного удочерить меня, если что, а он рыдал так, что слезы летели по траектории параболы, как у клоуна в цирке, и целовал мамину руку со вспухшими от капельниц венами. Но весна на улице неистовствовала, бордюры и стволы деревьев до половины покрасили в белый, и все обошлось.

Может, от этой памяти о возможной угрозе мой день рождения всегда отмечали как-то особенно отчаянно. Приходили в основном «церковные», мне тогда казалось, что вся Никольская набивалась в нашу хрущевку, возможно, для того, чтобы просто поесть. Я, конечно очень вредная, родилась в пост, не могла потерпеть чуть-чуть, поэтому мама изошрялась в искусстве кормления пирогами с грибами и картошкой. Мне нравилось, как дробится электрический свет сквозь дешевые стеклянные сережки женщин, как голоса смешиваются в какофонию предконцертной оркестровой настройки, как весело от всех пахнет духами и немного вином. На прощание я проделывала последний трюк. У нас до того, как мы разломали квартиру и сделали какой-то новомодный холл, был длинный, нескладный коридор-удав с оценкой «два» по функциональности. Я разбегалась по нему, как по взлетному полю, и запрыгивала на свою жертву, обвивая ее руками-ногами наподобие спрута. Под эту атаку попадали порой гипертоники и остеохондрозники, но детская любовь беспощадна и неотвратима, как первый весенний ливень. Потом они на ощупь шагали в вечно темный подъезд, как в открытый космос, и исчезали. Иногда мне кажется, что где-то там они и застряли, растворились в плотных слоях атмосферы.

С тех пор дни рождения празднуются все с меньшим размахом: кто-то умер, кто-то уехал. В моем нерафинированном дикорастущем детстве были советские фильмы, деревенский бесцензурный фольклор, душеполезное чтение, классическая музыка, рассказы про революцию, раскулачивание и домовых. Может, поэтому я — сквозь все свои панические атаки, навязчивые расстройства и прокрастинацию — вот уже двадцать три года чувствую запахи отчаянно остро, как отравленный радиоактивным веществом, и вижу свет: и тот, что льется медовой струйкой с чердака бани на даче (в котором — о чудо, — как увязшие мухи, пыль), и тот, что лазерной указкой скользит по апостолам

в апсиде, и тот, что прорывается в темную аудиторию и выхватывает, как прожектор, из мрака голову лектора, подсвечивая ее ореолом почти нимба. Я слушаю его и — спасибо, Господи — теряю единственное, что только есть у меня, — дар речи.

* * *

Смерть была не отвратительной оскалившейся старухой, или жуткой, мерещащейся даже в чашке чая образиной, или горбатым монстром, притаившимся в темном углу комнаты, или — классика жанра — черным балахоном с занесенной во взмахе поблескивающей косой. Она была нашей данностью, повседневной обыденностью, записью в каком-то там журнале, тихим Валиным голосом: «После венчания через полчаса отпевание — нужно успеть все приготовить».

Все звезды сошлись одновременно за и против меня: непереносимость лактозы как знак проклятия невыживаемости в детсадовской маннокашной среде, крепкая, как сургуч, мамина любовь, перемешанная с отравой страха за меня. Так, конечно, иногда бывает, что дети ходят на родительскую работу, но в моем случае — какая-то управляющая микросхема, видимо, полетела — достался не офис, где сидят сотрудники со стерильными, как бумага «Снегурочка», лицами, а церковь.

Я проходила эту жизнь экстерном и не задавала лишних вопросов на онтологические темы. Соседка, практикующая половое просвещение среди неокрепших душ, бежала за мной с книжкой, трясла перед моим лицом картинкой, где была изображена как будто скомканная роза: «Галя, вот ваша Мурка родила четырех котят. Скажи, как ты думаешь, откуда они взялись?» — «Мурка четыре раза повенчалась — вот их и родилось четверо».

Про смерть я тоже не спрашивала — я ее рассматривала, лицезрела. Когда гроб уже стоял, а отпевание еще не начиналось, я, проходя мимо, останавливалась, опиралась на край, обитый кусачим бордовым бархатом, заглядывала бездне в лицо, крестилась и шла дальше. Прихожанки крестились на меня и охали.

Но одно дело — бабки — божьи одуванчики, отправляющиеся в вечное плавание в лодках-гробиках, все в униформе: белая косынка, цветастая кофта (дальше не видно), другое — когда это случалось с кем-то из работников. Мы все были сообщающимися сосудами, такой компьютерной системой, когда данные рассредоточены по всем устройствам, и если кто-то один выходил из строя, все летело — не к месту будет сказано — к чертям.

В морозное крещенское утро Паша, церковный завхоз, в последний момент прыгнул в люльку подъемного крана и полетел с мужиками устанавливать купол на Никольской. Люди — маленькие муравьи — и дома-коробочки уменьшались и растворялись в клубах холодного январского воздуха с высоты стрелы крана. Паша может согнать группу каких-нибудь бомжей и организовать строительство дачи и копку картошки, мог бы, например, если бы родился в другое время, командовать если уж не полком, но точно батальоном, но при этом он панически боится высоты. Паша спустился вниз белый, изменившийся в лице и, кажется, счастливый. В тот день в минус тридцать появилась радуга — и мы решили, что Андрюша, Пашин сын, выживет, что все мы, бегающие с копилками по народившимся тогда нуворишам, сильнее, чем какой-то там рак.

Но уже в мае мама вздрагивала от каждого телефонного звонка, и когда большой, как черепаха, желтый аппарат захрипел и затрясся в очередной раз, она, не дослушав, схватила меня за руку и, забыв сменить тапочки на туфли, выбежала на улицу. Мы бежали вниз по лестнице, бежали по Ленинскому сквозь поток машин, не смеющих нас давить. Я кричала: «Мама, у тебя тапочки», но она меня не слышала. В больнице, в палате, залитой наглым от своей юности майским светом, люди уже стояли на коленях

и читали канон об отхождении души от тела, и солнце гладило их по голове. Мама оставила меня у дверей и бросилась в этот разящий свет. Последнее, что я увидела сквозь приоткрытую дверь, — Андрей отвернулся лицом к стене, и медсестра стала оттаскивать меня от палаты. Сначала я сопротивлялась, потом притихла — впрочем, я уже успела узнать, как люди становятся ангелами.

Но все это были какие-то легкие смерти, случавшиеся как бы до обретенного знания. Лет в пятнадцать кто-то словно подставил значения для «х» и «у» в нерешенный пример, но это оказалась вредоносная информация, как та, что змей нашептал Еве. Мой знакомый по танцевальной студии старше меня года на два спрыгнул с моста на железнодорожные пути. Две мысли, как два шарика на уроке физики, сталкивались и расходились друг от друга: как мог этот смешной худющий рыжий длинный человек кружиться в вальсе на три такта — раз-два-три, раз-два-три, — случайно приступая мне на пальцы, а потом вот этими же самыми ногами взять и шагнуть в пропасть?

С тех пор я просыпалась в холодном поту посреди ночи, слушала в тишине, как исправно отсчитывает удары мое сердце, и пыталась усмирить в себе клокочущую волну ропота: как это так, что настанет момент, что время будет существовать, а я нет, чья это недобрая шутка, зачем столько расточительства, столько пустых стараний, чтобы меня материализовать, а потом выключить? Но каждый раз случалось доброе утро, и я предательски забывала всех своих вечно семнадцатилетних друзей и вечно шестнадцатилетних сестер и начинала снова тратить свои дни так же бездарно-беспечно, как если их было уж не то чтобы бесконечное множество, то, по крайней мере, столько, сколько было у ветхозаветных героев.

* * *

Бабка Нюра смотрела наотмашь, навывлет. От ее металлического неморгающего взгляда птица замирала в полете, у человека подкашивались ноги. Она смотрела на меня так пристально, так неотрывно, что когда я, маленький пятилетний паук, полезла на стол включать верхний свет (выключатель был высоко), стол заплясал подо мной и сбросил на пол, как взбрыкнувший конь. Я разбила висок до крови, до дырки, которая, затянувшись, оставила все же небольшой след, смотря на который одноклассницы-ехидны спрашивали меня, не пробовала ли я когда-нибудь застрелиться. Даже если косметология уже дошла до той стадии просветленности, чтобы сводить любые бородавки и шрамы, вряд ли когда-нибудь я стану пытаться удалять эту отметину — пусть будет, как татуировка на память.

Бабка Нюра все события, случайные и преднамеренные, большие и малые, все причинно-следственные связи, все войны и эпидемии, рождения и смерти объясняла двумя словами — планида такая. Что такое планида, я не спрашивала, и вообще ни о чем ее не спрашивала, потому что бабка Нюра считала меня дефективной по причине моего происхождения от матери-одиночки и презрительно добавляла к моему имени в качестве отчества исковерканное мамино имя. Я не знала, что такое планида, не знала, как с ней правильно обращаться, и поэтому я тихо произносила это слово вслух, перекатывала во рту, как конфету с неизвестным вкусом, и мне казалось, что планида — это что-то сферическое, как планета, темно-синее или фиолетовое с вкраплениями, как звездное небо в августе в горах, шарообразное, купольное, как парашют, готовое раскрыться над тобой и тебя же прихлопнуть, что-то большое, висячее, как огромная хрустальная люстра в театре, и ты сидишь во время спектакля, жалкий обсессивно-компульсивный невротик, и думаешь: только бы она на тебя не упала, только бы не упала. Это что-то защитное, обнимающее тебя, как мотоциклетный шлем, и что-то

одновременно опасное, опутывающее, как медуза. Это что-то, что умнее тебя, что старше до и после, безличное и безразличное, как космос, какая-то бездна, которая смотрит в тебя и моргает.

Планида бабки Нюры была в том, чтобы родиться где-то в западных плодородно-медовых землях, кажется Белоруссии, долго ехать через всю Евразию в дикую страну Сибирь, наряжаться по воскресеньям в костюм-парочку, умасливать волосы, заплетать их в толстую, как корабельный канат, блестящую косу, подвязывая ее ленточкой, присланной братом из армии, и идти в церковь (Нюра шла по улице, и местные девки завистливо цокали языками на ее косу и стать: выше сибирячек на полголовы), потом выйти замуж в шестнадцать, естественно, не от любви, и дальше, как по писаному, добывать хлеб — в поте лица, рожать — в муках, хоронить детей и опять рожать, отдавать зерно для экспроприации (наверняка ведь не выговаривала этого слова — расписывалась крестиком) и сажать картофельные очистки вместо картофеля во время войны.

Бабки-Нюрины металлические глаза никого не любили, но вряд ли в этом виновата она сама. Любил ли кто-то бабушку Нюру? Не знаю, наверное, дети, которые — одним больше, одним меньше — не суть (их было одиннадцать) — ее любили. Когда цыганка нагадала ей, что она умрет в сорок лет, дети облепили ее мокрым сопливым комом и выли: мама, не умирай. Мама и правда не умерла тогда, а умерла потом, в девяносто лет. Анна Михайловна Гуменюк просто захотела умереть — и умерла. Нет, она ничего не сделала, просто пришло время, и она не стала с ним бороться, не стала истерить, как истерят толстые женщины в платьях в мелкий цветочек на базаре за недовесок в пятьдесят граммов. Дети ее ссорились из-за того, кому ее хоронить, словно перекидывая эту честь от одного к другому: нет, ты — нет, ты. Когда в квартиру, где стоял гроб, набилось уже достаточное количество людей, которые не видели друг друга очень давно, Г., самый интеллигентный из них, доцент, попросил ножницы, потому что по средам он всегда стрижет ногти. Кто-то передал ему ножницы, кто-то другой тихо заматерился. Я уснула, свернувшись на кресле, в двух метрах от гроба, и совсем не боялась мертвую бабушку Нюру, потому что мама всю ночь читала Псалтирь. Мама пообещала это бабушке Нюре, потому что забыла, как на простом деревенском наречии назывались матери-одиночки. Вообще-то, у мамы тяжелая рука, она бьет с размаху, но потом просит прощения и ничего не помнит.

Когда я смотрю на себя в зеркало, я совсем не вижу в отражении белоруски бабки Нюры. Каким-то хитрым путем мне подмешали казахскую кровь, а капля восточной крови, как мускус в бочке воды, предательски себя выдает, и меня то и дело записывают в потомство татаро-монгольского ига. Но иногда такое чувство, что как будто внутри меня перекаати-поле, и оно начинает медленно распрямляться — тогда я знаю, чей это скрипучий голос сейчас говорит во мне.

В возрасте двадцати, кажется, начинает приходить просветление. Я стою на балконе пятнадцатого этажа, головой задеваю тяжелое северное небо, цензурирующее звезды, смотрю, как догорающий пепел от моей сигареты плавно пикирует вниз, и загадываю, чтобы он не поджег соседний балкон. Над всеми нами планида: над бестолковой мной, над жужжащим где-то вверху самолетом, вылетевшим из Пулкова, над бомжом, роящимся в мусорке. Есть такой праздник — Покров, очень русский праздник. Желательно, чтобы снег выпадал на Покров, но снег нынче не дисциплинирован, бывает по-разному. В моем понимании, за те почти сто лет, что жила бабка Нюра, планида могла стать более человеколюбивым началом, не языческим древнегреческим фатумом, а добрым русским Покровом, распростертым пуховым платочком, в который рано или поздно всех все равно поймут и завяжут, как в мешок, и пойдут вытряхивать к Пулковским (тут близко) высотам, а мы будем лететь и смеяться.

* * *

С тех пор как я оказалась в Петербурге, все не переставала задаваться вопросом: какая же здесь весна? Собственно, интересовалась я и другими, не менее значимыми проблемами: какое здесь небо, какая вода, какой снег? И все мне, конечно, казалось иным, чужеродным, слепленным из другого теста. Небо — какое-то длинное, пологое, огромное, растянутое, как простыня на веревках. Солнце — главная загадка; день его нет, два нет, неделю нет, счет потеряла. И вот думала-думала я, представляла себе весну, тоже другую. Казалось, что придет она такая же серенькая, такая же невзрачнейшая, как все остальные здешние времена года, придет, как укутанная бабка на рынок, что и лица не разберешь, развесит свое темное тряпье и сделает этот город еще серее. И пойдет серыми паутинами Нева, заскворчит, зарычит, как разбуженный зверь, встрепенется и лопнет. И представлялось, что пострадать нужно за такую весну хорошенько. По лужам походить, ноги промочить, горло простудить, а там, глядишь, и выкатит кто на небо желтый тепленький ровный кружок. А весна пришла совсем по-другому. Она пришла, как маленькая, чуть нагловатая девчонка в веснушках, она как будто ворвалась в чью-то квартиру, хохоча и прыгая на одной ноге. Ни хмари, ни морока, ни мороси — солнце одно и небо одно. Солнце дробится на тысячи солнц и самодовольно плавает в чернеющей воде. Пахнет пылью, утопанными дорогами и майскими праздниками на даче, которую давно продали. Мне сказали, чтобы не обольщалась. Что, мол, ненадолго. Женщина, покупавшая в аптеке антидепрессанты и витамины, говорила, что такая весна — в награду за серую зиму. Бог знает за что и зачем, а только сердце мое растаяло чуток. И показалось, что весна эта как распрекрасная девица с длинными косицами, теплая спресонок, завернутая в одеяло, пришла откуда-то с моей родины. Она идет, а за ней одеяло тащится, а там разные-разные не то лоскутки, не то кусочки разграфленной земли, которые видно, когда самолет взлетает: белые — гречиха, желтые — подсолнушки, золотые — пшеница.

Конечно, прав был Шпаликов, когда писал: «Путешествие в обратном // Я бы запретил, // Я прошу тебя, как брата, // Душу не мути», но все-таки... Однажды в моем маленьком городе мы встречали весну. На берегу полноводной сибирской реки стояли трое: первая — в коричневое пальтецо одетая женщина с еще пока ясным, сияющим взглядом, который так беззастенчиво выдает когда-то бывшую бодрую и простую крестьянскую красоту, вторая — моложе, с гривой каштановых волос, с чертами тонкими и глазами печальными, третья — еще совсем девочка, про третью ничего не буду говорить, третья — я. Это был первый и последний раз, когда мы встречали ледоход. Обь взрывалась, вскрывалась, с шумом отторгая заостреннейшие льдины. То ли в шутку, то ли всерьез мама сказала, чтобы я помахала рукой проплывающим на льдине зайцам. И добавила еще что-то из Некрасова. Мне вот скоро пойдет третий десяток, а я все не разобралась с теми зайцами: были ли, не были ли на самом деле, а от мамы так ничего и не добьешься.

Прошло много весен, я стою теперь одна на берегу уже не Оби — Невы, гляжу в черную воду. И все же отчаянно верю, что растрепанная весна — с моей родины, а зайцы были пренебрежительно.

* * *

Мы стояли, набившись под завязку, в мастерской одного художника. Каждый художник, если он только настоящий, однажды в своей жизни видит что-то: ангела, нечаянно черкнувшего крылом стрелку на небе, которую все приняли за след от самолета,

звезду, умершую тысячу лет назад, но забывшую досказать последнее слово, вспышку во Вселенной, от которой зарождается жизнь и гибнет цивилизация, от которой обычный человек слепнет до двух сохшихся смородин вместо глаз, а он, художник этот, прозревает, как апостол Павел. В. М. увидел синь. Может, ту самую, про которую писал грубоватый, но чертовски красивый поэт. Ультрамарин тек по холсту, как кровь из артерии, пульсировал, бился, выливаясь то длинной северной рекой, то северным небом, то струящимся северным воздухом. На синь ложилось коричневое дерево: как крест церковный, могильный или дорожный, как зарифмованная земля, как сама жизнь. В удушье прокуренной и пропахшей краской комнаты, под «тысячью биноклей на оси» В. М., как все истинные художники, разводил руками и не знал, зачем сквозь пальцы начала струиться эта краска, повторял, что «так он однажды увидел Русский Север». Тогда закралась дерзкая мысль: привирает немного, подцвечивает, подкрашивает скупой Север, как в графическом редакторе, обманывает наивных барышень.

Год спустя увидела сама: не привирает, все правда, до слова, до штриха, до капли. В отчаянных ночных попытках выучить «еще билетик» для экзамена, как награда, про rvalось это небо: высыпалась черника из лукошка, покатила, посыпалась бусинами, пролила рассеянная девушка полные ведра холодной воды с коромысла, все расплескала. И синие небо стекает вниз, затопляя собой, как половодье, как неизбежность, и медлительную реку, и бездну колодца, и море, и людей, и все пространство, делая воздух окрашенным и твердым, как тяжелый камень аквамарин на маминых сережках. Северный край сам тосклив и прекрасен, как затянувшаяся песня, своим стеклянным воздухом, который, кажется, задрожит и рассыплется от прикосновения, вязкой замедленностью слов и мыслей, угрюмой настойчивостью худых деревьев, ползущих по камням, приглушенными голосами, зияющими глазницами выбитых окон брошенных домов.

К утру кто-то мешает ложкой в небе — синева растворяется, получается взвесь, звезды немного просвечивают, как сквозь марлю. А может, краска сама отваливается, как на лепестки рассыпаются старые фрески. И что-то в этом болезненное, мое, родное. Небо линяет, как постиранное платье, выцветает, как постепенно выцветают серо-голубые глаза моей матери. Когда-то выцвели глаза ее бабки, она была похожа на белую птицу или доброе привидение, потом поблекли глаза маминого отца. По линии мамы все люди как будто растрачивают отведенный им за жизнь цвет. Я смоляная — моя краска не кончится. Но сквозь кожу на висках и руках упорно проступает сетка вен, таких ветвистых, как рукава рек на физической карте мира. В детстве я стеснялась этого, потому что разные тетki плевали себе на пальцы и пытались оттереть «чернила с лица испачкавшейся девочки». Эти подкожные реки наконец породнили меня, накрепко связали морским узлом с бесконечным пространством и небом, глубоким, как Марианская впадина, блеклой синевой северной летней ослепшей ночи и чередой людей, стоящих где-то уже позади, за правой лопаткой. Я не рассмотрю никогда их глаз.

* * *

За стенкой комнаты в общежитии слышно, как чихает сосед, как шкварчит, обжариваясь, картошка на сковородке, как неуклюже чье-то сопрано ругается матом. Сегодня за стенкой пели. Нет, не душераздирающее: «Я вижу, я снова вижу тебя такой. В дерзкой мини-юбке, что мой покой...» Откуда-то, как дым, стелющийся по земле, выползала песня, длинная, тягучая, медленно струилась по коридору, заглядывала ко мне, стекала вниз по лестнице, просачивалась сквозь щель в двери, пока кто-то выходит, пробиралась на улицу, шла топиться в Финском (тут рукой подать) заливе. Я не помню мотива. Я не знаю этого языка, но, должно быть, какой-то восточный, потому

что и слова там такие сложные — буква за букву зацепляется, — и в горле у нее камешки насыпаны, ударяются друг о друга, булькают. Не пойдешь же спрашивать по комнатам: кто поет? Наверное, она красивая, и бровь смоляной дугой взлетает, и глаза большие, грустные, и в душе — глубоко и чуть-чуть больно, иначе как споешь такое? А музыка все стелется: река где-то в горах так воды свои несет бережно, извивается, собирает в себя камни, а вокруг — темнеет, сумерки спускаются, а в ней еще жизнь вроде бы есть, даже свечение, заблудишься если, то все равно к ней выйдешь, или орнамент, вышитый на платье, каждые пять сантиметров повторяется: стежок, петелька, снова стежок, или когда долго-долго в степи едешь, а там всполохом возникнет избушка одинокая или перелесок — как острый зубец задышавшего человека на ровной кардиограмме. Или жизнь эта сама и есть — вязкая, как струйка меда, когда его свежий качаешь, как нитка шерстяная, когда распускаешь старый свитер, но в ней щелчком выключателя света, точкой и пробелом узора — рождение и умирание как условие, как необходимый закон всего сущего.

А потом кто-то стал играть на губной гармошке (да у нас тут и не такое бывает — прямо консерватория), и она замолчала. Я не помню мотива. Мотив проскользнул сквозь пальцы. Так, просачиваясь, уходит музыка, время, улыбка твоя, сердце мое, дурное степное солнце из моих глаз, память, сам сквозь пальцы свои в песок уходишь.

ПРО ЕРУНДУ

У «Сплина» появился новый альбом, а у меня — две мысли, мало связанные между собой, но возникшие не без участия одной песни из него.

Еще раз убеждаюсь, что русская музыка — это литература. А литература (хорошая) — еще иногда и музыка, но сейчас не об этом.

Я никогда не страдала орфоэпическим снобизмом. Во-первых (что тут скрывать), сама не без греха, во-вторых, Антон Павлович завещал, что хорошее воспитание заключается не в том, чтобы не пролить соуса на скатерть, а не заметить, как это сделал твой сосед, а Антон Павлович еще ничего плохого не посоветовал.

С преподавателями я перестала препираться в классе девятом, потому что поняла, что это, во-первых, бессмысленно, даже если борешься за права каких-нибудь несчастных, пожираемых племенем канныбалов, во-вторых (почти всегда), неинтересно. Сейчас веду себя очень смиренно, хоть и не знаю, чего здесь больше на самом деле — смирения или малодушия, но все-таки был несколько лет назад в несостоявшейся alma mater такой эпизод.

Семинар по археологии. Обсуждаем культуру, кажется, тагарскую. Я перечисляю, что было найдено в древних захоронениях. В общем-то, набор почти традиционный: погребальный инвентарь, то-се; и тут неожиданно и беспардонно всплывает береста с совершенно снобистским, как правильно положенные на опустошенную тарелку столовые приборы, ударением на втором слоге. Ну так меня научили мои филологи, извините. Далее спор о судьбах русской словесности принял рискованные обороты.

Мне: Нет, берестá!

Я: Нет, береста!

Мне: Все-таки правильно говорить: «берестá».

Я: Розенталь бы с вами не согласился.

Мне: А кто такой Розенталь? Я знаю, что есть какой-то доктор Борменталь, а про Розенталья — нет, не слышал.

К слову, «Доктор Борменталь» — это клиника у нас такая для желающих похудеть.

Я: Я вам потом расскажу.

В итоге все остались при своих, но я еще осталась и без «автомата» по археологии.

К чему это я? Конечно, я знаю, что вариант с ударением на последнем слоге стал уже почти литературной нормой, вот и в песне так поется, и ничего, ни один филолог не пострадал, и все органично, и песня крутится в моей голове, как в зажевавшем пленку магнитофоне, уже второй день. И все-таки в «берёсте» есть что-то эстетское, как в слегка отведенном пальчике руки в балетной позиции или простом карандаше вместо (о боже!) шариковой ручки, когда строчишь что-нибудь в музее. Но недавно мне показалось, что Андрей Вознесенский, учивший, что «не ерунда важна, а важно, что пришел, что ты в глазах влажна», уже давно всех помирил.

Да и почти случайно подслушанное на днях: «Самого главного я вам все равно не скажу» — уж воистину так точно, так правда, как вовремя прочитанная молитва, что хоть бери подстрочником для жизни.

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Душа и вправду не ведает судьбы. Мне кажется, я почти достигла той степени виртуозности и научилась слушать неинтересные лекции, брать интервью у косноязычных людей и видеть смысл там, куда его не предполагали вкладывать. Случайные воды стекаются вместе — получается море, случайные звуки — шум или даже музыка. Предупредили: особых откровений не ждите, да я и не жду. Ну, о возможном снобизме музейных работников рассказали, это вот, конечно, не очень для человека, у которого самооценка и так ниже плинтуса, а если еще и высокомерием придавить, — так от меня и вовсе останется контррельеф. Заранее думаешь, как вести себя в таком случае: опираться, как ерш, или затаиться, как запечный сверчок?

В ходе сложных логистических операций, неведомых человеческому разуму, как Божий замысел, я оказалась практиканткой в Михайловском замке. Михайловский замок сам по себе — место, внушающее не то чтобы страх, но какую-то неуверенность. Вторник, музей закрыт для посетителей, решетка, еще решетка на входе. Полудремлющий охранник, опрометчивая попытка сунуться не в ту дверь, из недр помещения высовывается некто с окриком: «Дама, дама, вы куда?» Расстраиваюсь, хватаю зеркальце, смотрю на себя, двадцатиднолетнюю, в пуховике, рюкзаке и шапке с торчащими «ушками», что могло вызвать столь обидное определение, ничего не нахожу, успокаиваюсь. Наконец встречает женщина из отдела, где буду работать. Красивая, в возрасте. Живые умные оленячьи глаза, что-то среднее между Татьяной Самойловой и Одри Хепберн. Галина. В отделе, куда меня приведут и который светится тремя желтыми окошками под самой крышей замка, сидит еще одна — так что концентрация Галин на квадратный метр явно превышена.

— Кто вы по гороскопу? — Г. А. спрашивает.

Я, поддавшись ее очарованию, прячу свой пыл революционного матроса, что, мол, ерунда это все, не верю:

— Овен.

— Вот и хорошо, значит, упрямая и трудолюбивая.

Приходится соглашаться — овен так овен.

В. А. нас все спрашивал: перед чем благоговеешь? Да много перед чем на самом деле. Перед людьми, одержимыми своим делом, которые из всей этой кромешной тьмы смысл выхватили, им свет где-то впереди померещился — они и идут на него на ощупь, наугад, не сбиваются. Все дело-то в том, что бытие мое часто мне кажется каким-то бессмысленным, бестолковым — одно сплошное «бес». И вот иногда я встречаю людей, которые как будто что-то нашли, что-то поняли — значит, земная жизнь не такая уж

и бездарная вещь, если у них получилось. Мне просто достаточно знать, что они существуют, и видеть их хоть краем глаза.

Г. А. ведет меня, как Орфей, не то чтобы по царству Аида, но все же по подвалам замка (того и гляди, тень Павла I мелькнет — а что, мне бы тоже не понравилось, если бы по моей квартире ходили всякие незваные). Наконец выбираемся в отдел скульптуры XVIII века и антиков. Солнце скользит за нами сквозь анфилады залов, не догоняет. Г. А. замирает у «Минервы», я не знаю, отблески ли солнца пляшут на зрачках ее двух пронзительных, смотрящих в самую суть меня черных смородин, сами ли они излучают что-то. «Минерва» тоже погружается в вязкое облако обволакивающего солнца и подсвеченных пылинок, мрамор теплеет, плавится воском, контуры становятся зыбкими, мягкими, еще чуть-чуть — и дрогнет уголок ее рта. «Вахк», совсем не наглый, пока что не разомлевший от вина, тоже светится какой-то особенной одухотворяющей силой, мне кажется, он ее узнает. Вообще, в этом всем есть что-то от утреннего обхода врачом палат больницы: все ли живы, как себя чувствуют. На старости лет я, грешный человек, полюбила песни одного музыканта, которые обычно начинают ставить на «репит» в более юном возрасте, но в то время я играла на фортепиано этюды и участвовала в олимпиадах по МХК, так что все пропустила. Так вот, у него, точнее у нее, есть строчка: «Я помню все твои трещинки». Мне кажется, Г. А. помнит их у всех своих «Минерв», «Вахков», «Аполлонов», «Диан» и прочих каменных идолов, ночью разбуди — скажет. Выходим на верхнюю площадку парадной мраморной лестницы — пустота и величие: ни шелкающих тебе фотоаппаратами туристов, ни «посмотрите налево/поверните направо».

— Замок, конечно, немного давит, а на лестнице нет такого ощущения, вот почувствуйте себя здесь.

Чувствую. Здесь действительно много воздуха и пространства, и оно спадает мощным потоком, как водопад, как ГЭС, по сходам лестницы вниз. Нужно все-таки, чтобы был кто-то, кто рассказал бы про такую лестницу или про барочный собор, который вот-вот сейчас оторвется от земли, сбросив нижний этаж, как отпавшую ступень ракеты, и улетит в небо. Вот как быть искусствоведом, когда у самой духовное зрение минус шесть?

Но это все так, прелюдия, увертюра, замануха. Работка у меня пыльная — разбирать архив, до которого уж не знаю сколько лет не касалась рука человека. Касаюсь — ладонь покрывается серебристо-черным налетом. В архиве документация на любой вкус — от сметы на устройство канализации в Летнем саду до сценария детского праздника по мотивам басен Крылова. Мне иногда кажется, что неудержимое стремление плодить столько бумажек (впрочем, как и столько букв) — это какое-то подсознательное средство борьбы со страхом смерти. Страшно умирать, а здесь — оставил после себя кипу бумаг, материальный след, закрепился в истории — уже и не так. Без бумажки ты букашка (или что похуже). Среди архивных дебрей нахожу распечатку с цитатой Петра I, суть которой сводится к тому, что свои проекты нужно делать хорошо, а кто будет плохо — того бить кнутом и ссылать куда попало. Улыбаюсь.

В отделе свой особенный мир. Если кто-то смотрел фильм «Кококо», то сразу бы узнал эту незримую общность, роднящую всех научных сотрудников, как балетных — выправка или шахтеров — черные несмыываемые вкрапления в глазах. Все-таки Дуня Смирнова — гениальная женщина. Время просто не доползает до верхнего этажа, уважительно обходит стороной. Здесь эпоха безинтернетья, не работает принтер, не признают точилки для карандашей, вечное обращение на «вы» и радость оттого, что кто-то вычитал, что первые слова маленького Петра Петровича были «мама», «папа» и «солдат». Зовут меня пить чай с ними пять раз в день — соглашаюсь, но только (не наглею) один. Вообще, пришла к выводу, что одна из главных черт интеллигента — уважение к человеку заведомо, заранее, просто потому, что он — человек. Я училась

в школе, которая по местным меркам была довольно «крутой», у нас были интерактивные доски и не было обшарпанных грязно-зеленых стен в коридоре. Это, конечно, гораздо лучше, чем среднестатистическая школа городских окраин, но если у меня когда-нибудь будут дети, я не отдам их туда. Нас учили почти всему, только не научили, как это — быть человеком. Был какой-то вымученный, как советская пропаганда, культ педагога: лакшери-ватерклозет для учителей, в который боже упаси зайти простому смертному, и огромный трехметровый забор из самомнения — непреодолимое расстояние.

Прошло четыре года — я сижу с кандидатами наук за одним столом, и они разговаривают со мной вроде на равных. Конечно, я изменилась: внешне, но не настолько, чтобы быть неузнанной, и внутренне, но все то, за что меня можно было уважать и не уважать, — осталось при мне.

Из бесконечных разговоров за чаем я узнала:

- сотни историй про безвинно покалеченную скульптуру Летнего сада и героическое ее спасение;
- что мне повезло учиться в то время, когда искусствоведов (да и не только) не заставляют проходить обязательные курсы военных медсестер. Г. А. заставляли. Говорит, сидела на этих курсах зажмурившись и заткнув уши: становилось плохо. Потом нашла способ — стала рассказывать больным про искусство. На вопрос: «Кто же тогда ставил уколы?» — кокетливо отводит блестящие молодые глаза в сторону — видимо, кто-то другой;
- здесь могут говорить вместо «флешка» — «флеша». (Ну, «кура с гречей» — я смирилась, даже перед сибирскими друзьями гарцую этими словечками, «сосуля» — уже странно, но «флеша»?).

«Милосердное время не тронуло этих мест», это правда. Чтобы сломить сложившийся порядок вещей, чтобы провести Интернет и сделать так, чтобы молодых сотрудников принимали без кумовства не внештатным помощником помощника, нужен, наверное, новый Петр, а может, и не один. Но иногда мне кажется: а надо ли? Пройдет еще десять лет, пятнадцать, а три желтых окна так же светятся под самой крышей замка, люди все сидят за овальным столом, и лишь иногда — яркое зарево вспышки — отдельные стулья внезапно пустеют — вот это уже по-настоящему грустно.

Андрея Кураева, по-моему, как-то спросили: не кажется ли ему, что все противоречия, неправильности, несовершенства мира являются доказательством отсутствия Бога — он сказал, что, наоборот, для него это как раз символы присутствия и сложности замысла, знак качества, если так можно сказать.

ОКРАИНЫ

«Если никогда не пойдешь в лес, с тобой никогда ничего не случится». Я не ходила. Ни в лес, ни в поле, ни даже за/на гаражи. Как мне удалось при этом вырасти нормальным человеком? Не знаю, удалось вроде. С особенностями, конечно, развития, как это модно сейчас говорить, но все же. Пуще всего, однако, я боялась городских окраин. Они представлялись какими-то верхними, самыми прохладными кольцами ада, случайно наслонившимися на пространство, такой его промоверсией. Это как у Аврелия Августина: зла и подавно нет, есть только добро, но оно как солнце — чем дальше от него, тем хуже. Казалось, что на городские окраины просто не хватило эманаций разумной жизни, здравого смысла и нормативной лексики, а потому несчастные люди, случайно выжившие, как в страшных фильмах, после атомной войны или инопланетного вторжения, бродят там впотьмах без цели и смысла.

Но я утрирую, конечно. На самом деле было чего бояться. До моих пяти лет мы жили в спальном районе города Б. в доме, куда расселили людей из даже — нет — не двенадцатикомнатных коммуналок (это вам не Питер), а из деревянных бараков, чудом уцелевших чуть ли не до 70—80-х. В этом доме соседи сверху били свою собаку так, что к нам по батареям текла кровь и был слышен каждый чех за стеной, потому что горе-архитектор что-то напутал с сэндвич-панелями. В Древней Месопотамии, кажется, убивали строителя, если от дома что-то отваливалось и этим чем-то убивало сына хозяина дома. Но у нас, говорят, гуманизм. Переезд казался волшебным. Представлялось, что приедет подъемный кран, поднимет наш дом и перенесет его в центр, аккуратно на площадь Советов или Сахарова. Однако произошло иначе, и меня печалило только одно: что моим будущим шести детям придется тесниться в маленькой, хоть и в хорошем районе, квартире (впрочем, «шесть детей» — это результат уже тогда проявившегося математического кретинизма, на самом деле планировалось «два мальчика и две девочки, а всего шесть»). Но все равно было весело. Нанятые за ящик водки мужики сомневались, заносить ли пианино, но мама посмотрела на них строго, и их старший бригадир (если это так можно назвать) скомандовал: «Несите „Шопена“!», и они послушно понесли «Шопена» на пятый этаж. Я мешала, сновала из комнаты в комнату, и меня, тогда маленькую худую шуку, передавали на руках через дверные проходы, и я взлетала над заваленным баулами и коробками пространством не хуже шагаловских влюбленных.

Уже будучи взрослой, я посмотрела спектакль «Поток» в местном Молодежном театре. Это была остросоциальная вещь с примесью экзистенциального ужаса, порожденного средой, но в конечном итоге могущего существовать и без нее. Поток — это такой спальный район в Барнауле, каких в России тысячи, кошмар алкогольной амнезии заблудившегося Лукашина из «Иронии судьбы». Режиссер, питерский кстати, играл со словом «Поток» в значении конкретного района, потока сознания и потока человеческой жизни. Больше всего в спектакле мне понравилась программка, в которой было написано, что «Поток» универсален, что в Питере тоже есть свой «Поток» — это Ульянка и Купчино, например, и что жизнь происходит там, а не на Дворцовой площади. Я была согласна с режиссером, но решила, что лучше я надену пакет на голову или аквариум и буду дальше учить МХК, чем такая жизнь.

Как ни странно, в Питере меня поселили не в Купчино, а на Васильевский остров, на дальнюю его оконечность. Культурная память сразу предательски подсказывает, зачем приходят на Васильевский остров, и хоть в первую же неделю я заболела жутким бронхитом (меня не узнавали по телефону и просили позвать Галю), но не тут-то было. Остров оказался не столько окраиной, не спальным районом в бытовом смысле, а просто краем, обрывком пространства, концом человеческой ойкумены, как раньше кто-то из древних считал, что за Черным морем какой-то финиш, Мордор. Просто кончалась земля и начинались небо и море. Петр в своей горячности рубил этот парадиз топором, да ударил резко, и остров, какой-то немного недоделанный, неоконченный, остался открытым концом, рваной раной у Финского залива. Знаете, он очень похож на грушу неправильной формы или сердце, настоящее, не мультипликационное, такое, какое бьется в открытой грудной клетке во время операций по телевизору. Рядом со мной на острове были кладбище и морской порт, хоть плыви на все четыре стороны. Но я полюбила и кладбище, и порт, и даже мокрый воздух, которым можно умываться, если просто выйдешь на улицу.

А потом я переехала на юг, на юг Петербурга, разумеется. Вот это уже настоящая окраина. Я трачу больше часа, чтобы добраться до учебы, и все равно стабильно опаздываю на десять минут. Я ныряю в метро-душегубку, и лица пассажиров, как на групповых портретах какого-нибудь Халса, выхваченные из темноты неверным тусклым

светом и вставленные в раму окна мчащегося вагона, уже делимы мной на несколько типов: вот девушки-студентки с длинными, на прямой пробор волосами, каким-то чудом покрашенные в девять утра, бывшие партработники с непроницаемыми, бронированными лицами, девушки-студентки с гулькой на голове, ненакрашенные, молитвенно повторяющие конспекты, бабки, сжигающие взглядом за неуступленное место, и «просвещенные» бабки с ясными глазами, отказывающиеся от места, — и поверх всех них — мое серое, потухшее лицо, перечеркнутое надписью «не прислоняться». Но мне нравится такой расклад, что от необходимости преодоления времени и расстояния усилие становится более осознанным. По вечерам на фасадах многоэтажек проступает космос огней, и я уже знаю, в котором часу появится местная Андромеда или Большая Медведица. Часам к одиннадцати все сливается в один сплошной Млечный Путь, и только пролетающий где-то сверху самолет подмигивает мне сигнальными огнями (я все равно не переплюну быковское слегка богохульное, но классное сравнение про «окуроч Божий»). Когда жила на острове, слышала гудки уходящих кораблей в порту, теперь слышу и иногда вижу самолеты (рядом — Пулково) и хочу только одного — чтобы самолет долетел. Мне нравится эта центробежность, эта потенциальная попытка к бегству и возможность кратчайшего пути ее осуществления, нравится это непрерывающееся движение как доказательство еще не прерванной жизни вокруг и в себе. Мама, беременная мной, любила смотреть из окна на поток машин, скользящих по ночному шоссе, потому что ей было тревожно, но машины летели, и становилось спокойнее, и она все считала, сколько ей будет лет, когда мне будет десять, пятнадцать, двадцать. Мне нравится эта маргинальность, пограничность, конфликт пространств, потому что на границе света и тьмы рождается что-то третье, потому что метисы, как правило, красивые, потому что *opus mixtum* (кто знает, тот поймет) — это гениально, ей-богу.

* * *

Отчетливее всего я осознаю, что в последнее время живу «не дома», когда наблюдаю очередной свершающийся цикл сезонных ритуалов — такая повседневная домашняя магия: вот сейчас, например, в промышленных масштабах все скупают стеклянные банки, уксус и лаврушку, чтобы накрутить столько солений, что все равно никто не съест, и все это будет храниться бог знает сколько лет в погребе или кладовке (триста? пятьсот?), пока дотошные археологи не раскопают, как сейчас где-нибудь в Италии или Франции то и дело раскапывают непочатые бутылки вина. Ну, яйца, конечно, на Пасху крашу, но все равно как-то не то. Я, дремучий человек, не признаю всех этих люминесцентных красителей, я за простые ассоциативные цепочки и ясные метафоры. Яйцо на Пасху — это ведь, по сути, камень в крови, и точка. А лучший кровавый цвет, именно кровавый, не фуксия — вырви глаз, не цикламен — привет, Барби, дает луковая шелуха. Я плохо подготовилась в тот год и пошла побираться по окрестным магазинам в пятницу вечером, когда у уважаемых матрон уже и яйца маслено блестят, и глазурь бесформенным липким айсбергом, в который как бы выстрелили из хлопушки, стекает по куличам-пенькам. Продавцы в «Пятерочке» смотрели на меня непонимающими раскосыми глазами, в которых было все что угодно: и змеиный шелест песка среднеазиатской пустыни, и жестокое, как восточная деспотия, солнце, и резкий призывный вскрик муллы на минарете, и свежий, как глоток ледяной воды, отблеск лазурной майолики на куполе Биби-Ханым, но только не вера в то, что я не Роспотребнадзор, который пришел снимать какие-то неведомые пробы и просит ради всего святого — Бога, пусть даже и Аллаха, если вам так хочется — позвать администратора и дать наконец луковой шелухи со склада.

Еще я скучаю по противному запаху варящегося капустного супа, который я не ем, впрочем, как и соленья. Но это все по части домашней ностальгии. Что же касается уличной, то тут, пожалуй, грущу разве что по вечному песку в туфлях (жила-то в Барнауле на Песчаной улице, и мне кажется, что на месте и моего дома, и двух детских садиков под окнами с функцией будильника по утрам было какое-то древнее море, прекрасное в своем величии и равнодушии), по особенному свойству воздуха, который в расплавленном при плюс тридцати по Цельсию виде умеет застывать в состоянии теплого желе, промежуточном между ветром и покоем, по возможности выйти на улицу летом без куртки и точно не вернуться с пневмонией.

Но мир устроен по закону контрапоста: изъятие и высвобождение чего бы то ни было в одном месте неминуемо влечет к образованию и народжению новых материй. Курс валют нынче странен, порой обсчитывают, и взамен я получила немного, но все же: во-первых, ощущение скорости, когда поезд летит по тоннелю метро так быстро, что кажется, что с кровью и плазмой произойдут какие-то необратимые процессы, но вся память чужой ингерманландской земли, вся хитрая болотная нечисть, весь мох и лишайники на камнях все равно как-то успевают просочиться из этого тоннеля в открытые форточки вагона; во-вторых, ощущение неба, настолько близкого, что чувствуешь себя выросшим на несколько сантиметров, настолько приставленного к тебе, что, пожалуй, нужно редактировать мысли, чтобы Бог ненароком не услышал все твои думы океанные, мысли потаенные, а то мало ли что.

* * *

Кто о чем, а подводник о подводной лодке, конечно. Может, только от острого дефицита пусть нездорового, чахоточного, но все же солнца я с настойчивостью человека, страдающего навязчивым расстройством, говорю, пишу и думаю о свете. Ни коралловые рифы, ни Ниагарский водопад, ни соляные пещеры, ни наслоение древних пород, ни каменные столбы, ни Ленточный бор — ничего не захватывало меня так, не удивляло, не останавливало дыхание, как простой луч света, просверливающий тьму насквозь. Порой, когда он после месяцев томительного — с ноября по февраль — ожидания, как стыдливый гость, не посещавший тебя долгое время, все-таки робко прокрадывался в мою комнату и прочерчивал тонкую блестящую биссектрису от заплеванного окна до темного угла и снова прятался, я подходила к оставленному им узкому отверстию-тоннелю в пространстве, чувствовала в нем дребезжание таких мелких-мелких частичек (не пыли, а чего-то еще: их видно, когда прищуришься) и легкое приятное жжение на ладони. Но потом и оно исчезало, и оставались серая простуженная комната и долгое-долгое невнятное воскресенье (не люблю воскресенья), когда утро незаметно переходит в сумерки, а там, глядишь, и в ночь.

Я встречала разные варианты света: наглый университетский (от него закрывались специальными ставнями, чтобы не мешал рассматривать диапозитивы), пыльный дачный, терпко пахнувший церковный, но ярче других был свет больничный.

Из всех детских травмирующих практик я испробовала не так уж и много. Я не совывала пальцы в розетку, не лизала качели, не ломала позвоночник (скучно жила, однако). Словом, я почти не делала ничего такого, угрожающего собственному здоровью и мировой безопасности. Из послужного списка — разбитый висок да разве что отравление церукалом (правда, не совсем по моей вине). От первого осталась заметная до сих пор вмятина (я тогда лежала на коленях у мамы примерно в иконографии «Иван Грозный и его сын Иван...», истекая кровью), от второго — память о первом самостоятельном лежании в больнице.

Дозировка этого церукала была сильно превышена (нужно было рассчитывать дозу, как для кошки, по моему тогдашнему весу (куда что делось), а не как для человека). В общем, судорогой свело шею, и я могла смотреть только в одну сторону, примерно как Наталья из «Тихого Дона». Мама искренне считала, что погубила меня. Дальше: «скорая» с мигалками, приемные покои, врачи, не знающие, что со мной делать и какому богу помолиться от этой напасти. В больнице мне категорически не понравилось. Я послушно шлепала в тапках, сползающих колготках и майке за толстой медсестрой по бесконечному коридору. Потом в палате над моей кроватью повесили табличку с моими именем и фамилией, что тоже было, во-первых, неприятно (я же не вещь, чтобы меня подписывать), во-вторых, как-то зловеще-пугающе (я сразу подумала, что меня подписали на случай возможного летального исхода). Из всего спектра медицинских услуг было предложено вечернее кормление манной кашей с ложки — человеческое достоинство было попрано и растоптано окончательно. Вдобавок ко всему освещение полностью не гасили, а где-то там, за головой, оставалась назойливо гореть мертвецкой желтизной одиноко свисающая лампочка. Потом от одного человека, отсидевшего за антисоветскую агитацию, я узнала, что в тюрьмах, оказывается, свет тоже не гасят.

Слава отечественной медицине, исцеление пришло неожиданно на следующий день (манная каша ли подействовала, злые чары ли потеряли свою силу), но шею как-то отпустило. Во времени я, конечно, потерялась (часов не было). Впрочем, великий Водолазкин учит, что времени и вовсе нет, потому что его нет в контексте вечности и в раю, например, тоже нет, ну а больница — место, сами понимаете, пограничное, там всякие чудеса бывают. В общем, я не знала, утро это или вечер, но свет лился в палату неотвратимо, беспощадно, снопами через огромное, с человеческий рост, больничное окно поверх крыш девятиэтажек спального района, иногда зацепляясь за антенны, где оставался клочками, трепетал, как язык свечки, как оторванный клочок ткани, и угасал. По силе этот поток был примерно как петербургские наводнения до строительства плотины, как девятый вал, как специально взорванное здание, как, простите за низкое сравнение, прорвавшаяся у нас однажды дома батарея с кипятком. Я лежала, смирившаяся со своей участью, на железной, рахитичной, корытоподобной кровати и удивлялась, как медсестры не замечают этого потока, как удерживаются они при этом на ногах или, напротив, не вязнут в нем, как насекомые в янтаре, и как они еще похожи на пчел в липком меду. Но мне скомандовали: с вещами на выход, и я не успела досмотреть, чем все кончилось.

Все-таки это было утро, и мы ехали с мамой в такси по заспанному городу. Теплая бледная мама, боящаяся за меня, как за китайскую вазу эпохи Цинь, пахла домом, я, нерасчесанная, неумытая, пахла больницей. Это было, кажется, Восьмое марта или что-то около, утренние джентльмены несли, как факелы на олимпиаде, подмороженные одинокие розочки на длинных стеблях, какие-то кули и свертки. И наша старая «Волга», и эти мужички — все вязли в кашеобразном, с нарушенной чередующимися оттепелями и заморозками структурой, снеге, таком же безнадежном и измученном, как слипшаяся овсянка, что я варю по утрам, все время путая пропорции. Серая мартовская невнятность взяла свое, небо — как застиранная некогда белая кофта, и весь этот свет остался, наверное, в больничной палате — неоцененный (как будто бы принятый за дешевую подделку), ненужный подарок для ничего не ведающих медработниц, а я, как бессловесный немой (потому что нужных слов еще не изобрели), так и буду мычать и махать руками в надежде описать увиденное, как человек, встретивший НЛО, но все будут только кивать и вежливо улыбаться, и никто не поверит.

АНТИ-НИЦШЕ:
идея «смерти» Бога
как продукт троллинг-стратегии

Статья четвертая.
Катастрофическое существование
в условиях «смерти» Бога

**С. Кржижановский о глобальных последствиях
«смерти» Бога**

Со вступлением человечества в XX век опыт жизни под покровительством и защитой Бога, которым прежде обладали миллионы людей, остался в прошлом. Его сменил процесс накопления опыта жизни без Бога и без Его защиты. Тексты Ницше активно участвовали в этом процессе, подводя читателей к мысли о том, что в условиях «смерти» Бога жизнь человека, цивилизации, культуры вполне возможна. Но оставался вопрос в том, что это будет за жизнь и чего в ней будет больше — благословений или проклятий, живого или мертвого, созидания или разрушений? И не обернется ли «смерть» Бога смертью культуры, цивилизации, гибелью осиротевшего и духовно обесилевшего человечества?

Прежде чем перейти к теоретическому анализу темы существования в условиях «смерти» Бога, рассмотрим в две картинки, две художественные зарисовки на эту тему. Первая — это миниатюрная новелла Сигизмунда Кржижановского «Бог умер»¹, помогающая прояснить суть ницшевской «злой вести». Но вначале несколько слов об авторе.

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, Окончил философский факультет ЛГУ и аспирантуру Института философии РАН. Автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Малая христианская энциклопедия». Т. I—IV (2003—2007); «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (в соавт.) (2015), «500 лет спустя, или 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016), «Европейская Реформация как духовная война. Теология генезиса modernity» (2017). Постоянный автор журнала «Нева». Победитель конкурса философских трактатов на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии?», проведенного Российской академией наук (Институт философии). Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Кржижановский С. Д. Сказки для вундеркиндов: повести, рассказы. М., 1991. С.200—207.

Сигизмунд Доминикович Кржижановский (1887—1950), одаренный большим талантом литератор-философ, поляк по крови, выпускник Киевского университета, мало публиковался при жизни. Спустя много лет, уже после смерти он был назван «прозванным гением». Однако, конечно же, он не был «прозван». Его, как и очень многих, втоптал в социальную ничтожность сталинский режим. Тем не менее он чудом выжил, духовно выстоял и сохранил свой талант. До нас дошла лаконичная автохарактеристика Кржижановского, свидетельствующая о незаурядной силе его ума и духа: «С сегодняшним днем я не в ладах, но меня любит вечность». В наше время его тексты-фантазмагии вполне заслуженно ставят в один ряд с произведениями А. Платонова и М. Булгакова, Ф. Кафки и Х.-Л. Борхеса.

Крохотная миниатюра «Бог умер» (1922) представляет собой стилизацию полноценного литературного теоморта, созданного с помощью великолепного языка. Обладающий высокими художественно-философскими достоинствами, он дает богатую пищу для размышлений.

Новелла рождает у читателя внутренний диссонанс. С одной стороны он видит однозначность позиции автора, для которого, казалось бы, «Бог умер» в самом деле. Дата (1922 год) и место написания миниатюры (Москва) только укрепляют впечатление прочной задекларированности авторского атеизма. Однако в тексте, кроме прямых суждений о «мертвом Боге», присутствует общий стиль, и тон авторского повествования, свидетельствующий о том, что вселенская онтологическая катастрофа «смерти Бога» не вызывает у новеллиста ни малейшей радости. На это указывают виды реакций на совершившееся, выказываемые главными героями. Лондонский профессор-религиовед, ученый-астроном из Гринвичской обсерватории и талантливый поэт далеко не в восторге от того, что произошло. Их реакции не похожи на ликования атеистов. То, с чем столкнулось человечество, говорит о каком-то невероятном, дотоле не виданном сбое во всей системе миропорядка.

Новелла выстроена как небольшая гирлянда из самостоятельных и вместе с тем внутренне связанных между собой мизансцен. Действие происходит в 2024 году.

Сцена первая. На небесах

Все начинается с безрадостной констатации: то, о чем когда-то разглагольствовал один известный философ (имеется в виду Ницше), свершилось: Бог умер. На небесах паника, ангелы заволновались, боясь взглянуть туда, где еще недавно пребывал Бог. «Пустота зародилась и ширилась черной ползучей каверной там, где был Он, развернувший пространства, бросивший в бездны горсти звезд и планет». На Его месте образовалось черное, холодное, мертвое Ничто.

Сцена вторая. Лондонский кабинет профессора-религиоведа Томаса Грэхема

Престарелому ученому, профессору кафедры истории религиозных предрассудков потребовалась одна важная старинная книга. Но она странным образом исчезла из его шкафа. Все обыскав и почувствовав, как расстроился привычный порядок его ученой, кабинетной жизни, он крайне огорчился и раздраженно пробурчал: «Бог знает, куда она девалась». Далее следует авторская ремарка: «Но Бог не знал, куда девалась книга мистера Грэхема, даже этого. Он был мертв».

Сцена третья. Гринвичская обсерватория

Астроном мистер Брудж, завершающий обычное ночное наблюдение, обнаруживает, что из созвездия Скорпиона напрочь исчезла одна звезда. После тщетных поисков и тревожных раздумий он покидает обсерваторию, и когда он поворачивал ключ в дверях, рука его чуть-чуть дрожала.

Сцена четвертая. Комната прославленного поэта

Виктор Ренье сидит за рабочим столом, под зеленым абажуром и пишет. Рифмы сами соскакивают с кончика пера, щеки горят румянцем. Муза дарит ему вдохнове-

ние и острое чувство чистого и блаженного счастья. «И вдруг — что за черт? — мягкий толчок в мозг, — и все исчезло, от вещи до вещи, будто свеянное в пустоту. Правда, ничто не шевельнулось: все было там, где было и так, как было. Но из всего — пусто: будто кто-то, коротким рывком выдернул из букв звуки, из лучей свет, оставив у глаз одни мертвые линейные обводы. Было все, как и раньше, и ничего уже не было... Поэт глянул на рукопись: буквы, из букв слова, из слов строки. Вот тут пропущено двоеточие: поправил. Но где же поэма? Огляделся вокруг: у локтя — раскрытые книги, рукописи, зеленая шляпка лампы; дальше — прямоугольники окон: все — есть, где было, и вместе с тем нет. Ренье зажал ладонями виски. Под пальцами дергался пульс. Закрыв глаза и понял: поэзии нет. И не будет. Никогда».

Сцена пятая. Общая панорама происходящего

Наступила роковая ночь, когда первый черный луч из бездны Ничто, оставшейся после умершего Бога, достиг Земли. Сначала умерла поэзия. Поэт Ренье окунул стальное перо в баночку с ядом и проколол им кожу: этого было достаточно. В это же самое время уже разрывались и спутывались орбиты соседних планет. Небо пустело, воцарялась полная тьма. Телескопы понапрасну обыскивали черную бездну, пробуя изловить хоть один звездный блик. Холодеющая Земля погружалась в вечные сумерки. Тысячи глаз, поднятые в небо, пытались отыскать там Бога. Но тщетно. Он был мертв.

Перед нами яркий художественный эксперимент с опытом буквального понимания мысли о смерти Бога. Автор изображает эту смерть как действительно состоявшееся вселенское событие. Однако, исследуя воображаемую жизнь землян в условиях смерти Бога, он движется совсем не за Ницше, а в противоположном направлении. Он рисует картины, рассказывающие о том, что эта смерть является для человечества сверхкатастрофой, концом света с гибелью не только истинной поэзии и высокой науки, но и всего сущего.

Печальная история поэта Ренье, утратившего сразу же после смерти Бога свой творческий дар, как бы, предваряет ситуацию середины XX века, когда прозвучат слова Теодора Адорно о том, что после шока Освенцима невозможно писать стихи. У Адорно мы видим всего лишь усеченный вариант тезиса Кржижановского. Убрав фундаментальную причину тотальной творческой катастрофы, умалчивая о «смерти» Бога, он оставляет лишь концовку причинно-следственной связки — истребительные печи Освенцима. Но даже в урезанном виде эта мысль произвела сильнейшее впечатление на современников.

То, что у Ницше выглядит «развратительной идеей», безответственной фантазией, представлено Кржижановским как начало космической трагедии умирания человечества, Земли, Вселенной.

Следует отдать должное таланту писателя: его метафизическое фэнтези обнажает еще одну коварную подмену Ницше, преподнесшего грандиознейший предапокалиптический катаклизм в виде глумливого философского фарса, не вызывающего у его поклонников никаких особых чувств, кроме остренького, с оттенком скандальности, любопытства.

В фантастической новелле Кржижановского изображено только начало вселенского катаклизма. Полная его картина представлена в Книге пророка Исайи: «Вот идет день Господень, пылая гневом и яростью; жестокий то будет день: обратит он землю в пустыню, сметет с нее всех грешников. Погаснут на небе звезды, померкнут созвездия дальние, тьма закроет восходящее солнце, и луна не даст света. Я взыщу с этого мира за зло его, с нечестивцев — за их преступления, положу конец высокомерию гордых, осажу гордыню безжалостных. Соделаю так, что легче будет добыть золото, чем сыскать на земле людей; будут они драгоценнее золота офирского. Небеса Я тогда поколеблю, содрогнется земля от ярости Господа Воинств, сдвинется с места она в тот день, когда Его гнев воспыхает» (Ис. 13, 9—13).

То есть планетарный катаклизм не есть нечто, развертывающееся само собой. Господин Земли не может никуда исчезнуть, и сверхкатастрофа — это возмездие нечестивцам за совершенное ими «мыслепреступление», за то, что они сделали то, что хотели — совершили свое воображаемое богоубийство и обрадовались ему.

Итак, обозначились две исторические и экзистенциальные вехи в истории теоморта. Если первая передает смятение человека, вообразившего возможность смерти Бога-Отца, то вторая свидетельствует об ужасе, накрывшем человечество в результате действительно совершившейся Его смерти. Что же касается Ницше, то его фигура соединила XVIII и XX столетия, удалив из идеи «смерти» Бога весь фантазмагорический фермент и превратив ее в ключевую философему-идеологему социокультурной жизни позднейшей модерности, в базовый экзистенциал массового человека XX века.

Теперь о второй литературно-художественной картине. Автор романа «Преступление и наказание» рассказывает в эпилоге о ночном кошмаре больного сибирского торговщика Родиона Раскольникова. Самое удивительное заключается в том, что сон оказался пророческим. За несколько десятилетий до XX века появилось изображение того, что произойдет с многомиллионными народами, потерявшими вместе с Богом все свое здравомыслие, переставшими различать добро и зло, обезумевшими и двинувшимися навстречу своей гибели. Вот он, этот пророческий сон: «Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих, избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки, и не могли согласиться; остановилось земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, — но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спасти во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса»².

Здесь все выглядит гораздо страшнее, чем у Кржижановского, где мы видим начало мировой трагедии. У Достоевского изображено по-настоящему пророческое видение с переизбытком ужаса. Мы-то знаем, что реальность XX столетия оказалась именно такой, то есть буквальным воплощением раскольниковского горячечного бреда.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 6. Л.: Наука. 1973. С. 419—420.

Почему исторический процесс так и не превратился в нравственный прогресс, на который рассчитывали такие авторитетные атеисты, как французские философы-просветители XVIII века и марксисты XIX—XX веков? Почему зло, повсеместно бесчинствующее в мире, неистребимо, обладает невероятной искусительной силой и не собирается покидать историческую сцену? Почему, «избавившись» от Бога, человек не стал лучше, а оказался в условиях все более сгущающейся тьмы и безысходности? Что делать? Во что верить? На что надеяться?

Да, совершилось то, чего желали очень многие: Бог «умер». Но вопросы, которые называли «вечными», «проклятыми», встали преградой на пути у фаустовско-мефистофелевского человека, не позволяя ему пройти в «светлое будущее». Оказалось, что идея «смерти» Бога — это пропуск в пустоту, но не физическую, а метафизическую, смысловую, ценностную, экзистенциальную. Это идея провала не в сферу свободы от всего и вся, а туда, где нет *ничего*, ни свободы, ни необходимости, ни смыслов, ни бессмыслиц, ни добра и зла, ни истины и лжи, ни различий между ними, где *все равно и все позволено*. Там не на что опереться ни мышлению, ни воображению, ни смыслам, ни ценностям, ни нормам. Там нет ничего по-настоящему живого, поскольку живое не может пребывать в пустоте, питаться пустотой, развиваться в пустоте. А там, где нет живой жизни, воцаряется мертвая смерть. Потому пустота — эквивалент тотальной смерти, абсолютного небытия.

Учитывая это, не следует упускать из виду, что метафизическая пустота субъективна и не способна существовать за пределами человеческого воображения. Но поскольку в мире, не терпящем и не допускающем пустоты, она все-таки возникает и заставляет говорить о себе, то необходим код доступа в образуемое ею проблемное пространство. Роль такого кода и выполняет идея «смерти» Бога. Она также соединяет в себе несоединимое — объективную реальность живого, бессмертного триединого Бога с субъективным измышлением о Его мнимой смерти. Философский рассудок Ницше задекларировал акт подобного абсурдного соединения и тем самым создал дьявольскую ловушку для всех, кто поверил в правомочность подобной умственной процедуры. Приняв невозможное за истину, они провалились в пустоту прижизненного духовного небытия, в духовную смерть, оседлавшую их физическую, плотскую жизнь и направившую ее по наклонной магистрали, отмеченной вехами самообмана, греха, дьявольщины, смерти и inferno.

«Бич Божий» как шквал катастроф

Слова Ницше «Бог умер», обращенные *igbi et ogbi*, прозвучали как главный меседж великого интеллектуального инквизитора. И хотя эта злая весть была услышана и принята очень многими, обращает на себя внимание примечательный парадокс. Ведь по своей сути идея «смерти» Бога — это чистейшая фикция. Но присущая ей нулевая степень достоверности не помешала ей стать чем-то из ряда вон выходящим по своим духовным последствиям. Эффект ее действительности оказался сокрушителен. Ее экзистенциальный негативизм обнаружил силу, которую можно приравнять разве что к силе ядерного взрыва огромной мощности. Потомки Адама и Евы, некогда обманутых эдемским змием, и на этот раз обманулись, поверив ложному утверждению и приняв за правду злонамеренный обман о «смерти» бессмертного Творца. История человечества, начавшаяся с дьявольского обольщения ложью, свернувшая в неблагоприятное русло нескончаемых трагедий, теперь, спустя тысячелетия, грозит завершиться сверхкатастрофой из-за аналогичного обольщения и совращения дьявольской ложью о якобы «умершем» Боге.

Излишне доверчивые потомки эдемской пары вновь выказывают предрасположенность к тому, чтобы доверять сатане больше, чем Богу. В результате они оказались беззащитны перед безумными химерами, растлевающими иллюзиями, дьявольскими фантазмами секулярных умов, рискнувших запустить отрицательный отсчет неумолимо истекающего времени земной истории.

Тут есть над чем задуматься. На всех поверивших в правдивость известия о «богоубийстве» и о невероятно раздвинувшемся пространстве свободы легла печать проклятия. Как будто через Ницше прозвучало заклятие злого духа, действующее на всех по-разному, но всегда сугубо отрицательно.

Среди тех, кто всерьез размышлял над идеей «смерти» Бога, были трезвые умы, признававшие, что это «событие» следует считать самым худшим из всего, что могло случиться с человечеством. Однако XX век показал, что в действительности все оказалось еще хуже и страшнее. Открылась бездна, в которую заглянули миллионы людей, и на смятенную коллективную душу человечества накатило ощущение ужаса. Самым же чудовищным оказалось то, что эта бездна не заставляет бежать от нее изо всех сил, но совсем напротив — притягивает к себе умы и души этих миллионов с неослабевающей, все более возрастающей силой. В этом притяжении, оборачивающемся волей к смерти, присутствует явный мистический, демонический фермент. Так действует проклятие, нависшее над человечеством подобно гигантской, планетарной Силоамской башне, накренившейся и готовой вот-вот рухнуть. Над руинами веры готова вот-вот зазвучать мировая «фуга смерти». И это походит на приближающееся возмездие за богоубийство.

Идея «смерти» Бога оказалась не столь безопасной, как многим думалось поначалу. Требуется внимательное разбирательство с нею. Но ни богословская, ни философско-гуманитарная мысль не спешит углубляться в нее.

На первых порах широкого обнародования идея «смерти» Бога насторожила многих своей отнюдь не расхожей, шокирующей формулировкой. Однако очень скоро настороженность сменилась радостью. Реакция большинства оказалась в чем-то похожей на то, как древние евреи повели себя у подножия горы Синай после длительного отсутствия пророка Моисея. Они, как известно, недолго тревожились и печалились. Быстро возникла альтернативная идея замены Бога, Который, как им казалось, потерялся вместе с Моисеем. Это был план Его замены идолом — золотым тельцом. Люди не понимали, насколько безжизненной и бесперспективной была эта мысль. Отказаться от живого Бога, Который вывел их из египетского рабства, был спасителем, путеводителем, защитником, чтобы поклониться мертвому металлическому истукану, а затем тащить его на себе по жаркой пустыне, изнемогая под его тяжестью и обливаясь потом, было безумием.

Реакция Бога оказалась предельно категоричной: Он разгневался на неблагодарность, измену, отступничество и едва не истребил идолопоклонников. Моисей с трудом умолил Его не карать весь народ. В результате погибла лишь малая его часть, самые ярые из отступников: «Встал тогда Моисей у входа в стан и возгласил: „Кто за Господа — ко мне!“ И собрались вокруг него все сыновья Левия. Моисей сказал им: „Так говорит Господь, Бог Израиля: «Возьмитесь за мечи и пройдите по всему стану, из конца в конец; убейте каждого отступника, любого, кто бы ни был он — брат ли ваш, друг или сосед»“. И сыновья Левия сделали, как повелел Моисей. До трех тысяч человек погибло в тот день из народа израильского» (Исх. 32,26—28). Бог многое прощает людям, но к предателям у Него особое отношение.

Ницше и его единомышленники, безумцы-богоборцы, не могли, разумеется, буквальный образ убить Бога-Отца, вечного, бессмертного, недостижимого для поруганий (Гал. 6, 7). Но есть множество людей, для которых Его голос умолк, которые от-

странились от Него, потеряли Его из виду, забыли о Нем и стали жить так, будто Он никогда не существовал. Он же в Свою очередь лишил их своего попечения и защиты, оставил наедине с их дьявольскими мыслями и порочными страстями, не стал препятствовать их движению по пути самоуничтожения, допустил истребление зла злом.

Народы XX века, индивиды и массы, вообразившие, что Бог умер, погибали сотнями тысяч, миллионами и десятками миллионов, а Он тем временем с грустью смотрел на горькую и бесславную судьбу тех, кто избрал не благословение, а проклятие, отвернулся от Него, отказался от Его покровительства и защиты. Для них, начавших привыкать жить среди руин своей веры, повреждений совести, разрывов ума и разломов экзистенций, уже не существовало Небесного Царства. Они обменяли его на «небо оптовых смертей» и при взглядах вверх видели только разверзшуюся пустоту, раскрашенную атомными грибами и дышащую гибелью.

Ницшевская философия «смерти» Бога маркировала окончательный разворот европейского сознания в антихристианскую сторону и внушала мысль о том, что с идеей «Бог мертв» вполне можно жить. Подобно тому как матрос-подводник преспокойно спит в своем кубрике рядом с убийственной торпедой, располагающейся в нескольких сантиметрах от него, так и человек XX века принял альтернативу прежней веры как неизбежный фактор своего существования, не думая о том, какой смертоносной силой обладает этот богоборческий экзистенциальный негатив.

Фаустовский человек, не пожелавший принять Бога благого и милостивого, совершивший все мыслимые и немыслимые просчеты, создал всю сумму условий того, чтобы отвергнутый, попранный, «убитый» им Бог явился ему и всему человеческому роду грозным и карающим Господом Воинств, удерживающим в Своей руке бич Божий, который с середины XX века обрел вид ядерного бича.

Миросозерцательные последствия

Каждый уверовавший человек проходит в своей духовной жизни через решающий рубеж, когда вопрос о бытии Бога перестает для него быть вопросом, а становится аксиомой. Однако в ходе мировой истории христианские цивилизации движутся в противоположном духовном направлении. Аксиома бытия Бога, непреложная когда-то для большинства людей, перестает быть аксиомой и снова превращается в вопрос. Право на деструктивное сомнение и неверие обретает легитимность, отбрасывает гуманистический камуфляж и начинает действовать как воинственная демоническая структура, работающая на расширение ареалов духовных катастроф, на углубление великой христианской депрессии. Катастрофы становятся реальностью не только для веры, но и для разума, для мысли, в том числе для мысли философствующей, принявшей все-речь идеи молчания и «смерти» Бога. Когда один из философских кумиров XX века Мигель де Унамуно решил, что с Богом можно не церемониться, то на волне запанибратских умонастроений он зарифмовал иронический оксюморон, названный им «Молитвой атеиста»:

Господь несуществующий! Услышь
В своем небытии мои моления:
Ведь Ты всегда подаришь утешенье
И кроткой ложью рану исцелишь.

Когда нисходит в мир ночная тишь
И мысль вступает с вымыслом в боренье,
Надеждою отгонишь ты сомненье,
Свое величье сказкой подтвердишь.

Ты так велик, что миру не вместить
Величья твоего. Ты — лишь идея,
А я за это мукою своею,
Своим страданьем обречен платить.

Бог выдуман. Будь ты реален, Боже, —
Тогда б и сам я был реален тоже.

В последних строках ернический настрой, однако, угасает. Его сменяет трагическая констатация: если Бога нет, то нет и меня; если Бог «умер», то и я духовно мертв. За стихом, начавшимся как попытка поиронизировать над Создателем, разверзается личная экзистенциальная драма души, почувствовавшей горький вкус пустоты. Эта провокативная миниатюра напоминает молитву описанных когда-то Вл. Соловьевым русских сектантов-дыромоляев, представителей извращенного типа верований, деревенских мужиков, проверчивавших сверлом дыру в углах своих изб, а потом молившихся: «Дыра моя, спаси меня!»

Пустота, оказывается, может быть манящей как для дремучей души, не знающей истинного Бога, так и для все перепробовавшего и успевшего всем пресытиться рафинированного интеллектуала, о котором можно сказать словами Кнута Гамсуна: «Он сидит здесь между своими ушами и слушает истинную пустоту».

Склонность к рассуждениям о «мертвом» Боге присуща в основном тем, кто не знал живого Бога, не имел с Ним личных отношений, не испытывал к Нему никаких чувств и обязательств. Именно они приняли за чистую монету безумный клич Ницше о том, что Бог якобы умер.

Для чего им была нужна эта «смерть»? Почему они жаждали ее? Что составляло истинный смысл их ожиданий? В чем состоял их интерес? Ответить на эти вопросы значило бы приблизиться к разгадке сути разительной трансформации мировой теодицеи в мировую теоморту и превращения последнего в бесосновное основание мыслительной деятельности создателей культуры позднейшей модерности и ранней постмодерности.

Оказалось, что задекларированное Фридрихом Ницше «богоубийство» — это не единовременный акт, а длящийся процесс и что каждый интеллектуал вынужден определяться со своим отношением к нему. И как это не прискорбно, но идущим следом за автором «Заратустры» властителям дум XX века Фрейду, Хайдеггеру, Юнгу, Фуко, Альтицеру, Делезу, Гваттари и др. оказалась присуща готовность участвовать в длящемся «богоубийстве», принять на себя роль палачей, исполняющих смертный приговор, вынесенный Богу философствующими судьями. И поскольку Бог был для них не Личностью, а всего лишь идеей внешней детерминации-причинности, то расправа над Ним не предполагала никаких кровавых сцен, никаких особых эмоциональных затрат, а выглядела всего лишь как кабинетная динамика движений руки, державшей авторучку или пляшущей по клавиатуре пишущей машинки.

Между тем, пока богоборцы продолжают мысленно казнить Бога, Он остается жив и продолжает присутствовать в личной жизни, культуре, нравственности миллионов людей, которые это присутствие чрезвычайно ценят и без него не мыслят своего существования. Они не считают Бога препятствием на пути проявлений своей свободной воли. Напротив, Он для них — главное условие их свободы и жизни, без которого никакое дело не может состояться.

Философские, психологические, художественные теоморты с «мертвым» Богом указывают не на переоценку ценностей, как того хотели бы Ницше и Хайдеггер, а на их аннигиляцию. Оторвать человека от Бога такое же безумие, как «отцепить Землю от

Солнца». Земля в этом случае, разумеется, погибнет, в отличие от Солнца, и человек разрушится, в отличие от Бога. И не будет никаких переоценок, поскольку то, что является собой теоморт, не может считаться демонстрацией «новых» ценностей, сменивших «старые». «Черный квадрат» Малевича невозможно поставить в один ряд с «Возвращением блудного сына» Рембрандта и относиться к нему как к художественной ценности. Печи Освенцима не могут считаться ценностями цивилизации, аналогичными, скажем, тем голландским печам, в одной из которых когда-то отогревался Рене Декарт.

Переживания фаустовским человеком собственной включенности в ситуацию «смерти» Бога заставили его изменить картину мира, модели жизни, общества, культуры, а также его отношение к себе, своей витальности, социальности и духовности. Приобретаемый им предельный экзистенциальный опыт оказался отрицательным, деструктивным. Потому из него стали вырастать химерические философско-психологические конструкции психоанализа, безутешная философия абсурда Альбера Камю, деморализующий экзистенциализм «Тошноты» и «Бытия и ничто» Жана Поля Сартра, эскаapistские идеи нескольких поколений европейских интеллектуалов-постмодернистов, ни в чем не нашедших утешения и довольствовавшихся сооружением постметафизических замков из песка и философских убежищ из ментальной соломы и глины.

Это было неизбежно, поскольку новые доктора фаустусы, сохранившие привычку к философствованию, так и не смогли отыскать в формуле «смерти» Бога ни малейших признаков истинности. А поскольку в ней не было конструктивного духовного, этического, экзистенциального потенциала, то интеллектуалам приходилось вольно и невольно обманывать себя и других, сочинять личные мифологии и демонодицеи.

Для тех, кто имел слабое духовное здоровье, травмирующее воздействие идеи «смерти» Бога оказалось смертельным, так что они стали духовно погибать от полученных травм, несовместимых с нормальной духовной жизнью и подлинным творчеством. У многих ученых, гуманитариев, философов, писателей, художников эта идея парализовала их высшие творческие способности и функции. У них стала угасать созидательная сила мысли, тускнеть и омрачаться творческое воображение. Не случайно мир уже перестал удивляться, что в XX—XXI веках напрочь исчезли художественные и гуманитарно-философские гении, которых можно поставить в один ряд с Данте, Бахом и Достоевским. Основная же масса «читателей газет» просто захлебнулась пустотой богооставленности и стала превращаться в социальные конгломераты из аморфных «живых трупов», с которыми демоны государственности могут делать все, что им заблагорассудится.

Но самым чудовищным оказалось то, что очень многие с большим воодушевлением восприняли злую весть о «смерти» Бога, поскольку она развязывала им руки. Поняв, что ни о каком завете с Богом не может быть и речи, они незамедлительно принялись заключать личные сделки с дьяволом, чтобы сделать жестокою, агрессивную вседозволенность, которую они называют свободой, своим главным орудием в борьбе за место под черным солнцем богооставленного мира.

Экзистенциальные катастрофы

Вера всегда служила чем-то вроде лестницы, по которой человеческий дух взбирался ввысь, устремлялся к Богу. Если лестница падала и ломалась, то Бог становился недостижимым, а расстояние между Ним и человеком, лишившимся веры, — непреодолимым. Внутри личности происходил общий слом всего строя ее прежней духовной и практической жизни. В. Франкл писал в своей книге «Психолог в концлагере» о том, что духовный надлом узника совершался тогда, когда он утрачивал футуристическую

перспективу, терял образ будущего и надежду на спасение. Подобная модель недолжного духовного состояния позволяет понять суть духовных метаморфоз, происшедших с миллионами людей, поверивших в то, что Бог «умер». Вместе со «смертью» Бога перед ними закрывались футуристические перспективы, исчезали надежды на спасение. Детрансцендированная реальность уже не предполагала ничего обнадеживающего. На передний план выдвигался образ неминуемой физической смерти. Неотступные мысли о ней с силой ударяли по всем антропологическим клавишам и радикально меняли структуры витальной, социальной и духовной жизни человека, превращали его в обреченного смертника, ожидающего казни.

Так совершались трагические экзистенциальные катастрофы, чью глубинную суть весьма точно выразил безымянный капитан из «Бесов» Достоевского, заявивший, что если Бога больше нет, то какой он после этого капитан. Эта внешне простодушная, но экзистенциально глубокая констатация свидетельствовала о двойном обвале в обоих мирах, внутреннем и внешнем, включая и душу капитана, и его наружное капитанство.

Достоевскому вторила Анна Ахматова, сумевшая передать состояние опустошенного духа, осознавшего состояние возникшего экзистенциального вакуума:

Кто знает, как пусто небо
На месте упавшей башни.

Надеясь на бросок в беспрецедентную свободу, человек провалился в беспрецедентное рабство. За «свободу» от Бога он заплатил рабством в плену убивающего душу греха, неотступным игом под властью демонического с его пороками, преступлениями и ужасом смерти.

Лишив себя возможности общения с триединым Богом как фундаментальным условием здоровой духовной жизни, здорового экзистенциального самочувствия и самосознания, человек уже ничем иным не мог заменить это общение и потому лишился способности к духовному выживанию. Обезбоженная им самим реальность оказалась для него же самого беспощадно убийственной. При этом одна из удручающих особенностей произошедшей катастрофы заключалась в том, что последняя менее всего осознавалась ее жертвами в качестве катастрофы.

Нравственная катастрофа

Одним из тяжелейших нравственно-этических последствий распространения идеи «смерти» Бога стали повсеместные и массовые попытки стереть границы между добром и злом, уничтожить абсолютные критерии различений дозволенного и недопустимого. Между тем Библия говорит о том, что среди разнообразных дарований, которыми Бог наделил человека, одно из самых важных и ценных — это «способность распознавать духов» (1 Кор. 12, 10), в том числе духов добра и духов зла. Верно ориентироваться среди сложнейших смешений добра и зла, безошибочно отделять одно от другого необходимо, чтобы становиться на сторону добра и твердо противостоять злу. Однако это обстоятельство не помешало Ницше дать одному из своих главных сочинений довольно странное название «По ту сторону добра и зла». Понять его истинный смысл не так легко, поскольку он разительно отличается от всего того, чему учат человека библейское Слово и духовно-нравственный опыт тысячелетий. Книга Ницше содержит, в сущности, программную декларацию отказа от сформулированной апостолом Павлом идеи различения добра и зла. Рассудок философа явно пренебрегает подобными различениями и уходит от них в некую воображаемую, внеэтическую реальность, чтобы назад уже не вернуться.

Возникает резонный вопрос: для чего это ему потребовалось, какую цель он преследовал? Чтобы ответить на него, необходимо вспомнить, что на протяжении длинной череды веков главная задача социализации, инкультурации, библейско-христианского духовно-интеллектуального просвещения и нравственно-этического воспитания заключалась в том, чтобы ввести разум взрослого человека в тонкости аксиом, правил и принципов высшей духовно-нравственной математики с ее ясными, недвусмысленными критериями четкого и твердого отделения добра от зла. Незнание этих правил, пренебрежение этими критериями способны оборачиваться состояниями душевного беспорядка, внутренней аномии, интеллектуальной мешанины, субъективного хаоса, когда человек превращается либо в беспринципного циника и злодея, либо в духовно аморфное существо, социальный «овощ», незамысловатое политическое животное, которое легко поддается малейшему внешнему давлению любых сил.

Нищевская формула «по ту сторону добра и зла» фактически выводит человека за пределы не только библейских критериев различения этических противоположностей, но и вообще в докультурную, доморальную, животнов-звериную реальность, где данное различие не работает. Не случайно Ницше назвал протагониста своей философской программы «белокурый зверем», который добру и злу внимает равнодушно и которому все равно — совершить преступление или подвиг, убить человека или спасти его.

Философ придает легитимность двум типам реальности. Одна из них — это полная неразбериха, хаос из разнопропорциональных смещений добра и зла, внутри которых преобладает наивное сознание «политических животных», моральных идиотов, не имеющих ясных оценочных критериев и неспособных к взвешенным рефлексиям и мудрому выбору. Другая — демоническая реальность абсолютного имморализма, субъекты которого стремятся вообразить себя находящимися по ту сторону Божьего и человеческого, здравомыслия и безумия, добра и зла. Это может продолжаться до тех пор, пока удары бича Божьего не потрясут их до такой степени, что они лишатся разума, подобно библейскому царю Навуходносору и Фридриху Ницше, и будут брошены на дно земной жизни, где действительно окажутся по ту сторону всего человеческого.

Перемещение «по ту сторону» добра и зла — это не прыжок в свободу, а провал в пустоту нечеловеческого, слишком нечеловеческого, то есть inferнального, демонического. Подобное онтологическое одиночество похоже на пребывание среди безжизненных льдов и убийственной стужи.

«По эту сторону», то есть там, где пребывают добро и зло, явственно ощущается присутствие Бога. Его можно признавать или не признавать, но Он бытийствует, несмотря ни на что. Однако та реальность, которую Ницше назвал территорией, располагающейся «по ту сторону добра и зла», — это воображаемое нечто, где Богу нет места. По крайней мере, так считал сам Ницше. На самом деле Бог, конечно же, присутствует везде, но человек может при помощи воображения создать некий виртуальный ареал, где Богу отведена роль «третьего лишнего», то есть где будут зарезервированы места только для человека и дьявола. Однако самым удивительным является то, что этот виртуальный мир с «умершим» Богом способен опредмечиваться, овеществляться в бесконечном разнообразии форм зла. В XX веке он материализовался в большевизме и фашизме, этих дьявольских, демонически-мефистофельских вотчинах фаустовского человека в его русской и немецкой версиях, способных творить ад уже на земле.

Считать себя находящимся по ту сторону добра и зла, истины и лжи, любви и ненависти означает носить внутри своего «я» глубинное равнодушие и к добру, и к злу, и к истине, и к лжи, и к любви, и к ненависти. Подобное нежелание различать противоположности можно объяснить полной атрофией тех нравственно-этических оценочных механизмов, которыми Бог обустроил человеческое «я». Жертвы подобной атрофии ведут себя в духовном отношении как камни, неодушевленные предметы или

мертвецы. Это одна из самых поразительных аномалий, превращающих живые души в души мертвые. Объяснять ее можно множеством причин. Но главная из них заключается в том, что для такой души Бог умер. Не сознавая всей степени трагизма возникшей экзистенциальной ситуации, эти души не дают себе отчета в том, что и сами они умерли, наполнившись внутренним смертным холодом, ледяным равнодушием ко всем Божьим и человеческим ценностям. Их наполняют взаимоисключающие антитезы, и они готовы в одно и то же время утверждать, что все что угодно имеет право на существование и все что угодно, включая Бога, добро, истину, справедливость, достойно смерти.

Ницше только с виду напоминал пылающую печь, пышущую пламенным философским красноречием. Но в действительности это был человек-рефрижератор, замороженный дьяволом и распространявший вокруг себя ледяной холод тотального равнодушия. Называя себя динамитом, настаивая на взрывной силе своих идей, он обозначил только первую фазу своей демонической миссии — глобальный ядерный взрыв в философии и культуре фаустовского мира. Но за ней с необходимостью должна была последовать вторая стадия, имеющая вид будущей духовной, интеллектуально-нравственной ядерной зимы, когда появятся сотни миллионов людей, способных жить, «добру и злу внимая равнодушно». Они будут разглагольствовать, подобно русскому ницшеанцу Валерию Брюсову:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я.

Хотелось бы возразить автору не слишком глубокой книги «Ницше и христианство» (М., 1994) Карлу Ясперсу на его утверждение, будто попытки Ницше примирить противоположности сродни примирительной силе Благой Вести. Возникает вопрос: может ли быть, скажем, в желании русского поэта-ницшеанца равно прославить и Господа, и дьявола что-нибудь такое, что породило бы его намерение с Благой Вестью? А если нет, то почему же Ясперс в ответ на аналогичное вопрошание относительно Ницше отвечает «да»? Похоже, что здесь дает знать о себе влияние все того же распространяющегося холодного демонического равнодушия, легко проникающего в ничем не защищенное от него секулярное сознание европейских интеллектуалов. Томас Манн, в отличие от Ясперса, не только ясно сознавал это, но и передал свое понимание данного феномена средствами художественной образности: в «Докторе Фаустусе» от черта, явившегося литературному двойнику Ницше, композитору Адриану Leverkюну, исходит физически ощутимый ледяной холод, имеющий неземную, нечеловеческую природу. Более того, самого Адриана также повсюду сопровождает тот же мистический холод,

Подмороженность, а в самых тяжелых случаях и полная замороженность нравственного сознания делает его нечувствительным не только к самым одиозным проявлениям вседозволенности, злого умысла или разрушительной абсурдности, но и к картинам чьих-либо страданий, к самому духу классической теодицеи. Времена Ивана и Алеши Карамазовых, не находивших себе места из-за «слезинки ребенка», замученного ради общего блага, давно канули в прошлое. Их литературных правнуков мало зани-

мают и слабо волнуют миллионы жизней и судеб, сброшенных в котлованы и печи имперских вавилонских башен. Нынешние «русские мальчики» вылеплены из другого теста, существуют в совершенно иных моральных координатах, позволяющих бестрепетно принимать прагматические стратегии по одомашниванию зла и привитию любви к нему, по приручению демонов, инфернализации культуры и превращению ее в демонодицею. Они располагают большими пустующими площадями ума и души и готовы сдавать их вместе с собственными экзистенциями в аренду различным видам зла, в том числе самым темным, откровенно инфернальным. В философском суде человека над Богом-Отцом они уже давно на стороне первого. Именно они отдали и продолжают отдавать свои голоса за «смерть» Бога. И при этом они не хотят видеть, как из их жизни одно за другим исчезают Божьи благословения. Они не хотят задумываться над глубинными причинами того, почему несбыточными сказками стали мир и безопасность, почему невиданные, глобальные антропогенные катастрофы ломают судьбы и уносят жизни миллионов. Они не желают замечать прямых связей между собственным мятежом против Бога и превращением своей жизни в подобие пребывания на обреченном «Титанике», уже ударившемся о ледяную скалу богоотрицания и получившем роковой разлом, сквозь который к нему ринулись потоки зла, силы дьявола и смерти. Более того, когда на них обрушиваются очередные волны тяжелых испытаний, горестных потрясений, катастрофических бедствий, они готовы обвинять в немилосердии и жестокости именно Бога, Который на некоторое время необъяснимым образом оказывается в их глазах живым. Их негодующие и совершенно бессмысленные возражения сводятся к тому, что Бог вполне мог бы создать систему более щадящих условий и обстоятельств. Глина, сомневающаяся в благости и премудрости Горшечника, пытается учить Его, стремится навязать Ему ту модель действий, которая ее больше устраивает. При этом не принимается во внимание, что в сфере Божьего порядка нет места человеческому произволу и безответственности, что нерадивым ученикам неразумно винить наказавшего их строгого учителя, как водителю автомобиля бессмысленно винить строгость правил дорожного движения и возмущаться тем, что платой за нарушение, скажем за выезд на встречную полосу, становится смерть нарушителя.

Мир медленно превращается в мертвый дом, в дом умирающей веры. Западное христианство, раскормленное чередой тучных лет, не устоявшее под дерзким натиском бесцеремонного фаустианства, раздобрело и впало в состояние неодолимой духовной дремоты. Страшась лишений и страданий, вялое, робкое, пугливое, оно попало в ловушку внешнего благополучия и переживает процесс медленной атрофии своего духа. Оно демонстрирует неразборчивую толерантность по отношению к любым видам зла, впадает то в плотско-угодническую теологию процветания, то в апологетику безбрежного феминизма, то в защиту грязи однополых браков. Ему чужд внутренний драматизм теодицеи. Оно не способно к серьезным разговорам о Боге, а если и решается на них, то исключительно в ключе либо герменевтики подозрительности, либо же патетики судебных обвинений.

В результате глобальная нравственная катастрофа обрела вид резкого углубления тотальной аномии и широчайшего распространения в массах агрессивных и депрессивных умонастроений. Вместо ожидаемого торжества гуманизма приходит время триумфа зла с его апофеозами всего бесчеловечного, демонического, бесовского. Заявляет о себе феномен солипсизма: человек, оставшийся в обезбоженном мире наедине с собой, со своим подпольем, обречен постоянно наталкиваться на его содержимое, то есть на самого себя, ударяться об острые углы собственного «я». Он как будто оказывается внутри замкнутой комнаты кривых зеркал, где на него отовсюду смотрят искаженные образы его самого. Это дробящееся множество наседающих аутофантомов свидетельствует не о дивном царстве безмятежной свободы, но о пребывании в зеркальной клетке действующей духовной тюрьмы.

Сергей КИБАЛЬНИК

АНТИ-НЕВРОЗОВ

О том, как Н. Н. Страхов
оклеветал Ф. М. Достоевского
и почему эта клевета будет жить вечно¹

В последнее время у нас стало модным сетовать на порчу современного русского языка и сбрасывать с корабля современности русскую классику. Не буду перечислять всех, кто этим отметился, — этак бумаги больше ни на что не хватит.

Как говорят, если мы их ценим, то не за это.

Но все же — почему они это делают? Ответить на этот вопрос не так трудно. В нашей медийной среде — неважно, демократической или тоталитарной, культурной или дикой — господствует одно и то же представление:

Кто угодно может говорить о чем угодно...

Даже на радиостанции «Эхо Москвы» всем, кто бы ни пришел, предлагают прокомментировать все что угодно, независимо от специальности. И редко кто отказывается...

А кто же у нас не понимает в русском языке и в русской литературе? Таких уродов у нас просто нет.

И вот мы то и дело слышим предложения: то оставить основную обойму классиков от Пушкина до Толстого и убрать всех остальных, то, наоборот, вычеркнуть такого «мракобеса», как Достоевский, от которого тошнит даже автора идеи залоговых аукционов (и слава богу — ведь так и должно быть!), а то еще что-нибудь похлеще.

Когда высокому чиновнику или «наследившему» в медиапространстве журналисту нужно о чем-нибудь возвестить в эфире или на презентации, предшествующей фуршету, в ход обычно идет русская классика. Это у нас теперь вроде аперитива перед обедом.

А специалисты в таких случаях, как правило, воздерживаются от комментариев. Дескать, люди у нас не дураки — сами разберутся.

Сергей Акимович Кибальник родился в 1957 году в Волгограде. Окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ). После окончания и по сей день работает в Институте русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, доктор филологических наук. Член Международного общества Ф. М. Достоевского. Автор восьми книг по истории русской литературы, в частности «Гайто Газданов и экзистенциальная традиция в русской литературе» (2011), «Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского» (2013), «Чехов и русская классика: проблемы интертекста» (2015) — а также двух литературно-художественных книг: «Поверх Фрикантрии, или Анджемо и Изабела. Мужской роман-travelog» (2008), «МВитьки. Стихи и „прозы“, соображенные ночью на двоих и на троих on- и off-line» (2017, в соавторстве с Виктором Мальцевым). Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Октябрь», «Волга», «Литература». Живет в Санкт-Петербурге.

¹ Статья подготовлена за счет гранта Российского фонда фундаментальных исследований «Достоевский в медийном пространстве современной русской культуры», № 18-012-90003.

Нередко так и происходит. По крайней мере, если судить вот по таким, например, откликам на подобные попытки:

— Потому что они бесы. Достоевский их вычислил².

Но можно ли все время уповать только на самих людей? Пока мы проводим исследования и преподаем в университетах, им в который уже раз через всевозможные и невозможные СМИ объявляют:

Национальная словесность (как и все на свете) имеет свой срок годности, который, по всей видимости, подошел к концу. Ее смыслы остались в далеком прошлом, а лишенная содержания форма выглядит нестерпимо пафосно и архаично³.

Заявлено это было еще в 2013 году. С тех пор не раз повторено, и каждый раз в сети эти откровения получают десятки тысяч просмотров. А на днях я сам слышал это снова — на сей раз в эфире весьма приличной радиостанции.

Далее для дискредитации с самым невинным видом используется все что угодно. Хотя бы давным-давно опровергнутые обвинения Достоевского в педофилии:

Бесполезно вспоминать маленьких крестьянских девочек, которых генератору православной духовности возили в баню для педофильских забав (об этом откровенно пишет в письме к Л. Толстому личный биограф <?! — С. К.> Достоевского Страхов)⁴.

Пророка Федора можно изобразить и нагим, в парилке, с голенькой крестьянской девочкой 10 лет, доставленной туда для его «банных забав» (подробности можно выяснить в известном письме Н. Страхова, где тот рассказывает о педофилии Достоевского).

Конечно, существует мнение, что «все было не так» и «Страхов перепутал».

Возможно. Нельзя исключать, что девочка сама заказала себе в баньку автора «Карамазовых» (впрочем, от перемены мест слагаемых мизансцена не меняется)⁵.

От всего этого дилетантизма, морального релятивизма и словесного недержания нетрудно заработать невроз, для лечения которого необходимо действующее противоядие.

Специалисты сделали уже достаточно много по части публикации документов, так что в блогах то и дело звучат трезвые голоса⁶, а то и появляются развернутые ответы новым «мелким бесам» и невеликим инквизиторам⁷. Однако делаются они, как правило, неспециалистами, которые в лучшем случае ничего не могут прибавить к уже опубликованным материалам⁸, а в худшем — сдобривают их немалым числом неточностей и нелепостей⁹.

Так уж получилось, что мне как раз удалось распутать кое-какие узелки в старой истории о клевете Н. Н. Страхова на Ф. М. Достоевского, и я решил написать об этом так, чтобы прочесть смог самый широкий круг читателей.

² <http://uborshizza.livejournal.com/2405673.html>

³ Невзоров А. Мертвые мальчики как старинная духовная «скрепа». Звериный оскал патриотизма // mk.ru/politics/2013/02/25/817538-mertvyie-malchiki-kak-starinnaya-duhovnaya-skrepa.html

⁴ Там же.

⁵ Невзоров А. Антрекот Михайлович Достоевский // <http://echo.msk.ru/doc/1927004-echo.html?=&top>

⁶ См., например: <https://snob.ru/profile/20736/blog/76791>

⁷ Оборин Л. Как вы думаете, был ли Достоевский педофилом? (письмо Н.Страхова Л.Толстому) // <https://thequestion.ru/questions/78362/kak-vy-dumaete-by-l-dostoevskii-pedofilom-pismo-n-strakhova-l-tolstomu>

⁸ Невзоров о Ф. М. Достоевском, черносотенце и педофиле // <http://uborshizza.livejournal.com/2405673.html>

⁹ Авдеева Л. Угрюмое имя — Достоевский или загадка одного письма (к 190-летию со дня рождения и 130-летию со дня смерти писателя) // http://medtsu.tula.ru/PZ/2012_1/11.pdf;

А что касается того, что русская классика якобы устарела, спорить с этим считаю излишним. Сходите хотя бы на «Преступление и наказание» в Александринку, и вы просидите там — в переполненном зале — почти шесть часов, ни секунды не испытав подколесинского позыва к бегству.

Сон Льва Толстого о «романе» Н. Н. Стрехова с Грушенькой

Даже сны великих писателей, в том числе и виденные ими в самые драматические моменты их жизни, вряд ли заслуживают того, чтобы их разгадывали филологи. Наверное, за исключением тех, которые связаны с их творчеством.

26 октября 1910 года, то есть за сутки до своего «ухода» из Ясной Поляны, Толстой записал в дневнике:

Видел сон. Грушенька, роман, будто бы, Ник. Ник. Стрехова. Чудный сюжет¹⁰.

Это сновидение в тот же день в письме к В. Г. Черткову Толстой назвал «прелестным нынешним, художественным». Он также писал ему о своем намерении записать его и несколько других подобных снов «хотя бы в виде конспектов» (LXXXVIII—LXXXIX, 230).

Уже в Оптиной пустыни в записной книжке Толстой повторил эту запись в списке тем художественных замыслов:

Роман Стрехова Грушенька экономка (LYIII, 558).

Понятно, почему в этом сне Толстому явилась героиня романа Достоевского «Братья Карамазовы»: он его в это время перечитывает (см.: LYIII, 116, 540, 548, 553). Нет ничего удивительного и в том, что Толстому приснился его близкий покойный друг Н. Н. Стрехов.

Однако то, что Грушенька и Стрехов оказались в этом сне вместе, причем связанные какими-то загадочными (по-видимому, любовными) отношениями, несколько озадачивает. И требует размышления. Тем более что это зерно нового художественного замысла.

Вот как пытался реконструировать его А. П. Сергеенко:

Возможно, что содержание рассказа состояло в том, что Грушенька повлияла бы на Стрехова своей любовью к жизни, веселостью, эмоциональностью, широтой натуры, а Стрехов облагораживающе воздействовал бы на нее своими умственными запросами¹¹.

«Вряд ли сюжет произведения представлялся писателю столь идиллическим и «головным». — отозвался об этой «реконструкции» В. А. Туниманов¹².

Иные, гораздо менее «идиллические» ассоциации вызвал сон Толстого у И. Л. Волгина:

¹⁰ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. Т. 58. С. 122. Далее ссылки на Толстого приводятся по этому изданию в тексте с указанием тома римскими и страницы арабскими цифрами.

¹¹ Сергеенко А. П. Последние сюжеты // Литературное наследство. Лев Толстой. 1961. Т. 69. Кн. 2. С. 288.

¹² Туниманов В. А. Достоевский, Стрехов, Толстой (Лабиринт сцеплений) // Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений. Избранные статьи. СПб., 2013. С. 248. Это была последняя опубликованная при жизни: Русская литература. 2006. № 3. С. 38—97 — статья исследователя.

Толстовский сон удивительным образом перекликается с неизвестной сновидцу, но памятной нам записью Достоевского — о «тайном сладострастии» Страхова («не смотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен»). Недаром в этом сне Страхов предстает своего рода Федором Павловичем Карамазовым, но — «подпольным», «зажатым» и оттого еще более трагичным. И, может быть, сюжет представляется Толстому «чудным» именно благодаря точности психологического попадания¹³.

Это уже, возможно, «теплее», однако, как отмечает сам исследователь, записи Достоевского о Страхове Толстой не знал.

Стоит в таком случае поставить вопрос как раз о том, что именно знал в 1910 году Толстой о Страхове, Достоевском и «Братьях Карамазовых» такого, что могло породить в его сознании столь неожиданное смешение двух планов. Тайна этого сна Толстого может приоткрыться, если мы сможем объяснить, как в сон о героине литературного произведения попало реальное лицо — Н. Н. Страхов.

«Что сей сон значит?» Статья Страхова и роман Достоевского «Братья Карамазовы»

Статье Страхова «Наблюдения» (Посвящ<ается> Ф. М. Д<остоевско>му»), в которой идет речь о разногласиях между ним и Достоевским, проявившихся во время их совместного пребывания во Флоренции в 1862 году, предпослан эпитаф:

«Можешь ли ты рассказать мне сон, который я видел и сказать, что он значит?»¹⁴ Эпитаф этот получает развитие в самой статье, причем в разговоре на важнейшую тему, которая отразилась в «Записках из подполья»¹⁵. Это спор о том, сколько будет дважды два, и связан он с чрезмерным рационализмом Страхова.

В конце статьи Страхов снова возвращается к образу, использованному в эпитафе:

...они могут утверждать даже и то, что дважды два — не четыре <...> они, как некогда восточные цари, **могут грезить все, что им угодно**, а я, как их придворные волхвы, под страхом казни, обязан понимать **все, что им ни пригрезится**, да, пожалуй, еще находить в их снах смысл высокий и пророческий. Остается разве только одно, — чтобы вы возложили на меня обязанность не только понимать, но и **отгадывать их сны**, как этого требовал от своих волхвов тот древний царь, который однажды **забыл свой сон** и помнил только, что ему было страшно¹⁶.

А теперь обратим внимание на то, что при первом появлении Михаила Ракитина в «Братьях Карамазовых» его разговор с Алешей после коленопреклонения старца Зосимы перед Дмитрием также начинается с этой реплики:

- Скажи ты мне, Алексей, одно: **что сей сон значит?** Я вот что хотел спросить.
- Какой сон?
- А вот земной-то поклон твоему братцу Дмитрию Федоровичу. Да еще как лбом-то стукнулся! <...>

¹³ Волгин И. Л. Толстой и Достоевский: разногласия в стиле (К истории одной неустойки) // Текст и традиция. Альманах № 1. СПб., 2013. С. 158.

¹⁴ Н. Н. Страхов о Достоевском. Публикация и комментарии Л. Р. Ланского // Литературное наследие. Т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Т. 86. М.: Наука, 1973. С. 560. Здесь и далее полужирным шрифтом выделено мной. — С. К.

¹⁵ Захаров В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского // Вопросы философии. 2011. № 4. С. 109–114.

¹⁶ Н. Н. Страхов о Достоевском. С. 561.

— Не знаю, Миша, что значит.

— Так я и знал, что он тебе это не объяснит. Мудреного тут, конечно, нет ничего, одни бы, кажись, всегдашние благоглупости. Но фокус был проделан нарочно. Вот теперь и заговорят все святоши в городе и по губернии разнесут: «**Что, дескать, сей сон означает?**» По-моему, старик действительно прозорлив: уголовщину пронюхал. Смердит у вас.

— Какую уголовщину?

Ракитину видимо хотелось что-то высказать.

В вашей семейке она будет, эта уголовщина (14, 72–73).

Когда Алеша оспорит утверждение Ракитина о том, что Иван хочет жениться на Катерине Ивановне из-за денег, тот снова повторит свою формулу относительно «сна»:

— **Это еще что за сон?** Ах вы... дворяне! (14, 76).

Мотив значения «сна» в тексте романа Достоевского содержит, по-видимому, скрытые отсылки к наброску посвященной ему статьи Страхова «Наблюдения». Правда, последнее верно только в том случае, если этот набросок был известен Достоевскому, но поскольку он обращен именно к нему и речь в нем идет о старом споре с ним, то это более чем вероятно.

Скрытые отсылки к этому наброску в «Братьях Карамазовых» должны были, по-видимому, дать понять посвященному читателю — к каковым, безусловно, относился сам Страхов, — что прототипом Ракитина является именно он. Так что если остальные читатели могли лишь догадываться о том, что в Ракитине воплощены некоторые черты Страхова, то у самого Страхова, которому и была адресована эта своего рода криптограмма Достоевского, не оставалось в этом ни малейших сомнений.

Чтобы решить, подтверждается ли все это характеристиками и поведением Ракитина в романе, сопоставим их с тем, как представлял себе Достоевский личность Страхова в период создания этого образа.

«Отречение» Страхова от Достоевского

Большинство исследователей полагает, что отношения между Достоевским и Страховым были испорчены в середине 1870-х годов и до смерти Достоевского так окончательно и не восстановились.

Считалось, что ссора была вызвана тем, что свой новый роман «Подросток» Достоевский отдал в «Отечественные записки» Некрасова. Однако общение вслед за этим продолжилось, причем после появления конца первой части романа в февральском номере журнала Страхов наговорил Достоевскому в письме от 21 марта 1875 года по поводу его нового романа массу комплиментов.

Это письмо, по мнению А. С. Долинина, свидетельствует о том, что «недоразумения, возникшие между ними в связи с „Подростком“ <...> стали менее острыми»¹⁷. Так что, по всей видимости, были какие-то другие обстоятельства, заставившие позднее Страхова сделать в письме к Толстому от 11 марта 1879 года следующее признание:

Я Тургенева и Достоевского, простите меня, не считаю людьми...¹⁸

¹⁷ Письма Н. Н. Страхова Ф. М. Достоевскому. Публикация А. С. Долинина // Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: АН СССР, 1940. С. 280.

¹⁸ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2 т. / Ред. А. Донсков; сост. Л. Д. Громова, Т. Г. Никифорова. М.: Гос. музей. Л. Н. Толстого; Оттава: Группа славянских исследований при Оттавском университете, 2003. Т. 1. С. 1–487. Т. 2. С. 502.

Мы вправе предположить, что Достоевский в это время платил Страхову той же или почти той же монетой. Во всяком случае, как писал сам Страхов в своих «Воспоминаниях...»,

непобедимая мнительность иногда заставляла его (Достоевского. — С. К.) смотреть и на меня, как на человека, имеющего к нему что-то враждебное, недостаточно к нему расположенного, и это очень огорчало меня¹⁹.

Сообщая Толстому о смерти Достоевского, Страхов упомянул о «глупых размолвках» и о том, что они «не ладили все последнее время»²⁰.

В бумагах Страхова сохранилась запись «Для себя»:

Во все время, когда я писал воспоминания о Достоевском, я чувствовал приступы того отвращения, которое он часто возбуждал во мне и при жизни и по смерти; я должен был прогонять от себя это **отвращение**, побеждать его более добрыми чувствами, памятью его достоинств и той цели, для которой пишу²¹.

Никак не проявив этого своего «отвращения» в самих «Воспоминаниях...» (еще бы! А. Г. Достоевская, издававшая сборник, в который они вошли, просто не стала бы их печатать!), Страхов все же счел нужным как-то его выразить. И ему показалось, что наиболее подходящий для этого способ — написать об этом своему многолетнему корреспонденту Л. Н. Толстому. Послав ему только что вышедшие из печати свои «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском», он решает «исповедаться» Толстому, признавшись в том, что ранее формулировал «для себя»:

Все время писания я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне **отвращением**, старался подавить в себе это дурное чувство²².

И далее в этом письме к Толстому от 28 ноября 1883 года следует текст, который В. А. Туниманов справедливо называет «актом не освобождения, а, пожалуй, отречения»²³ Страхова от Достоевского:

Он был зол, завистлив, **развратен**, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. <...> Его **тянуло к пакостям**, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте, что, **при животном сладострастии**, у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой *Записок из подполья*, Свидригайлов в *Прест.<уплении>* и *Нак.<азании>* и Ставрогин в *Бесах*; одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, но Д[остоевский] здесь ее читал многим²⁴.

¹⁹ Страхов Н. Н. Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском // Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1883. С. 317–318.

²⁰ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 591.

²¹ Н. Н. Страхов о Достоевском. С. 564.

²² Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

²³ Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой (Лабиринт сцеплений) // Туниманов В. А. Лабиринт сцеплений. Избранные статьи. СПб.: «Пушкинский Дом», 2013. С. 269.

²⁴ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

Столь резкий и, как было неоднократно показано²⁵, несправедливый отзыв Страхова о Достоевском обыкновенно предположительно объясняют тем, что после его смерти критик познакомился с не менее резким отзывом о нем самого писателя, сохранившимся в рабочей тетради Достоевского 1876–1877 годов, которую, возможно, вместе с другими тетрадями давала ему вдова писателя для работы над его «Воспоминаниями...»²⁶. Однако никаких доказательств того, что у Страхова эта тетрадь действительно была и что он эту запись (между прочим, чрезвычайно неразборчивую) читал, нет²⁷.

Что касается самой записи Достоевского (см.: 24, 239–240), то она также вызывает удивление своей резкостью. Туниманов связывал ее с критической аллюзией на Страхова в черновых записях к выпуску «Дневника писателя» за июль–август 1876 года, который в своей статье «Женский вопрос» неосторожно высказал свое предпочтительное английской женщине перед русской (23, 88–89). Исследователь тем не менее и сам не видел в ней достаточного основания для подобной резкости²⁸. Почему гнев Достоевского выразился в столь резкой форме, так и остается неясным.

Текстуальные переключки

Особенно резкие слова Достоевского о Страхове в этом черновом наброске лишь сравнительно недавно были прочитаны правильно.

«...Несмотря на свой строго-нравственный вид, **втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов предать** всех и все, и гражданск<ий> долг, которого не ощущает, и **родину**, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает...»²⁹ — писал Достоевский о Страхове, скорее всего, в 1876 году³⁰.

²⁵ Андрианова И. С. «Клеветы Страхова», или Протест вдовы и племянника Достоевского // unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1449057614.pdf; Свинцов Н. Достоевский и отношения междуполами // Новый мир. 1999. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/1999/5/svincov1.html (дата обращения: 26.03.2018); Оборин Л. Как вы думаете, был ли Достоевский педофилом? (письмо Н. Страхова Л. Толстому) // <https://thequestion.ru/questions/78362/kak-vy-dumaete-by-l-dostoevskii-pedofilom-pismo-n-strakhova-l-tolstomu>.

²⁶ Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. М.: Наука, 1981. С. 44–45.

²⁷ «Косвенное доказательство» знакомства с ней Страхова можно видеть в его письме к А. Г. Достоевскому от 21 октября 1883 г.: «...будете печатать из Записной книжки, то необходимо мне взглянуть, — только взглянуть. Я после Вам объясню» (см.: Захаров В. Н. Poleмические заметки Достоевского о Н. Н. Страхове. С. 68).

²⁸ Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой. С. 271. В. Н. Захаров предположил, что причиной для резкого отзыва Достоевского послужили обнародованные еще ранее космополитические высказывания Страхова в его корреспонденциях 1875 года «Из Рима»: «Презрительно, свысока сказано о народе: “Мы не знаем, для чего они так берегут себя; для нас непонятно то таинственное будущее, из-за которого они так мало дорожат своими головами; но ведь это уж наша печаль, а не их”. Именно эти туристические заметки дали Достоевскому повод заподозрить Страхова в готовности предать родину» (Захаров В. Н. Poleмические заметки Достоевского о Н. Н. Страхове. С. 67). Впрочем, выраженные в этих заметках космополитические наклонности Страхова всего лишь предвещают будущее предпочтение им английской женщины русской в статье «Женский вопрос». Между тем, например, Туниманов отвергал эти наклонности в качестве возможной основной причины резкого отзыва Достоевского о Страхове.

²⁹ РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. № 16. С. 266. Текст этой записи приводится по Полному собранию сочинений (24, 240) с исправлением в нем неточностей (см.: 17, 50).

³⁰ Запись расположена среди заметок к «Дневнику писателя» за 1876 год (между материалами, относящимися к июлю–августу и к сентябрю) (см.: 24, 234–239).

По-видимому, именно поэтому до сего времени никто по-настоящему не обратил внимания на серьезную переключку черновой записи Достоевского о Страхове с отзывом о Достоевском самого Страхова в письме к Толстому:

При **животном сладострастии**», «его тянуло к **пакостям** и он хвалился ими³¹.

Данная переключка укрепляет предположение о том, что с его стороны это был «своеобразный „ответ“ Достоевскому». Однако был ли это ответ Страхова именно на черновую запись Достоевского о нем или на что-то другое, мы увидим далее.

Возникает также вопрос о том, имеют ли Достоевский и Страхов в виду одно и то же, или речь у них, при всем сходстве словоупотребления, идет о несколько различных вещах. Очевидно, что Страхов имеет в виду плотские грехи и даже педофилию, о которой он прямо пишет:

Его тянуло к **пакостям**, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что соблудил в бане с маленькой девочкой...³²

У Достоевского же речь идет скорее о любви к сплетням и способности к клевете:

За какую-нибудь жирную грубо-сладострастную **пакость** готов продать всех.

Эти слова наводят на предположение о том, что Страхов участвовал в распространении клеветнических слухов об автобиографичности главы «Бесов» «У Тихона», сохранившую признание Ставрогина в соращении девочки, которые появились после отказа журнала «Русский вестник» напечатать эту главу. И о том, что Достоевский в какой-то момент узнал об этом³³.

Это предположение тем более вероятно, что, например, о распространении Страховым клеветнических слухов о Тургеневе Достоевскому было хорошо известно. Сообщая Достоевскому в письме от 4 мая 1871 года о нежелании Тургенева встречаться с ним после резкого отзыва Страхова о Тургеневе в печати, критик сам тут же повторял досужие домыслы о писателе:

Какая позорная трусость! Какое отсутствие всякой веры! Я слышал потом, что он ужасно подличал перед молодыми людьми, заискивал у молодого поколения³⁴.

И как впоследствии Толстому он будет писать о «выходках» Достоевского, «которые он делал **совершенно по-бабьи**», в этом письме к самому Достоевскому он приводит свой весьма сходный отзыв о Тургеневе, отказавшемся, по словам Я. П. Полонского, встречаться со Страховым:

Я хотел Вас позвать, и говорил Тургеневу, сказал, что Вы о нем пишете. Но он — представьте — слышать не хотел, уверял, что никто еще не оскорблял его так, как Вы,

³¹ Впрочем, Л. М. Розенблюм и ранее ощущала, что кое-что в черновом отзыве о Страхове в рабочей тетради Достоевского «напоминает слова Страхова о Достоевском в печально-памятном письме его к Толстому» (Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 43).

³² Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 652.

³³ Предположение о том, что «Достоевскому удалось узнать <...>, что в разговорах о „грязи“ принимал участие и Страхов», уже высказывалось (см.: Розенблюм Л. М. Творческие дневники Достоевского. С. 44).

³⁴ Письма Н. Н. Страхова Ф. М. Достоевскому. С. 273.

что Вы назвали его **з л о я з ы ч н о й б а б о й** и пр., что Вы говорили не о его таланте, а о нем, как о человеке. Наотрез отказался Вас видеть³⁵.

То, что Страхов был склонен к передаче сплетен и «скандальных „анекдотов“, нередко из весьма недостоверных источников», было известно Толстому и многим другим корреспондентам Страхова³⁶.

Впоследствии Страхов в чрезвычайно сходных выражениях отзывался в письме к В. В. Розанову о К. Н. Леонтьеве — как об «одном из **отвратительных явлений**», о человеке, у которого «самые высокие предметы вдруг подчиняются самым **низменным** стремлениям, **развратной** жажде наслаждения и услаждения себя»³⁷.

Ракитин и Страхов

А теперь давайте вспомним, в чем в первую очередь Ракитин обвиняет не только Дмитрия, но и все семейство Карамазовых — в сладострастии:

— Пусть он и честный человек, Митенька-то (он глуп, но честен); но он — **сладострастник**. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое **подлое сладострастие**. Ведь я только на тебя, Алеша, дивлюсь: как это ты девственник? Ведь и ты Карамазов! Ведь в вашем семействе **сладострастие** до воспаления доведено. Ну вот эти три сладострастника друг за другом теперь и следят... с ножами за сапогом. Состукнулись трое лбами, а ты, пожалуй, четвертый.

— Ты про эту женщину ошибаешься. Дмитрий ее... презирает, — как-то вздрагивая, проговорил Алеша.

— Грушеньку-то? Нет, брат, не презирает. Уж когда невесту свою въявь на нее променял, то не презирает. Тут... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это **сладострастник** может понять), **то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество**; будучи честен, пойдет и украдет; будучи кроток — зарежет, будучи верен — изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он и презирал Грушеньку. И презирает, да оторваться не может.

— Я это понимаю, — вдруг брякнул Алеша.

— Быдто? И впрямь, стало быть, ты это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что понимаешь, — с злорадством проговорил Ракитин. — Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем драгоценнее признание: стало быть, тебе уж знакомая тема, об этом уж думал, о сладострастие-то. Ах ты, девственник! Ты, Алешка, тихоня, ты святой, я согласен, но ты тихоня, и черт знает о чем ты уж не думал, черт знает что тебе уж известно! Девственник, а уж такую глубину прошел, — я тебя давно наблюдаю. Ты сам Карамазов, ты Карамазов вполне — стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. **По отцу сладострастник**, по матери юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю? Знаешь что: Грушенька просила меня: «Приведи ты его (тебя то есть), я с него ряску стащу». Да ведь как просила-то: приведи да приведи! Подумал только: чем ты это ей так любопытен? Знаешь, необычайная и она женщина тоже!

— Кланяйся, скажи, что не приду, — криво усмехнулся Алеша. — Договаривай, Михаил, о чем зачал, я тебе потом мою мысль скажу.

³⁵ Там же.

³⁶ Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой. С. 251, 278.

³⁷ Розанов В. В. Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев // Розанов В. В. Собр. соч. М.: Республика, 2001. 324–325.

Чего тут договаривать, все ясно. Все это, брат, старая музыка. Если уж **и ты сладострастника в себе заключаешь**, то что же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом **весь ваш карамазовский вопрос заключается: сладострастники**, стяжатели и юродивые! (14, 74–75).

Обратим внимание на то, что слова Ракитина:

Тут влюбится человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это **сладострастник** может понять), **то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество** —

практически парафраза черновой записи Достоевского о Страхове:

...за какую-нибудь **жирную** грубо-сладострастную пакость **готов продать всех и все**, и гражданский долг, которого не ощущает, и **родину**, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает...

Так что был ли Страхов знаком с черновой записью о себе в рабочей тетради Достоевского, не так уж важно. Ведь в трансформированном виде она была воспроизведена в «Братьях Карамазовых», а Страхову было ясно, что в образе Ракитина выведен в первую очередь он сам.

Текстуально отзыв Страхова о Достоевском в письме к Толстому на первый взгляд чуть ближе к черновой записи в рабочей тетради 1876 года, чем к приведенным словам Ракитина. Впрочем, в тексте романа есть фрагменты, которые содержат и другие мотивы этой черновой записи. Так, например, Дмитрий Карамазов видит Ракитина именно таким:

И такая у него скверная **сладострастная слюна** на губах...

Человек **с сладострастной слюной** на губах, а губы-то **жирные**, красные (15, 29, 321).

Немного позднее Ракитин на самом деле приведет Алешу к Грушеньке, которая, однако, откажется от своего бывшего намерения соблазнить его³⁸, но зато не скроет, что Ракитин привел его не просто так, а поскольку она обещала ему заплатить за это 25 рублей. Сам же он признается, что сделал это еще и в надежде «увидеть „позор праведного“ и вероятное „падение“ Алешы „из святых во грешники“» (14, 310).

Гипертрофированное самолюбие Страхова в характеристике, данной ему в рабочей тетради 1876–1877 годов, Достоевский отчасти объяснял его семинарским происхождением:

Главное в этом славолубии играют роль не столько литератора, сочинителя трех-четырёх скучненьких брошюрок и целого ряда обвиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и два казенные места. Смешно, но истина. **Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга**, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам **делает гадости**; несмотря на свой строго нравственный вид, **втайне сладострастен**<...> Я еще больше потом поговорю об этих литературных типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно (24, 240).

³⁸ В черновых набросках было прямое указание на то, что и с самого начала дело обстояло не совсем так: «Грушенька: „А я-то тебя развратить хотела. Вот он (Ракитин) всё хотел, меня подговаривал“» (15, 261).

Что касается намерения «больше потом» поговорить «об этих литературных типах наших», то чуть ниже в той же рабочей тетради Достоевский сделал запись, озаглавленную им «Семинарист»:

Семинарист, сын попа, составляющего status in statu, а теперь уж и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. <...>Сын его, семинарист (светский), от папы оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию **проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям**, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. **В жизни гражданской он много внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно** (24, 241).

Как отметил Туниманов, «очерк о семинаристе, как типе, не будет осуществлен, но и бесследно не исчезнет: пригодится при создании образа Ракитина в „Братьях Карамазовых“»³⁹. Действительно, этот персонаж детерминирован его социальным происхождением. Например, писатель наделил Ракитина отмеченной в его рабочей тетради «естественною ненавистью к другим сословиям»:

Завидя теперь входящего Алешу, он (Ракитин. — С. К.) особенно нахмурил брови и отвел глаза в сторону, как бы весь занятый застегиванием своего большого теплого с меховым воротником пальто. Потом тотчас же принялся искать свой зонтик.
— Своего бы не забыть чего, — пробормотал он, единственно чтобы что-нибудь сказать.

— **Ты чужого-то чего не забудь!** — сострил Митя и тотчас же сам расхохотался своей остроте. Ракитин мигом вспылал.

— **Ты это своим Карамазовым рекомендуй, крепостничье ваше отродье,** а не Ракитину! — крикнул он вдруг, так и затрясшись от злости (15, 27).

Остается только удивляться, как исследователи не заметили в Ракитине многих других черт Страхова. Впрочем, обыкновенно это происходит оттого, что в криптографическом памфлете воплощается не реальная личность, а ее восприятие писателем в период его создания; между тем исследователи не всегда имеют полное представление об этом восприятии.

Образ Ракитина — это именно жесточайший и в то же время достаточно прозрачный для хорошо знавших Страхова людей (а в особенности для самого Страхова) памфлет против него. Вдобавок при более детальном сравнении героя с его прототипом мы увидим, что в образе Ракитина к отличительным чертам и деталям биографии Страхова примешиваются особенности личности некоторых других литераторов.

Разбираемая нами выше глава романа озаглавлена «**Семинарист-карьерист**» (14, 71), и в ней Иван Карамазов напроорочил Ракитину такое будущее:

Изволил выразить мысль, что если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься, то непременно уеду в Петербург и примкну к толстому журналу, непременно **к отделению критики**, буду писать лет десяток и в конце концов **переведу журнал на себя**. Затем буду опять его издавать и непременно в либеральном и атеистическом направлении, с социалистическим оттенком, с маленьким даже лоском социализма, но держа ухо востро, то есть,

³⁹ Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой. С. 273.

в сущности, **держа нашим и вашим** и отводя глаза дуракам. Конец карьеры моей, по толкованию твоего братца, в том, что оттенок социализма не помешает мне откладывать на текущий счет подписные денежки и пускать их при случае в оборот, под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не **выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем чтобы перевезть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов...** (14, 77).

Некоторые конкретные детали из этого пророчества в применении к Страхову пробуксовывают. Зато они нарочито отсылают — по всей видимости, для того, чтобы хоть сколько-нибудь затушевать памфлетный характер этого образа — к другим литераторам⁴⁰.

Однако все остальные детали, вплоть до объяснения личности «семинарским» происхождением (к каковому объяснению был склонен и сам Страхов)⁴¹, полностью соответствуют его биографии и облику. Так, например, следующая деталь в самопрезентации Ракитина:

Если я-де не соглашусь на карьеру архимандрита в весьма недалеком будущем и не решусь постричься... —

соотносится с тем, что Страхов и в самом деле раздумывал о духовной карьере, но так и не решился постричься в монахи. Его родной дядя и воспитатель, заменивший ему отца, ректор Костромской семинарии архимандрит Нафанаил всячески этого добивался, не только когда Страхов учился в Духовной семинарии в Костроме, но и позднее, в Петербурге, где в бытность племянника студентом стал архиереем⁴².

В параллель к характеристике Ракитина: «**держа нашим и вашим** и отводя глаза дуракам» — приведем следующие отзывы о Страхове.

Пантеист ли он, деист ли, исповедует ли он положительную религию, материалист ли он, идеалист ли он, либерал ли он, консерватор ли он, — недоумевал в рецензии на

⁴⁰ Отмечалось полемическое переосмысление Достоевским в биографии Ракитина ряда деталей биографии Г. З. Елисеева и Г. Е. Благосветлова — между прочим, тоже семинаристов (19, 306—311; 15, 539, 597), М. В. Родевича (Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 574—575), А. А. Краевского (15, 539). В корреспонденциях Ракитина замечены элементы пародии на «сенсационные известия и обличительные штампы в корреспонденциях газет и журналов либерального направления 1860—1870-х годов» (15, 587; см. об этом: Дороватовская-Любимова В. С. Достоевский и шестидесятники («Искра», «Современник», Чернышевский) // Достоевский. М.: ГАХН, 1928. С. 33—34), а его стихи «вызваны пародией Д. Д. Минаева на стихотворение Пушкина» (15, 589).

⁴¹ В письме Толстому от 25 мая 1881 года, коротко пересказывая историю многолетней борьбы с нигилизмом, Страхов критически упоминает «семинарский дух»: «Петербургский люд с его складом ума и сердца и семинарский дух, подаривший нам Чернышевского, Антоновича, Добролюбова, Благосветлова, Елисеева и пр. — главных проповедников нигилизма, — все это я близко знаю, видел их развитие, следил за литературным движением, сам пускался на эту арену и пр. Тридцать шесть лет я ищу в этих людях, в этом обществе, в этом движении мыслей и литературы — ищу настоящей мысли, настоящего чувства, настоящего дела — и не нахожу, и мое отвращение все усиливается, и меня берет скорбь и ужас, когда вижу, что в эти тридцать шесть лет только это растет...» (Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 606). См. также опубликованную в «Эпохе» (1864, июнь) статью Страхова «Что такое семинаристы?» (Страхов Н. Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. Письма Н. Косицы. — Заметки Летописца и пр. СПб.: Тип. братьев Пантелеевых, 1890. С. 432—433).

⁴² Фатеев В. В. Религиозные воззрения Н. Н. Страхова // Н. Н. Страхов в диалогах с современниками. Философия как культура понимания. СПб.: Алетей, 2010. С. 100.

одну из книг Страхова В. Модестов, — одним словом, **кто г. Страхов в области философии и политики**, для меня оставалось и до сих пор **остается непонятным**⁴³.

«Мыслителем тонким, вдумчивым, но **в высшей степени осторожным в раскрытии своих глубочайших убеждений**» называл Страхова Ф. К. Андреев⁴⁴.

По словам В. В. Розанова, Страхов «повсюду цитирует других, **говорит свою мысль чужими словами...**»⁴⁵

«— **О себе** самом Страхов **никогда не говорил**, — вспоминал о нем Б. В. Никольский, — даже местоимение „я“ проскальзывало у него в разговоре, как и в сочинениях, только в виде исключения»⁴⁶.

По характеристике современного исследователя, «зыбкость, **расплывчатость взглядов Страхова** в этих его высказываниях, **закрытость, неуловимость его личности** действительно поразительны»⁴⁷. Да и сам Страхов сознавал: «Конечно, главный мой недостаток — отсутствие самостоятельности...»⁴⁸

Многие из пороков, которыми Достоевский наделил Ракитина, Страхов впоследствии приписал самому писателю. Так, например, он утверждал, что Достоевский был «зол, **завистлив**». Между тем Достоевский в «Братьях Карамазовых» не только прямо называет Ракитина завистником, но и изображает его сплетником, всюду имеющим своих информантов и не гнушающимся мелкими прегрешениями против совести:

Все это пронюхал Ракин, не утерпев и нарочно заглянув на игуменскую кухню, **с которой тоже имел свои связи. Он везде имел связи и везде добывал языка. Сердце он имел весьма беспокойное и завистливое.** <...>Алешу, который был к нему очень привязан, мучило то, что его друг Ракин бесчестен и решительно не сознает того сам, напротив, зная про себя, что он не украдет денег со стола, окончательно считал себя человеком высшей честности. <...>О последнем обстоятельстве Алеша узнал, и уж конечно совсем случайно, от своего друга Ракина, **которому решительно все в их городишке было известно...** (14, 79, 93).

Характер отношений Алеша и Ракина весьма смахивает на позднейшее восприятие Достоевским его собственных отношений со Страховым.

Дмитрий Карамазов в романе пророчесствует:

Не пьянствую я, а лишь «лакомствую», как говорит твой свинья Ракин, который **будет статским советником** и все будет говорить «лакомствую» (14, 96).

Ко времени работы над «Братьями Карамазовыми» Страхов **был статским советником** (а к концу жизни дослужился и до действительного статского)⁴⁹.

⁴³ Модестов В. <Рец.:> Борьба с Западом // Новости и Биржевая газета. 1887. 20 окт. С. 2.

⁴⁴ Андреев Ф. К. О сочинении студента Матвеевича Виктора на тему: Религиозно-философские взгляды Н. Н. Страхова // Богословский вестник. 1916. Июнь. Разд. «Журналы собраний». С. 1—12.

⁴⁵ Розанов В. В. Литературные изгнанники: Н. Н. Страхов. К. Н. Леонтьев. С. 70. И. Л. Волгин отметил, что между Ракиным и Страховым «есть момент тайного родства. Это — небескорыстие. И для Страхова и для Ракина идеология — лишь средство...» (Волгин И. Л. Последний год Достоевского. 4-е изд. М.: АСТ, Зебра Е, 2010. С. 232).

⁴⁶ Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1896. С. 6.

⁴⁷ Фатеев В. В. Религиозные воззрения Н. Н. Страхова. С. 87.

⁴⁸ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 1. С. 432.

⁴⁹ Весь Петербург на 1896 год, адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1896. С. 301.

Когда старец Зосима умирает, Ракитин немедленно занимает место в ските не просто для наблюдения, а еще и вдобавок

по особливому поручению госпожи Хохлаковой, которая считала его за самого благочестивого и верующего молодого человека — до того он **умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал в сем малейшую для себя выгоду** (14, 296).

Из второго тома романа мы узнаем, что Ракитин долгое время посещал госпожу Хохлакову, рассчитывая на ней жениться и взять за ней полтораста тысяч приданого, но когда она предпочла ему чиновника Перхотина, оставил ее в статье, напечатанной в петербургской газете «**Слухи**». При этом он изобразил дело таким образом, как будто бы она давала три тысячи рублей Дмитрию перед убийством, но тот пренебрег ее «сорокалетними прелестями» (15, 15).

Когда Алеша рассказывает Дмитрию, как Ракитин отомстил госпоже Хохлаковой, выясняется, что тот успел ославить и других:

— Это он, он! — подтвердил Митя нахмурившись, — это он! **Эти корреспонденции... я ведь знаю... то есть сколько низостей было уже написано**, про Грушу, например!.. И про ту тоже, про Катю... (15, 30).

Аналогичным образом сам Достоевский мог припомнить, как Страхов оклеветал не только его самого, но и Тургенева, и, по-видимому, не только их двоих.

Таким образом, почти все, в чем Ракитин обвинял Карамазовых: «сладогострастники, стяжатели», оказывается в реальности верно по отношению к нему самому. Возможно, зная за Страховым склонность к приписыванию другим своих собственных пороков, Достоевский как будто предвидел, что впоследствии он поступит так по отношению к нему самому.

Ракитин и Клод Бернар

Когда Дмитрий Карамазов попадает в острог, Ракитин начинает усиленно посещать его. Отвечая на вопрос Алеши о его отношениях с ним, Дмитрий говорит:

— С Михаилом-то подружился? Нет, не то чтоб. Да и чего, свинья! Считает, что я... подлец. Шутки тоже не понимают — вот что в них главное. Никогда не поймут шутки. Да и **сухо у них в душе, плоско и сухо, точно как я тогда к острогу подъезжал и на острожные стены смотрел**. Но умный человек, умный (15, 27).

В это время, не без влияния Ракитина, Дмитрия начинают беспокоить какие-то новые идеи. Что это за идеи, вскоре выясняется в разговоре Дмитрия с Алешей:

- Какой там был Карл Бернар?
- Карл Бернар? — удивился опять Алеша.
- Нет, не Карл, постой, соврал: Клод Бернар. Это что такое? Химия, что ли?
- Это, должно быть, ученый один, — ответил Алеша, — только, признаюсь тебе, и о нем много не сумею сказать. Слышал только, ученый, а какой, не знаю.
- Ну и черт его дери, и я не знаю, — обругался Митя. — Подлец какой-нибудь, всего вероятнее, да и все подлецы. А Ракитин пролезет, Ракитин в щелку пролезет, тоже Бернар. Ух, Бернары! Много их расплодилось!
- Да что с тобою? — настойчиво спросил Алеша.

Хочет он обо мне, об моем деле статью написать, и тем в литературе свою роль начать, с тем и ходит, сам объяснял. С направлением что-то хочет: «дескать, **нельзя было ему не убить, заеден средой**», и проч., объяснял мне. **С оттенком социализма**, говорит, будет. Ну и черт его дери, с оттенком так с оттенком, мне все равно. Брата Ивана не любит, ненавидит, тебя тоже не жалуется. Ну, а я его не гоню, потому что человек умный. Возносится очень, однако. Я ему сейчас вот говорил: «Карамазовы не подлецы, а философы, потому что все настоящие русские люди философы, а ты хоть и учишься, а не философ, ты смерд» (15, 28).

Как известно, Клод Бернар был сторонником позитивизма. В романе Чернышевского «Что делать?» сказано, что он «отзывался с уважением о работах Кирсанова, когда Кирсанов еще только оканчивал курс»⁵⁰. В 1866 году в России в переводе Страхова вышла книга Бернара «Введение в изучение экспериментальной медицины». В предисловии к этой книге Страхов писал:

Явления находятся между собой в причинной связи. Клод Бернар употребляет для этой связи новый термин; именно, по его выражению, каждое явление имеет свой **детерминизм**, т. е. необходимо определяется своими условиями. Обыкновенно это выражают так: при известных условиях необходимо совершается известное явление. Этот принцип Клод Бернар называет абсолютным, признаваемым нашим умом аргументом, независимо от всякого опыта⁵¹.

Принцип «детерминизма» отчасти соответствует **учению о «среде»**, которое Бернар развивал и в других своих сочинениях. Как показал Б. Г. Реизов, это учение не только прямо опровергалось в романе, но и вызывало у Достоевского неприятие связанного с ним французского натурализма:

Дмитрий Карамазов остро ощущает в себе чувство нравственной ответственности и свободы, о котором писал Достоевский в 70-е годы. Он уже начал свое искупление, и Ракитин, а вслед за ним прокурор и защитник, **объясняющие социальными, словесными и наследственными причинами его поведение и нравственную природу**, вызывают у него негодование. Он обнаруживает в их рассуждениях ход мысли, характерный для Клода Бернара и еще более открытый и очевидный у Золя. Против **детерминизма** Митя восстает всеми силами своей «свободной» души⁵².

Впрочем, с подачи Ракитина Дмитрий Карамазов усваивает позитивистское представление о том, что восприятие человека **детерминировано** чисто физиологическими особенностями его организма:

Вообрази себе: это там в нервах, в голове, то есть там в мозгу эти нервы (ну черт их возьми!) ... есть такие этакие хвостики, у нервов этих хвостики, ну, и как только они там задрожат... то есть видишь, **я посмотрю на что-нибудь глазами, вот так, и они задрожат, хвостики-то... а как задрожат, то и является образ**, и не сейчас является, а там какое-то мгновение, секунда такая пройдет, и является такой буд-то бы момент, то есть не момент, — черт его дери момент, — а образ, то есть предмет

⁵⁰ Чернышевский Н. Г. Что делать? Из рассказов о новых людях. Роман // Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. XI. М.: Гослитиздат, 1939. С. 146.

⁵¹ Клод Бернар. Введение в изучение опытной медицины. Пер. Н. Страхова. СПб.; М.: М. О. Вольф, 1866. С. I—III.

⁵² Реизов Б. Г. Из истории европейских литератур. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1970. С. 154.

али происшествие, ну там черт дери — вот почему я и созерцаю, а потом мыслю... потому что хвостики, а вовсе не потому, что у меня душа и что я там какой-то образ и подобие, все это глупости. <...> Великолепна, Алеша, эта наука! Новый человек пойдет, это-то я понимаю... (15, 28).

О природе зрения, которая связана с тем, что «на задней стороне глаз, на сетчатой оболочке, образуется при этом **уменьшенное изображение видимых предметов**», Страхов рассуждал, в частности, в статье «Главная черта мышления»⁵³.

Еще в статье, вошедшей в переведенный на русский язык сборник статей «Общий вывод положительного метода», который в «Преступлении и наказании» упоминает Лебезятников (6, 307), Клод Бернар доказывал, что живые существа также подчиняются действию принципа детерминизма:

Многие медики и натуралисты, пользуясь этими различными аргументами, доказывали невозможность применения опытного метода к изучению живых существ. <...> Я постараюсь доказать, что все явление как в живых, так и в неодушевленных телах подвержены безусловному и неизбежному **детерминизму**. Наука о жизни может иметь только те же методы и основания, какие существуют и в науке о неодушевленных телах, и нет надобности делать какое бы то ни было различие между принципом наук физиологических и наук физико-химических⁵⁴.

Дмитрий Карамазов все же хорошо сознает уязвимость этой теории:

А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. Лгут. Представляются. «Что же, будешь это проводить в отделении критики?» — спрашиваю. «Ну, явно-то не дадут», — говорит, смеется. «Только **как же**, спрашиваю, после того **человек-то? Без бога-то и без будущей жизни?** Ведь это, стало быть, **теперь все позволено**, все можно делать?» «А ты и не знал?» — говорит. Смеется. «Умному, говорит, человеку все можно, умный человек умеет раков ловить, ну а вот ты, говорит, и убил и влопался и в тюрьме гниешь!» (15, 28, 29).

Как уже отмечалось выше, взгляды самого Страхова на самом деле далеко не столь однозначны. В данном случае Достоевский отчасти стилизует своего героя также не столько под Страхова, сколько под критиков социалистической ориентации, опять-таки воспринятых в пародийно-памфлетном ключе. Впрочем, отдельные моменты подобного мировосприятия были присущи и Страхову. Так, издатель «Санкт-Петербургских ведомостей» Э. Э. Ухтомский, не раз бывавший у Страхова, находил его не только религиозным скептиком, но даже и «вольтерьянцем»⁵⁵.

Писатель наделяет Ракитина наклонностью Раскольникова оправдывать злодеяние возможностью «гражданскую пользу потом принести»:

Вот он как ходил-то ко мне, тогда и сочинил эти стишонки. «В первый раз, говорит, руки мараю, стихи пишу, для обольщения значит, для полезного дела. **Забрав капитал у дурищи, гражданскую пользу потом принести могу**». У них ведь **всякой мерзости гражданское оправдание есть!** (15, 29).

⁵³ Страхов Н. Н. Главная черта мышления // В кн.: Н. Н. Страхов в диалогах с современниками. СПб.: Алетейя, 2010. С. 193.

⁵⁴ Бернар К. Прогресс в физиологических науках // Р. Вирхов, Клод-Бернар, Молешотт, Пидерит, Вагнер. Общий вывод положительного метода. Пер. под ред. Н. Неклюдова. СПб.: Изд. Н. Неклюдова, 1866. С. 30–31.

⁵⁵ Лукьянов С. М. Запись бесед с Э. Э. Ухтомским // Российский архив. М., 1992. Вып. II–III. С. 398.

Другая его черта — фейербаховское убеждение в том, что идея Бога создана самим человечеством на ранних стадиях его развития и что в современном мире место Бога должно заступить человечество:

Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! В любви к свободе, к равенству, братству найдет...» (14, 76); «А меня бог мучит. Одно только это и мучит. А что, как его нет? Что, если **прав Ракитин, что это идея искусственная в человечестве? Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? Вопрос! Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет? Ракитин смеется. Ракитин говорит, что можно любить человечество и без бога.** Ну это сморчок сопливый может только так утверждать, а я понять не могу (15, 32).

В своих произведениях Достоевский не раз — в том числе и в «Братьях Карамазовых» (устами старца Зосимы) — показал, что любовь к дальнему чревата нелюбовью к ближнему. Как формулировал он эту мысль в статье «Голословные утверждения»,

те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, поднимают руки на самих же себя; ибо **вместо любви к человечеству** насаждают в сердце потерявшего веру лишь **зародыш ненависти к человечеству** (24, 49).

Именно эта диалектика постепенно выявляется в романе и применительно к Ракитину⁵⁶:

— Да **за что мне любить-то вас?** — не скрывая уже злобы, огрызнулся Ракитин. Двадцатипятирублевую кредитку он сунул в карман, и пред Алешей ему было решительно стыдно. Он рассчитывал получить плату после, так чтобы тот и не узнал, а теперь **от стыда озлился.** <...>

— Любят за что-нибудь, а вы что мне сделали оба?

— А ты ни за что люби, вот как Алеша любит (14, 319–320).

То, что декларируемая любовь к человечеству без идеи Бога легко может стать всего лишь прикрытием для откровенного эгоизма, интуитивно чувствует Дмитрий Карамазов:

Легко жить Ракитину: «Ты, — говорит он мне сегодня, — о расширении гражданских прав человека хлопочи лучше али хоть о том, чтобы цена на говядину не возвысилась; этим проще и ближе **человечеству любовь** окажешь, чем философиями». Я ему на это и отмочил: «А ты, говорю, **без бога-то, сам еще на говядину цену набьешь**, коль под руку попадет, и наколотишь рубль на копейку». Рассердился (15, 32).

Само противостояние в романе Алеши Ракитину, очевидно, восходит к флорентийскому расхождению между Достоевским и Страховым по вопросу о природе человека. Недаром к убежденности Страхова в том, что **человек «гнушен до последней степени»**, которое тот сформулировал в обращенной к Достоевскому статье «Наблюдения»⁵⁷, исследователи небезосновательно возводят и страховское письмо к Толстому⁵⁸.

⁵⁶ Кибальник С. А. Проблемы интертекстуальной поэтики Достоевского. СПб.: ИД «Петрополис», 2013. С. 377–380.

⁵⁷ Н. Н. Страхов о Достоевском. С. 562.

⁵⁸ Кошечко А. Н. Достоевский и Страхов: опыт экзистенциальной коммуникации // Современные проблемы науки и образования: Электрон. науч. журн. 2014. № 4. С. 1–9. URL: <http://www.science-education.ru/118-14365> (дата обращения: 20.08.2014).

В вариантах к роману Ракитин делает космополитические декларации, напоминающие страховские ремарки 1870-х годов:

Русский народ **недобр, потому что не цивилизован** (15, 256)⁵⁹.

Как известно, «судя по черновым наброскам, автор предполагал сделать Ракитина побратимом Алеши и придать их спорам более резко выраженный идеологический характер». Причем Ракитин в них, ссылаясь на Бокля, отстаивал бы идеи уничтожения религии, а если, как говорит Алеша, «народ не позволит», то «истребить народ, сократить его, молчать его заставить. Потому что **европейское просвещение выше народа**».

«Аргументы Ракитина — апелляция к Боклю, призыв „истребить народ“, — отметила Е. И. Кийко, — уже вызвали в свое время возражения Достоевского в публицистических статьях 1860-х годов, „Записках из подполья“ (1864), „Крокодиле“ (1865)» (15, 430).

Так что, создавая образ Ракитина, Достоевский первоначально намеревался, по-видимому, вернуться к своим старым спорам, в том числе и со Страховым.

Разгадка этой клеветы облегчается тем, что в своем навете на Достоевского клеветник оставил явные словесные следы собственной обиды на него. Изобретательности Страхову хватило только на то, чтобы стрелки, направленные на него Достоевским, перевести на самого писателя. Теми же словами, которыми Достоевский клеймил Страхова как сплетника, испытывающего сладострастие от возведения плотских грехов на других, Страхов попытался обличить мнимое плотское сладострастие (вплоть до педофилии) самого Достоевского. При этом он тут же простодушно упомянул факт, по-видимому послуживший основным поводом к возникновению этой клеветы: чтение Достоевским в писательских компаниях отвергнутой «Русским вестником» главы «У Тихона».

Однако правда Достоевского еще при жизни Страхова взяла верх. Уже на следующий год после попытки своей клеветы на Достоевского Страхов сам писал о себе собственными словами автора «Братьев Карамазовых»:

Покаюсь Вам, бесценный Лев Николаевич, я **подавался новым гадостям**, которые открылись у меня в душе...⁶⁰

Последние годы жизни, как показывает его переписка, он страдал от своего рода распада личности.

Достоевский же еще в «Дневнике писателя» за апрель—июнь 1876 года — возможно, не без влияния слухов, распространяемых о нем его мнимыми друзьями — то и дело размышлял о «знамени чести» литератора⁶¹.

И, по-видимому, собираясь продолжить этот разговор, записал в рабочей тетради 1876—1877 годов, в которой ниже появится его отзыв о Страхове:

⁵⁹ Впрочем, и в основном тексте романа Ракитин подбивает Колю Красоткина бежать в Америку, но Коля полагает, что «бежать в Америку из отечества — низость, хуже низости — глупость» (15, 501).

⁶⁰ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 665. Страхов не раз использовал в письмах к Толстому эту, возможно, произвольно заимствованную им у Достоевского («**делает гадости**» — 24, 240) характеристику: «...на меня все еще иногда нападает страх, что Вы меня, **гадкого**, как-нибудь разлюбите», «Но истинно противны другие минуты, когда я вижу тяжелое оскорбление в самом невинном слове и звуке и когда сам навожу на себя чувства **гадкие...**», «вы пожалели обо мне, когда я попробовал открыть Вам **гадости**, которые у меня на душе» (Там же. Т. 1. С. 467; Т. 2, С. 542, 548).

⁶¹ Аналогичным образом Достоевский в этой тетради опровергает голословное обвинение В. Г. Авсеенко в том, что будто бы «„Русский вестник“ поправлял“ его «грязь» (см.: 17, 45).

О том, что **литературе** (в [нашем веке] **наше время**) **надо высоко держать знамя чести**. Представьте себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: «если уж эти, то...» и т. д.⁶²

Разгадка последнего яснополянского сна Льва Толстого

Ко времени своего ухода из Ясной Поляны Толстой совершенно забыл о письме к нему Страхова о Достоевском. Это ясно из следующего факта. В феврале 1907 года Софья Андреевна рассказывала в Ясной Поляне о своей работе в Историческом музее, в котором к тому времени уже находились письма Страхова к Толстому:

Читала письмо Страхова к Л. Н. о Достоевском, биографию которого Страхов писал; пишет, что он был тщеславный, злой, развратный; как об этом писать? Решил умолчать, пусть зло погибнет.

Толстой откликнулся на это с энтузиазмом, похвалив Страхова:

Вполне, вполне, вполне! Это на него похоже — и прекрасно⁶³.

Однако в июле 1908 года Д. П. Маковицкий рассказал в Ясной Поляне про фельетон В. Ф. Боцяновского «Сплетня о Достоевском» (газета «Русь», 1908, № 159, 11 июня), в котором опровергалось, что

Достоевский будто бы был безнравственной жизни, как недавно вспоминала Софья Андреевна, опираясь на письмо Н. Н. Страхова.

На этот раз Толстой был огорчен и осудил письмо Страхова:

Л. Н. не знал, что такие вещи говорились о Достоевском:
— Нехорошо было со стороны Страхова⁶⁴.

Так что можно с уверенностью сказать, что ко времени своего «сна» отзыв Страхова о Достоевском в письме к нему самому Толстой вспомнил.

Читая роман «Братья Карамазовы», Толстой мог — так же как, судя по всему, сделал Страхов — узнать его в Ракитине. Это приоткрыло бы перед ним тайные мотивы негативного отзыва Страхова о Достоевском. Ему стало бы ясно, что, давая этот отзыв, Страхов, как ранее и предполагали исследователи, лишь болезненно реагировал на этот образ в «Братьях Карамазовых». Ведь и обвинял-то он Достоевского почти теми же словами, которыми Достоевский заклеил Страхова на страницах романа.

Толстой мог узнать в Ракитине Страхова еще по одной причине. Криптографическая поэтика Достоевского была хорошо знакома Толстому по другим ее образцам — прежде всего по тем, которые были адресованы Достоевским самому Толстому. Скры-

⁶² Литературное наследство. Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860–1881 гг. Т. 83. М.: Наука, 1971. С. 544–545.

⁶³ У Толстого. 1904–1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 2: 1906–1907 // Литературное наследство. 1979. Т. 90. Кн. 2. С. 385.

⁶⁴ У Толстого. 1904–1910: «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 3: [1908–1909] // Литературное наследство. 1979. Кн. 3. С. 133.

тый интертекстуальный диалог Достоевский и Толстой, эти два хорошо знакомых незнакомца, вели на протяжении всей их жизни. После смерти Достоевского Толстой доверял его в одиночку.

Напомню, что Достоевский назвал князя Мышкина «Львом Николаевичем» и сопроводил его образ рядом интертекстуальных отсылок к рассказу Толстого «Люцерн» (8, 50; 9, 432) и, возможно, к «Войне и миру». Толстой же фактически переписал сюжетную линию Мышкина, Тоцкого и Настасьи Филипповны в своем последнем романе «Воскресение»⁶⁵.

Однако в первую очередь страховский подтекст образа Ракина не мог не навести Толстого на новые размышления о личности и судьбе Страхова, который именно в письмах к нему исповедовался на протяжении всей своей жизни, причем особенно откровенно в последние полтора десятилетия его жизни, то есть приблизительно вскоре после своего печально знаменитого письма Толстому о Достоевском. При этом драма личности Страхова, как он сам не раз формулировал ее в письмах к Толстому, была драмой бегства от жизни, отказа от личной жизни и семьи⁶⁶.

Приведу несколько коротких фрагментов из писем Страхова Толстому 1880–1890-х годов:

Я никогда не жил как следует. В эпоху наибольшего развития сил (1857–1867) я не то что жил, а поддался жизни, подчинился искушениям; но я так измучился, что потом навсегда отказался от жизни. Что же я *делал*, собственно, и тогда, и потом, и что делаю теперь? То, что делают люди отжившие, старики. Я *берегся*, я старался ничего не искать, а только избежать тех зол, которые со всех сторон окружают человека. <...>У меня нет ни семьи, ни имущества, ни положения, ни кружка — ничего нет, никаких связей, которые бы соединяли меня с жизнью,

Я вовсе не живу...

Я человек безжизненный, в котором мало души, нет воли в смысле живых стремлений. Я во всех сферах неудавшийся, ни в чем не сформировавшийся, ни в какую форму не отливший человек, потому что во мне не было настолько формирующей силы, притяжения к жизни,

С 1868 года я не знаю женщин и перестал пьянствовать, следовательно, для меня началась не жизнь, а житие, как выражался Писемский. Я пришел тогда в страшное состояние, боялся сойти с ума, и потому бросил все свое распутство и решил оттерпеться, чтобы спасти свой ум⁶⁷.

Неудивительно, что 26 января 1896 года, когда Толстой узнал о смерти Страхова, он записал в дневнике:

Я жив, но не живу. Страхов. Нынче узнал об его смерти (LYIII, 77).

Судьба Страхова в конце концов отпечаталась в сознании Толстого как драма добровольного отказа от жизни.

⁶⁵ См. об этом, например: Перлина Н. Лев Николаевич Нехлюдов — Мышкин, или Когда придет Воскресение // Достоевский и мировая культура. Альманах № 6. СПб.: Акрополь, 1996. С. 118–124.

⁶⁶ Не исключено даже, что сама по себе метафора «живой труп», использованная в заглавии его известной пьесы, была подсказана Толстому в том числе и драмой жизни Страхова. Оговорюсь, что сам Страхов говорил о себе как о живом трупе в другом смысле и совсем не был похож на Федю Протасова.

⁶⁷ Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т. 2. С. 432–433, 441, 910–911.

В одном из своих писем Толстому Страхов писал:

Спрашивается. Чем же я живу? Чего от себя добиваюсь и в чем полагаю то хорошее, без стремления к которому мне было бы стыдно жить? Мне представляется, можно написать любопытный этюд, только очень грустный⁶⁸.

Так, может быть, «чудный сюжет», который приснился Толстому 26 октября 1910 года, это и есть тот «любопытный этюд», который Толстой долгое время побуждал сделать из собственной жизни самого Страхова, но который так его и не написал, и о том, чтобы написать его, пришлось задуматься самому Толстому?

Каким же образом в таком случае Страхов мог оказаться в ситуации любовного романа с Грушенькой? Очевидно, что если иметь в виду реального Страхова, то это могла бы быть история старого философа, потерявшего голову от любви к молодой женщине — «инфернальнице», как называл таких женщин сам Достоевский.

Этакий «Голубой ангел» (1930) — только не в кино, а в литературе. Своего рода «Игрок» Достоевского (я имею в виду сюжетную линию «генерал — M-lle Blanche»), переложенный на сугубо русские и сугубо интеллигентские рельсы.

Если же иметь в виду романский образ Страхова в «Братьях Карамазовых», то для того, чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, в каких отношениях Ракинтин находится с Грушенькой в романе Достоевского. Он ее двоюродный брат. Однако сам Ракинтин возмущенно заявляет Алеше в романе, что у него не может быть с ней ничего общего:

— Родственница? Это Грушенька-то мне родственница? — вскричал вдруг Ракинтин, весь покраснев. — Да ты с ума спятил, что ли? Мозги не в порядке. — А что? Разве не родственница? Я так слышал... Где ты мог это слышать? <...> Я Грушеньке не могу быть родней, публичной девке, прошу понять-с! (14, 77).

То, что Грушенька тем не менее и в самом деле двоюродная сестра Ракинтина, всплывает, однако, только на суде над Дмитрием Карамазовым — то есть уже во втором томе романа, который Толстой, если верить его собственному свидетельству, не читал⁶⁹. Впрочем, в вопросе о том, что они читали, писатели, как известно, не всегда искренни и не обязаны быть таковыми.

Тем не менее, говоря о романе Страхова с Грушенькой, Толстой мог отталкиваться от возможности любовной связи с ней Ракинтина в романе Достоевского. Правда, подобная связь оказывалась бы довольно неожиданной и опровергала бы собственные слова Ракинтина. Ср. ремарку Алеши Карамазова, обращенную к Ракинтину:

— Ты к ней часто ходишь и сам мне говорил, что ты с нею связей любви не имеешь... (14, 78).

Ракинтин, впрочем, не свободен от вожделения к Грушеньке, но его в первую очередь влекут к ней материальные интересы: он разживается у нее деньгами.

Сюжет в этом случае принимал бы несколько заурядный характер. И тем не менее подобная интерпретация сна Толстого представляется вполне вероятной.

Получалось бы, что Толстой как бы собирался писать вариацию на сюжет «Братьев Карамазовых». Что после «Воскресения» представляется не таким уж невозможным. Ведь звучат же, хотя «отдаленно и приглушенно», мотивы романа «Братя Карамазовы», например, в драме Толстого «Живой труп»⁷⁰.

⁶⁸ Там же. Т. 1. С. 473.

⁶⁹ См.: Булгаков В. Л. Толстой в последний год жизни: Дневник секретаря Толстого. М., 1960. С. 392.

⁷⁰ См.: Туниманов В. А. Достоевский, Страхов, Толстой. С. 312.

Разумеется, даже после того, как нам удалось выяснить, что образ Ракитина был скрытым памфлетом против Страхова, и даже если хотя бы одно из высказанных нами выше предположений верно, мы все равно не можем сказать, как развивался бы далее художественный замысел Толстого, если бы писателю хватило жизни на его воплощение и он бы на это воплощение сподобился. Скорее всего, Толстой и сам еще не знал этого, когда записал свой сон, и сюжет полностью сложился бы только в процессе реализации замысла.

Тем не менее высказанные предположения все-таки позволяют сделать шаг вперед в разгадке последнего яснополянского сна Толстого и связанного с ним замысла его нового — и, очевидно, последнего — художественного творения.

Итак, размышления Толстого о романе «Братья Карамазовы» и порожденный ими сюжет о Грушеньке и Страхове, возможно, связаны не только с творчеством Толстого⁷¹, но и с его многолетним диалогом со Страховым (прямым и открытым) и с Достоевским (заочным и скрытым), а также с судьбой самого Толстого и даже с финальной точкой в этой судьбе — его уходом незадолго до смерти из Ясной Поляны.

⁷¹ См.: Там же. С. 306—316.

Вера КАЛМЫКОВА

«СДРКРЧ», ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ РУССКОГО ЯЗЫКА

Я носитель языка. Как хочу, так и ношу.

Полина К., 17 лет

Название статьи — акроним фразы «С днем рождения, короче» — взято из лексикона пользователей социальных сетей. А эпиграф — из реальной речевой практики одиннадцатиклассницы... Кстати, спасибо лингвисту Нине Валеевой, указавшей, что существует и канонический вариант: «Что хочу, то и несу». Однако Полина К., боюсь, его не знает...

Разные способы сказать одно и то же без утраты смысла, основываясь на каламбурной многозначности слов «носить» и «носитель» и получая при этом дополнительные смысловые приращения, безусловно, свидетельствуют: игровой потенциал русской лексики и грамматики сегодня так же велик, как и в прошлые времена. Наличие игровых возможностей обеспечивает наличие пластических, а это, в свою очередь, свидетельствует о свободе — и языка, и его носителя, который *освобождается языком* в той мере, в которой, по М. Хайдеггеру, «язык говорит нами», а не только мы используем его. О связи между языковой игрой и личной свободой говорил еще З. Фрейд в начале книги «Остроумие и его отношение к бессознательному», ссылаясь на труды предшественников, среди которых был, в частности, немецкий поэт-сентименталист Жан Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763—1825).

Упоминание *о поэте* здесь не случайно. Издавна складывалось так, что поэтическое творчество оказывалось тем полем, на котором язык реализовывал себя в широчайшем спектре возможностей. Поэты образуют новые слова, поэты ищут новые виды языковой пластики. Недаром сочинение стихов как на своем, так и на чужом языке издревле было учебной дисциплиной в высших учебных заведениях — в России с XVII века и до большевистской революции 1917 года. Поэтам же, наряду с философами и лингвистами, принадлежат и убедительные попытки концептуализировать язык как средство общения прежде всего. Последняя по времени попытка такого рода была предпринята Осипом Мандельштамом в статьях разных лет.

С точки зрения Мандельштама, *русский язык обладает эллинистической природой*. Эту мысль настойчиво проводил Вячеслав Иванов, но корни ее в русской культуре значительно более глубоки. Свой язык мы получили от «учителей словенских» Мефодия и Кирилла (Константина Философа), и в его основе лежит библейский, или новозавет-

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

ный, или святоотеческий койне, который, в свою очередь, сложился в эллинистическую эпоху как результат слияния множества эллинских диалектов, различия между которыми были стерты уже в эпоху завоеваний Александра Македонского. Графика современных русских букв — наглядное свидетельство родства. Но нельзя сбрасывать со счетов арамейские и древнееврейские влияния, отразившиеся на грамматических формах, и не учитывать силу славянского элемента — не меньшую, чем эллинского.

В самой Элладе со времен Платона существовал, как известно, перешедший в русскую культуру миф о Гиперборее. Вне зависимости и от того, где могла располагаться мифическая страна, и от того, что современные ученые не подтверждают возможности ее существования на Урале, идея в русской культуре укоренилась и выразилась, в частности, в «Памятнике» Г. Р. Державина. Согласно мифу, в культурном плане Русь и Россия — прямые родственники и непосредственные наследники эллинов.

Эллинизм для Мандельштама *почти* то же самое, что и для Александра Македонского, — это универсальная система гуманистических ценностей. *Почти* — потому что взаимодействие этих ценностей для поэта есть *тайна*, о чем сын Филиппа и Амона вряд ли думал. При сопряжении различных культурных явлений и смыслов выделяется «телеологическое тепло», передающееся читателю и создающее то самое напряжение, которое и делает поэзию и живой язык непосредственно и радостно воспринимаемыми. Уже в сравнительно раннем и не полностью дошедшем до нас тексте «Скрябин и христианство» (<1917>) великий композитор определен как русский эллин: «Скрябин — следующая после Пушкина ступень русского эллинства, дальнейшее закономерное раскрытие эллинистической природы русского духа. Огромная ценность Скрябина для России и для христианства обусловлена тем, что он безумствующий эллин. Через него Эллада породнилась с русскими раскольниками, сожигавшими себя в гробах. Во всяком случае, к ним он гораздо ближе, чем к западным теософам. Его хилиазм — *чисто русская жажда спасения* (выделено автором. — В. К.); античного в нем — то безумие, с которым он выразил эту жажду» (I, 202¹). Однако эллины, замечал далее Мандельштам, боялись музыки и больше доверяли слову, выставляя его как противоядие «подозрительной и темной стихии». Как только культура приняла музыкальное начало, эллинство стало христианством: «Собственно чистой музыки эллины не знали — она всецело принадлежит христианству. Горное озеро христианской музыки отстоялось после глубокого переворота, превратившего Элладу в Европу» (I, 203).

Позже, в статье «О природе слова» (<1920–1922>), Мандельштам отметил пагубность выявления причинности, дискредитировал теорию прогресса, особенно в литературе, и предложил «говорить только о внутренней связи явлений», пробовать «отыскать критерий возможного единства — стержень, позволяющий развернуть во времени разнообразные и разбросанные явления литературы. Таким критерием единства литературы данного народа, единства условного, может быть признан только язык народа, ибо все остальные критерии сами условны, преходящи и производны. Язык же, хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в покое, от точки и до точки, ослепительно ясной в сознании филологов, и в пределах всех своих изменений остается постоянной величиной, „константой“, остается внутренне единым. Для всякого филолога понятно, что такое тождество личности в применении к самосознанию языка» (I, 219–220). Если мы переведем выражение Мандельштама на язык современных понятий, то «тождество личности» очевидно будет означать то же, что Пушкин именовал *самостояньем*, а мы сегодня называем *самоидентификацией*.

Далее у Мандельштама идея эллинистичности русского языка звучит крещендо: «Русский язык так же точно, как и русская народность, сложился из бесконечных при-

¹ Здесь и далее произведения поэта цитируются по изданию: Мандельштам О. Э. Собрание сочинений: В 4 т. М.: АРТ-БИЗНЕС-ЦЕНТР, 1993–1999.

месей, скрещиваний, прививок и чужеродных влияний. Но в одном он останется верен самому себе <...> Русский язык — язык эллинистический». О том, что механизм возникновения новозаветного койне и русского примерно одинаков, Мандельштам не писал, но это и так понятно; возможно, спецификой процесса и объясняется *всеотзывчивость* русского, вытекающая из его синтетической природы.

К 1920 году вопрос о печально знаменитом имяславии, разгромленном в 1913 году, увы, утратил актуальность практически для всех, кроме нескольких религиозных философов — и поэта Мандельштама. «Имябожцы-мужики», как они названы в стихотворении «И поныне на Афоне...» (1915), полагали творящую силу в Самом Имени Бога, что дало основание Мандельштаму говорить о слове-плоти. Способность подозревать — или прозревать — связь явлений, обозначенных не только родственными, но и просто похоже звучащими словами, осталась с ним до конца, и здесь это *плоть-воплощение-полнота*. «В силу целого ряда исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад эллинским влияниям и надолго загощиваясь в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самоуверенную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. <...> русская культура и история со всех сторон омыта и опоясана грозной и безбрежной стихией русского языка <...> Жизнь языка в русской исторической действительности перевешивает все другие факты полнотою явлений, полнотою бытия, представляющей только недостижимый предел для всех прочих явлений русской жизни. Эллинистическую природу русского языка можно отождествлять с его бытийственностью. Слово в эллинистическом понимании есть *плоть деятельная, разрешающаяся в событие*». Это утверждение сделано, как представляется, на основе знания Мандельштамом истории русской литературы XVIII—XIX веков, когда литература заменяла и философию, и психологию, и другие области гуманитарного знания, нарождавшиеся на Западе и отсутствовавшие в России.

«Поэтому русский язык историчен уже сам по себе, так как по всей своей совокупности он есть волнуемое море событий, непрерывное воплощение и действие разумной и дышащей плоти. Ни один язык не противится сильнее русского назывательному и прикладному назначению. Русский номинализм, то есть представление о реальности слова как такового, животворит дух нашего языка и связывает его с эллинской филологической культурой не этимологически и не литературно, а через принцип внутренней свободы, одинаково присущей им обоим». Номинализм Мандельштам понимал в том же смысле, что и последователи киника Антисфена в античности и средневековье: это учение о чувственном опыте как основе познания предметного, эмпирического мира, объективной реальности, что подтверждается в мандельштамовской поэзии множественными отсылками к пяти чувствам. Этот же фактор — способность поэтического высказывания вызывать реакцию пяти физических чувств, то есть физиологическую реакцию организма — следует учесть при разговоре о «плоти» слова.

«Всяческий утилитаризм (то есть *назывательность* и *прикладное назначение*. — В. К.) есть смертельный грех против эллинистической природы, против русского языка, и совершенно безразлично, будет ли это тенденция к телеграфному или стенографическому шифру ради экономии и упрощенной целесообразности или же утилитаризм более высокого порядка, приносящий язык в жертву мистической интуиции, антропософии и какому бы то ни было всепожирающему и голодному до слов мышлению» (I, 220—221). Противопоставление номинализма и того явления, которое здесь обозначено как утилитаризм, является скорее историческим противостоянием философских систем номинализма и реализма, признававшего объективное существование духовных сущностей вне обозначающих их слов.

В то время как *плотью языка* для Манделъштама стали фонетика и грамматика, лексика для него оказалась квинтэссенцией структуры и формы, единицей социальной и ментальной архитектуры: «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории» (I, 225).

Именно тот фактор, что русское слово обладает собственной плотью и особой *плотностью*, позволил Манделъштаму фактически отождествить язык нашего народа и его историю: «Столь высоко организованный, столь органический язык не только дверь в историю, но и сама история. Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. „Онемение“ двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти. Отлучение от языка равносильно для нас отлучению от истории. Поэтому совершенно верно, что русская история идет по краешку, по бережку, над обрывом и готова каждую минуту сорваться в нигилизм, то есть в отлучение от слова» (I, 222). Страшнее отлучения от языка для русскоговорящего человека и тем более писателя, по Манделъштаму, ничего нет и быть не может.

Интерпретируя идеи поэта, Г. Ч. Гусейнов в статье «Античность и античные мотивы в творчестве О. Э. Манделъштама» для первого тома «Манделъштамовской энциклопедии» (М.: РОСПЭН, 2017) сделал вывод, что русский язык как эллинистический, во-первых, замещает всякую социальность, а во-вторых, преобразует эллинизм на русской культурной и языковой почве. Получается, что эллинистичность для Манделъштама — понятие и эстетическое, и историческое.

Вооруженные манделъштамовской концепцией, проанализируем современную языковую ситуацию с нескольких точек зрения. По-прежнему ли наше родное наречие способно выразить связь явлений? Служит ли оно, как раньше, заменой социальности? Наконец, в какой степени нам, сегодняшним носителям, грозят обрыв, утрата исторического бытия и прочие ужасы, которыми чревато отпадение от языка?

Сразу оговорюсь: меня мало тревожит то, что принято сегодня квалифицировать как катастрофическое падение культуры речи. Страстно любя точность и ясность мышления, я с наслаждением пользуюсь афоризмом Татьяны Соколовой, одного из лучших московских редакторов: «Россия — страна, победившая всеобщую грамотность», — однако более для красного словца, чем совершенно разделяя ее пафос. Ибо разговорная речь всегда и в любой язык вносит центробежный вектор; ибо с утратой вертикально-пирамидальной структуры общества и его переориентацией на горизонтальную ось утрата ощущения нормы как *высокого* образца неизбежна; ибо система образования у нас шатается; ибо... ибо...

Но и глубже: в свое время писания Данте, отдавшего предпочтение разговорной речи, корифеями воспринимались как крамольные. Спустя несколько веков творения романтиков приводили в ужас авторитетных ценителей, приходивших в ужас от засилья в языке — чего? Элементов разговорной речи.

За последние примерно 35 лет русскому языку довелось *усвоить* и *присвоить* несколько лексических пластов, описывающих явления, не выросшие на нашей национальной почве. Это нормально: с приходом в одну культуру чего-либо родившегося в другой заимствуются и названия. Попытки подобрать обозначения, основываясь на русской лексике, комичны — как «внимаю» вместо «алло» при ответе на телефонный звонок.

Нынешнее общество, расплывающееся по горизонтали, подобно информационному морю, в котором плавают отдельные острова-кластеры, образованные людьми,

близкими по области деятельности или интересам. В каждом кластере имеется свой жаргон. В большей или меньшей степени он понятен членам других кластеров и под-ходит для общего пользования. Отслеживанием *погодных* (от «год», а не «погода») изменений языка занимаются авторы «Словаря перемен» (группа существует с 2011 го-да), работающие над анализом лексических поступлений или внезапной активизации уже существующих. Так создается языковой портрет эпохи. Например, согласно иссле-дованиям, «словом года» в 2007 году было «гламур», 2008 — «кризис», 2009 — «пере-загрузка», 2010 — «жара/огнеборцы», 2011 — «полиция», 2012 — «Болотная», 2013 — «госдура», 2014 — «крымнаш», 2015 — «беженцы», 2016 — «брекзит»².

Существует и точка зрения, согласно которой новые слова при наличии, казалось бы, «старых» синонимичных отражают и новую картину мира, включающую какие-то ранее отсутствовавшие обертона. Вот что в одной из соцсетей написала Ирина Левонтина:

Когда мы чувствуем, что жизнь изменилась, то старые слова уже не выражают нашего понимания жизни. Очень часто мы этого не замечаем. Например, когда появилось слово «хайп», то многие удивлялись: зачем нужен «хайп» и почему он стал так популярен, если уже есть «ажитоаж». Но язык — очень мощный инструмент. Если слово прижилось, значит, за этим стоит какой-то процесс. И действительно, сей-час колоссально изменилась скорость оборота информации. Раньше — в XIX веке — какой-нибудь писатель использовал слово «нигилизм» в своем романе. Потом ро-ман поехал на тройке в имение, там его прочли, написали письмо. Затем вышла ре-цензия. Сейчас информация распространяется в геометрической прогрессии. И слово «хайп» выражает нечто похожее на «ажитоаж», но совсем другое по ощущениям. <...>

Иногда какое-то свое слово берется, и нафталин из него вытряхивается. Как сло-во «вечеринка». Оно ведь совсем устарело, его нельзя было использовать, и его упо-требляли разве что в переводной литературе. Потом вдруг оно реанимировалось и победило другие варианты.

Что касается заимствований, то особенно объемны три лексических пласта, связан-ных с тремя процессами, начавшимися в России в связи с изменением политической, со-циальной и культурной ситуации — падением «железного занавеса», до поры до вре-мени символически отделявшего нас от западного мира. Это лексика, связанная с:

- 1) компьютерной сферой;
- 2) бизнес-сферой;
- 3) общением в социальных сетях.

Примеры для первой и третьей групп всем известны, поскольку все мы в той или иной мере являемся пользователями компьютеров, а некоторые и *геймерами*, и приво-дить их нет нужды. Оговорюсь, что заимствование и русификация новых лексем идет по законам отечественной грамматики: корень иноязычный, словообразовательные модели и аффиксы родные, проверенные. «Пост» (новый текст в соцсети или републи-кация чужого текста) — «постить» — «перепостить»; «мем» (любая единица информа-ции) — «мемчик» и др. Нет, например, глагола «мемить» — он некрасив: эстетическая функция тоже работает. Есть точка зрения, будто интернет-жаргон порой напоминает офенский язык; однако офени были закрытым сообществом, а сетевое общение пред-полагает широчайший круг пользователей. То же происходит, например, в области спорта, откуда в наш язык приходят калькированные «кайт», «серфинг», «борд» и др. Интересна судьба слова «дзеппинг», обозначавшего быстрое нажатие кнопок на телевизионном пульте при желании посмотреть, что на какой программе показывается. Поскольку телевизор вытеснен компьютером, то и слово не прижилось (а жаль).

² С деятельностью группы читатель может ознакомиться здесь: <https://goslitmuz.ru/news/157/5712>

Особого внимания заслуживает бизнес-лексика, не так широко распространенная в связи с ограниченным кругом лиц, использующих ее в профессиональном обиходе. Слова «блокчейнинг», «коворкинг», «копирайтер», «кэшбек», «лиды», «майнинг», «оффер», «проктеризация», «скетч», «супервайзер», «эйчар», даже «митинг» и «клининг» и др. непонятны подавляющему большинству россиян вне бизнес-сферы. Русские суффиксы *-ар-* и *-инг-* — кальки аналогичных английских, правда, за давностью лет уже прижившиеся в языке. Однако и эту ситуацию можно принять как типичную для нашей социально-языковой культуры, вспомнив профессиональные арго.

Среди разных пластов профессиональной лексики встречаются чрезвычайно интересные новообразования, возникающие на основе различных языковых процессов. Так, в арго автовладельцев и автомехаников встречаются слова «гайец», «гибддун», см.: «даер», «доер», «доярка», образованные от аббревиатур или основы глаголов «додать» и «дать» суффиксальным способом; сотрудник ГИБДД, стоящий на посту, может обозначаться как «волнистый попугай», «гей», «партизан», «подосиновик», «памятник»³ — это переосмысление лексического значения. Увеличение мощности двигателя за счет установки турбины, компрессора и др. называется в этом арго «фаллопротезированием» (корень + целое слово), удаление катализаторов в выхлопной системе — «кастрацией», присадки в двигатель — «амфетаминами»⁴.

Что здесь главное? Думается, не ассоциации с телесным низом — они просто, как и в любую эпоху, служат неизбывным источником комического. Но вот что радует: в каждом случае заметен образный компонент, и роль его значительна.

По-прежнему отличается образностью и разговорный язык. Об этом свидетельствуют недавно появившиеся образования, отписывающие разную степень глубины впечатления от чего-то извне: «меня зацепило» (привлекло внимание), «в меня попало» (меня затронуло), «мне зашло» (воздействовало на меня).

Следующей приметой времени, обращающей на себя внимание в современной языковой ситуации, стала макароническая речь, *смешенье языков* — у Грибоедова было «французского с нижегородским», сегодня это скорее английский, зачастую с тем же нижегородским. Нормальным становится вопрос «Как вы предпочитаете *коммуницировать*?» или утверждение «Надо иметь *пруфы*» (доказательства). И если слово «коммуникация» еще может восприниматься как укорененное в русском, хотя формулировка и звучит несколько неуклюже, то уже для «пруфов» нужно все-таки минимальное знание английского. Таким образом, макаронические вставки делятся на две группы: для всех — и для «посвященных» хотя бы на самом примитивном уровне.

Интересно, что одно и то же явление выглядело комично в прошлом и воспринимается как норма в настоящем. Вспомним образ профессора Выбегалло из повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Макароническая речь была дана этому персонажу как авторское стилистическое доказательство лженаучности его теорий: «Как-никак, а же суизан рекомедатель сет нобль ве. Пойдут разговоры... эта... кумовство, мол, протексион...» («Сказка о Тройке»).

Еще одна характерная для нашего времени черта — крайнее недоверие ко всем случаям употребления слов в переносном значении, даже если оно зафиксировано в словарях. В их число попадают даже пословицы и поговорки, не говоря уж о метафорах. Тенденция охватывает, как говорится, широкие, нет, широчайшие слои населения, практически все, в которых человеку приходится что-нибудь писать, — от школьников до научных работников. Редакторы и педагоги часто сталкиваются с такими случаями (из этических соображений цитирование исключено). Однако на помощь вновь приходят Стругацкие с той же «Сказкой о Тройке»:

³ Более подробно см.: <https://golifehack.ru/avtosleng>

⁴ <https://www.drive2.ru/b/545688>

— <...> Саша, что такое детский сад?

— Детский сад? Детский сад... — Я подумал. — Детским садом называется организация, которая заботится о детях дошкольного возраста, пока родители заняты на производстве.

— Спасибо, Саша, — сказал Федя, и по его тону я понял, что он не удовлетворен.

— А что там написано? — спросил я.

— «У меня аптека, а не детский сад...» — по слогам прочитал Федя.

— Ясно, — сказал я. — Заведующий китежградской аптекой подвергается принципиальной критике за то, что препятствует выдвигению молодых кадров. Так?

— Кажется, так, — сказал Федя неуверенно. — Но я все равно не понимаю... Аптека — это магазин, где продают лекарства... Вы знаете, Саша, я стал понимать даже хуже, чем раньше. Он что хотел сказать, что не хочет продавать лекарства детям дошкольного возраста, пока их родители заняты на производстве? Тогда он прав, они же маленькие, не понимают... А молодые кадры — это просто молодые люди... Да, правильно, здесь есть такое слово. Кад-ры. Вот оно. Нет, не понимаю.

— Заведующий хотел сказать, — пояснил я, — что ему в аптеке нужны опытные работники, а не молодые люди, которых он фигурально сравнивает с детьми дошкольного возраста.

— А, — сказал Федя. — Тогда другое дело. Как же можно сравнивать? Тогда он не прав. Молодые люди — скажем, вы, Саша, — это одно, а маленькие дети — это совсем другое. Правильно его критикуют. Я, знаете ли, тоже не люблю, когда человек хочет сказать одно, а говорит совсем другое. Помните, когда Говорун назвал Спиридона старой дубиной? Зачем? Ведь Говорун хотел сказать, что Спиридон недостаточно понятлив, и хотя это тоже совершенно неправильно, потому что Спиридон, по-моему, самый понятливый из нас, что в общем неудивительно, если учесть, сколько ему лет, но совсем уж непонятно, почему нельзя было именно так и выразиться, не прибегая к уподоблению такому совершенно постороннему, решительно не имеющему к делу никакого отношения веществу, как дерево. Или я ошибаюсь? — Он с некоторой тревогой наклонился и заглянул мне в глаза.

Я открыл было рот, но тут представил себе, в какие дебри нам придется забираться, как трудно будет объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и зачем все это нужно, и какую роль здесь играют воспитание, привычки, степень развитости языка, эмоции, вкус к слову, начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое юмор, и что такое такт, и представив себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:

— Вы совершенно правы, Федя.

Если вспомнить, что персонаж по имени Федя — снежный человек, Говорун — клоп, а Спиридон — спрут, то аналогия перестает быть смешной, а начинает несколько пугать.

Тенденцию обозначать как *чужое слово* любое не прямое название, включающее хотя бы толику образности, следует упомянуть как иллюстрацию общего недоверия к языку как таковому. Процесс этот глубок и проявляется в первую очередь в восприятии поэтических произведений. Сегодня кто только не пишет стихов, но что это за стихи! Графомании никогда мало не бывает, но раньше, насколько известно, ее не отмечали премиями и прочими наградами — а сейчас это происходит. И поэтому можно утверждать, что русская культура впервые за три с небольшим века перестала быть поэзоцентричной: настоящих стихов, как правило, не понимают, а значит, и не читают.

Наконец, отдельного разговора заслуживает герметизация профессиональной лексикой литературоведов и литературных критиков, то есть людей, чья работа должна служить мостом между писателем и читателем. Эту тенденцию неоднократно отмечал Сергей Чупринин, главный редактор журнала «Знамя» и автор статьи «Птичий язык» в книге «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям» (М.: Время, 2007). На своей странице в сети «Фейсбук» Чупринин неоднократно делился находками в указанной

области, в частности: «постап-роман», «нативность», «компульсивно-ритуальные кивания», «эмержентное чтение», «инсталляционное усилие», «юзабильная картина», «трендсеттер», «аппроприационные практики», «бук-арт» (не смешивать ни с «трел-вел-буком», ни со «смэш-буком», ни тем более с «софт-буком») и др. О том же в романе «В долине блаженных» писал Александр Мелихов:

Умерщвление прodelывается с большим умом. Для начала истребляются слова «поэма», «роман», «новелла» — все становится текстом, как у болванов от кибернетики все на свете от «Лунной сонаты» до расписания работы уличного сортира превращается в информацию, — для начала надо все перемешать, фалернское с мочой и мед с дегтем. Затем выжигается едва ли не главный источник обаяния несчастных «текстов» — чарующий образ их создателя: автор умер, боги умерли, поэзия умерла, одни они, мертвецы, живут и торжествуют. Но даже эти упыри догадываются, что живой человек способен полюбить лишь другого живого человека, поэтому всех творцов нужно изобразить тоже мертвецами, — «скриптор», каким они его стараются представить, не страдает, не радуется, не натирает ноги, не шлепается в грязь, не карабкается на вершину — он лишь перерабатывает одни «тексты» в другие, подобно самим мертвецам.

Я долгое время был убежден, что они делают это сознательно, из унылой ненависти тупиц и уродов к красавцам и гениям, однако, будучи поставлен в необходимость ежеутренне соприкоснуться со своей дочерью, я убедился, что самое прекрасное в мире — слова — пробуждают в ней не образы солнца, тьмы, ледяной воды, горячего ветра, не голоса людей и псов, раскаты грома и визг бензопилы, не глаза, губы, волосы, шелковую или шершавую кожу, не царапучий снег или мокрый асфальт с радужными разводами, каким-то чудом обретающимися в слове — и только в слове! — высшую красоту и иллюзию смысла, — но исключительно другие слова: тексты ассоциируются только с текстами, закорючки с закорючками, знаки со знаками...

Странная закономерность: чем прекраснее греза при жизни, тем отвратительнее ее труп. Нет ничего прекраснее слов. Но когда они вместо восхитительных, захватывающих образов начинают порождать лишь другие слова, — это даже не трупы, а их отслаивающиеся ногти, осыпающийся эпителий... Но мертвецам того-то и подавай. Нет, самые честные из них вовсе не притворяются, они именно любят мертвое. Потому-то они с таким наслаждением и констатируют смерть всего, что имеет наглость жить: смерть автора, смерть произведения, смерть героя, смерть субъекта... Хотя на самом деле умерли только они сами. Если только вообще когда-нибудь рождались. Правда, дочка довольно долго казалась мне живой. Особенно в ту пору, когда я пару раз в день непременно обмирал, наткнувшись взглядом на ее Женин профиль. Но сейчас она не живет ни единой минуты, она безостановочно интерпретирует. Ее супруг уже давно почти не тратит слов на творчество — ему достаточно зевнуть, икнуть, пукнуть, почесаться, и мир мертвецов тотчас же будет оповещен, что пустота есть нейтральная поверхность дискурса, отрицающего логоцентризм, а трансгрессия есть разрушение границы между допустимым и анормативным в стремлении к пансемиотизации метаязыка симулякров в паралогических, номадических, ацентрических интенциях деонтологизированной интертекстуальности. Впрочем, стихи он зачем-то иногда пописывает, именуя их уже не поэмами, но проектами: все-таки полную пустоту он втюхивать еще не решает, хотя его дежурная интерпретаторша уже поговаривает, что молчать и воздерживаться от речи далеко не одно и то же («Молчание как умолчание», «Молчание как категориальная сакральность», «Молчание как бытийственность интенциональности», «Телесность бессловесности», «Молчание как экспликация чистой формы»), а устаревшее слово вполне может быть заменено творческим жестом в духе дзен-буддизма. Впрочем, ее поставщик и не пишет, а экспериментирует со словом — то у него по четыре слога в каждой строке, то... Впрочем, я сразу засыпаю, как только его снисходительная улыбочка самоупо-

ния округляется в розовый анус. Нет ничего скучнее предсказуемого эпатажа, анти-нормативности, сделавшейся нормой.

Да и смысл словосочетаний «актуальная литература» или «актуальное искусство» в целом ускользает от сознания или кажется тавтологичным: мало что сегодня актуальнее древнемесопотамской или древнеегипетской литературы... Фрагмент из романа Мелихова, однако, помогает проиллюстрировать связь профессионального литературоведческого арго с постмодернизмом, появление которого в отечественной словесности имеет множество причин. Тут желание и отмежеваться от советского опыта, и приобщиться, напротив, к опыту западному, и отчасти результат развития отечественной гуманитарной науки в 1960-х годах — в том пункте, где она посредством статистических и прочих методов искала сближения с точными и естественными. В нашей стране постмодернизм не вырос естественным путем. Есть вопрос, остается ли он в современном литературном процессе ведущим направлением? Есть ли в нем смысл? Насколько соответствуют его канонам те произведения, которые мы сегодня считаем русской литературой?.. Соцреализма больше нет. Борьбаться с ним незачем. Так стоит ли застревать на методе борьбы с прошлым, выдавая его за настоящую методологию?

Литературоведческая терминология, кажется, явно формируется по модели бизнес-лексики и приводит к диглоссии, при которой гуманитарно образованная часть общества, мыслящая себя интеллектуальной элитой, разговаривает на языке, недоступном остальным. Складывается парадоксальная ситуация: профессионалы, сама цель существования которых — *объяснять читателю литературу*, вырабатывают методологию, исключаящую самую возможность объяснения. Напрашивается вывод, что критика и литературоведение сегодня претендуют на самоизоляцию, герметизацию процесса своих занятий, отгораживаясь от «простого читателя». В этом смысле использование слов, заведомо не понятных никому за пределами сообщества, помогает его членам находиться за пределами досягаемости.

Приведенных примеров достаточно для объяснения, что такое «рунглиш» — русский английский язык, состоящий из англицизмов, в той или иной степени укоренившихся в русском. В рунглише допускаются буквальные кальки английских синтаксических конструкций и идиом без переосмысления по-русски. Языковая пластика, безусловно, страдает, поскольку сочетаемость слов падает. Разумеется, рунглиш бытует не только в профессиональной филологической сфере, но здесь его существование особенно наглядно. Возможно, по мысли создателей рунглийского литературоведения, процесс должен привести к появлению лингва-франка — единого наднационального языка профессионального общения под лозунгом «Критики всех стран, соединяйтесь!». Однако все же у этой гуманитарной дисциплины иные задачи, имеющие мало общего с областью «чистого искусства».

Пугающее нежелание общаться с предполагаемой аудиторией выразилось в создании некой «Теории литературы два», о которой в первом номере журнала «Вопросы литературы» за 2019 год опубликована статья Валерия Тюпы «„Теория литературы Два“ как гуманитарная угроза». Вот рекламный текст из сетевого ресурса, проясняющий содержание статьи:

Всякая наука представляет собой интеллектуальную традицию и одновременно социокультурную институцию. Рамки институции и традиции никогда не совпадают вполне, но в ядре своем эти ипостаси обычно совмещаются. Что касается традиции, то научное познание при всей своей жажде обновления глубоко преемственно. Говоря так, я сознательно противоречу Ролану Барту, провозгласившему, что «собственно научным является лишь стремление разрушить предшествующую науку».

Конечно, физика Галилея вытеснила физику Аристотеля, а физика Эйнштейна заменила собой физику Ньютона. Однако в этих процессах не было разрушения — было переосмысление достигнутого и продвижение вглубь познаваемого.

Что касается институциональности той или иной науки, то здесь существенное значение приобретают социальные конвенции, роль отдельных ярких фигур, разного рода внешние факторы и привходящие интересы. Поэтому историческое бытование науки в качестве социокультурной сферы не сводится к соревновательному сотрудничеству научных школ, но нередко протекает и в формах институциональной борьбы между ними.

Я хочу уделить внимание одному из новейших очагов такой борьбы в области теории литературы — петербургскому «литературно-теоретическому» журналу «Транслит» (редактор и наиболее активный автор — Павел Арсеньев). В 21-м выпуске, вышедшем с подзаголовком «К новой поэтике», разворачивается «новый проект прагматической теории литературы» <...>.

Утверждаемую журналом теоретическую позицию можно назвать инструментализмом, поскольку она настаивает на «инструментальном характере литературы» и основывается на внимании «не столько к значениям» литературного феномена, сколько к «собранию инструментов, делающих его возможным». С данной точки зрения литературная практика определяется техникой письма и, прежде всего, тем, каким инструментом она осуществляется: пером, ручкой, печатной машинкой или электронными средствами. Последние, как представляется «прагматическим теоретикам», должны радикально преобразить то, что до сих пор именуется литературой⁵.

Еще один аспект, кажущийся немаловажным, касается людей, именующих себя патриотами России. В августе 2015 года, после погрома на выставке Вадима Сидура «Скульптуры, которых мы не видим», автор этих строк вступила в дискуссию с одним из *православных активистов*. Текст переписки пришлось уничтожить по этическим соображениям — уж больно противно было держать в собственном компьютере, — однако свидетельствую: патриот России, с которым я дискутировала, не владеет нормами русского литературного языка на базовом уровне седьмого класса общеобразовательной школы.

Итоги наблюдений таковы. Как показывает автомобильный аргумент, в народной среде язык по-прежнему развивается вполне свободно. Образный компонент присутствует и продолжает быть значимым. Язык виртуальных пространств входит в литературный по общим законам.

Мандельштам может не беспокоиться.

Что же касается языка профессионалов, в чью сферу деятельности входит наблюдение за художественной речью, то здесь дело обстоит весьма и весьма печально. Как вернуть в Россию поэзию, доверие к художественному слову — это тяжелый вопрос, однако его и придется решать, если мы не хотим диглоссии и распада на национальном уровне.

⁵ <https://www.facebook.com/pg/voplit/posts>

Ольга МАЛЫШКИНА

РУКА ВСЕВЫШНЕГО В СУДЬБЕ НЕСТОРА КУКОЛЬНИКА

Кто-то вспомнит про меня и вздохнет
украдкой...

Н. Кукольник

Имя Нестора Васильевича Кукольника (1809—1868) практически неизвестно современному, особенно молодому, читателю. Его творчество давно стало скромным фактом историко-литературного процесса, а произведения почти забыты и служат объектом сугубо академических исследований немногим профессиональным филологам. Непростая судьба и разнообразная творческая и общественная деятельность талантливого литератора на протяжении последних десятилетий вызвали искренний интерес лишь у отдельных энтузиастов (А. Николаенко, Л. Миронова и др.). Благодаря их подвижнической и бескорыстной деятельности выявлены любопытные, ранее неизвестные факты биографии писателя, многое сделано для сохранения памяти о нем. Между тем в 30-е годы XIX века имя Кукольника было знакомо всем, а по популярности он успешно соперничал с самим Пушкиным. Да и сегодня любой мало-мальски образованный человек слышал хотя бы раз в жизни его имя. Со школьной скамьи каждый помнит, что Гоголь учился в Нежинской гимназии высших наук князя Безбородко. Так вот его одноклассником был не кто иной, как Нестор Кукольник. Более того, они вместе издавали журнал «Звезда» и играли на ученической сцене в любительских спектаклях. «Гоголь был истинно неподражаем, особенно в комедии Фонвизина „Недоросль“, в роли г-жи Простаковой; я играл Митрофанушку», — вспоминал позднее Кукольник. Каждый хотя бы однажды бывал в Третьяковской галерее, а значит, видел портрет Нестора Кукольника кисти великого Карла Брюллова. Однако мало кто знает, что живописца и его «модель» связывала искренняя дружба... Федор Шаляпин почти во все свои концертные программы включал «Попутную песню» М. Глинки:

Дым столбом — кипит, дымится пароход...
Пестрота, разгул, волнение,
Ожиданье, нетерпенье...
Православный веселится наш народ!

Ольга Георгиевна Малышкина родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Кандидат филологических наук. Член Союза журналистов. Совмещает редакционно-издательскую деятельность с преподавательской. С 2011 года — сотрудник журнала «Нева». Автор научных статей, книги «Двойник Зошенко или советский Чехов: Феномен Пантелеймона Романова» (2013).

И быстрее, шибче воли
Поезд мчится в чисто поле...

Автором слов знаменитой песни был друг великого композитора Нестор Кукольник. «Попутная песня» входит в вокальный цикл Глинки «Прощание с Петербургом», созданный полностью на стихи Кукольника. Среди шедевров этого цикла и знаменитый «Жаворонок», памятный многим в исполнении легендарного тенора Сергея Лемешева:

Между небом и землей
Песня раздается,
Не исходною струей
Громче, громче льется.
Не видать певца полей,
Где поет так громко
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий,
Над подруженькой своей
Жаворонок звонкий...

На стихи Нестора Кукольника, кроме цикла «Прощание с Петербургом», Глинка сочинил знаменитый романс «Сомнение» («Уймись, волнения страсти!..»), а также музыку к его исторической драме «Князь Холмский». В свою очередь Кукольник стал одним из соавторов либретто опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), в которую даже добавил знаменитую сцену Вани. Помимо Глинки, его стихи положили на музыку 27 композиторов, в числе которых А. Варламов и С. Монюшко. На собственные либретто Кукольника написаны две оперы. Композитор О. Дютш создал музыку к опере «Красотка», а музыку оперы «Азовское сидение» Кукольник сочинил сам.

Кукольник был исключительно плодовитым автором. Его обширное литературное наследие отличается необыкновенным тематическим и жанровым многообразием. Кроме пьес, он писал авантюрные романы, исторические повести, стихи, пробовал силы в художественной критике. Даже издавал искусствоведческие журналы. Он стоит у истоков жанра драматической поэмы. Новаторские художественные приемы и мотивы, впервые использованные Кукольником, исследователи в дальнейшем обнаружат в творчестве А. К. Толстого, Л. А. Мея, М. И. Цветаевой и др. В частности, «след» Кукольника заметен в драматическом цикле Цветаевой «Романтики». Параллельно с французским современником А. Дюма Кукольник заложил основы жанра популярного исторического романа, а также любовно-авантюрного романа в духе Эжена Сю и Поля де Кока. А его историко-биографические сюжеты справедливо считаются прообразами романов-исследований Д. С. Мережковского, Ю. Н. Тынянова, О. Д. Форш.

Его участие в судьбе таких писателей и поэтов, как Т. Г. Шевченко, М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Никитин, хорошо известно и по достоинству было высоко оценено уже современниками. Так, в 1848 году Кукольник был назначен докладчиком по делу Салтыкова после публикации в «Отечественных записках» его повести «Запутанное дело», признанной революционной крамолой. Кукольник пытался спасти будущего великого сатирика от наказания, объясняя его поступок молодостью, но царь настоял на ссылке в Вятку...

В 2019 году исполнилось 210 лет со дня рождения Нестора Кукольника. Вопреки пророчеству писателя, недооцененного при жизни, но уверенного в собственной посмертной славе («Кукольника оценят потомки!»), юбилей остался почти незамечен-

ным. Почему же так несправедливо обошлась судьба с талантливым автором? Что явилось тому причиной?

Нестор Васильевич Кукольник (8 (20) сентября 1809—8 (20) декабря 1868) родился в семье известного ученого-просветителя, педагога, русина из Подкарпатской Руси (тогда их называли карпаторусами или карпатороссами) В. Г. Кукольника, человека, энциклопедически образованного и проявившего свои таланты в различных областях науки (физика, химия, юриспруденция, агрономия). Он переехал в Россию в 1803 году, в начале царствования Александра I, и получил должность профессора римского права в Петербургском университете. Некоторое время преподавал гражданское право великим князьям Николаю Павловичу (будущему императору) и Константину Павловичу. Нестор был младшим из пяти сыновей и позднее с гордостью вспоминал о том, что появился на свет непосредственно в университетских стенах: «... я персонально имел честь родиться в этом голландском Петровском дворце, над седьмым крыльцом, и увидел свет Божий и Царство Русское из окон здания С. Петербургского университета».

Профессор В. Г. Кукольник дал своим сыновьям Павлу, Александру, Платону и Нестору имена со смыслом (апостола-просветителя, государя императора, великого философа, легендарного летописца), пророчившие им завидную судьбу: государственное поприще или академическую стезю... Поначалу фортуна благоволила Нестору и осыпала его дарами. Его крестным отцом милостиво согласился стать сам государь Александр I. В. Г. Кукольник происходил из древнего княжеского рода галицийских русинов, а по вероисповеданию был униатом (греко-католиком), и по просьбе супруги новорожденный был крещен по униатскому обряду.

Будущий писатель получил прекрасное домашнее образование, в семейном кругу приобщился к истории, музыке, поэзии, живописи, благодаря домашнему театру полюбил драматургию. Его отец считался главным претендентом на должность ректора Петербургского университета, однако избран так и не был... В 1819 году семья переезжает в Нежин, куда В. Г. Кукольник приглашен на должность директора гимназии высших наук. В следующем году Нестор поступает в ту же гимназию, а 6 февраля 1821 года его отец внезапно умирает, выбросившись из окна собственного служебного кабинета. Самоубийство стало следствием пережитых в Петербурге обид и несправедливости. Попытавшуюся обвинить преподавательский состав гимназии в смерти мужа вдову с детьми выпроваживают из Нежина, и она, поместив младшего сына в Житомирское уездное училище, поселяется в подаренном царем имении близ Вильны, где вскоре умирает. Нестор остается на попечении старших братьев. К счастью, в 1823 году директором Нежинской гимназии становится друг отца И. С. Орлай, и Нестор, потеряв год, возобновляет здесь учебу. Однако ему, первому ученику и главному претенденту на золотую медаль, так и не суждено будет получить аттестат. Его выпускают, выдав справку о прослушанных курсах. На свою беду, юноша оказался замешан в известном «деле о вольнодумстве». Увы, весьма неблагоприятную роль в этом печальном повороте судьбы однокашника сыграл будущий автор «Ревизора». Именно показания Гоголя в ходе разбирательства подтвердили «вину» Кукольника в якобы распространении им запрещенных трудов западноевропейских философов-просветителей. К сожалению, в ходе обыска у юноши была изъята и рукопись его первой пьесы — трагедии «Мария» (из времен Скопина-Шуйского), безвозвратно утраченная.

Без положенного при выпуске чина XII класса, без золотой медали и аттестата (между прочим, обладавшего равной силой с университетским дипломом и освобождавшего своего владельца от испытаний при производстве в высшие чины), с одной лишь справкой юноша приезжает в Вильну, где преподает русский язык в гимназии и попутно издает учебник русской грамматики на польском языке (сказалась отцовская просветительская жилка), за что получает благодарность великого князя Константина.

Однако в 1831 году вспыхнувшее Польское восстание вынуждает Нестора, продолжавшего числиться неблагонадежным, спешно покинуть город. Судьба вновь смешивает карты...

В том же 1831 году Н. Кукольник переезжает в Петербург. Начинается новый, поистине звездный период его жизни. Никому не известный провинциал, без связей и протекции, он может рассчитывать только на свои силы. Он бредит театром и решает попробовать силы на этом поприще. К сожалению, первая попытка кончается неудачей. Юный драматург за бесценок продает свою драматическую фантазию в стихах «Торквато Тассо» (написана в 1830–1831 годах, напечатана в 1833 году) и... становится жертвой банального мошенничества: в театре ставят пьесу с таким же названием, но приписанную другому автору. Но Кукольник не падает духом. Одну за другой он пишет новые пьесы, а также произведения в самых разных литературных жанрах. Его работоспособность и творческая продуктивность поразительны. Даже неполный перечень написанного впечатляет. Главное место в нем по праву занимают драматические произведения: «Аврора и Риккардо» (1840), «28 января 1725 г.» (Драматический рассказ) (1837), «Морской праздник в Севастополе», «Маркитантка», «Доменикино», «Азовское сидение», «Иван Рябов, рыбак архангелогородский» (1839), «Денщик» (1852), «Боярин Федор Васильевич Басенок», «Генерал-поручик Паткуль» (1846), «Гоф-юнкер», «Давид Гарик» (1861), «Джакобо Санназар» (1834), «Джулио Мости» (1836), «Ермил Иванович Костров» (1853), «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835), «Князь Дмитрий Иванович Холмский» (1840), «Пиетро Аретино» (1842), «Роксолана» (1835), «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834), «Статуя Кристофа в Риге, или — Будет война!» (1860), «Тартини» (1833), «Торквато Тассо» (1833), «Иоанн Антон Лейзевиц» (1839), «Импровизатор», «Монумент», «Мейстер Минд» (1839).

Получили известность и поэтические тексты: «Брат Платон» (Ода), «Давид Риццио» (1839), «Жаворонок», «Из записок влюбленного» (1837), «И я люблю душистые цветы», «О боже мой, как я ее люблю!..», «Завтра я приду к заветному порогу», «Я изнемог!.. Откройте путь другой!», «Скажи, за что тебя я полюбил?», «Э, други, полно! Что за радость», «Пора любви, пора стихов...», «Попутная песня», «Сомнение» («Уймись, волнения страсти!..») (1838), «Ходит ветер у ворот» и многие другие.

Проза представлена самыми разными жанрами — от романа и повести до рассказа: «Альф и Альдона» (1842), «Антонио» (1843), «Барон Фанфарон и маркиз Петиметр. Быль о Петре Великом» (1847), «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова» (1844), «Дурочка Луиза» (1842), «Заклад», «Максим Созонтович Березовский» (1844), «Надинька» (1843), «Психея» (1841), «Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно» (1841), «Эвелина де Вальероль» (1841-1842), «Старый хлам», «Две сестры» (1865), «Морис Саксонский», «Ольгин яр», «Крепостной художник», «Три периода» (1845), «Иоанн Ш, собиратель земли русской», «Историческая красавица» (1843), «Корделия» (1843), «Курляндские претенденты», «Тонни, или Ревель при Петре Великом», «Аврора Галиган» (1841), «Благодетельный Андроник, или Романтические характеры старого времени» (1842), «Егор Иванович Сильвановский, или покорение Финляндии при Петре Великом» (1845), «Запорожцы», «Инструмент. Повесть из времен Петра Великого» (1845), «Каролина. Повесть из времен Екатерины 11» (1842), «Кликуша» (1844), «Князь Маргер Пилонский (историческая повесть)» (1841), «Монтекии и Капулетти, или Чернышевский мир» (1842), «Полковник Лесли», «Староста Меланья», «Часовой» и огромное количество рассказов.

Только за 1840–1845 годы он опубликовал пять романов, 26 повестей, пять драм и множество лирических стихотворений. С 1836-го по 1842 год издавал «Художественную газету», где большая часть статей принадлежала ему, позднее — «Дагерротип» (1842) и «Иллюстрацию» (1845–1847).

Несмотря на огромный корпус созданных текстов, в истории литературы Кукольник остался прежде всего как автор драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла» (написана в октябре 1832 года, впервые напечатана и поставлена в 1834 году), принесшей ему небывалую известность. Поначалу Александринский театр отверг пьесу. Тогда амбициозный и честолюбивый юный драматург отправился напрямик домой к звездной чете Каратыгиных, уговорил великого трагика прочесть драму, и тот согласился поставить ее в свой бенефис. На премьере 15 января 1834 года (совершенно случайно) присутствует государь император. Он одобряет пьесу, но досадует на скудость декораций. Незамедлительно на смену декораций тратится небывалая сумма в 40 000 рублей. Успех у публики был ошеломляющий. В. А. Каратыгин блистал в роли Пожарского. К. А. Полевой так описывал один из спектаклей: «Первые ряды кресел были заняты высшими сановниками и генералами. Ложи наполнены знатными семействами, и зала потрясалась от рукоплесканий». Автор удостоился особой милости — аудиенции во дворце. «Рука...» надолго стала эталонным образцом официозной патриотической драматургии. Однако либерально настроенная часть общества отвернулась от Кукольника, увидев в его пьесе лишь иллюстрацию знаменитой уваровской триады («православие, самодержавие, народность»), и подозревала автора в лицемерном верноподданничестве, лжепатриотизме, сервиллизме, ангажированности и прочих смертных грехах. Менее искусшенные зрители неистово рукоплескали и буквально падали в партер с галерки, восхищенные именно искренностью патриотического чувства, пронизывавшего монологи героев, а также апологией православной веры с неременным ее атрибутом — фатализмом. «Мы благоговели, видя, что участвовало небо в происшествии», — писал критик литературного приложения к «Русскому инвалиду». Действительно, все события у Кукольника трактуются как совершающиеся по воле Провидения, и эта главная мысль афористично выражена в самом названии драмы.

К сожалению, в истории литературы восторжествовало и на долгие годы утвердилось пренебрежительно-снисходительное отношение к Кукольнику. Негативно отзывался о нем В. Г. Белинский, не отрицая в то же время у него литературного дарования. (Например, о пьесе «Иван Рябов» великий критик писал: «Особенное достоинство этого нового произведения составляет народный язык, доведенный до крайнего совершенства, и что особенно-то и важно — под русскою простонародною речью таится русский простонародный ум, русская душа».) В. Стасов отнес Кукольника к «тормозам русского искусства» (1882), немного ранее И. С. Тургенев провозгласил основоположником «ложно-величавой школы» (1869), а Н. А. Некрасов высмеял в стихах. Рисуя сатирический портрет невзыскательного, всеядного зрителя, он особо выделил его любовь к пьесам Кукольника:

...он всему предпочитал
Театр Александринский.
Здесь пищи он искал уму,
Отхлопывал ладони,
И были по сердцу ему
И Кукольник и Кони.

Господствовавшие в советское время идеи пролетарского интернационализма и воинствующего атеизма не оставили Кукольнику шансов на возвращение в историю литературы: слишком диссонировал пафос его произведений с идеологическими ориентирами эпохи. При этом, отказывая писателю в праве на свое, пусть скромное, место в литературной табели о рангах, историки литературы непременно, как на истину в по-

следней инстанции, ссылались на отзывы о нем гениального современника — Пушкина. Между тем их взаимоотношения трудно определить однозначно...

Пушкин познакомился с Кукольником в конце марта 1834 года, о чем упомянул в дневнике:

...обедал у кн. Ник. Трубецкого с Вяземским, Норовым и с Кукольником, которого видел в первый раз. Он, кажется, очень порядочный молодой человек. Не знаю, имеет ли он талант. Я не дочел его «Тасса» и не видел его «Руки» etc. Он хороший музыкант. Вяземский сказал об его игре на фортепьяно: *Il bredouille en musique, comme en vers* (Он лепечет в музыке, как в стихах — *франц.*). Кукольник пишет «Ляпунова», Хомяков тоже. — Ни тот, ни другой не напишут хорошей трагедии. Барон Розен имеет более таланта.

Сохранилось также несколько едких пушкинских острот в адрес молодого поэта. Заметим: поэта Кукольника, но не драматурга Кукольника:

Он Нестор именем, а Кукольник делами.

В Кукольнике жар не поэзии, а лихорадки.

А что, ведь у Кукольника есть хорошие стихи? Говорят, что у него есть и мысли.

После премьеры драмы «Рука Всевышнего Отечество спасла» по Петербургу ходила эпиграмма, также приписанная Пушкину:

Рука Всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого задушила.

(С вариантами последнего слова: «уходила», «погубила».)

Николай Полевой, редактор «Московского телеграфа», стал невольной попутной жертвой триумфа Кукольника. Журнал был закрыт по указу царя после публикации в № 3 за 1834 год негативной статьи о драме Кукольника. Москвич Полевой был предупрежден приятелем о высочайшем одобрении «Руки...» в столице, но все-таки напечатал злополучную статью, за что и поплатился...

И наконец, курьезное бытовое наблюдение о Несторе Кукольнике содержится в письме Пушкина к жене:

30 апреля 1834 г. Из Петербурга в Москву.

Жена моя милая, женка мой ангел — ... Прощаю тебе бал у Голицыной и поговорию тебе о бале вчерашнем, о котором весь город говорит и который, сказывают, очень удался. Ничего нельзя было видеть великолепнее. Было и не слишком тесно, и много мороженого, так что мне бы очень было хорошо. Но я был в народе, и передо мною весь город проехал в каретах (кроме поэта Кукольника, который проехал в каком-то старом фургоне, с каким-то оборванным мальчиком на запятках; что было истинное поэтическое явление). О туалетах справлюсь и дам тебе знать...

В свою очередь Кукольник благоговел перед гением Пушкина и в то же время считал его своим злейшим врагом. К пиетету исподволь примешивалась толика вполне понятной человеческой слабости — зависти. Существует даже версия, что отношение Кукольника к Пушкину сопоставимо с отношением Сальери к Моцарту (в пушкинской интерпретации). Подобная гипотеза не выдерживает критики, а попытка представить

Кукольника едва ли не прототипом героя «маленькой трагедии» не более чем литературоведческий курьез. «Маленькие трагедии» были написаны в Болдине осенью 1830 года, а знакомство Пушкина с Кукольником, как уже было сказано, состоялось весной 1834 года.

Тем не менее у Кукольника, как и у Пушкина, словно в продолжение «Моцарта и Сальери», тема судьбы художника, а точнее, его рокового удела заняла важное место. Примечательно, что начал свой творческий путь он не с патриотических драм, а с «драматических фантазий», где центральной как раз являлась проблема взаимоотношений творческой личности с современниками («Горкватто Тассо», «Тартини», «Доменикино», «Джулио Мости», «Джакобо Санназар»). Первым обращением к этой теме стала «драматическая фантазия» «Горкватто Тассо» — о жизни знаменитого итальянского поэта XVI века. Исследовавшая драматургию Кукольника Л. М. Лотман выявила существенные типологические особенности жанра «драматической фантазии», в первую очередь предопределенность трагической судьбы художника в мире «ничтожных людей», неспособных понять и оценить его гения: «Герои Кукольника неизменно гибнут вследствие ряда несчастных случайностей, преследующих их, вследствие козней злодеев-завистников, которыми окружает их автор. Гибель гения представляется в произведениях Кукольника трагически неизбежной». Романтическое противостояние «возвышенного» героя толпе (преследователям, лживым друзьям, несправедливым судьям, «бессмысленной тщеславной черни») декларируется в пространных лирических монологах заглавных героев. (В. Э. Вацуру отмечал, что экспансия лирики в драматургию являлась характерной чертой всей литературы 1830-х годов, и причислил драматические фантазии Кукольника к «лиро-драматическому жанру».) Гения могут оценить только потомки после его смерти. Этому непреложному закону невозможно сопротивляться. Смертные современники не способны понять гения, а потому в драматических фантазиях часто появляются духи, тени умерших (разговор Тассо со своим гением, суд теней великих живописцев над картинами Доменикино, разговор Зампиери со своим двойником). В ожидании посмертного триумфа гению остается только уповать на божие милосердие и проявлять смирение. Увы, в отношении судьбы самого Кукольника этот закон не подействовал — посмертного триумфа он не дождался...

Кукольник искренне верил в волшебную силу искусства, в безграничные возможности синтеза разных его видов. Считал прекрасное неким единым целым, лишь условно разделяемым на поэзию, живопись, музыку, театр... Воплощением этих мыслей стало знакомство Кукольника с М. И. Глинкой в 1834 году и сближение с К. П. Брюлловым, недавно вернувшимся из Италии. Сдружился он и с актерами братьями Каратыгиными и М. Щепкиным. В 1836 году Брюллов пишет портрет Кукольника, и в том же году возникает знаменитый «триумvirат» — Кукольник, Глинка, Брюллов. По средам в квартире братьев Кукольников (Платона и Нестора) в Фонарном переулке собиралась вся столичная богема. Однако злопыхатели («бессмысленная чернь») видели в творческом содружестве, обогатившем русскую культуру, лишь банальные пьяные сборища «братии». И к Кукольнику на полтора столетия пристала «посмертная слава» служителя не Аполлона, а Бахуса.

Драматично складывалась и личная жизнь. Первой его возлюбленной была Екатерина Тимофеевна Фан-дер-Флит, воспетая им в стихах под именем Леноры. (Вторичность и к тому времени затертость имени лирической героини вызывала град насмешек со стороны собратьев по перу и критиков.) Пока Кукольник, подобно героям его собственных драматических фантазий, пассивно воспевал любимую и посвящал ей произведения (например, «Джулио Мости»), в доме Фан-дер-Флитов появился контр-адмирал М. П. Лазарев. Легендарный флотоходец действовал по принципу: «Пришел,

увидел, победил». Очарованный красотой девушки, он на следующий день сделал предложение, которое было незамедлительно принято польщенным отцом невесты, капитаном 2-го ранга в отставке Т. Е. Фан-дер-Флитом. В восторге от столь блестящей партии для своей дочери, он даже позабыл испросить ее согласия на брак... Несчастные разлученные влюбленные сохранили свое чувство до конца дней. Вторая любовная драма (чувство к графине Марии Федоровне Толстой) также оставила незаживающую сердечную рану... Наконец в 1843 году Кукольник обвенчался со своей гражданской женой Софией Амалией фон Фризен, немкой-лютеранкой, с которой познакомился в публичном доме. Сожительство, а затем и женитьба на бывшей проститутке не способствовали укреплению его репутации, стали причиной изоляции Кукольника в обществе. От него отвернулись многие друзья.

Тем не менее в 30–40-х годах XIX века, пожалуй, трудно было найти более успешного драматурга, чем Кукольник: его пьесы господствовали в театре, и в течение почти двадцати лет он являлся хозяином репертуара.

Когда Кукольник обратился к исторической драме, в русской литературе уже имелся эталонный образец жанра — пушкинская трагедия «Борис Годунов», написанная в Михайловском в 1825 году, но вследствие цензурного запрета напечатанная (с цензурными сокращениями) лишь в конце декабря 1830 года (с датой публикации 1831 год). «Годунов» возносил планку для «конкурентов» на недостижимую для них высоту. При этом путь слепого подражания вводил в тупик эпигонства, а любые попытки оригинальничанья не спасали от невыгодного и заведомо проигрышного сравнения с творением гения. Кукольник, приступая в октябре 1832 года к работе над «Рукой Всевышнего», не мог не читать «Годунова». Об этом свидетельствует хотя бы такая незначительная деталь: многочисленные насмешки современников вызывало пристрастие Кукольника к устаревшему союзу «зане» (ибо = так как = потому что), лишь однажды (с тонким чувством меры) использованному Пушкиным в «Годунове», а у Кукольника ставшему избыточно частотным. Однако есть и более весомые доказательства несомненного знакомства Кукольника с трагедией. Сюжет «Руки...» словно продолжает событийную канву «Годунова». У Пушкина изображены события 1598–1605 годов (царствование Годунова и вторжение Лжедмитрия), у Кукольника — история освобождения Москвы от польской оккупации с центральным событием — избранием на царство Михаила Романова. Но если у Пушкина судьба государства зависит от «мнения народного», у Кукольника — от высших сил. По наблюдению Л. М. Лотман, именно поэтому у Кукольника мещанин (представитель народа) Минин убежден, что не достоин возглавить ополчение для освобождения Москвы, и обращается к Пожарскому как высокопоставленному лицу: «Пассивность Минина основана на убежденности в силе божественной помощи». Если положительные герои уповают на бога, черпая силы в молитве, то отрицательные персонажи, напротив, проявляют необыкновенную активность: строят козни, плетут интриги (Марина и Заруцкий в «Руке...») и нередко прибегают к яду или кинжалу... Однако справедливость все же торжествует в результате вмешательства Провидения в ход событий. А для этого автор даже изменяет исторической достоверности. Так, Заруцкий в драме погибает от случайного ядра, хотя в действительности он был убит казаками после разоблачения Мининым. Центральное событие (избрание Романова на царство) изображено как чудо: «Нет, не собор, господь избрал...»

Современники, воодушевленные пафосом историческим драм Кукольника, все же находили в них существенные художественные недостатки: ослабленный сюжет, обилие высокопарных монологов, напыщенную речь персонажей. Чего стоило одно лишь изобретенное автором междометие «Га!», выражавшее по мере необходимости весь спектр эмоций героев — от гнева до отчаяния. Дело в том, что Кукольник считал: язык

драмы должен отличаться от обыденного языка, поэтому заставлял своих героев не говорить, а декламировать. Что касается обвинений во внесценичности, то и «Годунова» по этой причине долго не пускали на сцену, и впервые он был поставлен только в 1870 году...

Чем же можно объяснить присутствие в драматургическом наследии Кукольника двух столь разнородных типов пьес, как «драматические фантазии», написанные на чуждом для автора экзотическом материале, и национально-исторические драмы, воскрешающие страницы прошлого России? Думается, что при внешней несопоставимости, тематической и идейной разнородности их объединяет нечто общее. И искать его следует в самосознании автора, обусловленном его этнической принадлежностью. Напомним, что Кукольник был русином, выходцем из Подкарпатской Руси. Русины — группа восточнославянского населения, компактно проживающая на западе Украины (Закарпатье), востоке Словакии, в сербской Воеводине, юго-востоке Польши, на северо-востоке Венгрии и северо-западе Румынии. По одной из версий о происхождении этноса, русины — потомки древнерусской народности, из которой выделились позднее русские, украинцы и белорусы. Кроме того, русины — самоназвание населения Древней Руси. Как этноним слово «русин» производное от слова «Русь» и встречается в «Повести временных лет». Изначально русины были православными. В XIX веке население Карпатской Руси находилось под владением Австро-Венгрии. Вопрос национальной идентификации имел для него особую значимость. Именно в 30–40-х годах XIX века в среде подкарпатской интеллигенции наблюдается подъем национального самосознания. Возрождение общерусского национального сознания не могло не вызывать тревогу у австрийцев. Ведь русины считали себя русскими, а веру свою — русскою, свой народ и язык — русскими.

Нетрудно вообразить переживания представителя малочисленного этноса, ощущающего свою кровную связь с великим русским народом и оказавшегося в столице Российской империи, талантливого, образованного, мечтающего о славе. Этим, думается, и объясняется тематический выбор драматических фантазий о судьбе художника. И тогда исторические драмы, возвеличивающие русского царя как наместника Бога на земле, видятся их логическим продолжением. Где как не под сенью великой империи следовало искать защиту и покровительство представителю народности, никогда не имевшей собственной государственности? Вспомним: Кукольник гордился тем, что в момент рождения увидел не только «свет Божий», но и «Царство Русское»...

К началу 1850-х годов Кукольник утрачивает популярность. Ему суждено будет пережить свою громкую литературную славу почти на двадцать лет. Однако, будучи искренним патриотом, долгие годы он стремился служить России не только на литературном поприще. Еще в 1843 году Кукольник поступает на службу в Военное министерство чиновником по особым поручениям при военном министре графе Чернышеве. Он занимается вопросами быта военных поселений, предлагает проект развития каменноугольной промышленности на юге России, выступает за обеспечение судоходности гирл Дона, подготавливает замену откупов акцизами на алкоголь, ведает поставками продовольствия в действующую армию во время Крымской войны и мн. др. По долгу службы он совершает длительные поездки по России. В 1850 году он встретится в Москве с бывшим однокашником. Гоголь к этому времени уже издал «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847), где обратился к соотечественникам с призывом: «Нужно проездиться по России... Велико незнание России посреди нее». И Кукольник, уже «проездившийся по России». Им было о чем поговорить...

Кукольник тяжело переживет события 1848 года, когда Россия поддержала Австро-Венгрию. Поражение в Крымской войне приведет к окончательному разочаро-

ванию в русском патриотизме и изменит его отношение к самодержавию. Личным горем станет и смерть друзей: Брюллова — в 1852 году и Глинки — в 1857-м. Он вырывается из опустылевшего Петербурга почти на полгода за границу (предположительно лечиться от чахотки), а по возвращении, в 1857 году, выходит в отставку в чине действительного статского советника и навсегда уезжает на жительство в Таганрог. Этот поступок шокировал многих. Кукольник был весьма практичным человеком и однажды свое житейское кредо сформулировал так: «Работай, трудись, но не забывай сколотить копейку на черный день, а он придет, потому что наши деятели на том стоят, чтобы разрушить все начала взаимного самоуважения, построить себе дома, разъезжать в каретах на счет тружеников, которых можно держать в черной коже. Это не Англия, не Германия, ни даже Франция. Это Русь неумытая, или наоборот, стриженная татарва. И басня „Осел и Лев“ Крылова могла родиться только на русской почве». Между тем и сам отъезд, и — главное — выбор города был далеко не случаен. Во-первых, Кукольник изъездил по преимуществу именно юг России за время своих длительных служебных командировок. Во-вторых, Таганрог — город, основанный Петром на пять лет раньше Петербурга, в 1698 году. Одно время Петр даже всерьез подумывал о переносе столицы из Петербурга в Таганрог, о чем упоминает Екатерина II в переписке с Вольтером. А Петр Великий для Кукольника, как и для Пушкина, был любимым героем отечественной истории. Петровской эпохе он посвятил несколько повестей и рассказов («Сержант Иван Иванович Иванов, или Все заодно», «Два Ивана, два Степаныча, два Костылькова», «Максим Созонтович Березовский» и др.), в которых, по мнению критиков, его талант проявился в высшей мере. Их отличает юмор, яркие картины русского быта, живость диалогов. Петр для Кукольника был примером идеального монарха. Будучи сторонником демократического монархизма, он подчеркивает в образе царя-плотника именно простоту и демократичность.

Кукольник в Таганроге поселяется на Петровской улице (!) и все силы отдает разнообразной общественной деятельности, хотя перед отъездом, шутя, убеждал столичных приятелей, что будет «чистить ягоды и варить варенье, а зимой пить с этим вареньем чай». Кажется, венценосная тень первого российского императора не дает ему покоя (как героям его «драматических фантазий»), а образ вечного работника на троне придает сил. Как известно, по воле Петра Таганрог (а не Петербург) стал первым в России городом, построенным по регулярному плану, а Таганрогская гавань — первой в мире, сооруженной не в естественной, природной бухте, а в открытом море. Кукольник, наделенный недюжинным честолюбием и претендовавший на пост, по крайней мере, градоначальника или даже губернатора, словно продолжает петровские начинания. Поднимает вопрос об изменении административного устройства Приазовья и создании Петровской (Таганрогской) губернии, но... встречает жесткое противодействие со стороны казаков (Таганрог входил в Область Войска Донского). Способствует открытию в городе окружного суда, что и произошло после его смерти. Благодаря его стараниям стал выходить «Полицейский листок» — прообраз первой городской газеты. (И это в то время, когда городской газеты не было даже в Ростове.) Много сил отдает проекту открытия в Таганроге университета. (Увы, проект был отвергнут тогдашним попечителем Одесского учебного округа великим хирургом Н. И. Пироговым, который посчитал Таганрог частью Дикого Поля, не имеющего нужды в высшем образовании, и университет откроют в Одессе.) Одним из первых поднимает вопрос о загрязнении Азовского моря. При его непосредственном участии в 1866 году в Таганроге появилось новое здание оперного театра. Однако главным достижением стало строительство Азовской железной дороги, соединившей Орел, Курск, Харьков, Таганрог и Ростов-на-Дону. В 1863 году Кукольник возглавил городской комитет по ее

строительству. Окончено строительство будет через год после смерти писателя. Вклад, внесенный Кукольников в благоустройство города, соотносим с тем, что сделал для Таганрога его более именитый уроженец — А. П. Чехов. В 1996 году на доме Кукольника на Петровской улице появится мемориальная доска.

Не оставляет Кукольник и литературную деятельность. Однако теперь его волнуют иные темы. Он пишет острую социальную публицистику, в которой поднимает вечно злободневные российские темы: коррупция, государственное управление, народное просвещение, местное самоуправление и др. Свои либеральные статьи и разоблачительные заметки публикует анонимно в газете А. Краевского «Голос». Его антикоррупционная драма «Гоф-юнкер» запрещена указом царя и до сего дня остается неопубликованной.

Самые последние произведения Кукольник пишет особым шифром (как Пушкин 10-ю главу «Онегина»). Совсем недавно В. Абрамову удалось расшифровать «тайнопись». Хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) две рукописи озаглавлены самим Кукольниковым «Новый век» и «1852». Две другие, безымянные, исследователь, основываясь на их содержании, назвал «Таганрог» и «Лупанарий». В этих социально-утопических текстах выражена мечта писателя о процветании Таганрога, России, об обществе, построенном на принципах справедливости.

Современная актуализация концепта «русский мир» придает особую злободневность и словам Кукольника из письма Кушелеву-Безбородко (1863): «Я слишком далек от пошлого славянофильства, но признаю необходимость исторической славянской лихорадки, которая должна, как период переходной, перевести нас к более общим принципам всецелого человечества. А потому, выдерживая борьбу с фанатизмами, мы должны понимать их и стойко держаться идеи братства славянских народов. Теперь оно кажется возможным, но с развитием России в либеральном смысле оно более чем возможно и верно».

...Судьба нередко смеется над писателями и расправляется с ними, используя в качестве подсказок сюжеты их собственных произведений. Не избежал этой участи и Нестор Кукольник. Его собственная смерть и последовавшие за ней события воскрешают в памяти отдельные мотивы его пьес. 8 декабря 1868 года, собираясь в театр, он протянул жене коробку конфет и неожиданно упал замертво. По городу поползли слухи об отравлении. В злодеянии подозревали любовника жены писателя Амалии Ивановны — жившего по соседству местного врача Пантелеймона Работина. По другой версии, смерть Кукольника была следствием его профессиональной деятельности: возможно, он перешел дорогу кому-то из сильных мира сего, когда боролся с коррупцией и разоблачал злоупотребления при строительстве железной дороги... Безутешная вдова вышла замуж за злодея-эскулапа, но менее чем через год, одумавшись, развелась и посвятила остаток жизни увековечиванию памяти первого мужа: завещала деньги на устройство детского приюта имени Кукольника, завещала также городу его дом, поставила памятник на его могиле. Увы, в 1931 году могила Кукольника и его жены в его имении Дубки была разорена грабителями в поисках драгоценностей, а их останки выброшены на дорогу. Но и на этом посмертные злоключения не кончились. В 1966 году территория роши Дубки была передана заводу «Красный котельщик» под производственные площади, и место захоронения писателя и его жены бульдозеры сровняли с землей. Не пощадили и дом Кукольника, чудом уцелевший в годы Великой Отечественной войны...

В 1829 году, после трагической гибели в Персии А. С. Грибоедова, другого драматурга-современника, Пушкин написал в «Путешествии в Арзрум»: «Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» Эти горькие слова справедливы и по отношению к судьбе Нестора Кукольника.



ИСКУССТВО ЧТЕНИЯ

Олег АЛИФАНОВ

ТОРЖЕСТВО НЕГОДЯЕВ В РОМАНЕ «АННА КАРЕНИНА»

Толстой изображает патологических негодяев людьми правильными и довольно симпатичными. Это, конечно, не случайно.

Вот рейтинг на пиру.

Самый упоротый, вовсе никуда не годный негодяй — Левин. Будучи около 33 лет, он назойливо домогается («страдает») невинной, ненагулявшейся Кити (около 18 лет), в конечном счете женится на этом неопытном и доверчивом ангеле в период ее юных и вполне невинных терзаний, предварительно развращая ее чудовищным дневником своих адских походов. То есть негодяю мало овладеть девой физически, он подвергает ее психологическому изнасилованию ради удовлетворения своих извращенных похотей («ну, ты знала, за кого шла, я предупреждал»). В дальнейшем злодей смеет ревновать ее не только к первому встречному (Вронский), но и ко второму (Весловский), третьему и пр. — ревновать до степени параноидальной, непристойной и оскорбительной для беременной супруги. А с какого права великовозрастному греховоднику ревновать юную и очаровательную жену? И не просто ревновать, а хамить людям, которые кратно выше и чище (то есть кратно меньшие негодяи); оскорблять их прилюдно, выгонять с позором? Кити согласилась выйти за него лишь по неопытности. Она вообще мало мужчин встречала, не так давно стала выезжать в свет (где Вронский), а этот друг брата — и ездить никуда не надо — ошивался в семье с детства: брат давно утонул, а Левин все всплывал и всплывал. Она понимает, что любит его, будучи в душевном

Олег Владимирович Алифанов родился в 1967 году в Москве. С середины 1990-х публикует в различных журналах и литературных сборниках статьи и эссе, в том числе в журнале «Нева» (2018, № 1, 7; 2019, № 8).

смятении (раз уже ему отказала, но человек он вроде неплохой... давно ошивается), которым он грубо пользуется, — ан любит ли? «Второй сорт не брак» выходит брак... В любви ветреной по праву нежного возраста девицы читатель имеет сомневаться.

Ревность Левина отвратительна еще и потому, что он обязан был предвидеть, на что идет (пример Анны перед глазами), настойчиво предлагая свое поюзанное тело и подпорченную душу в подвенечную пару существу воздушному, природно-чистому и по искренности не подлежащего суду стыда и приличий. Ее порхания законны, желание нравиться и влюблять естественны, ее же хтонический муж(ик), похитив и употребив ее молодость, обязан жертвовать хотя бы гордыней. Ан нет, Левин требует еще жертв, будто она и без того не отдала ему все. Он не останавливается и перед тем, чтобы изводить ее, уже им обрюхаченную, беспомощную, на последних днях. Ужасно догадываться, что он не раздавит ее через год-два только из черствого эгоизма — как бы не исчез объект его страсти к власти, свидетельство его победы («ну, ты знала, за какого шла»). И полбеды, если бы Левин не сознавал собственную мерзость, — нет, он анализирует это с самого начала, рационально осуждает в себе, и — прощает (спускает) себе, и — продолжает домогаться бесчестного неравного брака, используя душевную травму своего объекта, да и после женитьбы не останавливается в требованиях каких-то дополнительных прав — уже не на тело, не на душу — на самим Создателем заложенные легкомысленные жесты и затухающие искорки помыслов — чудовище требует тотальных прав на красавицу. Но сколько ни целуй — жаба не превратится в принца. Будет только хуже. Он берет ее чистоту взаимы, не собираясь отдавать. Он поцелует в ответ, и — берегись. Левин — вампир.

Скажут: да влюбился без ума в знакомую, вот и вся подноготная. Но нет — Левин поочередно думает жениться на всех девицах Щербацких по мере их подрастания: Долли, Натали и вот Кити. Сам при этом стареет и соловееет, деревенеет (то есть превращается в деревенщину). Взять молоденькую, хорошенькую, неопытную, издеваться над ней — его идефикс. Получив отказ Кити, он в деревне в уме перебирает опять-таки юных кандидаток. Левин — маньяк. «Он прежде представлял себе семью, а потом уже ту женщину, которая даст ему семью». Семью — в смысле хозяйство, где он хозяин, а она — не хозяйка, а часть его хозяйства. Женщину, да не всякую, а непременно крайне юную (себе, пожившему), необыкновенно красивую (себе, некрасивому) и совершенно невинную (себе, порочному). Так скотник подбирает лошадь на развод.

«А злодей-то не шутит, /Руки-ноги он (Кити) Мухе веревками крутит, /Зубы острые в самое сердце вонзает, /И кровь у нее выпивает. /(Кити) Муха криком кричит, /Надрывается, /А (Левин) злодей молчит, /Ухмыляется».

Понятно, что Левин — это почти сам Толстой, только петитом. И, конечно, большой Лев в нем анализирует себя психологически (а вернее сказать, психиатрически), ищет оправдания своим поступкам и своему браку: перзрелый жених воцелел двенадцатилетнюю невинность, шесть лет кругами пас ее в засаде (не как пастырь, а как козлице), грязно мечтая и попутно деля предложения другим. А уловив в сам священный миг совершеннолетия, в неделю похитил лучшие годы и нравственно употребил до венчания. Подумать только: развратник запланировал себе на конечной станции взять в жены девочку, и шесть лет планомерно продолжал писать жизнью свой дневник, и — писал для НЕЕ. Умышленно. Уму непостижимо.

В зале ожидания Левин совершенно (в смысле идеально — достиг совершенства) оскотинился.

«Жениться — это как войти в клетку к хищнику», — морализаторствовал автор. Вегетарианское козлице ворвалось в золотую клетку к котенку и схрумкало до глубины души.

Понятно, что дневник Левин будет подсовывать Кити всю жизнь. На любую ее претензию слюнявит пальцы: «Открываем страницу номер двадцать, написано же: я — негодяй. А ты знала же, за кого шла!»

«Лежа на спине, он смотрел теперь на высокое, безоблачное небо. «Разве я не знаю, что это — бесконечное пространство и что оно не круглый свод?» Левин — это Болконский v2.0, плюнувший на интрижку с Долоховым/Вронским и женившийся-таки на Наташе. Но если Болконский — это, так сказать, версия профессиональная, то Левин — облегченная, для домашнего пользования (это культурная особенность, а почему так — чуть позже).

Каренин — негодяй меньшего пошиба. Он похож на тухлый пирог, состоящий из кусков, нарезанных неравными долями, но одинаково негодных к употреблению. В принципе достаточно одного куса, чтобы отказаться от еды, но автор скармливает их читателю все по очереди. Главный порок Каренина тот же, что и у Левина — красавица и чудовище: пожилой м...к женится на юнице (негодный кусок № 1). Это неравный брак для НЕГО, ибо невеста молода, хороша собой и знатна (княжна), а он староват, непривлекателен и нетитулован (этот комплексный обед формирует начинку куса № 2), но имеет капитал, чин и связи — и пользуется этими связями во всех смыслах (негодяй-кусочек № 3). Подробно обрисована вишенка его благородства — он готов все простить, забыть и жить с Анной по-прежнему, *как бы* не подвергая ее и себя позору — жить в одном доме как ни в чем не бывало! — и продолжать, если выразиться мягко, ежедневно «парить ей мозги»; это запредельное негодяйство № 4 со свежей ароматной ягодкой поверх тухлятины. На что перспективный Каренин рассчитывал, женившись в 40 лет на совсем юной девушке, привыкшей к оболъщениям света, — непонятно, это не объясняется. Тут явный признак какого-то скрытого порока отношений; уже в то время на такие мезальянсы косились. Не мотивируется и сиротский выбор Анны (слово «любовь» тут уместно, так же как и «гитлер»). Типа, позвали — пошла. Чего так?

К нему можно испытывать большую гамму разнообразных чувств: презрение, ненависть, уважение (это редуцированная форма гадливости), но не сочувствие, даже не жалость (Долли называет мужа жалким, но жалеет — знать, любит). Какие общие интересы могут быть у ровесников и ровни Стивы и Долли, представить можно; не пугает и трехлетнее старшинство Анны в сравнении с Вронским. Но тут нам представляется во всей красе карнавального колпака еще и дурак, притом дурак великовозрастный, а это совсем негодное дело (крупнее только негодяй Левин). Алексей Александрович совершенно (то есть идеально) антипатичен. Его рассуждения — пустозвонство. Его ум — дурь. Труд — вред. (А чем, кстати, труп занимался до своих 40? Тут есть над чем задуматься, если Левин, например, успел до 33-х изгадиться в свинину, нагрешив полное собрание пошлых дневников.) Если на миг представить себе, что муж проиграл Анну в карты, это выглядело бы существенно респектабельнее. (Вообще-то, если бы он был истинно благородным человеком, он не проглотил бы позор, а сделал вид, что так и сделал. Увы, дурак не играет и в карты.)

Каренин глуп разносторонне, эта глупость показана подробно, со вкусом, из всех четырех измерений. Он глуп по всем трем осям: служба, семья, свет, — отовсюду торчат безобразные уши его снобизма, но всего более глупость его рельефна с течением временем. Княгиня Мягкая: «Все говорили, что он умен, умен, одна я говорила, что он глуп. Теперь, когда он связался с Лидией Ивановной и с Landau, все говорят, что он полоумный, и я бы и рада не соглашаться со всеми, но на этот раз не могу».

Среди Стив, Долли, Бетси и пр. Алексей Александрович и Анна, казалось бы, единственные не играют в пошлую, но безобидную английскую игру, однако sneering мужа Анны заходит гораздо дальше простой моды, тут подражание идет из самой глубли-

ны культурного кода. Как и английский тяжеловесный аристократ, он ни в чем не разбирается, но обо всем имеет свое суждение. Но то, что в Англии органически глупо однократно, подражание в России глупо в квадрате. Поскольку суждения аристократа основаны на поверхностном знании, он, стремясь не быть уличенным, прячется под маской иронии, это и называется «английский юмор»¹. Люди от него вешаются. В данном конкретном случае — бросаются под поезд. В романе есть характерный эпизод, когда муж Анны «поразил [вернувшегося из Китая] путешественника глубиной своего знания предмета и широтой просвещенного взгляда». Откуда дровишки? А он прошлым вечером изучил брошюру, написанную *этим самым путешественником!*

Как Стива в принципе любит всех, так Каренин не любит никого. Больше всех он измывается над своим сыном («молодой человек»), контролируя даже его *мысли* о матери. Его стиль — контроль. Он — тролль. Как все люди этого сорта, никчемность свою он скрывает за троллингом (надо бы по-русски «трунинг», а тогда это называлось *sneeg*, насмешка). «...Стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то». Он трунит над всеми, но это полбеда. Беда в том, что он восемь лет троллит собственную половину! Не работа его, но «служебная деятельность» так же пуста, как и все прочее, это такая же насмешка над обществом. Ежегодно он в начале весны едет на воды и возвращается в середине июля. То есть без «государственного человека» совершенно спокойно можно обойтись 1/3 года. Вопросы о его «проектах», кажущихся ему «наделавшими шума», люди встречают с недоумением. В сущности, его жизнь — фоновый шум. Каренин — помеха.

Его извиняет лишь то, что в отличие от Левина и Стивы он не ведает, что творит, поэтому запросто рассуждает о букве христианского закона, примеряя ее себе на ленту.

Свое высокое положение в обществе он с лихвой компенсирует низостями семейной жизни, где он, существо физически пугливое, осуществляет юридическую власть над несчастными женой и сыном, которых такими сделал сам. Его запредельный эгоизм сравним только с левинским. Припомним ему и адский обряд, после которого он окончательно склонился ко злу и отказал Анне в ее праве на жизнь. Этот обряд непрост. Там нетитулованный сноб и осел столкнулся с титулованным — супершарлатаном Landau (он же граф Беззубов). И тролль, столкнувшись впервые в своей жизни с гипертрофированным отражением, отступил. Вот как это произошло. У Лидии Ивановны (она — кривое зеркало) собрались муж Анны, Стива и французский шарлатан. Муж в своем стиле троллит безобидного Стиву, ему вторит Лидия, тот в своем стиле уклоняется, обстановочка совсем сектантская, быстро нагнетается: «Вы знаете Санину Мари? Вы знаете ее несчастье? Она потеряла единственного ребенка. Она была в отчаянье. Ну, и что ж? Она нашла этого друга, и она благодарит Бога теперь за смерть своего ребенка. Вот счастье, которое дает вера!— О да, это очень... — сказал Степан Аркадьич, довольный тем, что будут читать и дадут ему немножко опомниться». А читать Лидия готовится мракобесную галиматью «Safe and Happy» или «Under the wing». «— Вам будет скучно, — сказала графиня Лидия Ивановна, обращаясь к Landau, — вы не знаете по-английски, но это коротко. [Неуклюжая попытка «подколоть» невежду, но не тут-то было.]— О, я пойму, — сказал с той же улыбкой [профессиональный тролль] Landau и закрыл глаза». Вот так! (Потом он заснул. Дальше происходит совсем неприличная сцена, в которой петербургский тролль признал верховенство французского. Каренин роняет честь, Стива челюсть.)

¹ «Английским юмором» поражена почти вся английская литература, как детская, так и взрослая. Не умея написать достаточно серьезную вещь, основанную на жизненной практике (реализм), писательницы (и писатели) придумывают специфический (романтический, готический или фантастический) мир, под которым вместо слонов гамадрилы. Мир трясет. Типа, от смеха.

Лидия Ивановна сама была в положении Анны (восторженная молодка выдана за муж за старого греховодника), но дальше пошли различия: муж ее бросил сразу же; и как лесбиянка со стажем, Анну она понять не в состоянии. В мужа Анны она влюбилась не как женщина в мужчину, а «любила за него самого, за его высокую непонятную душу». Дура хочет за него замуж, но специфически, «без шалостей», в сущности, хочет замуж за его торжественную дурь, иначе способствовала бы разводу Анны, а не наоборот. Отношения ЛИ и Каренина настолько порочны, что для этого нет шкалы. Они разлагающе пользуются друг друга на самом глубинном уровне. «Правда о том, что случилось с мосье Вольдемаром», про них.

Итак, муж Анны — монстр. Двадцать лет мучил себя, потом стал изводить жену, потом сына. Он — ходячий мертвец.

Казалось бы, он — косвенный убийца, а Левин нет, так почему же Левин видится мрачнее? Каренин Анну убил мгновенно (по меркам романа), а Левин будет душить Кити много лет за глухими ставнями обложки, и мы-то знаем, что если ей повезет и он умрет раньше, то ее доконает свежее, полное сил возвращенное им сонмище негодяев, визжащее, что она была его недостойна. А если не повезет, он убьет ее через несколько лет, поскольку Левин — это 1:1 будущий Позднышев.

«В Москве он так опускался, что, в самом деле, если бы пожить там долго, дошел бы, чего доброго, и до спасения души; в Петербурге же он чувствовал себя опять порядочным человеком». Итак, Стива. Облонский — негодяй меньший, самый симпатичный из мужей-негодяев, находящихся за чертой добра и зла. Время от времени одной ногой он эту черту переступает, но потом возвращается на круги (ада) своя. Вообще, вместе с невинными младенцами прописан в лимбе. Как и прочие, он рисуется с симпатией и пониманием. Его брак с Долли по возрасту самый равный из всех, а следовательно, изначально лишен одной из ключевых дисгармоний. Он изменяет жене (слегка негодяй), но делает это с женщинами. Он делает (и делает, и делает...) это не по злому расчету, а по случаю. (Пошел на охоту — добыл 15 штук дупелей и одну штуку дворовых девок.) Его жена знает об этом, но не из пошлого дневника, подsunутого ей в свадебный букет, а случайно (много раз случайно знает) и дополнительно догадывается. Его извиняет то, что женился он на симпатичной барышне и не из какого-то мезгазлого расчета, хотя за Долли дали неплохое приданое. Долли характеризует мужа как «отвратительный, жалкий и милый». Это не трехкратный рекордсмен на чемпионате негодяев Левин и не призер Каренин. Из трех характеристик отвратительная только одна.

Негодяй Стива не может полноценно содержать пятерых отпрысков, используя благородную жену как гувернантку, так как содержит ружье, собаку и балерину (то есть в сумме себя). С другой стороны — сделать некрасивой уже жене еще семерых — это извиняет его во многом другом. Но на свою долю Долли жалуется: «Ты понимаешь ли, Анна, что у меня моя молодость, красота взяты кем? Им и его детьми».

Негодяй устроился по благу через другого негодяя — мужа сестры на работу не бей лежачего, он получает жалование больше своего начальника, но почти не посещает службы (никаких служб — да и слава богу, при его-то уме и деловых качествах, так что тоже пишем в плюс). Впрочем, благодаря веселому нраву и покладистости он всегда с радостью принимаем в обществе, старательно примиряет людей и всегда ищет примириться сам («сынами Божиими нарекутся» или светски: «Блаженны миротворцы, они спасутся, — сказала Бетси (Вронскому), вспоминая что-то подобное, слышанное ею от кого-то»). Прекрасен диалог двух негодяев, когда Стива заявляется к мужу сестры умолять о ее разводе и сыне, но в первую очередь просит за себя, выправить дополнительное доходное место. В сущности, Стива говорит ему: дай все и пошел вон. Муж визжит в ответ: сами идите. Это все культурно, с заходцами.

Стива настолько аппетитен, что в прототипы его записывались, часто без достаточных оснований («калач съел»).

Зная, что Лидия Ивановна — пошлячка и дура, решающая через шарлатана судьбу (жизнь/смерть) его родной и любимой сестры, он идет к ней с мыслями сблизиться и использовать ее в целях карьеры.

Стива никого не изводит. А главная его негодность — он никого не любит по-настоящему, хотя в принципе любит всех. За это имеет медаль: его тоже все любят. В принципе.

Стива — мелкий бес. Пухленький бесшабашный языческий амурчик. Мечет стрелы в дупелей.

Говорят, что Анна предала мужа, изменив ему. А муж-де прощает ее и оставляет жить под кровом ради сына Сережи и мира во всем мире. Это якобы этическое зеркало пары Долли — Стива, в которой Стива предает, а жена прощает и смиряется жить с ним ради детей. Так, да не так. Да совсем не так. Пара Стива — Долли изначально честная и равная — и по положению, и по возрасту. И предательство Стивы его положение изменяет. Он — относительно Долли — падает. Пара Анна — Каренин удручающе неравна. Выйдя за немолодого, нетитулованного Алексея Александровича из-за его положения и состояния, Анна выдала крупный кредит. Когда срок кредита вышел, выяснилось, что пошляк и мизантроп, похититель ее юности по счету платить не намерен.

Свирепость негодяев нарастает и вскрывается перезрелым прыщом на водоразделе единственной поименованной главы «Смерть». Умирает Николай Левин. Умирает долго и капризно, все ждет его смерти как облегчения.

Николай — часть другой сложной моногамии романа — родной брат Константина, купивший в публичном доме себе жену (они в гражданском браке) и не пенявшего ей (он на нее просто орет). Константин же, лицемер и крайний, ультрафиолетовый эгоист, старательно ищет малейшего повода. Это про него анекдот: «Смените номер, я измучился! Из окна видно женскую раздевалку! — Да ничего не видно... — Да? А вы на шкаф залезьте!» Без сомнения, жизнь Кити вскоре превратится в... жизнь Анны. Постылый, старый, приземленный, тупой зануда, которому она вынуждена покорно внимать («ты знала...»), — и вдруг широким оскалом Вронского вспыхнет рядом улыбка какого-нибудь кавалергарда, моложе ее года на три, а она еще так хороша... И — гудбай, Левин, прощай заунывная константа моей жизни...

Дабы Николай не выглядел чересчур розово, автор наделяет его хамством, алкоголизмом и нелогичным прошлым. Он-де в бешенстве покалечил непоименованного мальчика, избил анонимного старшину и т. п. Это все подается мельком, ибо плохо вяжется с канвой и напоминает фиксу во рту Вронского (как если бы она была). Но в целом это помогает видеть равные отношения в паре: два в прошлом многогрешных существа пытаются найти опору, служа друг другу. После смерти Николая неистовство негодяев можно ощущать почти физически. Теперь ясно — они, даже не сговариваясь, уничтожат Анну и Вронского. Так принято. Оставшись без романтического прикрытия, романтическая пара обречена — по ту сторону «Смерти».

И все же, еще одна преграда. Никак невозможно обойти вниманием пару Сергей Иванович и Варенька. Единственный из всех, писатель нашел в себе силы совладать со страстью к Варенькиной фигурке и чадолюбием и — выкурить за кустами сигарку. И — ничего. Страсть Вареньки тоже утихнет, как уже было однажды, и она останется счастлива. Атмосферой романа поведение Сергея Ивановича осуждается, отношения (вздохи-выдохи) в этой паре описываются так, что у персонажей пары, их окружающих, и, собственно, читателей текут слюны на их возможный брак — ан нет! В общем, пара равных (Варенька — существо без молодости от 19 до 30) и влюбленных остав-

ляется без награды. На самом деле симпатии автора к ним безграничны. Дарованный им приз — не свобода, а сама жизнь, ведь два других позитивных марьяжа погибают, покрытые авторскими тузами из рукава. Это иллюстративная пара, оба персонажа до предела искусственны. Само их происхождение — из пробирки. Кознышев — единотробный брат Левиных, но о предках его сведений практически нет. Варенька — вообще дочь повара, подмененная вместо умершего ребенка мадам Шталь — во как, прямо английский романтизм. Оба призваны катализировать некоторые мысли автора. Сочетать резонеров браком он не решился — Ржевский и Наташа из разных сказок, про падет резонанс.

А что же Анна и Вронский? Не идеальная (идеальная — это Вронский + Кити), но истинно и искренне любящая чета благородных сердец. Оба отказываются от всего и всех (почти всех, Анна страдает без сына) ради любви. Вронский вообще показан как человек, способный ради любви *совершать поступки* (а не *совершить поступок*, что каждый может). Он великолепен. Это великолепие ретушировано баснословным богатством и здоровыми, как у его лошади, зубами, однако тем и другим он умеет пользоваться широко.

Анна для него — предмет вожделения и приключение гвардейского офицера высшего разряда. Он кавалергард, куда попадали только знатные, богатые и видные, — все эти качества надо было иметь одновременно, а не по очереди. Это кровь с молоком, бычки-производители, блэк ангус аристократии. Однако когда нужно сделать выбор, он не колеблется. Бросает не ее (что галерее романических подлецов имманентно), но себя — свою карьеру, репутацию, друзей. Это не поступок — твердая поступь снисходительного иноходца.

Толстой написал эту пару авторитарно: у Анны нет достаточных мотивов выходить за Каренина, как и достаточных мотивов убивать себя. Ее ревность, боязнь потерять Вронского не вяжутся с ее апатией к своему положению. В жизни так: муж предлагает ей развод без сына, она мгновенно хватается за развод и выходит за Вронского так скоро, как только возможно. Обезопасив тылы от молодых баб и сплетен света, с новых позиций законной гранд-дамы графини Вронской (ее статус, чуть поколебавшись, восстановился бы еще в большем великолепии, а уж зависть...) она могла бы начать борьбу и за сына.

Советские, помогая Толстому мотивировать события романа, всегда почему-то особенно упирали на то, что по церковным законам в Российской империи разводы и последующие браки были крайне осложнены. О чем вы, советские? Церковная тема — это аргумент негодяя (мужа Анны, его наперсницы Лидии Ивановны и советского «литературоведа»). Церковь управлялась Синодом, глава Синода — гражданский чиновник, а всему начальник — царь. Александр I, например, признал брак проигранной в карты Разумовскому жены Голицына. О чем вы? Времена были ультралиберальные, у власти находился ловелас и женолюб Александр II, сам бывший не только в связи с Долгорукой, но имевший с ней общих детей. Впоследствии, по смерти жены законной он легализует Долгорукую и детей, что, кстати, породит грандиозный конфликт с наследником, будущим Александром III. Так что у влиятельной пары Вронских были все шансы на признание прав Анны на сына, если не полных, то возможности свиданий. Вообще после вступления Анны в брак с любимым нелюбимый Каренин автоматически, без дополнительных усилий проявился бы глупцом, лузером и гопником, мучителем сына. В романе между тем налицо юридическая коллизия: муж не дает Анне развода и при этом — лишь по навету Лидии — этот закоренелый законник запрещает матери видеть сына, то есть Анна — по-прежнему его юридическая жена — и сына видеть право имеет.

Чтобы убить *неправильную* Анну ради торжества *правильного* Левина, автор эту коллизию маскирует, то есть поначалу она упоминается, и Анна не согласна с предложенным разводом V1.0 без сына, но после, когда ее муж передумал и отказал в разводе V2.0, запрет на свидания становится противозаконным. Настоящая Анна это понимала бы, Анна-гомункул забывает и пристраивается под второй вагон (первый — Каренин). В этот момент разрушается довольно хрупкая мотивировка всей повести об Анне, женщине, разрывающейся между двумя любвями — к мужчине и сыну. Автор хочет уверить читателя, что в минуту самоубийства она полагала, что потеряла обоих, но это не так. По меньшей мере, сына в той ситуации она не теряла. (Александр II, правда, плохо кончил; и в двух покушениях со множеством смертей была замешана железная дорога, а Александр III едва не погиб при крушении, но Толстой (в смерти которого также замешана железка) ведь этого всего не знал (и про себя тоже), когда бросал под поезд Анну; так что погибла бы она уже за скобками романа (как и Александр II, как и III, как и Толстой, как и вся русская империя вслед за Николаем II пошла ко дну на одноименной железнодорожной станции).) Но доказать, что путь Левина и Кити вернее пути Вронского и Анны путем умышленного убийства второй пары — ход довольно притянутый. Выбирая из двух, всякий назначил бы себя во вторую пару (до момента посадки на «Титаник»). Ведь понятно, что пара Левин — Кити — это то же самое, только у их судна труба пониже и дым пожиже. Любовной страсти меньше, но скандалы те же, а о быт лодка бьется чаще. Левин гораздо ближе к самоубийству, чем Анна (несмотря на все пророческие сны, для нее это спонтанное решение, для него — тема), и даже прячет от себя шнурки и ружья (как это — *прячь от себя?*) — но остается жить.

Негодяи торжествуют. Две хороших пары гибнут. Автор заставляет Анну быть при смерти после родов, а Вронского после попытки самоубийства, а после добывает ее и почти — его (можно догадаться, что едет Вронский на войну, быть убитым). Некоторые подводят под этот сюжетный ход сложное обоснование, мол, незаконный брак ведет к духовной гибели, и для дураков автор проиллюстрировал эту гибель физической смертью. Но это сомнительно. А без сомнений лишь то, что роман на этом не кончается. Негодяи продолжают пир. Еще 20 глав. Как если бы Холмс (взломщик, кокаирист...) упал в водопад в обнимку с Мориарти (клейма негде ставить), а потом была свадьба... Лестрейда, Майкрофт получил бы орден по выслуге лет... А что? Правильные же, честные люди...

Но разве обе погибшие пары несчастны по-разному?

Нельзя с удивлением не заметить, что негодяи романа находятся в законных браках, «годяи» же все вне формальных отношений. Для Толстого это вопрос не праздный, в самом институте брака ему видится системный изъян, парадокс, и тема эта не отпускает его до «Крейцеровой сонаты».

А насколько опасен английский юмор, скажу отдельно. Для англичан — это прежде всего защита от серьезной французской культуры и инструмент влияния на остальные нации. Обратите внимание, «Война и мир» описывает нам привычный высокоранговый французский культурный мир, который не подкосила даже война. У высокой культуры все всерьез, все взаправду. Там кривляющегося Стиву назначили бы вслед за Landau в 17-й номер Обуховской. Там трунящий Каренин невозможен как Керенский. Одному такому каренину-лайт, трунящему над несчастным Маком (зараза союзников уже пустила корешки), Болконский устраивает разнос по первое число. А мир, отстоящий от войны на полвека, под завязку набит клоунскими колпаками дурацких кличек, насмешливых речей и стеба — это мир английского юмора, культуры машинной, низовой. Пока подхихикивают Бетси и Кити — это полбеда, но когда рясы напяливают Каренины — беда похуже 1812-го.

Если сорвать французские маски с александровского высшего света, под ними обнаружатся русские рожи, говорящие на родном языке с ошибками, но если снять британскую кисею с Каренина, под ней будет пустота. Английский кислотный юмор выжигает самого насмешника.

Увы, не только. Позитивные пары — они из настоящего цельного прошлого — неуклонно стираются кислотным дождем настоящего. Жертвы войны миров.

Французы доминировали в сфере высокой культуры безраздельно, это был один из козырей их экспансии. Скажут, что в живописи царили итальянцы, в музыке немцы — все так; но целокупно... При этом французская культура была довольно снисходительна: покрывая мир куполом, она позволяла процветать под ним другим культурам, как в оранжерее. И тут случился казус: после века войн и революций Франция лидерство сдала. Англичане обогнали французов во всех сферах. Во всех, да, к своей досаде, не в главной. Остались литература, живопись, музыка, даже дипломатия и кулинария. Остались манеры, стиль, язык, мировоззрение. Это не Трафальгар — просто так затоптать эти цветы было невозможно — они росли уже сами². И тут на помощь пришел пресловутый английский юмор. Англичане с помощью стеба и ерничанья, взвизгов и на гы-гы принялись понижать не уровень культуры, а само отношение к высокой культуре — сначала в среде снобов, а после и в аристократическом слое. То есть пресловутый снобизм возник не просто так, а в процессе направленного культивирования, где происходила подмена высокой культуры пренебрежением к ней. Снобизм, поначалу презренный, возвели в разряд манер, допустимых в высшем обществе.

Изначально снобами назывались лица неблагородного происхождения, стремившиеся походить на благородных образом жизни, ибо деньги сие позволяли. Но снобы являлись благодатной почвой для социальных экспериментов, и в процессе игры на понижение снобами стали называть поверхностно образованных в культурной сфере людей, способных рассуждать на любую тему (пренебрежительно и с «юмором», конечно). Дальше — меньше. Игра на понижение породила футбол, битлов, однополые разводы. Толстой прекрасно чувствовал ненатуральность «прогресса» нисходящих субкультур, называя устами Долли lawn-tennis странной игрой, когда взрослые одни, без детей, играют в детскую игру. Муж Анны, напротив, выводится защитником английского спорта. Каренины у снобов полной ложкой зачерпнули вакуум, и нет ничего удивительного, что после Каренина и Левина явились Керенский и Ленин. Толстой пишет культурный приговор русскому обществу. Воцарение в романе хихикающих попугаев приведет вскоре к негодяеву царству.

² Статус великой державы условно-досрочно Франции на Венском конгрессе вернули. Причем вернули не государства, а люди. Таким образом, Франция стала единственной в истории великой державой, признанной не другими державами, а людьми. А то получалось как-то неловко: сидят четверо, делят пятого. При этом говорят на его языке, едят его еду, одеваются по его моде, ходят в его театры, пляшут его танцы, читают его книги, рассуждают о его философии, используют его дипломатию. Все это как бы подспудно... Ну, и здесь пусть будет в сноске.

Дмитрий КОЛИСНИЧЕНКО

ПОВЕСТЬ «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»: КАРИКАТУРА НА ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ

Еще после первого прочтения повести «Собачье сердце» возник диссонанс с одноименным фильмом Владимира Бортко, который я, конечно, посмотрел намного раньше и неоднократно. Слишком разное настроение у литературного произведения Михаила Булгакова и вышедшего в разгар перестройки кино. На днях снова перечитал повесть: действительно, в своей картине режиссер сильно сместил акценты (хотя сам он утверждает, что не делал антисоветский фильм) и изменил характеры героев.

Наверное, краеугольным «новаторством» фильма можно считать сцену публичного выступления Шарикова, показавшее весь ужас «мужичка», который пришел к власти на смену профессору Преображенскому и ему подобным. В самой повести этой сцены нет. Поэтому придуманный идиотский образ — целиком на совести режиссера фильма.

По ходу повести герой меняется. Однако даже в конце истории, когда Шариков, уже получив документы, начинает понемногу хулиганить, он и близко не дотягивает до созданной Владимиром Бортко кинематографической карикатуры и является скорее типичным представителем мужика своего времени, возраста и сферы деятельности.

Я не буду сравнивать повесть и фильм. Перечитать «Собачье сердце» займет часа три, примерно столько же, как и пересмотреть кино. Многие говорят, что картина Владимира Бортко даже лучше самого текста. Не лучше, она просто совершенно другая. И если кому-то больше нравилось смеяться (как в выдуманной сцене с выступлением перед публикой) над Шариковым или нравится до сих пор — это проблемы внутреннего восприятия. В самой повести, в отличие от фильма, смешного очень немного. «Собачье сердце» Михаила Булгакова, вопреки расхожему мнению, сегодня выглядит вовсе не сатирой на революцию и первые годы советской власти. Повесть больше напоминает карикатуру на интеллигенцию, прогнивший класс, который никак не хочет свыкнуться с новой реальностью, но не решается уехать из ненавидимой им страны.

По ходу истории мы видим болезненное развитие Шарикова как гражданина. Именно желание получить документы, работу, жилплощадь, завести семью — все это стоит

Дмитрий Александрович Колисниченко родился в Киеве в 1982 году. В 2007 году издал в «Кислороде» (Москва) роман «На струе»; в 2017 году издал в «Каяле» (Киев) повесть «Последний экспресс» (в соавторстве с Алексом Керви). Публиковал короткую прозу в журналах «Нева», «Урал» и «Homo Legens».

для него на первом месте. Он, как и все, вынужден приспособливаться, хитрить, иногда врать (как невесте про то, что он красный комиссар). Так ли отличается этот герой от среднестатистического человека даже сегодня, почти сотню лет спустя?

Становясь человеком и гражданином, герой превращается из собаки Шарика в нового, лучшего Клим Чугункина.

О нем сообщается: «Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам. Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной („Стоп-сигнал“, у Преображенской заставы)».

Клим Чугункин — классический гулящий человек. На момент прихода большевистской власти он уже был тем «негодяем», которого до сих пор так боится «креативный класс», представителями которого являются профессор Преображенский и доктор Борменталь. То, что Клим Чугункин безграмотен, вороват и разнуздан, это как раз следствие той «социальной политики», которая проводилась во времена Николая II по отношению к таким вот «мужичкам». Это после революции Швондер даст Шарикову книгу, это после революции он пойдет в цирк смотреть на слонов и акробатов, а не будет плясать перед пьяной публикой с балалайкой.

В своем новом облике Шариков развивается. Он уже не просто пьяница и игрок на балалайке. Как было сказано выше, у него вполне четкие, обывательские цели, понятные большинству даже сегодня.

Деградирует по ходу повествования как раз профессор. Из человека «с мировым именем» он превратился в хирурга, который пересаживает престарелой женщине обезьяний яичник и занимается прочей ерундой. Преображенский не хочет уехать в Европу или США, он никак не собирается участвовать в советской науке. Он довольствуется десятью рублями за визит очередного придурковатого клиента и пятьюдесятью червонцами за экзотическую операцию. Даже пес, считавший профессора своим божеством, понимал, что это «похабная квартирка».

Профессор поглощает водку с семгой и угрями (даже Шарик знает, что он не будет есть колбасу «Особенная краковская»), со снобизмом рассуждая о туфлях Шарикова и жалуясь на разруху. Хотя, несмотря на разруху, в доме, например, продолжают исправно топить, сам он регулярно посещает Большой театр, да и держать в доме прислугу еще пока никто не запрещает.

Показательна тут и сцена с затоплением квартиры. В устранении потопа участвуют все, даже доктор Борменталь, но только не Преображенский, который в часы всеобщего хаоса решил прилечь отдохнуть. Дескать, не барское это дело.

Например, возьмем первую встречу Преображенского и домкома. Швондера и его товарищей автор описывает так: «все одеты очень скромно», на хамство профессора, который тут же их перебивает (и делает это постоянно), они смотрят «с изумлением» и «смущенно». Еще показательный момент — сцена, когда профессор отправляет Зину через заснеженный город покупать Шарикуну ошейник. На ошейник он дает восемь рублей, а на трамвай своей прислуге — шестнадцать копеек.

Сам профессор признается, что его главная страсть — евгеника, его цель — «улучшение человеческой породы». Пожалуй, это ключевая характеристика, данная Михаилом Булгаковым герою в 1925 году, дающая подсказку на многие вопросы. Лишь бы было желание задаваться ими, читая книгу, а не ухихатываться, пересматривая в очередной раз ее киноверсию.

По большому счету, весь конфликт профессора и его «создания» по книге замешан не на том, что Шариков начинает творить что-то откровенно вызывающее. Он упира-

ется в тот самый квартирный вопрос. И дело тут даже не в том, что советская власть хочет отобрать у Преображенского его частную собственность. Вовсе нет. Профессор въехал в семь комнат в 1903 году, взяв их в аренду, поэтому его нежелание «уплотняться» выглядит по сегодняшним меркам как обыкновенное рейдерство. При этом Шарикову из всей квартиры выделили аж шестнадцать квадратных аршинов (около одиннадцати квадратных метров).

Сам профессор постоянно ведет себя как хам. Опять же, в фильме все выглядит несколько иначе. С ним достаточно почтительно, не реагируя на колкие выпады, держатся и Шариков, и Швондер со товарищи. Но в повести Преображенский — не мудрый интеллигентный профессор, а именно снобливый грубиян. Он постоянно унижает людей, кричит на них, ставит себя выше других.

Конечно, можно предположить, что в реальной жизни такой конфликт не закончился бы повторной операцией Шарикова. Ведь в случае неуспеха (а он, и профессор вместе с доктором это прекрасно знали, был очень вероятен) Преображенского и Борменталья привлекли бы за убийство. Но спишем такой сюжетный поворот на художественный вымысел. Да и «убийство» Шарикова является весьма символичным. Ведь таким образом профессор, не видевший разницы между «белым, красным и коричневым террорами», прислуживающий как раз прежним хозяевам жизни, пристроившимся, как и он сам, в новом социалистическом государстве, лишь подчеркнул свой выбор окончательной социальной и нравственной деградации.

Если брать общую политическую составляющую повести и пытаться понять запрет «Собачьего сердца», то вполне очевидно, что Михаил Булгаков критикует не советскую власть, а троцкизм (образ самого Льва Давидовича можно увидеть даже в Швондере, «у которого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос»).

Вот, например, характерный монолог профессора: «Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя мировую революцию, Энгельса и Николая Романова, угнетенных малайцев и тому подобные галлюцинации, займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав от развития европейцев лет на двести, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны!»

Очевидно, что устами своего героя Михаил Булгаков критикует именно троцкизм и поддерживает набирающую обороты сталинскую «партию».

Запрет повести принято связывать с председателем Совета труда и обороны СССР Львом Каменевым: в 1922 году он поддерживает Иосифа Сталина против Льва Троцкого, но уже в 1925 году (как раз когда пишется повесть) неосмотрительно меняет курс и уходит в недолгую оппозицию к будущему вождю.

Уже в начале 1926 года Лев Каменев идет «на понижение», окончательно проигрывая Иосифу Виссарионовичу. Через несколько лет Михаилу Булгакову возвращают рукопись повести. В 1936 году Льва Борисовича расстреливают как участника «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра».

Поэтому говорить о том, что «Собачье сердце» запрещали, вряд ли стоит. Бывает так, что книгу просто не издают. Даже сегодня, когда нет никакой советской цензуры. Наверняка кто-то посчитал повесть слабой, кто-то, наоборот, слишком резкой и правдивой. Наконец, не стоит забывать, что сама сатира о евгенике в 1930-е выглядела бы неуместной не только в СССР. Так что «Собачье сердце» выходило самиздатом. Не слышал, чтобы за него кого-то расстреляли или арестовали.

**Фигль-Мигль. Долой стыд. СПб.: Лимбус Пресс, ООО Издательство
К. Тублина, 2019. — 376 с.**

Ироничная тональность романа задана с первой фразы: «Старые застиранные трусы спасли ее честь. Насильник не отказался от своего замысла, но на секунду оторопел — такая расфуфыренная, холеная дамочка, гладкие ноги, и вдруг это растянутое безобразие с торчащими нитками, — и секунды ей хватило, чтобы извернуться и заехать мерзавцу коленом по яйцам. Но потом, придя в себя и анализируя, она поняла, что спасена всего лишь половая неприкосновенность, а вот честь как раз безвозвратно погублена проклятыми трусами». Комичных ситуаций в лихо закрученном сюжете (политические игры, подковерные интриги, конспирологические заговоры, женские и мужские невроты) немало. Действие романа происходит в Петербурге в 2016 году. Есть явственные намеки: подготовка к юбилеям Сумарокова (2017), и Каткова (2018). Измененная реальность. Согласно пакту от 23 августа ...года, госбезопасность и силы защиты демократических ценностей соблюдают нейтралитет. Противоборствуют две политические группировки: Демократический контроль, главное оружие которого клевета и травля, и Имперский разъезд. Активизируется, проводя совещания то в бане, то в глухом углу Смоленского кладбища, подпольная автономная группа из пяти человек, для которой провокация — средство оправдать свое существование и, естественно, финансирование. У руководителя группы установлены контакты с «грязно известным политологом из Москвы», подручные предчувствуют: «вздогнуть не успеем, как окажемся посреди актуальной политики». Члены ДК и ИР получили письма с изображением виселиц, и в городе поднялся переполох. В политических играх участвуют также депутаты и Фонд Плеве, задуманный как вывеска вменяемой государственности, консерватизма с человеческим лицом, — респектабельные конспираторы, ведущие тихую войну с глобализмом. Рассказ, перемежая друг друга, ведут четверо. Это Доктор, психоаналитик с тремя дипломами, один из которых фальшивый. Большой старик, Вор, первый советский масон, с грузом на совести: когда-то в 1982 году он «сдал» КГБ своего друга из Клуба неформальных литераторов и теперь постоянно ворошит далекое прошлое. Очень здравомыслящий Заговорщик. Четвертым, под именем Жених, выступает женщина, желающая выйти замуж. Она, вроде бы простоватая кассирша из магазина, умно и аккуратно плетет свою паутинку вокруг избранного «объекта»: «Не хочу сказать, что он не разговаривает со мной вообще, бедняжка. Разговаривает, если спрашивать о Наполеоне и законах физики. (И прекрасно, пусть тренируется. Дети не дадут ему покоя.) Я сразу поняла, что главное для нашей будущей семейной жизни — не действовать ему на нервы, и не так много времени ушло, чтобы выяснить, что именно для этого нужно делать и не делать». Среди героев и пациенты доктора. Соня Кройц, человек несокрушимого душевного здоровья, страдающая только по поводу поразивших насильника старых трусиков. Муся, лесбиянка и феминистка, которая не хочет быть ни феминисткой, ни лесбиянкой и стыдится своего отступничества. Дотошный редактор в некрупном издательстве, направленный на лечение в принудительном порядке стараниями Демократического контроля. Доктора курируют «наблюдатели» от ФСБ и ДК, желающие выведать от доктора грязные тайны пациентов, и в первую очередь: не одержим ли кто мыслями о свержении существующего строя? Рассказчиков, заговорщиков, представителей разных организаций, пациентов связывают сложные отношения, — непросто разобраться в этом запутанном клубке. Фигль-Мигль мастерски стоит диалоги, щедро сыплет афоризмами. «Интерес к политике — показатель душевно-

го расстройства»; «Настоящих реакционеров не существует. Только на зарплате или по принуждению»; «Иногда, чтобы оставаться человеком, нужно делать выбор в пользу „хочу“, иногда — в пользу „должен“, причем порою — отвечая на один и тот же вопрос». Известно, что под хулиганским псевдонимом скрывается петербургский филолог Екатерина Чеботарева. Только филолог может так ярко запечатлеть страдания редактора с диагнозом индивидуальная непереносимость на наше время. Диалог доктора с пациентом: «Подошел, мелко семеня ногами. — Да? — Чем еще можно семенить, если не ногами? Мозгами? И можно ли *семенить* крупно? Два слова из трех — лишние. Семенить и означает: мелко перебирать ногами. — Очень хорошо. Продолжайте. — А вот это я вчера по радио слышал. В передаче с участием специалиста. „Кадм построил стовратные Фивы“. — ...Да? — Семивратные он построил! Семивратные!!! В Греции! А стовратные, в Египте построил неизвестно кто, когда не то что Кадма, но и Греции толком не было! Кадм, как же! Ненавижу. Убивать безжалостно. В газовые камеры». Роман наполнен многочисленными отсылками к историческим лицам, к современникам и классикам литературы. Пестель, Бенкендорф, Катков, Витте, Плеве, Распутин, Пуришкевич, Г. Джеймс, А. Белый, Пелевин. Значимые связующие нити между прошлым и настоящим. Книга рассчитана на современников, вряд ли через энное количество лет для читателя заиграют имена Ричарда Гира и Багдасарова или намеки на фильм «Ночной портье». Просматривается ли позиция автора? В романе есть клоуны-либералы и клоуны-патриоты, высмеиваются масонство и графоманы-литераторы советских времен. А в конечном счете с отменной иронией и озорством утверждается приоритет личности, ярко проявляющейся в политических «играх взрослых людей». Сам автор Фигль-Мигль в одном из интервью назвала избранный ею жанр «философским комическим романом».

**Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии»
с иллюстрациями Юрия Анненкова: уничтоженное издание 1923 года
(Репринт. Портреты. Воспоминания) + Антология авангардистских
приказов и декретов 1917–1924 годов. Приказ как литературный жанр:
от футуристов до ничевоков. Сост. и науч. ред. А. Россомахин. СПб.:
Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге,
2019. — 192 с.: ил., вкладка (репринт книги 1923 года). —
(AVANT-GARDE; вып. 18).**

В пересечениях и переплетениях культуры и политики первых лет советской власти своеобразным литературным жанром эпохи становится приказ. Авангардистские приказы, манифесты и декларации выходили из-под пера футуристов, имажинистов, экспрессионистов, ничевоков, биокосмистов, эго- и панфутуристов. Наиболее амбициозными и последовательными в своих призывах являлись Хлебников, Маяковский и Каменский, известность в 1918–1920 годах имел также омский писатель-скандалист Антон Сорокин, «Мозг Сибири». Адресатами литературных приказов являлись солдаты и Мейерхольд, город и улицы, люди и солнца. Литературные декреталии, заряженные невероятной искрящейся энергией, должны были подготовить почву для третьей революции — Революции духа. «Готовьте новый бунт в грядущей коммунистической сытости» (В. Маяковский, 1922). «Мы приказываем не людям, а солнцам!.. / Мы, главные, / Расклеиваем наши приказы самой свежей выделки» (В. Хлебников, 1922). «А ну-ко робята — таланты / Поэты — художники — музыканты / Засучивайте рукава. / Вчера учили нас Толстые да Канты / Сегодня — звенит Своя голова» (В. Каменский, 1918). Главная тема стихотворного приказа как отклика на Февральскую и Октябрьскую революции — изменение мира, а средством преобразования мира и человека, верили

поэты, является воздействие человеческого Слова. Таким преображающим словом виделся и сам приказ. Советская действительность и сгущающиеся сталинские сумерки быстро задушили ростки «культурного правления», приказы вступили в противоречие с политикой советской власти. В книге впервые собраны характернейшие артефакты революционной эпохи: авангардистские приказы и декреты за 1916—1924 годы. Всего в антологию включено тридцать пять поэтических приказов не только ключевых фигур авангарда, но и совершенно забытых персон. Из тридцати пяти тридцать текстов воспроизведены факсимильно. Это своего рода слепки времени, воскрешающие особенности авторской типографики и архитектоники, отпечатлевшиеся на эфемерных листовках, афишах, газетных страницах, в редчайших литографированных брошюрах. Текст сопровождается комментариями и статьей Н. Сироткина «Жанр „приказа“ в авангардистской поэзии (футуризм и левый экспрессионизм)», где проанализированы характерные особенности авангардистского приказа как жанра, художественные средства, используемые авторами, и цели, которые авторы ставили. В книгу входит и подлинный политический документ — репринтное воспроизведение уникального «Приказа Реввоенсовета № 279 „К пятилетию Красной Армии“» (1923) с иллюстрациями художника Ю. Анненкова. Документ впервые становится достоянием общественности: пятидесятитысячный тираж этого издания вскоре после появления был уничтожен — его вдохновитель и автор Лев Троцкий потерял все государственные посты в СССР и был выслан из страны. В немногих уцелевших экземплярах вымараны фамилии всех шестерых его подписавших. Данилов и Антонов-Овсеенко погибли во время Большого террора, Троцкого убили кремлевские агенты; при подозрительных обстоятельствах утонул Склянский; «военспецы» Каменев и Лебедев успели умереть своей смертью. К изданию этого приказа был привлечен художник-график Ю. Анненков, за одну ночь сделавший десять простых и символических иллюстраций в две краски. Идея художественного оформления приказа по армии возникла спонтанно: Анненков приехал в Москву для работы над выставкой к первому юбилею Красной Армии. Анненков получил заказ на большой портрет Троцкого. В дни празднования пятой годовщины РККА Троцкий воспринимался массами как революционный вождь и организатор Красной Армии, его портреты украшали города и веси, заполняли страницы праздничных газет и журналов. В процессе подготовки и состоялось знакомство художника и наркома. В ходе работы над картиной художник придумал спецодежду для Троцкого: темная непромокаемая шинель, черные краги, кушак и фуражка, защитные очки и мужицкие сапоги. Луначарский так характеризовал портрет Троцкого: «Анненков придал т. Троцкому люциферовские черты». Этот портрет стал центром экспозиции русского павильона Венецианской биеннале 1924 года; сам художник выехал для участия в выставке в Европу и там остался. Ю. Анненков не был «пламенным революционером». Воспоминания самого художника о событиях на Дворцовой площади отнюдь не пафосные: «Я видел, как из дворца выводили на площадь министров, как прикладами били до полусмерти обезоруженных девушек и оставшихся возле них юнкеров». Картина вернулась в СССР и после низвержения Троцкого, скорее всего, была уничтожена. Анненков создал целую галерею портретов Троцкого и вождей, причастных к приказу. В 1926 году успел еще выйти альбом Анненкова «Семнадцать портретов» с изображениями вождей, в настоящее время альбом стал раритетом. История создания и судьбы «репрессированного приказа», взаимоотношений Троцкого и художника, обстоятельно изложена в очерке и комментариях И. Обуховой-Зелинской. Именно в этом приказе устанавливается ставшая с тех пор общепринятой дата основания Красной Армии — 23 февраля. В предшествующие годы эта дата «плавала» от 15 до 28 января. Книга содержит около ста редких иллюстраций, ряд из них впервые вводится в оборот, впервые полностью воспроизводится и вся «троцковиана» художника. Одельная вкладка — репринт уничтоженной юбилейной брошюры.

Юрий Безелянский. Отечество. Дым. Эмиграция. Русские поэты и писатели вне России. Книга первая. М.: ИПО «У Никитских ворот», 2018. — 432 с.

Юрий Безелянский поставил перед собой задачу «собрать как можно полнее писателей вместе — и тех, кто не покидал Родину, и тех, кто оказался вне ее, и показать, как последним приходилось несладко на чужбине, но они достойно продолжали традиции великой русской литературы». По некоторым подсчетам, более двух миллионов подданных России покинули родину после революции 1917 года. Так называемая первая волна эмиграции. А за ней вторая, третья... Кто-то сам бежал из России из-за боязни смерти и репрессий, кого-то насильственно депортировали из страны. Ю. Безелянский повествует только о судьбах литераторов. Им особенно было трудно вписаться в чужую жизнь, ибо их ремеслом был русский язык, в эмиграции они оказались некоей замкнутой кастой, их читали только свои, беженцы из России. В этой книге речь идет об эмигрантах первой, послереволюционной волны. Большинство из них приветствовали Февраль, к Октябрю и последовавшему за ним отнеслись резко враждебно, не приняв режим, опирающийся на террор и насилие. Клокотали ненавистью и тосковали на чужбине по утраченной родине. Многие оставили яркие свидетельства бурных дней. Это и одно из самых яростных обличений революции и власти большевиков — дневник Бунина «Окаянные дни»; «Солнце мертвых» И. Шмелева — рассказ о событиях в Крыму, где был расстрелян его сын; эпопея кудесника и чародея русского слова А. Ремизова «Взвихренная Русь»; «Петербургские дневники» и «Черные тетради» З. Гиппиус; резкое обвинительное письмо А. Амфитеатрова Ленину, которого лично знал. В СССР не остались в долгу. На долгие годы вычеркнули из литературных списков Бунин, Бальмонта, Мережковского, Гиппиус и множество других. Не печатали, навешивали ярлыки. Так, Бунин, согласно советским энциклопедиям, являлся «космополитом и изменником», чьи художественные писания проникнуты «пессимизмом», «мелочны по тематике». И только спустя десятилетия после войны и, особенно, в период гласности на родину вернулись имена писателей-эмигрантов. Но не все. Ю. Безелянского к написанию книги об эмиграции подтолкнули стихи Владимира Смоленского, поэта «незамеченного поколения», покинувшего родину в 17 лет. Сын белогвардейского полковника, расстрелянного большевиками, он и сам воевал на стороне белых. И в эмиграции вспоминал Крым. «Над Черным морем, над белым Крымом / Летела Россия дымом. / Над голубыми полями клевера / Летели горе и гибель с севера. / Летели русские пули градом, / Убили друга со мною рядом. / И ангел плакал над мертвым ангелом.... / — Мы уходили за море с Врангелем». Автор называет В. Смоленского самым «лермонтовским» из всех эмигрантских поэтов. Тоскуя по родине, поэт Богу адресовал свои обвинения: «Ты отнял у меня страну, / Мою семью, мой дом, мой легкий жребий, / Ты опалил огнем мою весну — / Мой детский сон о правде и о небе. / Ты гнал меня сквозь стужу, жар и дым. / Грозил убить рукою брата. / Ты гнал меня по всем путям земным / Без отдыха, надежды и возврата». Уехав, востребованные когда-то на родине, преуспевающие литераторы потеряли все. Большинство ждала нужда и всех — ностальгия. Практически у всех возвратившихся участь была жуткая. Автор рассказывает о сложных зигзагах судеб эмигрантов: перепадах, взлетах, провалах, метаниях, страданиях. У них была трудная жизнь, но были и свершения. Бунин создал в эмиграции «Жизнь Арсеньева», за нее получил Нобелевскую премию, состоялся как классик всемирной литературы двуязычный писатель Набоков, в эмиграции сложился как поэт Г. Иванов. Стал в Париже театральным обозревателем князь С. Волконский, такая специальная наука, как театроведение, целиком обязана ему своим рождением. Библиограф и книговед Н. Рубакин, которого в советское время критиковали за разработанные им основы библиопсихологии — «науки о социальном и психологическом воздействии книг», в Женеве

основал секцию, а затем преобразовал ее в Международный институт библиопсихологии. Автор предложил свою классификацию литераторов. Первый ряд литераторов-эмигрантов, классики русского зарубежья. Эмигранты поневоле: те, кого революция застала за пределами России, где они и остались; среди них — кумиры дореволюционной России Л. Андреев и И. Северянин. Второй ряд писателей-эмигрантов: имена менее звонкие, но каждый внес ощутимый вклад в русскую литературу. Есть и третий ряд, и «эмигранты с младых лет» — те, кто был вывезен детьми. Заключительный раздел — «Юмористы и сатирики». Книга-справочник, но необычная. Сотни имен, большие очерки и короткие справки, развернутые отступления: философский пароход и его пассажиры; русские беженцы в Европе и паспорта Нансена; Берлин—Париж, два центра русской эмиграции. Емкие по смыслу названия глав. Мережковский как пророк грядущего Хама. Неистовая и загадочная Зинаида Гиппиус. Печальный Орфей Ходасевич. Марина Цветаева: буря и бездна. Борис Зайцев: писатель, любивший «Святую Русь». Муратов: влюбленный в Италию. Б. Поплавский — русский Эдгар По. Аверченко: король смеха. Майя Кудашева: шпионский роман. Галина Кузнецова: закатный роман Бунина. Берберова: женщина из Серебряного века. В этот литературно-художественный справочник по русской эмиграции вошли фрагменты из писем, воспоминаний и мемуаров русских беженцев, уничтожительные цитаты из энциклопедий советского времени и замечательные стихи. «Все писательство пронизано личной жизнью», уверен Ю. Безелянский и яркими штрихами воссоздает биографии русских литераторов первой волны эмиграции, их творческие достижения, идейные и художественные установки, которыми они руководствовались. За этой книгой последуют и другие, посвященные эмиграции советского и постсоветского периодов.

Эмилия Фесенко. «...Сын Земли и Океана»: Этюды о Викторе Конецком. СПб.: Гангут, 2019. — 212 с.: ил.

Воспоминания родных, друзей, коллег, литературных критиков. Суждения Гранина, Евтушенко, Солженицына, Битова. Отрывки из статей, фрагменты интервью и бесед с писателем. Юношеские дневники Конецкого, переписка с матерью и, конечно, цитаты из его произведений. На основе такого обширного материала выстраивает свой рассказ о «последнем романтике» XX века, капитане русской литературы Викторе Конецком (1929—2002) литературовед Эмилия Фесенко. Он «при всей романтичности своей натуры, при всей своей любви к красоте мира, что проявилось в его акварелях и картинах, в его описаниях северных пейзажей, был максималистом, откуда и шла его жесткость как к выполнению человеком долга, морской службы, так и в отношении к творчеству и поведению коллег по литературному цеху, а еще более — к самому себе», — пишет она. Стремясь понять сложный и противоречивый характер писателя, мотивы поведения его самого и его героев, автор воссоздает биографию Конецкого. Подробно — о семье. Отец — старший следователь, военный прокурор в звании майора юстиции, оставивший семью, так как три сестры жены были замужем за царскими офицерами, судьба членов семей сложилась ожидаемо: лагеря, тюрьмы, а для кого-то — расстрел. Мать и ее старшая сестра в юности работали на сцене в группе Дягилева, дружили с Ольгой Хохловой, будущей женой Пикассо. На стенах комнаты висели гравюры, рисунки, старинные семейные иконы, на столике лежали шахматы, подаренные дядюшке Шуре самим Алехиным. Уголок старой дореволюционной культуры в советской России? Но «у меня память на детство отшибла блокада — это было сильнейшее физиологическое и психологическое потрясение. Потому все, что было до сорок пятого года, я очень смутно помню». Конецкий не любил вспоминать блокаду: «запредельных вещей не выдерживает бумага». Но воспоминания о ней прорывались во время встреч с друзья-

ми, бесед с родными, в статьях и интервью, в дневниковых записях. «Ужас невероятный: людоедство. Около Смоленского кладбища я наткнулся на труп с вырезанными ягодицами. Это была зима 1941-го—1942-го. Какой месяц — не помню». Соседями в квартире была многодетная семья. «Вскоре для нас, младших, самым страшным стало пройти отрезок от дверей нашей комнаты до выхода. Поскольку надо было передвигаться, приходилось идти, ощупывая застывшие трупы». На глазах будущего писателя умирали любимые тетушки, при эвакуации едва не погибла мать. Э. Фесенко по крупицам собрала разрозненные воспоминания, впечатления «забытого» детства, легшие в основу личности человека и писателя В. Конецкого. Память таила страшные вещи помимо блокады: в морских походах он видел и гибель матросов, и сам находился на краю смерти. И экзистенциальные мотивы смерти, страха, одиночества, старости звучали в его книгах. Надолго в его судьбу вошел Север: Конецкий участвовал в перегоне промысловых судов Северным морским путем во Владивосток, был капитаном сейнера, который прошел из Петрозаводска в Петропавловск-на-Камчатке, проводил месяцы арктической навигации в 1975 году, в 1979-м ходил по морю на «Северолесе», а это были опасные рейсы во льдах. Конецкому-капитану и капитанам в его произведениях посвящена отдельная глава. Автор прослеживает долгий путь писателя в поисках своего жанра: от многолетнего ведения дневника к художественным произведениям. Таким жанром стал «роман-странствие»: сочетание зарисовок, очерков, лирических отступлений, философских размышлений, разбавленных иронией и юмором, ибо Конецкий считал, «что единственное средство против перепутанности и сложности мира — юмор». Как подметил критик Л. Аннинский: «Виртуозный и чисто „конецкий“ ход: убить мнимую поэзию прозаической деталью». Э. Фесенко погружает читателя в художественный мир Конецкого. Отдельные главы посвящает анализу произведений «Кто смотрит на облака», с которого начинался путь к созданию жанра «роман-странствие», «Соленый лед», первому опыту путевой прозы. Э. Фесенко обращается к неожиданным сюжетам: религия и Конецкий, образы женщин в произведениях Конецкого. И подробно освещает главную тему книг Конецкого: флот, море, север. И открывается такая разная Арктика Конецкого, огромный мир, где есть место и героике, и будничной работе, и изменчивой красоте необычных пугающих пейзажей. Для Конецкого, чье поколение — и он лично принимал в этом участие — превратило Северный морской путь в нормально действующую морскую магистраль, развал русского флота в 90-х годах XX века стал «самой большой трагедией жизни». Этюды (первоначальные наброски, эскизы) превращаются в цельную картину, в центре которой писатель с трагическим опытом блокадных испытаний и долгим грузом ответственности за судьбы вверенных ему кораблей, дел, жизни людей, всегда старавшийся внушить людям надежду, ибо, по его словам, «писатель, лишенный оптимизма, вреден для общества».

Джон Ллойд Стефанс. Записки из путешествия по России и Польше.

Пер. с англ. Т. Новиковой; предисл., коммент. Д. Зелова. М.: Кучково поле, Икс-Хистори, 2018. — 352 с.: ил.

Джон Ллойд Стефанс (1805—1852), американский путешественник первой половины XIX века, первооткрыватель таинственной и загадочной культуры маяя, в России оказался случайно. Летом 1835 года он хотел выехать из Константинополя в Египет, но там разразилась эпидемия чумы, и, узнав, что русский пароход направляется в Одессу, переменял решение «и вознамерился покинуть лежащие в руинах страны Старого Света ради страны, которая лишь недавно поднялась из варварского состояния и достигла гигантского величия». Он проехал практически через всю Россию с юга на север (от Одессы до Санкт-Петербурга), почти 2000 миль по стране, «которая наполовину

оставалась варварской, и где не было никаких условий для путешественников». Ехал в дилижансе, дрожках, почтовой карете, устраивался на ночлег в первоклассных гостиницах и неказистых придорожных харчевнях, на ямских станциях. Иногда спал на соломе в повозке и во дворах под открытым небом. Он путешествовал фактически в одиночку (лишь иногда у него появлялись случайные попутчики) и абсолютно не зная русского языка. Благодаря природному дружелюбию с легкостью завязывал новые знакомства, не раз выходил из щекотливых ситуаций. Он побывал в Одессе, Киеве, Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Варшаве, Кракове. Посещал музеи, дворцы, соборы, театры, рестораны. Россия поразила его с первого дня: офицер в Одессе, проводивший опрос направляемых на карантин путников, к каждому «обращался на его языке с такой свободой, словно это был его родной язык». «Мы были поражены русской вежливостью. Я слышал ужасные истории о том, как плохо относятся в России к путешественникам, и они меня пугали, но после пребывания в лазарете я об этом напрочь забыл. Эти северные варвары, как называют их жители Южной Европы, отнеслись ко мне гораздо более вежливо, чем их „цивилизованные“ соседи». Многократно повторяя западную парадигму «Россия — варварская страна», Стефанс постоянно противоречит сам себе. Одесская гостиница по виду и размерам превосходила лучшие отели Парижа; киевский Успенский собор — все виданные им греческие церкви; бульвары и публичные сады Москвы — Люксембургский сад и Тюильри, а «дилижанс до Санкт-Петербурга лучший, из всех, в которых мне доводилось ездить». Да и русские театры сравнимы с европейскими. А «тот, кто приезжая в Россию, полагает увидеть там людей, только что вышедших из варварства, часто бывает поражен, неожиданно оказавшись в окружении парижской элегантности и изысканности». Он открывает для себя роскошь чисто русского (и азиатского) города Киева, «чудо московских колоколов», потрясен обилием зелени и цветов на улицах Москвы. Восхищен архитектурным величием Санкт-Петербурга, перед которым меркнут богатая Венеция и город дворцов Генуя. В восторг приводят фантастически раскрашенные лодки на Неве и лодочки в ситцевой или льняной рубашке и штанах, с длинной светлой бородой, напоминающие венецианских гондольеров. Неожиданности открывает для себя и современный читатель. «Дорога из Москвы в Санкт-Петербург ныне является одной из лучших в Европе. Почти по всей протяженности она вымощена щебнем и окружена деревьями. Почтовые станции на ней большие и красивые, под управлением государства. Можно подкрепиться супом и котлетами по установленным ценам. Мосты над ручьями и реками были крепкими и основательными. Их строили на прочном граните и ограждали коваными балюстрадами, украшенными изображением двуглавого орла — герба России». А Стефансу было с чем сравнивать. И его, и нас одинаково поражает, что «путешествия по России и Польше были удивительно безопасными. Бескрайние равнины, большие расстояния между городами и деревнями, обилие лесов, обычай путешествовать не только днем, но и по ночам, отсутствие каких бы то ни было мер по обеспечению безопасности на дорогах — все это должно было бы благоприятствовать грабегам и убийствам. Однако подобные случаи крайне редки». Что не выглядит неожиданным — это взяточничество. С ним Стефанс довольно быстро смирился, на собственном опыте осознав горькую справедливость русской народной мудрости «не подмажешь — не поедешь». Резкое отторжение вызывало у него крепостничество, он не раз проводит параллели с рабством США не в пользу последнего. А в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, он быстро погрузился в откровенную русофобию. От восхищения талантами и достоинствами россиян не осталось и следа, зато в изобилии появились резкие фразы о кровавых русских варварах, насильно прервавших самобытное течение польской истории и разрушивших польскую национальную идентичность. О событиях Польского восстания 1830—1831 годов Стефанс узнавал от участников боевых действий и членов их семей. Доста-

лось и европейцам. «Никто не пришел на помощь. Ни Франция, ни одна другая страна в Европе ничего не сделали. Все спокойно смотрели на ее падение». Стефанс, юрист по образованию, при создании своей книги использовал многочисленные слухи и мифы и при всей своей эрудиции делал нелепые ошибки. Так, Кремль у него — старая татарская крепость, Т. Костюшко убит русскими в 1794 году в бою за Варшаву. Хотя на самом деле Костюшко был взят в плен в 1794 году, прощен Павлом I сразу же после смерти Екатерины II, свободно выехал из России и почти два десятилетия вел активную деятельность в Европе и Америке. Фантазии автора на тему древней и современной истории, неточности и вымышленные факты нашли отражение в комментариях Д. Зелова. «Случаи из путешествий по Греции, Турции, России и Польше» на русском языке издаются впервые. Стефанс — прекрасный рассказчик, в его книге — богатейший материал о быте, жизни и достопримечательностях николаевской России. И есть уникальная возможность сравнить впечатления американского путешественника с тем, что мы имеем сегодня. Так, Стефанс видел барочный шедевр Растрелли — Иорданскую лестницу Зимнего дворца, уничтоженную пожаром 1837 года и воссозданную архитектором Стасовым.

Лучано Канфора. Исчезнувшая библиотека. Пер. с итал. А. Миролубовой.

СПб.: Александрия, 2018. — 224 с.

О самой знаменитой библиотеке древнего мира — Александрийской — известно удивительно мало: материальных свидетельств нет. Да существовала ли она вообще в том виде, как мы ее представляем? Традиционно считается, что эта некогда самая крупная коллекция трудов величайших мыслителей и писателей древности, заложенная в III веке до н. э. египетским властителем Птолемеем I Сотером и изгнанным афинским правителем и ученым Деметрием Фалерским с целью собрать «все книги всех народов», безвозвратно погибла 2000 лет назад в огне. Предполагается, что библиотека насчитывала полмиллиона экземпляров, неясно только — книг или свитков. В хранилище были труды Сократа, Платона, Гомера, переводы на греческий язык иранских, еврейских, буддистских текстов. Книги ценились и как фактор престижа, и как орудие власти: чтобы управлять, надо было знать религию и законы подвластных народов. Итальянский историк Лучано Канфора подвергает тщательной ревизии все, что известно об исчезнувшей библиотеке, и заново реконструирует ее девятивековую историю. Реконструирует историю основания библиотеки. Ставит вопросы и ищет ответ на них. Как формировался и пополнялся «библиотечный фонд»? Какое место царская библиотека занимала в храмовом комплексе Мусейона, Храма муз (от него произошло слово «музей»), выполнявшего функции учреждения культурного и учебного. Являлась ли отдельным зданием? В Мусейоне, предположительно, проживало более ста ученых, занимавшихся переводами текстов, их копированием, каталогизацией, чтением лекций. Л. Канфора пишет и о творческих и идейных конфликтах, сотрясавших ученое сообщество тех лет. Конфликты происходили и между учеными Александрии и Пергама, где находилась библиотека-соперница. Были глубокие корни расхождений: в трактовке текстов, в методике исследований. А еще эрудиты развлекались, изготавливая фальшивки, смешивая тексты, создавая «оригинальные» «труды» известных философов. Все во славу своих коллекций. Переделки и «улучшения» коснулись и творений Гомера. Ловкие манипуляторы выдавали работы Теофраста, отнюдь не являвшиеся в те времена «лакомым куском», за труды Аристотеля. Драматической судьбе книг Аристотеля посвящено немало страниц. Среди персонажей безымянные библиотекари и личности, оставившие след в истории: правители, политики, богословы, ученые. Каждая глава — это маленькая новелла с солидным информационным наполнением. «На одной из

улиц Александрии римский гражданин убил кота: у него, видно, помутился рассудок. Потом римлянин удалился к себе домой, несколько, впрочем, обеспокоенный. Через несколько часов дом был взят в осаду. Если не спастись бегством, что было уже невозможно, его ждала верная смерть: на практике формальности не соблюдались. Диодор, присутствовавший при этой сцене, наблюдал — неслыханное дело — как чиновники, посланные лично Птеломеем, умоляли толпу пощадить жизнь римлянина. Но все было бесполезно. Спокойствие воцарилось только тогда, когда труп, обезображенный до неузнаваемости, остался валяться на опустевшей улице: единственное свидетельство присутствия человека». Так живописно начинается глава «Второй посетитель». Расправа над римским гражданином, случайно убившим священное в тех краях животное, была несовременна: в Александрии находились римские легаты, наконец-то готовые признать Птеломея «Флейтиста» «другом и союзником» римского народа. А второй посетитель — это Диодор Сицилийский, древнегреческий историк и мифограф, прибывший в птеломеевский Египет в 50-х годах до н. э. Именно в его изложении до нас дошел исторический труд Гекатея Абдерского «О египтянах». Древнегреческий историк и философ, историограф Александра Македонского, сопровождавший его в походах, Гекатей дал подробное описание мавзолея фараона Рамзеса II в Фивах. В этом-то описании Л. Канфора и обнаруживает ключ к Александрийской библиотеке: «священная библиотека» мавзолея Рамзеса предстает в описании не как зал, а как шкаф или ряд шкафов вдоль одной из сторон крытой галереи. Отдельного библиотечного зала, скорее всего, не было и в Александрийском музее. У итальянского историка есть и своя версия гибели Александрийской библиотеки. Он опровергает самую распространенную: в 48 году до н. э. Юлий Цезарь, попав в смертельную ловушку царедворцев Птеломея в царском дворце, чтобы выиграть время, приказал поджечь египетские корабли, в пожаре погибла и библиотека. Опираясь на свидетельства древних авторов, Л. Канфора утверждает, что сгорела не библиотека, а погибли хранившиеся на складе в порту манускрипты, предназначенные либо на продажу, либо в дары какому-то богачу в Риме. Известно их число: около сорока тысяч свитков превосходного качества. Город пережил пожар, еще несколько столетий во время политических и военных баталий город жгли, грабли, разрушали здания. Л. Канфора считает, что чудо древней Александрии, ее знаменитая библиотека погибла в 640—641 годах, во время завоевания Александрии арабами. Полководец Амр ибн ал-Асом не был невежественным воином. Приводится диалог эмира Амра с сирийским патриархом, во время которого полководец задавал патриарху тонкие вопросы о Священном Писании и о так называемой божественной природе Христа, о Троице. Он даже попросил, чтобы патриарх велел перевести на арабский язык христианские евангелия. По поводу библиотеки эмир направил запрос халифу Омару. Ответ: «Если их содержание согласуется с книгой Аллаха, мы можем без них обойтись, ибо в таком случае книги Аллаха более чем достаточно. Если же, наоборот, они содержат в себе нечто противное книге аллаха, нет никакой надобности их хранить. Поди и уничтожь их». Манускрипты собрали вместе и использовали вместо топлива. Свитков было так много, что ими обогревали четыре тысячи городских бань Александрии в течение шести месяцев.

Елена ЗИНОВЬЕВА

Редакция благодарит за предоставленные книги
Книжную Лавку Писателей
(Санкт-Петербург, Невский пр., 66, т. (812) 640-44-06,
www.lavkapisateley.spb.ru)

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ОБИТЕЛИ АФОНА

Часть 3

ДИОНИСИАТ

Монастырь стоит на крутой скале, на высоте 80 метров над морем. Его возникновение приходится на вторую половину XIV века и связано с именем преподобного Дионисия, выходца из Македонии. Существенную помощь в строительстве обители оказал трапезундский император Алексей III Комнин, поэтому Дионисиеву обитель первоначально называли монастырем Великого Комнина. Высокая монастырская башня была возведена в 1520 году на пожертвования молдавовлахского господаря Неанко Бессараба; на средства господарей возведены и другие строения ансамбля.

Большой вклад в процветание обители вносила Россия, о чем пишет епископ Порфирий (Успенский): «В 1584 году Мешенин дал игумену сей обители Лаврентию и 150 братьям 250 рублей да 25 старцам в скитах 5 рублей. В 1628 году Дионисиатский архимандрит Иеремия, в бытность свою в Москве, успел выхлопотать милостынную грамоту царя Михаила Феодоровича, которою повелено было дионисиатским монахам приезжать в Москву за сбором милостыни на монастырское строение в пятый или шестой год. Эту грамоту я видел и читал в Дионисиевом монастыре. Она весьма ветха и изорвана в том месте, где прописан был год¹. В ней привешена печать из красного воска.

В 1635 году Дионисиатский архимандрит Лаврентий приехал в Москву просить жалованной царской грамоты для приезда в Россию через каждые три года вместо указанных в прежней грамоте шести лет. Но ему выданы были тафта, сорок соболей в 16 рублей и деньгами 12 рублей, а в перемене срока грамоты отказано.

Указом Синода в 1742 г. была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям. В 1763 году Дионисиатский архимандрит Парфений, в бытность свою в Москве, получил от Святейшего Синода письменное свидетельство, в котором сказано, что Дионисиеву Предтечеву монастырю, по палестинскому штату императрицы Анны Иоанновны, назначено производить жалованья 35 рублей ежегодно и что за этими деньгами монастырь должен присылать своего доверенного старца в Москву или в Петербург через пять лет в шестой год»². «Однако в XVIII в. из-за русско-турецких

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Это был 1628 год. Он указан в акте нашего Св. Синода 1763 года (прим. о. Порфирия).

² Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 899—900.

войн эти суммы поступали нерегулярно, в XIX в. деньги монастырям выплачивались аккуратно, в т. ч. за прошедшие годы. Так, в 1837–1839 гг. Дионисиату за 5 лет было выплачено — 150 р.³».

Кир Бронников (1821 г.): «Со мною в Дионисиат посланы были из Москвы письма, которые вручил я начальнику. Он усердно просил, чтобы я у них хотя ненадолго остался погостить, но я отозвался тем, что скоро выеду из Афона <...> В сем монастыре находящийся российский уроженец во святой схиме провожал нас до самой лодки со слезами»⁴.

Большую часть узкого двора занимает собор в честь Рождества Иоанна Предтечи (XVI век), расписанный иконописцами критской школы. В приделе справа от притвора хранится чудотворная Акафистная икона Божией Матери, исполненная восковыми красками⁵.

Инок Парфений (Агеев) (1847 г.): «Соборная церковь прекрасная, иконописанная. В сем монастыре хранится чудотворная икона Похвалы Пресвятыя Богородицы. Она избавила Царьград от нахождения варваров, когда сию икону носили по стенам Константинополя; в воспоминание сего события написали Ей акафист „Взбранной Воеводе“. Еще хранится здесь десная рука Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, от локтя до самой кисти; а кисть с перстами — в России, в С.-Петербурге, в Зимнем дворце. В этом монастыре, сказывают, была и глава Иоанна Предтечи, но в 1824 году турки ее отняли, и теперь неизвестно где. Есть множество от св. мощей частей. Братья высокую и строгую общежительную жизнь проводят; и обитель славится своими общежительными уставами по всей Горе Афонской. Все от сего монастыря заимствуются общежительными уставами; но во всем подражать ему ни один монастырь не может. Монастырь Дионисиат богатый: хлеба, вина и масла до изобилия; братии около двухсот человек»⁶.

Н. Ф. Селиванов (1900 г.): «Мы отправились в Дионисиат, который построен на скале у самого моря. Основан он преподобным Дионисием в XVI веке. Это совершенно средневековый замок, который арабам взять было не под силу. Несмотря на то, что Дионисиат новее других афонских монастырей, в нем немало редкостных предметов искусства. Соборный храм монастыря сооружен в XVII веке и, надо думать, что в него перенесены части старого собора, например, внутри его есть колонны превосходного византийского стиля, которые, кажется, правильно отнести к XV веку. То же следует сказать о дверях собора, резном иконостасе, с птицами, и перламутровых кафедрах очень богатой отделки. Осмотрев собор, мы пошли к отцу игумену — не старому еще монаху, который объявил нам, что без трапезы нас не отпустит. Игумен ждет разрешения Св. Синода приехать в Россию за сбором. Монастырь не богат — он общежительный, и ему помочь не грех, так как он пользуется хорошей репутацией»⁷.

Из записок Н. П. Смоленского (1906 г.)

Я не могу быть пристрастным к греческому монастырю или, вернее, пристрастным быть могу, но во всяком случае не в добрую сторону. Мои личные столкновения с греческими монастырями не оставили приятных воспоминаний. До сих пор я не могу простить **монастырю св. Дионисия**, например, того, что он упорно и на-

³ Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII–XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

⁴ Путешествие к святым местам, находящимся в Европе, Азии и Африке, совершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жителем Кириллом Бронниковым. М., 1824. С. 204.

⁵ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 153.

⁶ Парфений (Агеев), инок. Описание святой горы Афонской. Белый город, 2016. С. 60.

⁷ Селиванов Н. Ф. Монашеская республика (Письма с Афона). СПб., 1900. С. 79.

стойчиво морил меня голодом. Я приехал туда утром в пятницу. Начиная с двух часов дня или, по крайней мере, с трех, я просил, чтобы мне чего-нибудь дали поесть — и все время меня уговаривали подождать: «сейчас будет готово»... Только в третьем часу ночи мне удалось занять кусок хлеба у случайно зашедшего в монастырь русского монаха. Уехать из монастыря я не мог, потому что там была работа, и в то же время я решительно никак не мог добиться, хотя бы пары яиц, хотя бы просто куска хлеба.

Отношение гостинника здесь было даже похоже на издевательство, потому что на каждую просьбу меня спрашивали: что мне нужно? будет ли довольно с меня того то или того то? несмотря на то, что я, по крайней мере, пять раз повторил, что буду есть все, что дадут. И все-таки мне ничего не дали. Через сутки я уехал, не взяв крошки от монастырской трапезы. Почти то же было в монастыре св. Павла, где я не мог добиться даже горячей воды для чайника. Все это, конечно, не сделает меня прилепленным в пользу греков⁸.

Обитель Дионисиатского монастыря — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Настоятель — иеромонах Михаил (на 1913 г.)⁹.

ДОХИАР

По преданию, Дохиарова обитель была основана во второй половине X века неким иноком Евфимием-дохиаром, то есть распорядителем съестных припасов, келарем. Из-за берегового расположения Дохиар часто страдал от разбоя пиратов. Собор, посвященный архангелам Михаилу и Гавриилу, отстроен в XVI веке валашским господарем Александром и его супругой Роксандрой, выкупившими также ряд монастырских владений у захвативших их турок. Храм расписан критскими иконописцами. В одном из приделов собора — чтимая икона Божией Матери «Скоропослушница»¹⁰.

С конца XV века во многих русских рукописях встречается рассказ о чуде архангела Михаила в Дохиарском монастыре («Повесть о пастухе, нашедшем злато»), включенный в состав Великих Миней Четых митрополита Макария¹¹. В 1584 году посол царя Иоанна Грозного Мешенин приходил в Дохиар, и тамошнему игумену Неофиту и 60 братьям подал милостыни 93 рубля да 22-м скитникам 6 рублей¹². «В 1630 году, 3 января, представлялся государю Дохиарский архимандрит Климент и представил ему письмо Константинопольского патриарха Кирилла [Лукариса], в котором его святейшество просил пожаловать 1000 рублей для выкупа дохиарских имений у турков, — пишет о. Порфирий (Успенский). — В мае месяце того же года сей архимандрит был отпущен восвояси, но что и что получил, неизвестно»¹³.

В 1859 году архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил в книгохранилище Дохиара «рукопись на бумаге, в четвертую долю листа, 1795 года»¹⁴. «В ней усмотре-

⁸ Смоленский Н. П. В стране святых настроений. СПб., 1906. С. 307–308. Он же: архимандрит Михаил.

Дух и стиль греческих обителей на Афоне // СППО, 1907. Т. XVIII, вып. 1. С. 24.

⁹ Павловский А. А. Путеводитель по св. горе Афонской. СПб., 1913. С. 64.

¹⁰ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 155.

¹¹ Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в XI–XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 150.

¹² Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 123.

¹³ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 898.

¹⁴ Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 91. Судя по содержанию этой рукописи, она может быть датирована 1797 годом (а. а.).

но, мною замечательное сказание о постройке в С.-Петербурге церкви во имя архангела Михаила в 1797 году императором Павлом Петровичем, — пишет о. Порфирий. — Здесь я предлагаю перевод греческого подлинника сего сказания»¹⁵.

Братие! Всегда и постоянно величайший Чиноподчиненный всех небесных ангелов и архистратиг воинства Господня, светозарный и велелепнейший Михаил творил многие и разные чудеса в разные времена и в разных местах. Но и ныне он не перестает творить такие же великие чудеса, поистине достойные архангельского величия его. Одно из них есть то дивное диво, которое совершено им воочию нынешнего благочестивейшего императора всероссийского государя Павла Петровича. А совершилось оно так:

Когда реченный Павел был еще двадцатилетний, тогда в видении явился ему архангел Михаил и предсказал, что он со временем будет царь, присовокупив: когда это будет, тогда пусть он вспомнит предсказание сие и построит храм во имя его. Павел дал обещание явившемуся, что исполнит веление его, а, пробудившись от сна, тотчас записал в памятной книге жизни своей это видение, которое видел, и год, и день, и обещание, данное архангелу. Однако, когда сделался царем в прошедшем году¹⁶ по предсказанию архангела Михаила, то среди многих царственных забот забыл данное архангелу обещание — построить храм во имя его. Но божественный Михаил опять напоминает сему царю прежнее обещание его, и напоминает вот как: приняв на себя вид монаха, он чувственно и видимо подходит к первому телохранителю царя и говорит ему: иди и скажи царю, чтобы он сломал тот дворец, который построен в таком-то месте, и там построил бы храм архангелу Михаилу.

Телохранитель этот обещался пойти и сказать сие царю, а по причине божеской перемены в уме своем и удивления при виде явившегося монаха, забыл допросить говорившего с ним, кто он, и откуда, и почему, и разузнать прочие обстоятельства, как это обычно делают царские люди, исследуя все подобное и записывая, дабы дать подробный отчет в том царям своим; но, когда монах тот ушел, тогда телохранитель вспомнил, что ему надлежало допросить явившегося, кто он, и откуда, и прочее. Вспомнив же это, он тотчас позвал к себе других стражей и приказал им поговорить с оным монахом и воротить его назад. Бегут они и ищут его вверху и внизу. Но монах был невидим. Посему начальник телохранителей, подумав, что если он пойдет к царю и перескажет ему слова монаха, то царь спросит, кто он, откуда и почему, побоялся, как бы не лишиться жизни своей, и не пошел к царю.

Архангел же явился ему во второй раз в том же самом виде; и опять случилось то же самое, что и в первый раз. Потом он явился и в третий раз в том же виде, и, обличив начальника телохранителей в преслушании, вошел к царю один и сказал ему то же, что говорил и начальнику этому, то есть, чтобы он сломал тот дворец, который находится в таком-то месте, и построил бы тут храм архангелу Михаилу: к сему архангел присовокупил и то, что он трижды говорил это начальнику телохранителей его, но сей побоялся и не объявил этого.

Царь же, услышав сие, дал обещание исполнить требуемое, но и сам, потерпев ту же перемену в уме своем и то же удивление, которое произошло в душе начальника телохранителей, забыл спросить явившегося, кто он и откуда, и когда он уже удалился, тогда вспомнил, что надобно спросить его; посему тотчас позвал к себе одного вельможу, который тогда пришел во дворец, и велел ему поговорить с монахом, который только что вышел из дворца, и воротить его назад. Но вельможа отвечал царю, что никого не видал, так как монах этот сделался невидим. Тогда царь позвал начальника телохранителей и допросил его о явившемся монахе; и он рассказал ему все дело, как оно было.

¹⁵ Там же. С. 91.

¹⁶ То есть в 1796 году; следовательно, текст датируется 1797 годом.

После сего царь вспомнил, что во сне видел архангела Михаила, будучи двадцатилетним, вспомнил и данное ему обещание построить храм во имя его, и перелистыв царские памятки свои, в которых это было записано, убедился твердо и непрекаемо, что явившийся ему монах был тот самый архангел Михаил. Затем тотчас приказал сломать тот царский дворец, о котором говорил ему явившийся, и на месте его построил прекрасный и дивный храм во имя архистратига Михаила.

Это чудо огласилось во всем Российском государстве; и о нем говорят везде. А сюда (на Афон) пришли некоторые достойные вероятия монахи русские, которые живут в ските Черный Вир, бывшие очевидцы сломанного дворца и новосозданного храма архангела Михаила.

Это чудо заградило и заграждает и заградит дьявольские уста безбожников, потому что оно есть самое ясное и осязательное доказательство Божества. Оно же предвозвещает и то, что будут великие и всемирные победы царства Россов, почитающего величайшего архистратига Сил Господних Михаила, его же предстательством да избавимся от видимых и невидимых врагов, и да все сподобимся царства небесного. Аминь¹⁷.

Это воспоминание было читаемо в Дохиаре, или в церкви во время богослужения, или в братской трапезе.

В том же книгохранилище о. Порфирий обнаружил акафист, о чем он пишет в своем дневнике: «Для своего утешения духовного перевожу и всем сообщаю здесь *Дохиарский Акафист Божественным Архангелам*, древний, рассмотренный и тщательно исправленный трудолюбивой рукой и мудрой тростию изряднейшего во учителях и приснопминаемого отца Кир Никодима Наксосца»¹⁸. Далее о. Порфирий помещает русский перевод этого акафиста, сопровождая его интересным дополнением: «Изменение двух последних икосов для чтения в российских церквях».

Радуйся, предстателю всех верных.

Радуйся, источнике многоразличных чудес.

Радуйся, болящих безмездное врачевание.

Радуйся, плененных скорое возвращение.

Радуйся, яко предстательствовал еси о Российской державе.

Радуйся, яко спаслеси ю от врагов.

Радуйся, именитаго ти Михаила на Российский престол призвание.

Радуйся, благоверных царей наших умудрение.

Радуйся, весь Синклит наш просвещаяй.

Радуйся, персты христолюбивых воев наших на брань поучаяй.

Радуйся, храмов православных Божий украсителю.

Радуйся, обителей российских заступниче.

Радуйся, закона служителю.

Радуйся, радостепечалующих.

Радуйся, страже обидимых.

Радуйся, нищих богатство некрадомое.

Радуйся, плавающих пристанище спасительное.

Радуйся, победоносное оружие царей благочестивых.

Радуйся, преславнаяпохвало иереев благоговейных.

Радуйся, Российския державы хранителю.

¹⁷ Там же. С. 91–93.

¹⁸ Там же. С. 132.

Радуйся, чудный ковчега ея кормчий.
Радуйся, чтущих тяпоборниче.
Радуйся, невестоводителю душ изряднейший.
Радуйся, верных от Бога благословение.
Радуйся, доброе монашествующих вождение.
Радуйся благодати вестниче¹⁹.

Архимандрит Евгений (1896 г.): «Мы достигли, спустясь к самому морю, идиоритма Дохиара. На низкой скале, отражаясь в гладкой поверхности моря, среди толпящихся вокруг нее статных кипарисов, меж ароматных садов стоит эта обитель, основанная одновременно с Лаврой Афанасия Афонского и посвященная сначала святителю Николаю, а затем переименованная в честь Бесплотных сил. Собор ее выстроен в византийском стиле и расписан живописью византийской же школы. Он, как и большинство афонских храмов, украшен мрамором, колоннами из него и помостом, на котором среди церкви изваян двуглавый орел. Аналои на клиросах перламутровые и стасидии, идущие кругом церкви, очень красивы, хотя и весьма старинны. Перед чудотворной иконой Божией Матери, находящейся в трапезной церкви, куда мы прошли из собора, и именуемой „Скоропослушница“, теплятся неугасимые лампы — дар получивших исцеления от святой иконы, на которой находится богатая серебряная вызолоченная риза, возложенная на нее русскими верующими и чтущими бесконечно милосердную Матерь неба и земли»²⁰.

Н. Сергиевский (1899 г.): «В отдельном небольшом (трапезном) храме находится чудотворная икона Божией Матери, именуемая „Скоропослушница“, прославившаяся своими обильными чудотворениями; подлинная копия с нее есть в Москве, в Пантелеимоновой Афонского монастыря часовне, что на Никольской улице»²¹.

С. Германов (1912 г.): «Главной святыней Дохиара почитается известная в России икона Богоматери, названная „Скоропослушницей“; она находится в небольшой внутренней церкви, близ главного храма, более похожей на часовенку. Название иконы „Скоропослушницей“ объясняется чудом, записанным в летописи обители, а именно скорым и чудесным исцелением одного инока, наказанного болезнью за непочитание иконы. Множество лампад неугасимо горит разноцветными огоньками, освещая довольно большой образ древнего письма, покрытый массивной золоченой ризой, — дар московских почитателей; в общем изображение представляется подобием Иверской иконы Богоматери»²².

А. А. Дмитриевский (1913 г.): «Паломники направляются в Дохиарский монастырь. Перед чудотворной иконой этой обители, именуемой „Скоропослушницей“ и находящейся на паперти соборного храма в честь св. Архангелов, паломники вжигают свечи и выслушивают молебное пение. Если среди паломников имеются русские священники или иеромонахи, то перед этой чтимой на Руси иконой вычитывается и акафист»²³.

Владимир Крупин (2009 г.): «В Дохиаре привратник — пес размером с нашего Мухтара, но с характером явно не мухтарским. Надо его к нам на выучку. Внутри отрядно, прохладно. Стены монастыря в зелени, а еще в клетках певчих птиц. Канарейки

¹⁹ Там же. 132–133.

²⁰ Евгений, архимандрит. Мое «бытие». Воспоминания о монастырской жизни и о поездке в Иерусалим. СПб., 1911. С. 406–407.

²¹ Сергиевский Н. Святая Гора Афонская. М., 1899. С. 36.

²² Германов С. На Афон и Святую Землю. Часть 1. На Афон. М., 1912. С. 142.

²³ Дмитриевский А. А. Церковные торжества в дни великих праздников на Православном Востоке. Ч. II. Пг., 1920. С.108.

поют, приветствуют, будто извиняются за облаявшего нас пса. Святыня монастыря — икона „Скоропослушница“ вся в золоте. „Русская икона“, — объясняет монах. Показывает образ святой и праведной Анны: „Бабушка Христа“. Валерий Михайлович дарит ему, как и везде по нашему пути, образочек преподобного Серафима Саровского»²⁴.

ЗОГРАФ

Один из трех славянских монастырей на Афоне, болгарский Зографский, возник в X веке. Его основатели, монахи из Охрида, посвятили обитель св. Георгию Победоносцу «Зографу» (то есть Живописцу) — здесь чудесным образом была обретена его икона. В XIII веке монастырь захватили византийцы-униаты, казнившие православных иноков. В память об этих мучениках во дворе установлен памятник.

В 1539 году прибывшие в Новгород ко двору архиепископа св. Макария (впоследствии митрополит всея Руси) иноки из Зографского монастыря и Карейского скита Митрофан и Прохор рассказали святителю о мучении Георгия Нового, пострадавшего в Софии в 1515 году. Рассказ лег в основу русского жития мученика²⁵.

Архимандрит Порфирий (Успенский) (1859 г.): «[В соборном храме] на большой хоругви изображены *Крещение Господне* и святой великомученик Георгий, и шелком вышит тропарь: *Во Иордане крещающуся Тебе, Господи*, и проч. В этом тропаре правописание наше, славянорусское, а буквы церковные. Посему я полагаю, что эта хоругвь была пожертвована в Зограф Иоанном Васильевичем Грозным в 1556 году, когда он и в Хиландар прислал шитую шелками катапетасму»²⁶.

«В 1584 году посланник Ивана Грозного Иван Мешенин вручил игумену сей обители Паисию и 100 братьям 200 рублей да 33 скитникам 9 рублей, — писал архимандрит Порфирий (Успенский). — В 1586 году, в царствование Феодора Иоанновича, приехал в Смоленск оный игумен Паисий с братиею, но не был пропущен в Москву и отослан назад, хоть и привез с собою царю мощи его ангела, св. великомученика Феодора Стратилата, преподобного Михаила Синнадского и мученика Пигасия, да две иконы Богоматери и св. великомученика Георгия также с мощами. Велено было принять от них эти святыни и выдать им заздравной милостыни 30 рублей и заупокойной 100 рублей, самих же отпустить обратно»²⁷. 21 февраля — 31 августа 1598 года по повелению царя Бориса Феодоровича Годунова и его сына царевича Феодора Борисовича в мастерских Московского Кремля была изготовлена для мощей святого великомученика Феодора серебряная рака, которая хранилась сначала в царской казне, с 1681 года — в кремлевском Благовещенском соборе²⁸.

В конце XVI — первой четверти XVII века (с перерывом в 1604—1606 гг.) на Афоне (преимущественно в Зографе и Хиландаре) жил выдающийся защитник православия в Речи Посполитой, борец с церковной унией иеромонах Иоанн (Вишенский). В 20-х годах XVII века украинские монахи переписали в Зографском монастыре большой сборник поучений²⁹.

Обитель по-прежнему получала дары из России. «В 1627 году из Зографа приезжал в Москву келарь Гервасий за милостыней и получил ее, а после него являлся в Пу-

²⁴ Крупин Владимир. Святой Афон — сердце Православия. М., 2015. С. 241.

²⁵ Калиганов И. И. Георгий Новый у восточных славян. М., 2000. С. 29.

²⁶ Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 141.

²⁷ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 897.

²⁸ Романенко Е. В., Турилов А. А. Русско-афонские связи в XI—XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 152. Ныне рака с частью св. главы вмч. Феодора находится в ГММК (инв. МР-1758).

²⁹ ГИМ. Епарх. № 459. См.: Максимович К. А., Турилов А. А. Афон и Россия. Русские иноки на Афоне в XI—XVII вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 149.

тивль архимандрит Неофит и тут же получил 15 рублей и отпущен восвоися, однако вскоре опять явился и был в Москве, — пишет о. Порфирий. — В феврале месяце 1639 года Зографский архимандрит Паисий получил от государя соболей на 100 рублей. В 1642 году, 14 ноября, представлялся государю этот же Паисий и поднес ему миро св. великомученика Димитрия Солунского, а государь пожаловал его своим царским жалованьем и кроме сего приказал сделать серебряные сосуды, что и было исполнено. Из записки серебряного приказа видно, что на сосуды для Зографа пошли два фунта и 18 золотников серебра и 3 золотника золота»³⁰.

Как отмечал Василий Григорович-Барский, «обретается тамо многоценное Евангелие российское, от гетмана Иоанна Самойловича дарованное, зело много на себе серебра имущее»³¹. Указом Синода в 1742 году была введена единообразная дача милостыни афонским монастырям: Московская синодальная контора обязывалась выдавать Зографскому монастырю по 35 р. в год³².

Из записок Василия Григоровича-Барского (1744 г.)

В Зографе, си есть болгарские иноцы, неции же и от наших, с ними сожительствующии, буи в разуме и точию едва ведящие чести черное по белому, в сиеца заблуждения впадоша:

1) Не точию от латин, к православию приходящих, еже мало тамо когда случается, но и от малороссийских униатов, самоволно бывших или насилем принужденных, или смотрително яве снисходящих, втайне же зело православных, еще же и от империи Российской от православных священников крестившихся и православно воспитывавшихся, точию или малое время в странах папских преживших, или чрез страну ту по случаю прешедших, и в церкви их на молитву пришедших, таковых всех крещение неважное быти глаголют, и вторицею неких буих и безграмотных, себе подобных, перекрещивают. Аще же кто имат часть разума и может им дати ответ, и на сиецвое беззаконие не соизволяет, такового в сожитие не приимают; аще же и приимут, то досаждают, и ругаются ему всегда, донележе сам избежит.

2) Аще примут кого от таковых иеромонахов в монастыри своя, вместо протых монахов их вменяют, а литургисати им, ниже инно что священнодействовати не попускают, ниже в руку целуют, ниже инной каковой либо буди подобающей чести воздают, аще бы и свидетели имели о себе или патенты, яко от православных архиереев рукоположишася: довлеет точию да услышат, или праведно, или ложно, в странах Лешеских (польских) бывалы.

3) Иконам малороссийским кланяться не хошут, бесстудное изображение их быти глаголюще, и пригвождают я на стенах высоко, точию ради украси, а не прилагания. Ревностнейшии же от них или паче безумнейшии, и великороссийскими гнушаются; греческие же или болгарские иконы, криворуки и кривоносы, зело почитают.

4) Некии от оных, аще и не вси, книгам российскими исправленным, якоже и расколщики, гнушаются, и глаголют я быти покваренны, или от неких древних печатей, или от рукописных, неправописанных и некрасноречных, без оксий и точек, употребляют. Аще же нужды ради, не имущи иных, чтут и на российских, но с премеением многих словес и превращением оксий. Вси же тамо монастыри суть ставропигиальны и самовластны, и всяк, что хошет, невозбранно творит в своем монастыри³³.

³⁰ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 897.

³¹ Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 2004. С. 254.

³² Кочетов Д. Б. Русско-афонские связи в XVIII—XIX вв. // Православная Энциклопедия. Т. 4. М., 2002. С. 159.

³³ Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 2004. С. 262—263.

<...> Сих убо ради заблуждений и смущений, не могут российстии иноцы вкупе с сербами и болгарами жительствовати, но скитаются по горам семо и овамо, с великой нуждой³⁴.

К середине XIX века в Зографе обосновались болгары, впоследствии возведшие многоэтажные братские корпуса³⁵. По словам В. Г. Барского (1744 г.), «тамо бо иноцы обитают изначала болгары, аще же имут и греков между собою немало, иногда же неколико и русов, обаче началство и власть болгарская бяше»³⁶.

Павел Свиньин (1819 г.): «В Зографе правило церковное производится по российским книгам»³⁷.

Архимандрит Порфирий (Успенский) (18 апреля 1844 г.): «Сегодня посетил меня зографский архимандрит Анатолий и между прочим говорил мне, что весьма полезно было бы послать из России на Афонскую гору какого-либо архимандрита в качестве апостола Российской Церкви для сближения российского духовенства с греческим, для направления порядка учения в афонском иноческом училище и в случае нужды для ходатайства за монастыри пред константинопольской миссией. Я вполне соглашался с его мнением и предвидел огромную пользу от этой меры для Православия»³⁸.

Из записок А. Н. Муравьева (1849 г.)

С крестом и иконами встретила меня вся братия зографская и повела торжественно в храм св. Георгия для соборного молебна великомученику. Не удивитесь таким необычайным почестям, не подобающим мирянам. На Востоке, при оскудении более или менее почтенных посетителей, чрезмерно радуются пришествию русских единоверцев и стараются всеми средствами доказать свою любовь к их великой державе; здесь, по каноническому выражению, почать, воздаваемая лицу, восходит к первообразу <...>

Была и другая причина, почему приняло меня с особенной почестью братство зографское, кроме благодарности России за возвращение имуществ бессарабских. Несколько дней перед тем посланник наш, посетивший вместе со мной некоторые обители Святой Горы, как бы в числе моих спутников, потому что хотел скрыть свое имя, приехал сюда с прочими членами миссии, уже без меня, и объявил о моем скором прибытии. Не могло, однако, здесь утаиться лицо его, слишком известное в Царьграде, но его узнали слишком поздно, чтобы воздать ему подобающую почесть. Совершенно смерклось, когда он возвращался, так что с факелами провожали его до пристани, где ожидал его военный корвет, и весьма естественно, что братия хотела вознаградить в лице моем то, чего не успела для него сделать: вот почему я мог иметь некоторое влияние на решение братства зографского. Во вратах обители приветствовал меня маститый девяностолетний старец, отец Викентий, который сделался моим руководителем по знанию им русского языка, и так как в церкви он занимал всегда первое место.³⁹

В первой половине XIX века влияние России в Зографской обители усилилось; о причинах этого сообщается в записках А. Н. Муравьева: «Это та эпоха, когда обновлялись все здания на Святой Горе, а с тех пор монастырь пришел в большой упадок, потому

³⁴ Там же. С. 267.

³⁵ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 155.

³⁶ Второе посещение святой Афонской горы Василия Григоровича-Барского, им самим описанное. М., 2004. С. 251.

³⁷ Воспоминания на флоте Павла Свиньина. Ч. 2. СПб., 1819. С. 81.

³⁸ Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 656.

³⁹ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 254—255.

что значительное его имущество в Бессарабии, по слабому управлению, приносило малые доходы. По вступлении Бессарабии в российское подданство, оно взято было в ведение епархиального начальства, с платой в Зограф двойного против прежнего дохода: но монастырь не был тем доволен. Возвращение сего имения опять в полное распоряжение Зографской обители поставило ее на ряду первостепенных на Афоне, что весьма полезно для народности болгарской. Многие из иноков зографских, часто посещая Россию по делу об имуществе, получали в ней образование и ознакомились с нашим стройным богослужением. Оттого есть в этой обители люди, из которых можно устроить твердое общежитие и надеяться на успех в будущем»⁴⁰.

Архимандрит Порфирий (Успенский) (1845 г.): «Говорил мне о. Анатолий о Зографской обители своей, что деньги ее 50 000 рублей он внес в Одесский банк, и что из процентов сей суммы две тысячи рублей расходуются на Зографскую больницу, а 2000 на болгарские школы и на училище, недавно открытое на Афоне для обучения молодых иноков. Кстати он добавил, что для этого училища нужно выписать из России 50 катихизисов Московского митрополита Филарета, переведенные на греческий язык Александром Скарлатовичем Стурдзой, и что надобно преподавать там русский язык. Выписка катихизисов состоит по решению представителей всех монастырей, заседающих в Протате, а русский язык, Бог весть, будет ли изучаем на эллинском Афоне»⁴¹.

В 1846 году петербургский купец С. М. Комаров пожертвовал в Зографский монастырь серебряную ризу на икону Божией Матери «Предвозвестительница», «находящуюся в отдельной Успенской церкви, что среди двора монастырского»⁴², о чем писал архимандрит Порфирий (Успенский): «В иконостасе чествуется чудотворная икона Божией Матери Предвозвестительницы. На серебряной ризе ее русская надпись гласит: „Благословением всемогущего Творца сооружена сия риза усердием Санктпетербургского купца Симеона Максимовича Комарова в 1846 году, а сотворены Владычицей чуда в 1285 году во время папского нападения“».⁴³

Из записок иеросхимонаха Сергия (Веснина) (Святогорца) (1847 г.)

Этот монастырь посвящен имени св. великомученика и Победоносца Георгия, и славится тремя его чудотворными иконами, из которых одна написалась сама собой, вследствие чего и монастырь назван Зографом. *Зограф* или *Зографос* в русском переводе значит *живописец*.

<...> Зограф — монастырь болгарский; во множестве братии его один только грек и **двое русских**. Служба совершается на нашем церковном языке, то есть на славянском, Впрочем, по греческому напеву. Мы прибыли сюда за полчаса до вечерни, так что, после обычного угощения на фондарики вареньем (глико), ракой (водкой) и кофе, мы успели отдохнуть на цветных диванах, не объявляя никому цели нашего прибытия. Прислужники гостиницы знали, что мы из Русика; а потому покоили нас с искренним радушием.

Когда ударили в *току*, к вечерни, и мы появились в притворе соборного храма. Там зографские проэсты, или значительнейшие из старцев, дружески и с распростертыми объятиями родственной, славянской любви, приветствовали нас. Чувство особенного расположения к нам питает из них нынешний эпитроп, или главный

⁴⁰ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 262—263.

⁴¹ Порфирий (Успенский), архимандрит. Первое путешествие в афонские монастыри и скиты в 1845 году. Киев, 1877. С. 82—83.

⁴² Порфирий (Успенский), епископ. История Афона. Т. 1. М., 2007. С. 897—898.

⁴³ Порфирий (Успенский), архимандрит. Второе путешествие по Святой Горе Афонской в годы 1858, 1859 и 1861, и описание скитов афонских. М., 1880. С. 143.

распорядитель экономическими делами, Иларион, который бывал в России и странствовал на поклонение в Киев. Много и других найдется старцев, которые хорошо знают Россию и видали ее снежные равнины. Главный из проэстосов, архимандрит Анатолий, хотя родом и албанец, но в последнее время был в подданстве России, в которой провел около 20 лет, находился при (российский) Миссии в Афинах, и имеет два ордена 3-й степени св. Анны и св. Владимира. Здешние старцы в самых искренних отношениях к Русику и остаются во взаимности общения между собой; поэтому русские в Зографе и зографцы в Русике всегда бывают предметом дружеской внимательности и приветов.

Первая из чудотворных икон, при колонне правого клироса, замечательна тем, что на ней и по сию пору остается крайняя часть пальца, которым святотатственно и грубо коснулся победоносного лика недоверчивый епископ, странствовавший по Св. Горе⁴⁴. <...> Икона св. Георгия обложена прекрасной серебряной ризой, деланной в С.-Петербурге, по благословению митрополита Серафима, как видно по надписи на нижней кайме ризы. Живопись на иконе темна от древности; она византийского стиля⁴⁵. <...> Все три иконы св. Георгия в прекрасных серебряных ризах, и унизаны камнями: а на одной из них, при левом клиросе, на груди небесного Победоносца звезда, с изображением в ее середине великомученикова лика. Все украшения на иконах из России, которая исключительно благодетельствует этому монастырю на Афоне⁴⁶.

<...> Из собора нас провели в параклис, то есть в отдельный храм Пресвятой Богородицы. Здесь мы поклонялись и лобызали чудотворную Ее икону, под названием *акафистную*. Ради этой собственно иконы мы прибыли сюда, потому что для нее о. Серафим привез из России, сделанную на его собственное иждивение серебряную позлащенную ризу, со стразовым венцом, которой в настоящий случай мы и обложили чудотворный лик Богоматери, в присутствии нескольких проэстосов здешнего монастыря. Такой нечаянный и драгоценный дар обители удивил и обрадовал старцев: они окружили нас, и, в чувстве искренней благодарности и одолжения, ласковее прежнего ухаживали за нами⁴⁷.

<...> Вечером того же дня мы совершили прогулку на холм, где остановился мул с иконой на нем св. великомученика и Победоносца. Вид отсюда самый чудесный; сквозь расступившиеся холмы, по направлению к юго-западу, видно самое море. Сюда и Великий Князь Константин Николаевич изволил странствовать пешком из монастыря. С торжествующим видом зографские старцы, на том самом месте, откуда любовался на окрестные виды и на монастырь Великий Князь, нам рассказывали о его высоком здесь странствии. Мысль моя, при живых рассказах простодушных болгар, невольно погрузилась в созерцание минувшего. Вдали от милой родины, сердцу сладостен и звук русского слова; оно бьется невыразимо при виде случайных поклонников русских, и каким же трепетом, какими чувствами оно должно волноваться при памяти Высокого путешественника?... Не только болгары, как славяне, но и самые греки сочувствуют нам в наших воспоминаниях о минувшем; Россия и для них дорога, потому что на ней опираются их светлые надежды и чаяния грядущих дней⁴⁸.

<...> В бытность нашу здесь литургию совершал русский иеромонах в параклисе Пресвятой Богородицы; пение было хотя и славянское, но по греческому напеву. По окончании литургии, при выходе из параклиса Божией Матери, провели нас на синодальный фондарики, то есть в такую комнату, где собирается старческий совет и решаются экономические дела Зографа. На этот фондарики никто не приглашается

⁴⁴ Письма Святогорца о святой Горе Афонской. Изд. 8-е. М., 1895. С. 325—326.

⁴⁵ Там же. С. 327.

⁴⁶ Там же. С. 333.

⁴⁷ Там же. С. 334.

⁴⁸ Там же. С. 335.

из гостей обыкновенного рода. При вступлении моем в это роскошное отделение гостиницы, меня приятно поразил живописный лик св. Димитрия Ростовского. Живопись хотя самая низкая, почти суздальская, но самый лик дорог нашему сердцу... Вблизи св. Димитрия я заметил портрет, средней гравировки, преосвященного Димитрия, архиепископа Кишиневского. В ряду с этими портретами висит и план Киево-Печерской Лавры. Подобные украшения комнат здесь нередки, не только у родственников нам славян, но и у греков. Я как теперь вижу одного пустынноика-грека, удивившего меня выбором исторических картин, высокой итальянской работы, которыми была увешана его гостиная келья. Когда с наслаждением я рассматривал эти картины и переходил от одной к другой, вдруг представляется взором моим здесь картина, на которой изображен, в казачьем костюме Государь Наследник Цесаревич Александр Николаевич и Государыня Цесаревна Мария Александровна. Откуда взялась эта картина?... Разумеется, из России, потому, что и греки в родственниках к ней отношения по духу веры и Православия⁴⁹.

<...> Тепло и ясно было, когда мы оставляли Зограф. Признательные о Серафиму, за его жертву, старцы, эпитроп и духовник сопутствовали нам; оба они очень хорошо знают русский язык⁵⁰.

В просторном монастырском дворе — два храма. В малом (1764 г.) — чудотворная икона Божией Матери «Акафистная», история которой, изложенная по-церковнославянски на мраморной доске в притворе, читается без затруднений. В соборном храме (1801 г.), кафоликоне, — три чудотворные иконы св. Георгия. Самая чтимая из них приплыла на Святую Гору по морю, и монахи, возложив ее на дикого мула, решили отдать икону тому монастырю, к которому животное приведет. Мул взобрался на холм напротив Зографа; теперь здесь стоит в память об этом событии храм, куда ежегодно на Юрьев день идет крестный ход⁵¹.

Б. П. Мансуров (1857 г.): «В Пантелеимоновском монастыре мы нашли себя совершенно в семейном кругу, членом которого к нашей радости явился один из учнейших и достойнейших иноков болгарского монастыря **Зографа**, — магистр нашей Киевской Духовной Академии — о. Нафанаил. Один из наших спутников отправился отдельно от нас прямо в Зографский монастырь и возвратился в Русик в сопровождении почтенного о. Нафанаила. Т. о. между единоверными и единокровными братьями лился без умолку живой и дружеский разговор, добрые иноки старались нас всячески задерживать, осыпали расспросами о дорогом дальнем отечестве, передавали нам все свои вздыхания о благе родины...»⁵²

Князь Михаил Волконский (1859 г.): «Настоятель и братия встретили нас у монастырских ворот и повели в соборную церковь св. Георгия Победоносца, при колокольном звоне и пении *богородична*; диакон сказывал сугубую ектению, на которой поминал Государя нашего и весь Царственный Дом, а святыни монастыря были уже приготовлены для поклонения; их в Зографе много, также есть чудотворные иконы Богоматери, три иконы св. Георгия Победоносца, из которых одна сама чудесно изобразилась, и древнее Евангелие глаголитское. Зограф построен очень хорошо, особливово церковь. Все здания в исправном состоянии и около монастыря дороги отделаны превосходно; есть и училище для монахов. Живут все болгары, и служба по книгам, печатанным в России. Нас пригласили в архондарик или гостиницу, и угощали обедом. Болгары принимают русских, как единоплеменных, всегда с радостью»⁵³.

⁴⁹ Там же. С. 339.

⁵⁰ Там же. С. 345.

⁵¹ Талалай Михаил. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 75—76.

⁵² Мансуров Б. П. О посещении афонских монастырей // Морской сборник, № 10, 1857. С. 222.

⁵³ [Волконский М. Д.] Записки паломника. 1859 г. СПб., 1860. С. 325.

Русский Святогорец (1867 г.): «В болгарском монастыре Зографе после встречи у святых врат, литии и многолетия в храме, игумен Анфим приветствовал высокого гостя (Великого Князя Алексея Александровича) приличной случаю речью; после сего Великий Князь изволил прикладываться к св. мощам и выслушал объяснение игумена касательно трех древних чудотворных икон великомученика Георгия. В архондарике, во время обычного угощения Его Высочество обратил внимание на висевшую здесь в рамке благодарственную грамоту Святейшего Синода настоятелю с братией, за поднесение ныне царствующему Государю Императору редчайшей из известных глаголических рукописей Четвероевангелия»⁵⁴.

Архимандрит Иннокентий (1872 г.): «В Зографе глубокое и умиленное впечатление производят на душу поклонника как соборный храм своим благолепием, так и три чудотворные иконы в сем храме великомученика и победоносца Георгия. Все три иконы св. Георгия в прекрасных серебряных ризах и унизаны камнями; все же украшения на иконах из России. Все иконы изображают Победоносца и чудотворца Георгия в полных воинских доспехах с копьём и мечом»⁵⁵.

«Эта икона стоит при колонне близ левого клироса, — писал в 1883 году будущий митрополит Арсений (Стадницкий). — На противоположной стороне от этой иконы при колонне находится третья чудотворная икона св. Георгия, принадлежавшая Стефану, воеводе Молдовлахийскому. Стефан часто воевал с турками. Однажды его окружило несметное число неприятелей. В таком положении Стефан обратился к Богу и к св. великомученику Георгию, икону которого он имел с собою. Во сне явился ему Георгий, ободрил его и поручил отправить его икону в Зограф. Победа была одержана полная. Лик св. Георгия на этой иконе выражает энергию и мужество. Все три иконы в прекрасных серебряных ризах, униженных драгоценными камнями и украшенных крестами, орденами... Все украшения на иконах из России»⁵⁶.

В записках А. Н. Муравьева сообщается о двух иконах соборного храма: это образ великомученика Георгия и Божией Матери. «Та и другая икона висят донныне на столбах перед иконостасом, привлекая множество богомольцев, — пишет А. Н. Муравьев. — Но правая, т. е. древнейшая, чувствуется более, хотя обе лишены были своих великолепных окладов в 1821 году, при последнем опустошении турками. Они теперь облечены новыми, не столь драгоценными, однако, как первые; помню, что архимандрит Анатолий собирал в России на ризы сих чудотворных икон. Я с утешением поклонился обеим в соборном храме»⁵⁷.

20 марта 1880 года иеромонах Стефан (Неровецкий), член Русской духовной миссии (1870—1880), отбыл из Иерусалима на Афон, где поселился в Зографском монастыре. Позже вернулся в Россию, жил и умер в одном из монастырей в Новгороде.

17 августа 1881 года Зографский монастырь посетил великий князь Константин Константинович. Его Высочество был встречен игуменом монастыря в мантии с крестом, с хлебом и солью, при колокольном звоне, всевозможной стрельбе (восточная церемония) и пением «Достойно есть». В храме, после обычной ектении и многолетия, игуменом было произнесено приветственное слово, в коем выражались как воспоминание о посещении великого князя Константина Николаевича, так и всеобщая радость о прибытии Его Императорского Высочества. Приложившись к иконе св. великомуче-

⁵⁴ Русский Святогорец. Двухдневное пребывание на Святой Горе Афонской Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича. Изд. 2-е. СПб., 1868. С. 25.

⁵⁵ Иннокентий, архимандрит. Путевые впечатления при посещении святых мест Палестины и Св. Горы Афона в 1872 году. Изд. 2-е. СПб., 1894. С. 158—159.

⁵⁶ Арсений (Стадницкий), митрополит. Дневник паломника на Афон. М., 2014. С. 236—237.

⁵⁷ Муравьев А. Н. Письма с Востока в 1849—1850 годах. Ч. 1. СПб., 1851. С. 262.

ника и победоносца Георгия, а также и в алтаре к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы, Его Высочество отправился в библиотеку и, осмотрев там некоторые рукописи, зашел в храм Успения Пресвятой Богородицы и приложился к иконе, называемой «Радуйся» или «Акафистная»⁵⁸.

Алексей Смирнов (1886 г.): «Мы поднялись в фондарики, просторную угловую комнату, с широкими диванами вдоль стен. Попивая чай, я беседовал с игуменом, отцом Мефодием, болгаринном, понимающим по-русски <...> Фондарик увешан портретами русских императоров, начиная с Николая Павловича, русских великих князей и героев последней войны. Благодаря помощи России, Зограф, очень оскудевший в то время, значительно поправился: в нем теперь до 135 иноков, все больше македонских болгар; живут они по старинному уставу общежития (киновии)»⁵⁹.

Из записок С. Ф. Шарапова (1889 г.)

Зограф расположен в долине, но около него нет, как около Хиландаря, ни аршина свободного пространства. Уступы, скалы, крутизны окружают Зограф со всех сторон. Далеко наверху, среди желтой скалы, видны высеченные пещеры — в них спасаются болгары и русские. Перед самым монастырем, в живописнейшем ущелье, белая часовня, построенная над ключом и увенчанная двумя гигантскими кипарисами и маслиной, необычайно толстой. Мы прошли в кафоликон, где шел молебен с акафистом на славянском языке. На ектенью поминали наш Царствующий дом. Здесь, очевидно, не боятся греков. С другой стороны, не помянуть Государя было бы слишком неловко — Зограф все свои доходы черпает из России, где ему принадлежат богатейшие бессарабские имения.

«Зографос», собственно, значит «живописный». В связи с основанием монастыря и посвящением его великомученику Георгию рассказывают о следующем чуде. В одном из сирийских монастырей, незадолго до нашествия турок, вдруг на глазах у всех исчезла живопись с образа св. Георгия. Смущенная братия молила Бога открыть смысл этого указания, и вот, игумен увидел во сне, что чествуемый обителью святой избрал себе новое место, именно у трех набожных пустынножителей Афонской горы. Тогда вся братия, с игуменом во главе, отправилась на Афон, нашла указанных пустынников, у которых, по их молитвам, как раз появилась «самописанная» икона. Здесь и был выстроен Зографский монастырь, богато одаренный цареградскими императорами. Самописанная икона стоит у правого клироса. Лик великомученика Георгия, изображенного, против обычая, не на коне, очень темен. На иконе богатая риза, сделанная в России⁶⁰.

Протоиерей Владимир Гуляев (1890 г.): «Две больших церкви Иверского монастыря и собор Зографа расписаны внутри священными изображениями и по стенам, и по потолку, и потому много напоминают соборы Московского Кремля, Свято-Троицкой Сергиевой лавры и лавры Киево-Печерской»⁶¹.

Из записок С. Германова (1912 г.)

Мы направились к ближайшему холму, на котором, по преданию, остановился дикий мул с привязанной к нему иконой великомученика Георгия и тем, согласно жребию, указал, кому должно принадлежать владение святыней, принесенной морскими волнами. На этом холме, находящемся в десятиминутном расстоянии от мо-

⁵⁸ Воспоминание о посещении св. Афонской горы великим князем Константином Константиновичем // Душеполезный собеседник, 1915, сентябрь. С. 353.

⁵⁹ Смирнов Алексей. Две недели на Святой Горе. М., 1887. С. 36.

⁶⁰ Шарапов С. Ф. Сочинения. Т. 2. СПб., 1892. С. 151–152.

⁶¹ Гуляев Владимир, прот. В Иерусалим и на Афон. Путевые заметки. СПб., 1892. С. 87.

настыря, устроена небольшая келья с внутренней церковью, посвященная памяти великомученика. Отсюда открывается обширный, великолепный вид на далекое море, на живописные возвышенности и на лесистые ущелья, одетые синеватой мглой. В келлии обитают два брата — иноки, посвятившие свободное от церковных служб время труду производства обуви. Благодаря знанию русского языка, нам удалось в короткой беседе с отшельниками почерпнуть много сведений, рисующих обитель Зографскую в самом благоприятном свете.

На возвратном пути в монастырь мы были встречены пожилых лет монахом-болгаринном, приветствовавшим нас на русском языке и пригласившим к трапезе. В небольшой столовой нас ожидали заведующий гостиницей и некоторые старцы иеромонахи. Во время трапезы, состоявшей преимущественно из овощей в разном виде, общий разговор продолжался на русском и болгарском языках. Темой его послужили минувшие события освободительной войны. С чувством глубокой признательности вспоминали иноки царя Освободителя и главнейшие эпизоды незабываемой годины. Говорили о великой миссии России, общности политических интересов и желательности слияния славянства хотя бы в духовном единении. Несомненная искренность старцев собеседников подтверждалась присутствием во множестве развешенных по стенам приемных комнат гравюр и картин патриотического содержания, изображающих различные эпизоды славной для России войны 1877 года⁶².

А. А. Дмитриевский (1913 г.): «В Зографском монастыре после посещения прекрасного храма, утомленные паломники встречают радушное истинно славянское гостеприимство и обильную явствами трапезу, приготовленную в вкусе русского паломника, и, что всего дороже для русского человека, тульский самовар...»⁶³



⁶² Германов С. На Афон и Святую Землю. Ч. 1. На Афон. М., 1912. С. 420.

⁶³ Дмитриевский А. А. Церковные торжества в дни великих праздников на Православном Востоке. Ч. II. Пг., 1920. С.109.

Contents

Prose and Poetry

- Alexander Gabriel.** Poems • 3
Alexander Laskin. White Crows, Black Sheep. *Reminiscence story* • 7
Julia Kim. Rocks, the Soulless. *Short story* • 71
Oleg Vashchaev. Poems • 83
Dmitry Isakzhanov. Nuts. Secret Movie. Proof of Existence. That Side. Days of Creation. Seeds. Subtle Matters. Mask. *Short stories* • 86
Alexey Chestneyshin. About a Friend. In the Void. *Short stories* • 110
Irina Istomina. Poems • 123
Alexander Zhdanov. Horseman Having Measure. *Novella* • 126

Universe of Childhood

- Galina Batyuk.** Fate. About Nonsense. Mikhailovsky Castle. Outskirts. *Short stories* • 148

Publicistic Writings

- Vladislav Bachinin.** Anti-Nietzsche: the Idea of the „Death“ of God as a Product of Trolling Strategy. *Article Four. The Catastrophic Existence under the Conditions of „Death“ of God* • 163

Criticism and Essays

- Sergey Kibalnik.** Anti-Nevrozov. *How N. N. Strakhov Slandered F. M. Dostoevsky and Why this Slander Will Live Forever* • 176
Vera Kalmykova. „SDRKRCH“, or Once Again about the Hellenistic Nature of the Russian Language • 198

Theatroteka

- Olga Malyshkina.** The Lord's Hand in the Fate of Nestor Kukolnik • 208

Petersburg Bookman

- Art of Reading.** *Oleg Alifanov.* The Triumph of the Scoundrels in the Novel „Anna Karenina“. **Territory of Memory.** *Dmitry Kolisnichenko.* The Novella „Heart of a Dog“: a Caricature of the Intelligentsia. **Book Island.** *Elena Zinovieva's Publication* • 219

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Monasteries of Mount Athos. *Part 3* • 240

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: <http://nevajournal.ru>

*Проект «Моя эпоха с видом на Неву»
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 26.09.2019. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 1500 экз. Заказ № 684
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28

Литературный
журнал

НЕВА

